

МИХАИЛ
БУБЕННОВ

ЗАРНИЦЫ
КРАСНОГО
ЛЕТА



МИХАИЛ БУБЕННОВ

ЗАРНИЦЫ
КРАСНОГО
ЛЕТА





Михаил
Бубеннов

ЗАРНИЦЫ
КРАСНОГО
ЛЕТА

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Москва
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Р2
Б90

Б $\frac{4702010200-012}{068(02)-86}$ 110-86

© Воениздат, 1978

**Зарницы
красного
лета**

ПОВЕСТЬ



ГЛАВНЫЙ ПУТЬ ВЕСНЫ

I

Отзвенит над степью пригожее и певучее утро, отойдет и угаснет знойный день, скроется за ковыльным раздольем солнце, и тут же, не давая разлиться малиновой заре, весь запад над притихшей землей внезапно закипит грозовой теменью. И тогда кажется: все, что мило и дорого тебе, все уже отлетело прочь, в далекую даль, скрылось навсегда. И становится нестерпимо тоскливо и грустно. Но вдруг там, в глубине таинственной мглы, что-то вспыхнет едва уловимо для глаза, а спустя минуту — еще раз, снова на одно мгновение, но уже сильнее, ярче — и давай полыхать, давай переливаться вдоль всего горизонта. Это зарницы, вспышки отдаленной грозы.

Так и с отлетевшими годами детства. Воспоминания о них — вроде степных зарниц во мраке былого. Но что же можно разглядеть при их внезапно вспыхивающем и быстро гаснущем свете, когда ты весь замираешь в изумлении и восхищении? И невольно закрадывается мысль: да так ли все вспоминается, как было в действительности? Ведь известно, что от всего давнего в памяти остаются едва приметные зарубки, вроде заплывающих живицей затесей на деревьях, какими первопроходцы отмечают свой путь.

Но ведь я и не собираюсь создавать строго историческое повествование о далеких событиях и судьбах людей, встречавшихся на моем пути. Да это и невозможно сделать за слишком давней давностью. Я мечтаю лишь о том, чтобы рассказать об одном лете своего детства так, как оно сейчас, на моей вечерней заре, вспыхивает в памяти, рассказать с предельной искренностью и той особой достоверностью, какая зовется поэтической, — именно в ней, по моему глубокому убеждению, и заключается наивысшая правда далекого времени.

В середине апреля 1919 года я впервые пережил огромное чувство разлуки — с домом, где прошло мое детство, с краем, какой познавал, едва научившись ходить по земле. Много в жизни было разлук, но та, первая, навсегда осталась особенно памятной, хотя со временем и погасла ее боль. Такой мучительно памятной позже стала для меня лишь разлука с Сибирью.

Долго, очень долго длилось мое расставание с маленькой родиной детства. Я лежал в передке саней, на пшеничной соломе,

заботливо укутанный в тулуп для дальней дороги, и, сплясав, все порывался приподняться и раздвинуть пошире лохматый воротник, еще хранивший знакомое избяное тепло. Только за крутым поворотом улицы, уходящей к темной гряде соснового бора, я наконец-то в отчаянии откинулся назад...

Отец совсем не понимал, как тяжело мне покидать родные места. Он сердито покрикивал на Найду, заставляя ее отстать от саней, а когда несчастная собачошка, жалобно скуля, все-таки приотсталала, начал весело посвистывать на Зайчика — так ласково звали мы, ребятишки, своего копя, атласно-белого, без единого пятнышка, с длинной волнистой гривой. Я догадался, что отец в хорошем настроении, и ему, возможно, даже хочется запеть: он любил петь, особенно в дороге. Что же его так веселило? То, что он увозил меня от дома, который ему самому всегда был чужд, и теперь его семья будет в полном сборе? Или то, что я, старший сын, только что закончил церковноприходскую школу и стал, по тогдашним понятиям, вполне грамотным человеком, каких еще мало в деревне? Или, наконец, то, что я расстался с дедушкой и бабушкой, хотя и не очень охотно, но молча, мужественно, втайне пожелав, таким образом, все-таки быть с отцом? Да что там! Не иначе как все это, вместе взятое, и веселило отца.

Он стоял во весь рост в задке саней, как часто любят ездить сибиряки, натягивая вожжи высоко поверх моей головы. Солдатскую шапчонку он с некоторой лихостью сдвинул на затылок, обнажив весь лоб и даже клочок темно-русого чуба; ворот поношенной, случайно раздобытой офицерской бекешки был растегнут, хотя шея и не повязана шарфом, — он не любил закутываться даже в трескучие морозы. Да ведь и молод и крепок был он тогда, мой отец, — ему шел всего лишь тридцать третий год. Добродушное, чистое, кареглазое лицо его, и всегда-то свежее, лоснящееся, от быстрой езды особенно посвежело. Не только той порой, но даже и перед своей старостью отец мой был истинно красив — мужественной, но одновременно и мягкой красотой, которая совсем не зря зовется русской.

Солнце где-то уже вошло в сосновый бор и, не торопясь в поднебесье, брело охотничьей тропой по чащобам. Высоченные гладкоствольные сосны жарко горели пачищенной красной медью до той черты, где срастались, закрывая небосвод, их кроны. На провесне ветры отряхнули с них весь снег, пошпибали сушняк, ветки, слишком отягченные шишками, лохмотья золотистой коры. За последнюю неделю снег в бору сильно осел, но еще повсюду в затененных низинах лежали сугробы: много его навалило той на редкость снежной и вьюжной зимой. Однако на взгорках все сосны уже стояли в лунках — проталинах. Южный ветер с предгорной степи ласково, но настойчиво, как заботливая мать, будил бор от зимнего сна. Просыпаясь, потягиваясь, расправляя плечи, бор шумел влажно, молодо, озорно. В сплошной хвойной гуще, закрывавшей небо, с озабоченными, неумолч-

ными криками носились вороны — подыскивали места для гнезд.

Должно быть, отец вдруг спохватился, что не сумел скрыть своего счастья, и, присев на одно колено, начал расспросы:

— Миша, ты дремлешь? Не озяб?

Избегая встречаться с отцовским взглядом, я лишь слегка пошевелил головой, утонувшей в воротнике тулупа. Все-таки мне казалось обидным его счастье...

— А ноги?

Над дорогой что-то просвистело. Я завозился в тулупе, поняв, что над нами пронеслась стая уток.

— Кряква пошла, — подтвердил отец. — Ну, теперь весна!

Оказывается, мы уже выехали на знакомую елань, где в низине все лето держалось, несмотря на любую сушь, небольшое мелкое озерцо с песчаным дном, полузаросшее осокой и кугой. Сейчас вся низина была уже затоплена голубой, с розоватым отливом, снежницей. На ней виднелась еще одна стайка крякв. Она отдыхала после долгого ночного пути при луне.

Ясноглазый от счастья отец обрадовался, заметив мое оживление, и завертелся в санях:

— Вон еще! Видишь?

— Здесь я летось ухлопал одну, — сообщил я небрежно, словно это случалось со мною не однажды.

— Из ружья? — живо и тревожно поинтересовался отец, никогда не увлекавшийся охотой ни на зверя, ни на дичь.

— А то из чего же? Из дедушкиной шомполки.

— Не испугался, когда стрелило?

— Не...

— А тайком брал его фузею-то?

— Он сам мне зарядил.

— Рано он баловать тебя начал! — определил отец огорченно. — С оружием и взрослым не до баловства.

— Чего там рано! — возразил я строптиво. — Мне скоро десять!

— Зимой будет. В ноябре.

— Осенью!

— А занозист же ты...

Над головой опять зашумел бор и заорали вороны. И мне невольно вспомнились наши ребячьи лесные походы. Мы росли свободнее, самостоятельнее, чем любые зверята. С ранней весны, когда низины еще залиты снежной водой, а в тенистых местах еще лежат потемневшие сугробы, мы ежедневно отправлялись в бор, и не столько в поисках развлечений, сколько в поисках дарового харча. Сначала мы обедались кандыком — диким луком, который на быстро согревающейся песчапой земле лезет повсюду, едва сойдет снег; позднее — сочным слизуном и кислым щавелем, затем свежим приростом на молодом сосняке. Ну а летом мы вволюшку наслаждались земляничкой, клубничкой, смородиной, малиной, черемухой. Попутно мы зорили земляных пчел,

вылавливали чем попало в обмелевших озерках жирных карасей, выдирали сладчайшие рожки — корни камыша...

Почему-то мне подумалось тогда, что ничего этого больше не будет, ничего — ни отчаянных дружков, ни смелых набегов, ни даров родного бора. И мне стало горько-прегорько.

Зайчик затрусил мелкой, осторожной трусцой; подтаявший зимник в бору был пробит копытами, а кое-где и размыт ручьями. Стало быть, мы уже выехали к небольшим пресным озерам, где обычно я рыбачил с дедушкой.

— Здесь золотой карась, — сказал я отцу, кивая на озеро, мимо которого ехали. — Дедушка его очень любит.

Отцу, должно быть, не хотелось поддерживать разговор о деде, и он немного помолчал, будто ослышался невзначай, но совсем промолчать ему было стыдно.

— А чем ловили? Сетями?

— Ставили и морды¹, и котцы²...

— Сети-то и нынче вязали?

— Всю зиму.

— И на Долгое за окунем ездили?

— А как же!

Удивительная ясность отцовских глаз немного призатуманилась, и он проговорил невесело:

— И ты рисковый, и дед твой дурной.

Обиженный за деда, я очень серьезно повторил его расхожие и, конечно, озорные слова:

— Зато прошел все огни и воды.

— Он сам сказывал?

— Так он же с генералом Скобелевым воевал!

У дедушки была большая репродукция с портрета Скобелева: важный, воинственный вид, расчесанная надвое белая борода, ордена, ленты... Дед был артиллеристом в войсках этого генерала и участвовал в его походах. Когда в наших местах установилась Советская власть, дед спрятал портрет Скобелева подальше от чужих глаз, а прошлым летом, после белогвардейского переворота, опять вывесил на видном месте в горнице. Все это, как я теперь-то понимаю, хитрый дед проделывал не без определенного умысла. Но тогда мы тот умысел деда не могли разгадать.

— Любит он генералов! — слегка осерчал отец.

— Дедушка говорит, он боевой.

— Все они волчьей породы!

И тут мы надолго замолчали.

На открытых местах снег осел еще сильнее, чем в бору: повсюду торчали низкорослые кустики, пеньки, срубленные по осени ветки и даже кочки с пучками сухой травы. На дороге

¹ Плетеная верша.

² Ловушка с крыльями для ловли зашедшей в нее рыбы.

стали чаще встречаться пробоины и промоины. Теперь Зайчик особенно осторожничал, переходя с трусцы на шаг.

— Сколько воды-то прибыло! — удивился отец. — Не знаю, как в степи. — Он взглянул на солнце, поднявшееся над бором. — Ой, погонит нынче снега! Не пришлось бы плавать!

Выехали на озеро Долгое. Сразу же за прибрежными камышами от дороги отделились вправо — на восток — свежие конные и санные следы: поблизости промышляли неугомонные рыбаки.

— Завернем, а? — вдруг предложил отец. — Обрыбимся. Из окуней-то сладкая щерба!

Я проворно выбрался из тулупа, встал на колени в передке, прикрыл рукавичкой глаза от солнца. За камышовым мысом близ перешейка виднелись дуги и лошадиные головы.

— Азартный народ! — воскликнул отец, сворачивая коня с дороги. — Вон как подтаяло, а они все едут! И верно, хуже неволи...

Все рыбаки оказались с нашей улицы. Они вырубили с десяток похожих на барсучьи норы лунок над большой, всем известной яминой в озере — над любимой стоянкой окуневых стай. Рыбаки горбились у лунок в поношенных, но добротных полушубках и собачьих дохах, подложив под пимы с обшитыми кожей подошвами маты из камыша. За утро около каждого рыбака уже выросла порядочная горюшка мерных, двухфунтовых окуней, растопыривших в предсмертных судорогах колючие плавники.

Сивобородый, горбоносый Агей Захарович Гуляев, глава огромного семейства, увидев нас, поднялся у крайней лунки и загоготал:

— Во, рыбаки-то! Во как спят!

Но тут же, поняв, что обознался, смотал удочку и пошел навстречу нашим саням. Следом за ним поднялся Родион Ильич Черепанов, коренастый, тяжеловесный, будто вытесанный из комля вековой сосны, с кудлатой бородицей. Немного помедлив, поднялся и покалеченный на войне хромоногий усач Игнатий Щербатый в пообтертой собачьей дошке. Но все парни, не получив на то особой команды отцов, остались сидеть у своих лунок.

Сухой и высокий, как вешка в степи, в собачьем треухе, старик Гуляев на ходу вытащил руку из лохматой рукавицы. Отец соскочил с саней.

— Берет?

— Хватает, — ответил Агей Захарович неохотно, как принято у рыбаков, из суеверной боязни спугнуть рыбацкое счастье. — Ну, понятное дело, совсем не то, что ране было. Бывало, вдвоем цельный пестерь за день надергаешь, едва лошадь тянет. Обозами возили окуня в Барнаул, во как! — Тут он через голову отца заглянул в сани. — О, и главный рыбак с тобой! Уезжаешь, стало быть? Дружки-то твои горевать будут. Иди подергай на прощание, пока мы курум,

Чтобы я не промочил пимы, он подхватил меня под мышки, поднял чуть ли не выше дуги и перенес к ближней запасной лунке. Усадив на чурбачок, крытый ветошью, подстелил мне под ноги соломы и подмигнул, подернув кустистой бровью:

— Сейчас созову!

Вытащив из-за пазухи изогнутую вроде полумесяца, для удобства обогрева у груди, фанерную коробку, открыл задвижку на одном конце ее и потряс ею над совершенно чистой водой в лунке, — в те далекие времена наши рыбаки пикогда не запорашивали лунки снежком, как это делается сейчас, скажем, в Подмосковье. Старик щедро вытрусил на прикорм в горсть необычайно подвижных водяных козявок, называемых в наших местах горбунцами, — они легко добываются с помощью мочала в небольших озерах, где их водится превеликое множество. Мгновенно разбегаясь, горбунцы бросились на дно. Не прошло и минуты, в глубине замелькали быстрые черные тени.

— Робь, — сказал дед Агей, вручая мне удочку с мормышкой, повязанной красной гарусинкой. — А вот тебе и лопаточка. Вытащишь — лужи его по боку. Ну да ты знаешь...

Поблизости рыбаки уже дымили самосадам.

— А ты, Семен Левонтьич, чего же? — обращаясь к отцу, заговорил Агей Захарович. — Даже и в солдатах не стал табашником?

— Обхожусь, — ответил отец с некоторой стеснительностью.

— Какой он солдат! — скрипучим, недовольным голосом заметил фронтовик Игнат Щербатый. — Посидел бы в окопах с наше...

— И хмельным не балуешься? — продолжал старик Гуляев.

— И без хмельного обхожусь.

— Он, должно, из кержаков, — тяжело передыхая, подал голос тучный Родион Черепанов; из его широкой груди дым выбивало, как из печной трубы.

— Нет, из старожил, — ответил отец твердо.

— В старые времена здесь вольно жили!

— Да, чуть повольнее каторжан...

Тут я вытащил первого окуня. Большой горбатый красавец, растопырив плавники, начал подпрыгивать, изгибаться на снегу, но я, не теряя времени, ударил его деревянной лопаточкой. Из окуневой пасти вылетела мормышка. Теперь я знал: началось! Придется дергать и дергать, пока вся жадная стая, гоняясь за горбунцами, не окажется в куче около моей лунки. Вскоре мне сделалось жарко в шубенке. В азарте, то и дело выхватывая окуней, я не всегда слышал, о чем разговаривали рыбаки с моим отцом. Так что в памяти остались какие-то обрывки...

Расспрашивал отца главным образом Агей Захарович, как старейшина па рыбацьем стане:

— Своим домом обосновался или как?

— Пока живем па кордоне.

— Плохо без свово-то угла.

— Обживемся — срублю домишко.

— Тебе не покупать. Вали любое дерево.

— Все равно, лес для всех — государственный.

— Ну ладно, ты взялся беречь лес при Советской власти, стало быть, для народа, — заговорил Агей Захарович раздумчиво. — Конечно, надо было беречь. Ведь мы, мужики, какие? У царя воровали лес, но с опаской: отберут топоры, пилы — как быть? А стал лес нашим, общим — вали его, надо и не надо! Ну а теперь воцарился Колчак. И лес-то, выходит, опять будет царским? Так зачем же его сейчас тебе сторожить, скажи на милость? Пускай народ валит!

— Не будет лес царским, Агей Захарович, никогда не будет! — ответил отец убежденно. — Стал народным — народным ему и быть! Потому и сторожу.

— А топоры отбираешь?

— Ни одного!

— Каким же чудом сторожишь?

— Словом, Агей Захарович, словом, — ответил отец помягче, видимо очень довольный тем, что озадачил старика. — Всем одно говорю: теперь, мужики, лес наш, берегите его вместе со мной и от порубок, и от огня, берегите для детей, для внуков — его мало в нашей степи.

— Неужто слушаются? — усомнился Гуляев.

— Народ, Агей Захарович, все понимает.

Одного громадного окуня, может быть вожака стаи, мне пришлось бить лопаточкой три раза подряд, пока из его нутра не вылетела мормышка, — он замер, изогнувшись в агонии дугой, зло косясь на меня стекленеющим оранжевым глазом.

— Так что же, стало быть, выходит, Левонтыч? — пытаюсь сделать какое-то заключение, продолжал старик Гуляев. — Выходит, у тебя есть надёжа?

— Есть!

Я невольно оглянулся на отца. Он стоял перед высоким, жердястым стариком, слегка выпятив грудь, и по выражению его лица я понял, что он готов, если потребуется, хоть весь день повторять выкрикнутое слово — и все с той же убежденностью, какая меня так поразила.

— Да ты, кажись, и в бога-то не верил? — подивился дотошный старик. — А теперь воп какой верующий! Так и режешь!

— В бога я, Агей Захарович, с малых лет не верю, — опять переходя на ровный, спокойный лад речи, поведал отец. — С той поры, как стал жить среди мастерового люда. У мастеровых один бог — совесть. А вот теперь — твоя правда — стал верующим. Твердо верю, что царское время отошло. Старому не бывать. Так и знай.

— Да ведь Советскую-то власть, сказывают, со всех сторон обкорнали! Остался, сказывают, один комель в Москве!

— Комель цел, а сучья нарастут!

— А если рубанут под самый корень?

— От корня пойдет!

— Попом тебе быть, — со смешком заключил старик Гуляев. — У большевиков, понятно. Записался?

— Собираюсь.

— Тогда опоздал, должно...

— Записаться в большевики никогда не поздно.

— Да теперь и записаться-то негде, — дымя уже новой сигаркой, сказал Родион Черепанов. — Все большевики разбежались кто куда.

— Пустое толкуешь, Родион Ильич! — сдержанно, но с укором попенял отец. — До поры до времени попрятались — другое дело.

— Одни попрятались, другие давно в сырой земле лежат, — с печальным вздохом человека, ожидающего в скором времени и своего конца, произнес Агей Захарович. — Вон сколько их с Петром Суховым шло! Сотни! А где они? Все, сказывают, в горах полегли. Всех побили. И самого Сухова...

— Пустая брехня, Сухов жив! — выкрикнул Игнатий Щербатый. — Его уже после видели. Ходит по горам, собирает силы. Скоро объявится.

— Не Сухов, так другой, вроде него, объявится! — горячо воскликнул отец. — И даже, может быть, скоро!

Вначале, прислушиваясь к мужскому разговору, я не забывал о своем деле — дергал да дергал окуней. Но теперь этот разговор заинтересовал меня настолько, что я уже не однажды опаздывал с подсечкой. Хорошо помню, что так или иначе, но я знал тогда от взрослых о некоторых событиях, происходящих в нашем крае. Помнил я, конечно, и то, как летом прошлого года из-за бора, направляясь к железной дороге, а затем в горы, через наши места проходили красногвардейцы Петра Сухова. Мы бегали смотреть на них к церкви, откуда почкальские мужики увозили их на своих телегах в степь. Красногвардейцы были пропыленные, хмурые, усталые от тяжелого похода и боев. Позднее в нашей деревне долго говорили об их гибели в горах. Теперь я впервые услышал от Щербатого, что Петр Сухов жив. Это меня поразило. Очень поразило меня и поведение отца, его сдержанная горячность, с какой он высказывал свои мысли, его страстная убежденность, что вместо погибшего Сухова может объявиться кто-то другой, который поведет за собой тысячи людей, и Советская власть опять расцветет в наших местах кумачовыми знаменами.

— Вот белая власть, та от корня не пойдет! — говорил отец, потрясая рукой перед грудью высокого сивобородого старика Агея Захаровича. — А потому, что у нее корень гнилой! Совсем гнилой! Сейчас вроде и выбросил побег, а вот наступит лето, припечет солнце — и конец! Зачахнут! Чем она живет, белая-то власть? Одной силой! Да у царя-то этой силы побольше было, и то все рухнуло! Властвовать надо умом, а не силой. Вот теперь эта свора богачей опять установила земства, создает бо-

евые дружины из своих толстомордых сынков... Есть у вас дружина?

— Рыщет, — ответил Гуляев, будто речь шла о волчьей стае.

— А что делает?

— Известно, большевиков выслеживает.

— Ну, само собой, и дезертиров, — добавил Родион Черепанов. — Как изловят — волокут в солдаты.

Отец кивнул на парней у лунок:

— А как же ваши?

— Да тоже дезертиры.

— Как же спасаются?

— Прячем.

— Разве так прячут? — осудил мужиков отец. — Совсем надо уходить из села! Совсем! На пашни! На займки! — Он обернулся к парням, крикнул: — Эй, ребята, слышите, что говорю? Прячьтесь, пока не поздно!

Ближний из парней ответил уныло:

— Холодно ипшо...

— Ну, посидите дома, будет вам горячо! Вот нагрянут беляки — обогреют так, что кожа лохмотьями сойдет!

— Я им, дуракам, давно толкую: уходите от греха подальше, — сердито проговорил Игнатий Щербатый. — Не успеют глазом моргнуть, как накинут уздечки и поведут, а там гаркнут: «Ать, два!» — и весь разговор! А за кого кровь проливать? За генералов, какие нас четыре года в болотах гноили? — И добавил решительно, твердо: — Я своего на днях куда-нибудь спроважу. С глаз долой.

— Ружьишки бы... — покряхтел Родион Черепанов. — Им оборониться даже нечем, а с голыми руками боязно.

— Ружьишки достать надо, — без всякой задержки посоветовал отец, словно у него заранее были приготовлены ответы на все мужицкие вопросы.

— Да где? Все оружие — у беляков.

— А вот у них и достать!

— Это ж... отбирать надо.

— Ну и отбирай! Чего гадать?

— Рисково...

— Зато верное дело, — с улыбкой заключил отец. — Сначала пригодятся для самообороны, а там — на всякий случай. Было бы оружие.

Меня все более удивлял отец. Впервые я отметил, что он во многом отличается от мужиков Почкалки. Судя по всему, он знает куда больше, чем его собеседники, да и, кажется, не все еще выкладывает на кон, хотя и говорит очень увлеченно, без всякой опаски.

Должно быть почувствовав на себе мой взгляд, отец обернулся:

— О, да ты, сынок, удачлив! — Он шагнул ко мне, раскидывая руки. — Вот и обрыбились. Теперь едем.

Он отнес меня в сани и закутал в тулуп: у меня немного озябли ноги. Мой улов он собрал в мешок, но не успел завязать его бечевкой — с пестерькой окуней подошел Агей Захарович. Упреждая возражения отца, потребовал:

— Бери, Леонтыч, не спорь!

Мне показалось, что такое одарение — не только от обычного крестьянского хлебосольства. Рыбаки вроде бы вознаграждали за что-то моего отца — может быть, за его убежденность и горячее слово совета. Теперь даже парни самовольно собрались вокруг наших саней. Все провожали нас в дорогу шутками, прибаутками, окуривая дымом самосада. И тут я впервые совсем другими глазами увидел среди них отца. Оказывается, он и внешне отличался от почкальцев: никто из них не знал бритвы, а он никогда не терпел ни усов, ни бороды. И речь его не была схожа с крестьянской, хотя в ней нередко слышались сибирские словечки, исстари бытующие в деревне. Всем своим видом, замашками, речью он походил пусть и на простого, но все же городского человека. «Почему же он непохож на других мужиков? — задумался я. — Ведь он тоже из деревни. Хотя... говорит, что вырос среди мастеровых... Где же?» И с этой минуты я незаметно позабыл о своих горестях, вызванных разлукой с родиной детства, и стал думать только об отце.

II

Мне не было и пяти лет, когда, вскоре после начала войны с Германией, отца мобилизовали и отправили, как столяра первой руки, в оружейную мастерскую военного ведомства в Иркутске. Не помню, как его провожали в солдаты, да и вообще плохо помню его до войны: отчасти по малолетству, а больше оттого, вероятно, что отец редко бывал дома — все столярничал по ближней округе.

Вернулся отец из Иркутска домой на повесне восемнадцатого года. Встреча с ним запомнилась навсегда.

Отец оказался очень добрым, ласковым, сердечным человеком. С детьми он мог возиться день-деньской. Сколько мы ни приставали к нему с пустячными расспросами, он никогда не выказывал и малейшего недовольства. О чем его, бывало, ни спроси, он отвечал с живостью, обстоятельно, словно радуясь случаю доставить нам удовольствие; что ни попроси сделать — делал немедленно, и тоже с радостью.

Вскоре я заметил, что отец не только с нами, своими детьми, но и со всеми людьми добр, отзывчив и на редкость общителен. Он не пропускал ни одного встречного, не обмолвясь с ним добрым словом и не справясь о его здоровье, — в этом отношении он всегда оставался верен законам старины. С любым человеком он сходилась легко, смело, доверчиво, раговаривал о чем угодно — о погоде, о хозяйственных делах, о происшедших и

ожидаемых перемен в семьях. Обладая изумительной памятью, он знал все сложнейшие переплетения родства в селе, помнил все давние и сколько-нибудь памятные события из сельской летописи. Конечно, все это было следствием его постоянного дружеского общения с людьми и его исключительной любознательности. Он был очень разговорчив, но не болтлив; очень общителен, но не надоедлив; очень сердечен, но при случае и тверд. Во всем у него была своя особая мера.

Из Иркутска отец привез большой ящик самого различного, редчайшего столярного инструмента, с помощью которого можно было творить чудеса — мастерить причудливые, затейливые рамы для портретов, вырезать — для украшения мебели — фигуры зверей, птиц, разные фрукты и ягоды, создавать целые картины из разных древесных пород. Привез он и две шкатулки своей подлинно художественной работы со сложной инкрустацией, еще краше той, что хранилась у матери. Оказывается, днем отец делал винтовочные ложки, а вечерами, живя в мастерской и не умея бездельничать, мастерил что-нибудь для души.

Хорошо помню, как отец раскладывал перед нами, детьми, свои тщательно сберегаемые инструменты. Десятки раз он повторял нам, рассеянным и забывчивым, их замысловатые названия и объяснял, для чего они предназначаются. Иногда он показывал инструменты и в работе. У отца было поразительное, поистине поэтическое отношение к своему мастерству. Он мог часами с необычайным воодушевлением и озаренностью во взгляде говорить о том, какое это большое, сказочное мастерство, идущее из глубочайшей старины, и каким чудесником может быть человек, владеющий им в совершенстве да еще с любовью, и как он может радовать людей своей работой. Твердо уверен, что отец, несомненно, обладал художественным даром и при известных условиях мог бы создавать настоящие произведения искусства.

Но кому они были нужны в те метельные времена, да еще в деревне? Тогда для отца не находилось даже и плотницкой работы, хотя его, как мастера, умеющего делать дома-терема редкой красоты, широко знали еще до войны. Никто не собиравался тогда строиться: не до того было крестьянам сибирской деревни, потрепанной войной да взбулгаченной не совсем еще понятной революцией. Правда, некоторые мужики из тех, кто побогаче да поухватистей, едва узнав, что лес стал народным (что означало по их понятиям — ничьим), бросились в бор с пилами и топорами. За зиму они завалили бревнами свои обширные дворы. И некому было остепенить зловредных порубщиков — почти все старые лесники, служившие царскому кабинету¹, были разогнаны.

Вот тогда-то я и узнал, что отец любит не только обработан-

¹ Все леса на Алтае были собственностью царя.

ное дерево, богато одаренное природой причудливыми рисунками и линиями, по п дерево на корню, в медной, золотой или серебряной коре. Возможно, что отцовское мастерство родилось именно из этой его любви к дереву во всей его живой нарядной красе.

Отец начал ходить по соседям и корить их — тихо и горько:

— Мужики, да что вы делаете? Зачем лес-то губите? Он теперь наш, поймите — наш! Его беречь да беречь надо.

Однажды ему ответили так:

— А вот иди и береги!

— А что? И пойду!

Так неожиданно он решил взяться за новое для себя дело. Это решение как нельзя лучше отвечало и его давней мечте: прекратить хождения в поисках столярной работы по округе и вернуться на постоянное жительство в родное село. Он поехал в Гуселстово и там устроился лесником.

С той поры я редко видел отца. Привыкший братья за любое дело горячо, он зорко берег лес не только от порубщиков, но и от огня: летом в сухих хвойных борах пожары случаются часто и бушуют озверело.

Мать долго не хотела покидать родной дом. Случалось, в распахнутые окна летели отцовы столярные инструменты. При этом горячая, вспыльчивая мать истошным голосом выкрикивала, что она не может с малыми детьми жить под чужой крышей. У отца позиции были весьма слабыми, и он уговаривал мать вповалот:

— Фрося, успокойся, Фрося...

И все же, несмотря на свою мягкость, отец проявил тогда завидную непреклонность. По первопутку, усадив в сани свое семейство, он перевез его в Гуселстово. Я остался у деда — доучиваться в школе.

С отцом я не виделся всю зиму. И вот наша новая встреча. Мне понравилось, что отец не такой, как все почкальские мужики, что есть в нем что-то необычное, редкостное, чего, может быть, совсем и невозможно приобрести в деревне. Теперь я думал о нем уже с сыновней гордостью.

III

Встреча с рыбаками на Долгом, несомненно, взволновала отца. По тому, как он, забываясь, то прищуривался и сводил брови, то распахивал ясные глаза, легко было догадаться, что он все еще мысленно продолжает разговор с мужиками и видит перед собой их лица. Стараясь, видимо, отвлечься, он иногда начинал осматриваться по сторонам и, увидев где-нибудь много воды, восклицал:

— Эх, ясно море!

Это восклицание было любимым у отца. Оно вырывалось по самым разным случаям и поводам. Чаще всего оно выражало радостное удивление, но нередко — и огорчение, и разочарова-

ние, и жалость, и недовольство. Каждый раз в зависимости от обстоятельств это восклицание в устах отца имело самые различные интонации. И тут я впервые спросил, откуда у него такое присловье.

— А я видел море, — ответил отец очень просто. — Как увидел, так сами собой и сказались эти слова. И с тех пор — всегда на языке.

— А какое море ты видел?

— Байкал.

— Это озеро.

— Нет, сынок, море, своими глазами видел, — возразил отец, как всегда твердо убежденный в том, что его зоркий глаз подвести не мог. — Да и в песне поется — «священное море». В песне!

Он знал десятки старинных сибирских песен. Всегда верящий во все, что исходило от народа, отец, естественно, никогда не сомневался в доподлинности того, о чем говорилось в песнях. И потому он всегда пел их так, словно рассказывал о пережитом кем-то из близких людей — то с раздумьем, то с тоской, то с болью. Голос у него был чистый, высокий, серебристый, и слушать его было всегда приятно, особенно в дороге.

Наконец выехали из бора и очутились в увалистой степи. Здесь отец еще раз воскликнул, явно с тревогой:

— Эх, ясно море! Степь-то уже запестрела!

Солнце с высоты слепило мне глаза, сильно пригревало. Я выбрался из тулупа, стал на колени в передке саней и тоже оглядел степь. Да, на ней в самом деле уже появились пестрицы, особенно на южных пологих склонах грив, на припеке. Истонченный солнцем, поздреватый, игольчатый снег рушился и оседал от легких дуновений южного ветерка. Везде в низинах снег стал водянистой кашцей. На высоких местах заледенелый, унавоженный зимник, избитый копытами, парытый промoinами, доживал последний срок. В ложки через зимник, будто на каменистых перекатах, струились внешние воды.

С малых лет на меня больше, чем люди и книги, оказывала поразительное, непонятное воздействие природа. Приход весны возбуждал особенно сильно. Все, что происходило на земле весной, казалось мне волшебством. И широкие порывы южного ветра, и бурное таяние снегов, и неумолчные крики пролетной птицы, и плывущие в вышине белые облака, и блеск свежей игольчатой зелени — все это каждый раз виделось, слышалось и ощущалось мною будто впервые в жизни, все поражало и очаровывало новизной. Тем сильнее сейчас отозвалось во мне пробуждение степи — мне еще не случалось видеть ее, весеннюю, так широко, на десятки верст вокруг.

Мне думается, что именно тогда и зародилась где-то в глубине моего существа одна из моих страстей — непременно рваться куда-нибудь каждой весной. Именно тогда мне открылось, что весна — это движение, порыв, полет. Так или иначе, но пер-

вое мое путешествие с отцом стало началом моих странствий. Я всегда чувствовал, что только в движении можно слиться и породниться с весной.

Когда мы поднялись на гребень самой большой гривы в степи, с которой открылись новые неоглядные пространства, у меня вдруг появилась забавная мысль. Я знал, конечно, что весна повсюду идет с юга на север, что у нее тысячи путей. Но какой-то из них — подумалось мне теперь — есть ее Главный путь, самый проторенный и любимый. А где он? Да уж не там ли, где мы едем? Ведь вот, гляди: именно в ту сторону, куда мы едем, рвется ветер, бегут ручьи, а в вышине, опережая нас, несутся птичьи стаи и облака. Я сразу же поверил своей выдумке и незаметно расстался со своей родиной детства. Мне стало думать уже об отцовской родине, куда вел Главный путь весны. Но на всякий случай я все же спросил отца:

— А Гуселетово на этой дороге?

— На этой, на этой, — ответил отец с живостью, радуясь, что я проявил интерес к его родине. — За степью будет другой бор, наш, Касмалинский. Видишь, синее? Это оп... А за бором — наше Гуселетово.

— А почему Собачьи Ямки?

— Это в старину так прозвали... — Отец очень не любил некрасивое прозвище родного села. — А село — вот увидишь — хорошее: у опушки бора, много озер.

— А почему ты уезжал оттуда?

Отец не ожидал от меня такого каверзного вопроса.

— И верно, вырос ты... Ну раз так, слушай.

И здесь, в степи, отец впервые рассказал мне историю своего края и своего рода.

Позднее отец повторял свой рассказ — по моей просьбе — не однажды, всякий раз по мере моего взросления дополняя его новыми подробностями. Последний раз он сделал это незадолго до войны. Меня поразило, что отец, редко читавший книги, весьма живо и обстоятельно повествовал о заселении Сибири, о жизни здесь беглых, ссыльных и приписных крестьян. И особенно то, что отцовские рассказы полностью совпадали с книжной историей. Стало быть, сибирские старожилы не надеялись на летописцев и заботились о сохранении для потомства своей трагической и героической эпопеи, передавая ее из уст в уста, от поколения к поколению.

ИЗ НАШЕЙ РОДОСЛОВНОЙ

I

В отчет крае есть речушка Касмала. От нее и получил название тамошний сосновый бор, протянувшийся узкой лентой между Обью и Иртышом. Бор славится бессчетными озерами —

птичьим и рыбным царством, знаменитой белкой, ягодами и грибами. Но никто, кажется, точно не знает, где истоки той полутаинственной Касмалы. Начинаясь где-то среди озер, в окружении сумеречных лесных чащоб, она течет — совершенно незаметно для людей — по заросшим осинником и черемухой пизинам, теряется в непролазных зарослях камыша, ненадолго мелькает на полянах, а потом опять исчезает от людского глаза.

Так и с нашей родословной.

Она во многом схожа с речушкой Касмалой. Где ее истоки — точно неизвестно. Может быть, она и не менее славна, чем иная. Известна до двадцатого колена, и не менее богата, чем у знатных значительными историями из жизни моих предков, но только кому надо было знать и класть па бумагу те истории? Тысячи тысяч таких историй остались навсегда неизвестными. А жаль, очень жаль...

Нет, совсем не честолюбие движет мною. Всего лишь обида за судьбу своих предков, да более того — желание показать, что даже самые безвестные из тех, к числу которых они принадлежат, сделали очень многое, прокладывая первые тропы по алтайской земле и обживая неведомый край.

...На заре XVIII века южносибирские лесостепи оставались неосвоенными, хотя и числились в пределах Российской империи. Сюда, где кочевали телеуты¹, в то время пробирались лишь немногие вольнолюбцы и отчаянные головушки, покидая давно обжитые и успешные оскудеть северные, таежные места. Их влекла молва о привольных и хлебородных землях, о богатейшей охоте и рыбной ловле.

Но вот дружины «служилых людей» наконец-то начали продвигаться — почти одновременно — в верховья Оби и Иртыша, строя, где надо, крепости для защиты не только русских поселенцев, но и местных жителей от набегов воинственных полудиких племен из Джунгарии. Постепенно в алтайских предгорьях возникла единая линия укреплений между устьем Ульбы, впадающей в Иртыш, и устьем Бии, впадающей в Обь. Южные сибирские границы Российского государства, таким образом, были закрыты. Это произошло, конечно, неспроста. Царское правительство вынуждено было всерьез запыться освоением щедрых алтайских земель. Сибирь, к тому времени уже довольно многолюдная, нуждалась в собственном хлебе.

И вот тогда-то в лесостепное междуречье верхней Оби и Иртыша, в предгорья Алтая, хлынул неудержимый поток русских людей, мечтавших стать вольными хлебопашцами, любивших превыше всего тяжкий, но сладостный крестьянский труд и разные промыслы. В первую очередь сюда начали передвигаться коренные сибиряки со средней Оби и с Тобола, за ними пошел

¹ Тюркская национальность.

люди из Приуралья, а там — и с казенных земель севера России. Много повалило и «гулящих людей» — беглых от помещичьей кабалы. Повсюду в те времена бродили «меж двор» люди, не помнящие родства, всякие «утеклецы» — кто бежал с каторги, кто от солдатчины, кто от расплаты за воровство и разбой. А позднее появились и «посельщики» — крепостные, сосланные за «предерзостные поступки ислушание». Так или иначе, а заселение южносибирских просторов шло довольно быстро. Русский народ, несмотря на огромные трудности, бездорожье, голод, холод и невзгоды, настойчиво осваивал и обживал новые земли.

Именно в то раннее время возникло сразу несколько деревушек и в отчем крае. В самом верховье Касмалы, небольшого левого притока Оби, на лесной поляне построилась, в частности, деревушка, прозванная Шаравиной. В числе первооткрывателей в ней были коренные сибиряки, поднявшиеся сюда со среднего течения Оби: Бусовы, Щаповы, Пьянковы, Дранниковы, Бубенновы...

В те же годы в Горном Алтае произошло событие, имевшее огромное значение для судеб всего края: вездесущие русские охотники, бродя по горам, натолкнулись близ Колыванского озера на давнишние разработки медной руды, добываемой людьми из племени чудь, и сообщили о своей находке известному уральскому горнозаводчику Акинфию Демидову. Тот незамедлительно отправил на Алтай своих рудознатцев и, получив подтверждение о существовании подземного клада, довольно быстро, как все умел делать, исхлопотал высочайшее разрешение на добычу алтайской руды. В сентябре 1729 года на Алтае задымил его первый медеплавильный завод — Колыванский, а затем начали быстро строиться и другие заводы, пареченные Демидовым Колывано-Воскресенскими, в честь того воскресного дня, когда охотники нашли богатейшие руды. Вскоре в ловких, загребущих руках Акинфия Демидова оказалась огромная территория (двести на четыреста верст!) — и как раз от нашей речушки Касмалы на севере до Ульбы на юге. Акинфий Демидов создал здесь свое собственное государство в Российском государстве.

Ненасытному заводчику хотелось размахнуться еще шире, может, на всю Сибирь, да вот беда — не хватало работного люда. Вначале Демидову разрешили брать на заводы и рудники людишек с паспортами. Но где таких было взять? По лесам и горам скитались главным образом «беспачпортные» — пришлые, бездомные. И Демидов, позолотив кому следует руку, исхитрился получить разрешение брать их в работные люди по вольному найму, а когда набрал несколько тысяч душ — добился царского указа, которым все они обязывались «быть при его заводах вечно». Так в одночасье самые неистовые вольнодумцы, искавшие укрытия, свободы и счастья на Алтае, оказались на позитивной каторге у Демидова.

И что же? Ему все было мало. И он добился нового указа: к его заводам «приписали» навечно пятьсот дворов государевых крестьян, а когда началось строительство Барнаульского завода (1742 г.) — еще двести: в большинстве это были свободные землепроходцы. Часть приписных, попавших в кабалу, казачьи команды согнали на заводы и рудники Демидова для постоянной работы, остальные должны были являться туда в назначенное время для отработки «подушного оклада».

Так началась длительная и необычайно горькая история приписных крестьян на Алтае.

Деревушка Шаравина тоже оказалась приписанной. По семейной легенде, мои далекие безымянные предки успели поработать еще на заводах Демидова. Правда, недолго. А потом попали из огня да в полымя.

Предприимчив, умен, хитер и удачлив был Демидов, но в тогдашнем мире на любого хищника находилась еще более сильный хищник. Узнав о том, что в демидовских владениях на Алтае много не только меди, но найдено и серебро, которое уже выплавляется тайно, да есть и золото, императрица Елизавета Петровна učinила ревизию, а затем повелела передать все заводы и рудники Демидова под управление царского кабинета. Так, одним росчерком пера, весь Алтай со всеми его землями, лесами, рудными кладами и заводами оказался государевой собственностью.

Что и говорить, у царского кабинета, конечно же, было гораздо больше возможностей развивать рудное дело на Алтае, чем у Демидова. Быстро начали перестраиваться демидовские и строиться новые заводы. Со временем на Алтае задымило шесть сереброплавильных: они давали в год до тысячи пудов серебра да еще медь и золото. Караваны с драгоценными слитками под усиленной воинской охраной двигались с Алтая в далекую столицу, прямо на Монетный двор, где из них чекапились монеты с изображением двуглавого орла.

Естественно, царскому кабинету, как только он взял в свои руки демидовские заводы и начал строить новые, немедленно потребовалось еще больше мастеровых людей. Взять их негде было, и потому к заводам были приписаны все без исключения пришлые, а затем еще пять тысяч крестьян. Время от времени приписка возобновлялась, пока в конце концов не были приписаны все крестьяне на огромной территории Южной Сибири. А уж позднее число приписных постоянно росло само собой — за счет естественного прироста населения и составило в конечном счете триста тысяч душ. Вот так царь-батюшка и стал самым крупным рабовладельцем на Руси.

В первое время наиболее молодые из приписных немедленно забирались на всю жпзнь в работные люди на заводы и рудники; некоторые из них обучались там и становились мастеровыми самых различных горнорудных профессий, хотя это обучение, как правило, давалось лишь многолетней изнурительной рабо-

той в тяжелейших и вредных условиях — при едко огнедышащих плавильных печах да в глухом подземелье горы Змиевой. Потом стали забирать молодых парней в счет будущих рекрутов, отправляли их вместо солдатчины на заводы и рудники. Рекрутские наборы производились в любое время, по усмотрению горного начальства, и в тех размерах, кои ему потребны, лишь бы это не приводило деревню к полному разорению. Уход молодых из деревень означал для них навечное прощание с землей, родней и более или менее вольной жизнью. Служба этих горемык была вначале бессрочной, а позднее равнялась... тридцати пяти годам. Все отбывающие воинскую повинность состояли в командах под начальством горных офицеров, подчинялись воинскому уставу и судились военным судом. Над ними издевались куда злее, чем над вольнонаемными. Их били все кому не лень — нарядчики, мастера, уставщики, все, кто надзирал казенным глазом за работой. Получали они за свой поистине каторжный труд грошовое солдатское содержание и хлебный паек. Им запрещались самовольные отлучки с завода или рудника, встречи с родными, женитьба. Им разрешалось одно: замертво падать в душных забоях или у печей.

Но большая часть приписных оставалась в своих деревнях. Их использовали главным образом на вспомогательных работах: они валили лес, выжигали уголь, подвозили руды, делали дороги и плотины на речках. Для отработки «подушного оклада» им приходилось отлучаться из деревень чаще всего на два месяца, не считая времени на дорогу, хотя иным и приходилось ехать за сотни верст. Такие длительные отлучки, да еще в летнюю пору, сильно отражались на благосостоянии крестьянских хозяйств, особенно новосельских, не успевших обжиться на пустом месте, обзавестись лошадьми и упряжью. И еще беда: все приписные крестьяне, несмотря на тяжелые заводские отработки, не освобождались от тех повинностей, какие несли государственные крестьяне в других местах, — подушных и оброчных податей, земских и мирских сборов. Короче говоря, с них драли сразу две шкуры. Сорок девять самых различных повинностей несли крестьяне казачьих деревень! Сорок девять! Да их и перечислить-то невозможно!

В царскую кабалу никто, конечно, не шел покорно. И против приписки к заводам, и против рекрутских наборов, и против каторжного труда, и против бесчеловечных повинностей — против всего этого алтайские крестьяне протестовали, как могли, как умели, сколько хватало сил.

Тогда редко где находились грамотей, но и при этом условия челобитные с выражением протеста против насилия и произвола шли по всем государственным службам — иной раз до самого Петербурга. Не находя нигде защиты, крестьяне, как и рабочие люди, зачастую снимались со своих мест и бежали в потаенные места, а то и за линию укреплений, где кочевали алтайцы, в таинственное царство свободы — Беловодье. А расколь-

ники, если не удавалось избежать приписки, в отчаянии, исполненные стойкой преданности вере, подвергали себя даже самосожжению. Случалось, сразу целыми деревнями. Но все это не очень-то тревожило горнозаводское начальство: несмотря на опасность оказаться в царской кабале, на Алтай пикогда не ослабевал поток беглых из России — измученному крепостному люду не давала покоя широкая зазывная молва о здешнем приволье. А вот массовые отказы крестьян от работы на заводах и рудниках иногда серьезно беспокоили царских слуг, ведающих горным делом. Особенно с тех пор, как и сюда дошли слухи о восстании Пугачева. В то время царское правительство вынуждено было даже несколько ограничить повинности приписных. Однако крестьяне продолжали с новой силой протестовать против заводских отработок. По этой причине Барнаульский завод ощущал большие перебои в доставке угля и руды, а Павловский — самый близкий к деревне моих предков — на некоторое время был даже остановлен. Крестьяне, бывало, не являлись на работу не сотнями, а тысячами. Всюду происходили бурные сходы. Это были уже настоящие бунты.

Негодующие крестьяне всегда встречали живейшее сочувствие и поддержку на заводах и рудниках: ведь приписные крестьяне и работные люди находились в большом кровном и духовном родстве. Их жизнь накрепко переплелась в самой глубине здешней истории. Их близость, постоянное взаимовлияние всегда являлись главным источником их стойкости и мужества.

Именно в те далекие годы русские первожители алтайской земли, варясь в одном котле невзгод и лиха, создавали свой особый, неповторимый уклад жизни, свои нравы и обычаи. В общей борьбе за счастье появлялся тот чудесный человеческий сплав, который и составил основной старожильческий слой на Алтае. Здесь получил дальнейшее развитие и тот особый, уже известный, сибирский характер, основными чертами которого являлись необычайное упорство, бесстрашие, открытость, честность, прямота...

Дух вольности, несмотря на тяжкий гнет, всегда витал над родным Алтаем. Потомки тех россиян, которые пришли сюда без страха, своей охотой, навсегда унаследовали от своих предков жгучую ненависть ко всякой кабале, гордую непокорность всякому насилью пад личностью. Со временем для них здесь, на Алтае, все притеснители и гонители слились в один образ — коронованного изверга. И потому с тех самых пор, когда вольный Алтай оказался в когтях двуглавого орла, для здешних людей царь стал самым главным и злейшим врагом...

II

В стародавние времена, как известно, семьи делились редко, инстинктивно спасаясь от пагубной раздробленности, грозящей обнищанием, но все же наш род хорошо ветвился в Шарави-

ной — там было несколько бубенновских подворий. Об алтайских первожителях из нашего рода не сохранилось никаких сведений, а из более поздних родичей старожилы называют семьи Графея, Варлаама, Григория, Пацфила, Луки... Некоторые из них вместе с другими однодеревенцами со временем отселились от Шаравиной. Оказалось, что основатель деревни, не рассчитывая, очевидно, на большое подселение и плодovitость будущих жителей, выбрал неудачное место — лесное, без необходимого простора. Недалече от Шаравиной, на речке Семёновке, отселенцы основали дочернюю деревню, которая впоследствии превратилась в большое село Островное — по имени ближнего озера.

Свою семейную хронику я начну с прапрадеда Луки, о котором мне рассказывал еще отец, а потом и некоторые старики старожилы. Это был человек спокойного, ровного нрава, очень работающий — на удивление людям, он не особенно тяготился даже подневольной, изнурительной работой. Отличный углежог и смолокур, он дожил до освобождения приписных крестьян, состоявшегося вскоре после отмены крепостного права. Привыкнув за долгую жизнь с достоинством нести свой тяжкий крест, он и после освобождения продолжал заниматься, конечно, уже не надрываясь, привычным делом. Уголь всегда требовался для деревенских кузниц, а смола и деготь — в любом крестьянском хозяйстве. К земле его не тянуло.

А вот его сын Захар, мой прадед, был человеком совсем другого нрава и склонностей. Буйно радуясь освобождению, он вскоре отделился от отца и начал быстро поднимать свое хозяйство. Он завел хороших лошадей и начал широко возделывать пашни. Зимой вез в город на продажу зерно, кожи, шерсть, мясо.

Захар был высок, строен и в бойцовские годы обладал чудовищной силой. Иногда он не то чтобы похвалялся ею, а так — беззлобно озоровал, не зная, на что ее употребить. Старожилы и сейчас с веселыми улыбочками рассказывают о Захаре разные байки. Вот одна. Говорят, увидел он где-то на склоне горы округлый камень, вроде валуна, и на спор с друзьями подхватил его обеими ручищами, сорвал с места. Камень, пока летел с горы, набрал такую скорость, что запросто снес и искрошил в щепы около сотни саженной добротной поскотины, да и еще, возможно, наделал бы немало бед, не попадись на его пути глубокая ямина. Сбежавшиеся на грохот мужики, словно онемев от восхищения перед богатырской силой, долго молча качали головами и, даже не ругая, не стыдя озорника, мирно попросили его сделать огромную прореху в поскотине.

Старший сын Захара, Леонтий, мой будущий дед, еще мальчишкой познакомился с малярной работой: окраской рам и дверей, разрисовкой ставень и голбца — дощатого примоста около русской печи с лазом в подполье. Но даже и обыкновенное малярство навсегда околдовало деревенского мальчугана. У него

пропало всякое желание возиться с лошадьми и работать в поле. А подросток — сам начал малярить, ушел из отцовского дома и поселился в Гуселотове.

Леонтий Захарович почти не занимался хлебопашеством и не хотел, чтобы его сыновья связывались с землей. Старшего, которого тогда звали Сёмшей, будущего моего отца, дед отдал на одиннадцатом годке обучаться столярному делу у знакомого благодетеля в Барнауле. Младшего сына, Гришу, определил в подручные к местному портному, бродившему с машинкой из дома в дом. Ну а с дочерьми вопрос решался просто: справить приданое и выдать замуж, только и всего...

Все шло своим чередом, и не так уж плохо, но вдруг тяжело и безнадежно заболела совсем еще молодая жена Леонтия Захаровича. Из Барнаула, проработав там десять лет и став отличным столяром, вернулся в деревню видный парень — Сёмша — попрощаться с матерью.

За время лечения и похорон Ольги Илларионовны бедняцкая семья деревенского маляра очутилась в больших долгах. Молодой мастер Сёмша не мог оставить семью в тяжелом положении и вернуться в Барнаул. Надо было срочно добывать деньги на месте, и он взялся за плотницкий топор.

Едва расплатившись с долгами, Леонтий Захарович, которому тогда было лет под пятьдесят, вновь задумал жениться, а на свадьбу опять требовались деньги...

III

В одном из сел на северной опушке соседнего, Барнаульского бора молодой мастер Сёмша поставил одному богачу, понимавшему толк в старине, редчайшей красоты дом: затейливой выделки карнизы, фигурные крылечки, замысловато выточенные перильца, окна в обрамлении сложнейшей кружевной резнины.

О мастере с золотыми руками заговорили по всей округе. Не только из ближних, но зачастую и из далеких селений приезжали поглазеть на искусно срубленный и отделанный дом. Все ахали, видя сотворенное топором да пилой деревянное чудо.

Однажды в деревне появился высокий суховатый человек в замызганном колушке, на удивление разномастный: черноволосый, но с рыжей бородкой да еще с несколько искривленным у самой горбинки носом. Бойкий на ногу, он быстро, сметливо осмотрел дом со всех сторон, поцокал, как белка, языком и пристал к молодому мастеру с расспросами:

- А столярное дело знаешь?
- Знаю.
- Резные рамы можешь делать?
- Могу.

И вдруг приезжий с маху предложил:

- Тогда по рукам, а?

Мастер заулыбался смущенно:

— Вы наперед скажите...

— Я из Почкалки — слыхал? Вот тут, за бором, — перебил его расторопный и бойкий на язык приезжий. — По прозванию Семен Митрич Бастрычев, а зовут меня в деревне запросто — Бастрычем. Запомнил? Ну, так вот яко дело... — В его речи хотя и очень редко, но встречались украинские слова. — Два года назад построили у нас церкву. Осадку уже дала. Теперь дело за обшивкой. Но с обшивкой-то я сам управляюсь!

— Вы плотник? — спросил молодой мастер.

— Я артиллерист, я с самим генералом Скобелевым воевал, вот кто я! — с гордостью ответил Семен Дмитриевич. — Ты думаешь, отчего у меня нос с кривинкой? Конь-зверюга хватил зубом! Я семь лет отслужил на царской службе. Я на все мастак. Вот общество и упросило меня обшить церкву. И я обошью! А ты мне нужен для главного дела — для иконостаса. По рукам? Матерьял есть, высушен, после пасхи, благословясь, можно и за дело.

Предложение было заманчивым. Правда, хотелось вернуться в Барнаул, к друзьям, но оттуда доходили тревожные слухи: все еще продолжались преследования за выступления в пятом году, шли аресты, суды... Выходило, что лучше переждать тревожное время в деревне. И Семен Бубеннов после раздумья решил поработать в почкальской церкви.

Через какое-то время, на радостях балагурия всю дорогу, Семен Дмитриевич привез молодого мастера прямо к себе в дом. Гостя желанно встретили приветливая хозяйка Софья Филипповна и худенькая, светленькая, быстроногая дочь Фрося...

...Безземельная семья Бастрычевых одно время жила в Изюмском уезде Харьковской губернии, потом двинулась на Кубань. У богатых кубанских куркулей всегда вдоволь было разной крестьянской работы. Все семейство Бастрычевых несколько лет батрачило в станице Упорной, недалеко от Армавира, сляпав себе из чего попало мазанку за околицей. Но и там они не разжились клочком земли.

Тем временем Семена Бастрычева взяли на действительную военную службу. Вернулся он только через семь лет, побывав на войне с Турцией. Увидев его, Софья Филипповна так и всплеснула руками: уходил ее муженек в армию нормального среднего роста, а вернулся — рукой не достать. Бабушка часто вспоминала этот случай: в самом деле, чудо же, человек достиг своего полного роста лишь на солдатской службе! А дед, бывало, всегда хохотал па весь дом, довольный тем, как надивил тогда свою нареченную.

Естественно, с возвращением солдата-артиллериста его семья стала быстро расти — одна за другой появились три дочери. И вот тогда-то Семен Дмитриевич Бастрычев, человек смека-

листый и решительный, надумал махнуть на вольные сибирские земли. Благо туда уже была проложена «железка», да и небольшая подмога давалась переселенцам казной, и земля нарезалась в законном порядке. Поселился Семен Дмитриевич в селе, которое по бумагам числилось как Второе Поломошново (хотя первого нигде вокруг не было), а в народе всегда звалось только Почкалкой. По-моему, зря все же не закрепили за ним это общепризнанное народное прозвище, а совсем недавно переименовали его в Новое Поломошново, хотя и старого нигде на Алтае нет! Так что село, где я родился, буду всюду называть привычным прозвищем — Почкалкой.

Но обжиться и в Сибири, имея свой надел земли, было не так-то легко. Пришлось Семену Дмитриевичу на скорую руку рассовывать дочерей замуж. Первой покинула семью старшая дочь Марфа, девушка редкостной доброты и сердечности. Она попала в жены к растяпе и лентяю Ананию Пичугину. Бездельник и пустобай, он, однако, быстро наплодил большую семью.

— Наплодил, пустобрех! — возмущался дед. — Сашка-Машка, Назарка-Казарка... Кто там еще? Он, Ананий, одно только и умеет делать!

Средняя дочь Анна, спокойная, с ленцой, была отдана за вдовца, переселенца из Нижегородской губернии, Евграфа Желудкова. Человек трудолюбивый, кроткого нрава, он уже успел обстроиться на новом месте и завести крепкое хозяйство. Дед всегда хвалил второго зятя, но и тут, верный себе, не обходился без подковырок. Грубовато подражая окающему волжскому говору, он выговаривал:

— Евграф-то? О, этот совсем другого сорта! Он нижегородский! А нижегороды — не уроды: не вор, так пьяница...

В доме осталась младшая, пятнадцатилетняя дочь. Ну, эту можно было и не выпихивать: годы-то идут, не успеешь оглянуться — и старость. Некому будет и воды подать.

Пока шли работы в церкви, молодому мастеру полюбилась худенькая, диковатая Фрося. Это немедленно приметил бывший артиллерист. О лучшем зяте он и не мог мечтать: у парня золотые руки, да и собой хорош, скромн, уважителен, не выпивоха. Стало быть, куй железо, пока горячо.

— От действительной ты освобожден, — говорил он парню, когда случалось оставаться наедине. — Что же теперь тебе делать? Жениться надо да укорениться, я так рассуждаю. Жениться немудрено, но куда ты жену приведешь? К отцу с мачехой? А попробуй-ка заведи свой! Все жилы вытянешь!

— Это правда, — смущенно соглашался молодой мастер.

Короче говоря, дело кончилось свадьбой.

...Года через четыре, подзаработав денег столярной работой, отец заявил, что хочет жить собственным домом и в своем родном селе. В доме деда разгорелся большой скандал. Не устояв против всех, отец пошел на уступки — согласился остаться в Почкалке, чтобы не отрывать мать мою от родителей и сестер,

но при непремепном условии: паша семья будет жить отдельно. В углу просторного дедовского двора он начал рубить сруб.

Я помню отца за работой. Помню, как он обтесывал сосновые бревна, как учил меня орудовать рубанком...

Но тут пачалась война с Германией. И когда отец ушел на военную службу, дед продал готовый сруб...

ОТЧИЙ КРАЙ

I

Где-то в увалистой степи, на Главном пути весны, я пересек важный рубеж в своей недолгой жизни. Для меня что-то кончилось у той незримой черты.

Свое раннее детство я помню очень смутно. С удивлением читаю книги, в которых люди вспоминают свою жизнь с мельчайшими подробностями чуть ли не с той поры, когда у них еще не обсохло на губах материнское молоко. Я не могу похвастаться такой памятью. Все, что было со мной до приезда в Гуселетово, плывет в сознании без определенной череды, мелькая, как в горном потоке. Иной раз кажется, что все мое детство — одно лето и одна зима. Но меня никогда не покидает ощущение большой временной протяженности и наполненности того одного лета и той одной зимы. Кроме всего того, что всплывает из далекой дали ярко, зримо, обжигая глаза, многое струится в глубине моего существа, как таежная речка, играя на перекатах, и вспоминается не столько памятью, сколько сердцем и кровью.

И свист пыльных бурь, налетающих из-за Иртыша, плеск июньских ливней, раскаты гроз над степью, серебристое журчание жаворонков, каким несть числа в наших местах, ласковый, убаюкивающий шум соснового бора, буйство метелей, волчий вой при луне...

И запах душистой земляники, собранной в туесок из бересты, хруст на зубах незрелой смородины, черемухи и костяники, сахарная сладость рожков — корней камыша, слегка припахивающих озерной тиной...

И вкус тепловатой, уже согревшейся от зноя воды в лагуне, хотя его и прятали от солнца, сладкая дрема под телегой в степи, где повсюду стрекочут косилки, где стоят при полном безветрии тончайшие запахи свежескошенной травы и привяленной клубники...

И ржание молодой кобылицы, подзывающей своего первенца-сосунка, и его радостный отзыв, а потом их топот в мелкоколесье, звуки ботала и шаркунца...

И дрожь от холодной росы на зорьке, когда приходится, на ходу продирая глаза, почти плыть по высокой лесной траве, чтобы отыскать своего коня, поймать его, распутать, забрать

на него с пенька или поставив ногу на поводья, а потом скакать вместе с дружками домой...

И мычание стада, возвращающегося со степи в облаке пыли, торопящихся навстречу хозяйкам измученных жарою и гнусом коров, звон первых молочных струй в пустом подойнике, спешащих к «молоканке» девушек с тяжелыми ведрами на коромыслах, заигрывание с ними парней, залиvistые песни в сумерках...

И чавканье карасей на мелких озерных плесах, шлепанье на лабзах, по тропкам в камышах, залитым водой, утиных выводков, спешащих из своих укрытий покормиться на вечерней заре, их шумное плескание и азартные поиски корма в тине, когда у них остаются на виду лишь трепещущие хвосты...

И треск спелого арбуза, раскалывающегося надвое, едва воткнешь в него нож, приятный холодок от сладкой и нежной арбузной мякоти, от льющегося в горло ручьем сока...

И свои крики радости, когда дед возвращается из бора, увешанный заочневшими тушками зайцев, пойманных в петли, и настоятельные просьбы отдать мне заячьи лапки: ими хорошо стирать написанное мелом на школьной доске...

И свои тревожные хлопоты вокруг еще мокрого, на рассвете внесенного в дом теленка, который все порывается встать на ноги с желтоватыми копытцами, а они скользят по полу и разъезжаются в разные стороны...

Все это и многое-многое другое, чего и не рассказать единым духом, — мое далекое детство. Не будь во мне, в глубине моего существа, всего, что струится, подобно таежной речке на перекатах, и вспоминается не одной лишь памятью, я был бы ничто. Не только то, что помнится, но и то, что полузабылось или даже забылось, — все для меня важно и значительно, все вошло в мою плоть и кровь навсегда и умрет лишь вместе со мною: и все голоса, и все шумы, и все мельчайшие события из детских лет.

Не так уж важно, что я плохо помню свое раннее детство. Все равно я его знаю до мелочей, я постоянно несу его в себе. Всего, что крайне нужно человеку про запас на долгие годы, всего у меня тогда было вволю. И кажется, что тех душевных богатств, какие мне удалось накопить в детстве, мне не растратить до самой смерти.

А вот с того дня, когда я ехал с отцом в Гуселетово, я уже многое помню очень хорошо. Помню многие события, зачастую до мельчайших подробностей, многие лица, многие разговоры. Вероятно, это произошло главным образом оттого, что все для меня той весной было внове: незнакомое отцово село, особый старожильческий быт, новые друзья и, главное, бурные события девятнадцатого года, захватившие всех от мала до велика. Считаю, что с той весны началась моя вполне сознательная жизнь, причем она выплеснулась за пределы дома, двора, улицы и даже села.

В Гуселетово мы добрались вечером.

Мать встретила меня очень ласково. И угощала, и привечала, и наглядеться не могла. Она нередко поражала нас, знающих ее своенравный, вздорный и взрывчатый характер, своей поистине редчайшей сердечностью и добротой. Поразителен был диапазон ее внезапных душевных колебаний — от нежнейшей ласки до жестокости. Поразительно и то, что она, всячески вымещая на ком-нибудь свою неприязнь, одновременно могла быть очень ласковой, доброжелательной с другим человеком, словно в ней сами собой — по воле природы — уравновешивались самые противоречивые чувства.

Тогда матери шел всего лишь двадцать шестой год. Однако она успела народить уже пятерых детей, из которых в живых было четверо: следом за мной, первенцем, шел Фаддей, которого звали в семье Фадиком, за ним — Петюшка, неугомонный говорун и выдумщик, и только что научившаяся ходить сестренка. Забот и хлопот у матери было, конечно, выше всякой меры: прокормить такую ораву — задача не из легких, когда на дворе одна буренка да с десятков кур.

К тому же мать и как хозяйка бывала очень разной — то слишком расчетливой, прижимистой, то совсем не умеющей сводить концы с концами, почти расточительной, хотя тут же надо отметить, что обладала изрядным для деревни кулинарным даром и выдумкой. Если было из чего приготовить еду, она готовила ее будто с песней в душе — и в доме у нас становилось тогда легко, празднично.

Естественно, мать очень обрадовалась окуням, привезенным нами с озера Долгого, и немедленно занялась приготовлением ужина. Впрочем, она умела делать одновременно несколько дел — и все быстро, ловко. Все так и вертелось и кипело в ее руках. Она все еще была худой, скорее всего от семейных забот; позднее, войдя в лета, она стала полной женщиной. Мать носилась по кухне, не разрывая подол юбки лишь потому, что он, подол, по тогдашней моде был и длинен, и широк. Ее голова с расчесанными на прямой пробор светлыми волосами, с легчайшей золотистой рыжиной, венчалась на затылке пучком, что придавало ей воинственный, задиристый вид. Серые глаза ее, временами поблескивая лазурью, радостно оглядывали из кути все семейство.

Огромная сковорода с жареной рыбой вскоре стояла на голом, свежевыскобленном столе. Положив перед каждым из нас по окуню, мать придвинула сковородку к себе. Она умела не только быстро работать, но и быстро есть, особенно рыбу — перед ней так и росла горюшка костей. Но вот окуни-то, должно быть, и подпортили ей настроение. Несомненно, она вспомнила, как ездила, бывало, со своим отцом на Долгое; между прочим, кроме нее, в Почкалке, кажется, не было ни одной рыбачки. Она была удачливой и незаменимой напарницей деду. Быстрее всех она вязала и сети.

И вот, едва опорожнилась первая сковорода, мать как-то сникла, поостыла и стала с некоторой хмурью, не предвещавшей ничего хорошего, расспрашивать меня о том, как мне жилось у дедушки и бабушки, какие они давали наказания на прощание. Конечно, ей вспомнилось, какой счастливой и безбедной она была в родном доме, и, конечно, подумалось, какой несчастной она стала в чужом селе.

А уж ночью-то мать, несомненно, одолевали и другие мысли — и о несбывшихся девических мечтах, и о ранней многодетности, и о тоскливой жизни на чужбине. Утром она была неузнаваемой — мрачной, вспылчивой. Она без конца придиралась к отцу, носясь по кухне. Втайне она, вероятно, и сама страдала оттого, что распаляется без всякой меры, но одернуть себя уже не могла.

— Завез! Нашел место! — Она так и резала отца острым взглядом. — Живешь тут как в берлоге! Людей не видишь! Одно чалдонье!

Отец, должно быть, забеспокоился, что меня смутят нелестные отзывы матери о гуселетовском житье-бытье, о старожилках. Не отвечая, как всегда, на выкрики матери, он прижал меня к себе, сказал тихоноcko:

— Одевайся. — Он был убежден, что Гуселетово мне понравится с первого взгляда. — И село поглядим, и дружка тебе найдем.

— Ему что! Дружки везде найдутся! — выкрикнула мать, обжигая и меня своим взглядом.

— Пойдем, — поторопил меня отец, но, собираясь переступить порог, все же сказал матери, не повышая голоса: — Люди и здесь есть. Только не отворачивайся от них, гляди им в глаза...

— А они наплюют!

— Ну, понесла...

В снях, у глухой стены, стояло несколько кулей с сосновыми шишками. Походя я ощупал один куль, спросил:

— Куда столь? Для самовара?

— А вот пригреет, высушим на солнце и выйдем семена, — ответил отец оживленно, радуясь тому, что я избегаю касаться только что происшедшей ссоры. — Собираюсь засеять несколько грядок.

— Засеять? А для чего?

— Вырастут сосенки, а потом мы их посадим в бору, — пояснил отец. — Много лесу, знаешь ли, вырубил. Надо подсаживать.

Я впервые услышал, что сосенки можно и даже нужно подсаживать в бору. До этого мне казалось, что лес всегда обходился и будет обходиться без вмешательства человека.

— Нет, подсаживать — верное дело, — возразил отец. — Только хлопот, знаю, много. Ну да без хлопот и жить скучно.

Вышли из сней.

— За эту затею мне уже попало, — сообщил отец на крыль-

це со сдержанным смешком, тем самым поучая меня, что к нападкам матери надо относиться снисходительно, как к природной женской слабости. — На грядках, говорит, морковку да свеклу надо сажать, а не сосенки.

— Один собирал шишки-то? — спросил я, затрудняясь определить, кто прав — отец или мать.

— Парни да ребята помогали. Увидали, что собираю, и привалили ватагой.

За воротами я сразу же оглянулся на бор. По всей опушке редко стояли одинокие раскидистые сосны, и только в глубине лес, смыкаясь кропами, поднимался темной гривастой волной. Казалось, эта волна вот-вот накатится и захлестнет село. Но оказывается, здесь сосен мало, их надо еще подсаживать.

От кордона лесная дорога, разделяя две улочки, вытянувшиеся по кромке бора, и пересекая ложбинку, выводила к центру села, на просторный пригорок, где стояли, образуя небольшую площадь, крестовые дома с резными наличниками и когда-то ярко раскрашенными филленчатыми ставнями — с них уже сильно пооблупились краски моего деда.

Через площадь проходил старинный Касмалинский тракт. На восток вдоль него, в один порядок, тянулась старожильческая улица Тюкала; второго порядка не было потому, что напротив, в большой котловине, лежало пока подо льдом, но сильно залитое с берегов снежницей, продолговатое озеро с цепью банек у берега; за озером, уже в голой, совершенно ровной степи, виднелась, сливаясь в одну темную полосу, новосельская улица, почему-то прозванная Гривой. А на запад, по обе стороны тракта, начинался увенчанный церковью Тобольский край, где, по словам отца, было еще одно большое озеро.

На площади, у самого тракта, стояла просторная, без всяких украшений изба, называвшаяся сборней, где проходили крестьянские сходки. От сборни, с пригорка, сбегала размываемая внешними ручьями, сильно уваженная степная дорога. За поскотиной она становилась едва приметной в обширной солончаковой низине, где уже всюду сверкала вода, а потом и совсем терялась из виду в необозримой целинной степи.

— Ну как? — поинтересовался отец.

Я ответил неопределенно:

— Далеко видать.

Но и таким ответом отец остался доволен:

— То-то!

От Почкалки степь, расстилаясь на юг, все время незаметно поднимается, становясь увалистой и холмистой. Там близок горизонт. Здесь же, от Гуселетова, открывались такие безбрежные степные дали, что дух захватывало. Эти дали вспыхивали на солнце хрустальной гладью наста, синью начинающегося степного половодья, серебряной чернью безлиственных голых колков.

— А озер тут сколь! — продолжал нахвалять свой край отец. — Вот увидишь, что тут будет, когда повалит птица.

Слушая отца, я продолжал всматриваться в незнакомые просторы. Все, что отмечал мой взгляд в степном безбрежье, было во мне неясные мысли, отвечало моему душевному порыву той мальчишеской цоры — как можно быстрее увидеть все, решительно все, что есть на белом свете.

— А как село? — спросил отец.

Я пожал плечами: никакого особенного впечатления оно на меня не произвело. Пожалуй, Почкалка даже привлекательнее, богаче на вид.

— Да, богачей здесь не так уж много, — согласился отец. — Но оно и лучше.

— Куда же теперь?

— Теперь к старожилам.

С пригорка, где вытянулась одпорядная Тюкала, через тракт, размывая его начисто, рвались в пизицу, торопясь залить все озеро, неумолчные весенние ручьи.

II

Филипп Федотович Зырянов — родом из Павловска, из семьи потомственных рабочих, добывавших серебро и медь на царском заводе. Он был одним из приметных и интересных людей в Гуселетове. Той весной, когда я увидел его впервые, ему исполнилось, кажется, пятьдесят. Но он был еще очень крепок, силен, подвижен и буен во хмелю. Ходил прямо, печатая шаг, поворачивался резко, взмахивая длинной седой бородой, отвечал кратко и точно — во всем его поведении, во всех его привычках чувствовалась многолетняя и строгая воинская выправка, не отступающая даже перед старостью. Сказывали, что раньше, до революции, он иногда, по праздникам, натягивал свой узковатый мундир, стараясь покапливанием обратить на себя внимание всей семьи, правой ладонью, вернее, ее половиной, только с большим да указательным пальцами, расправлял и укладывал в ряд три Георгиевских креста и две медали. Но давненько уже и мундир, и царские награды были упрятаны на дно семейного сундука.

Филипп Зырянов дважды побывал на военной службе. С действительной вернулся, когда ему перевалило за тридцать, в чине старшего унтер-офицера. Он был грамотен, смел, энергичен, от природы прилежен в любом, пусть и трудном, деле, а такие люди всегда цепились в любой армии. Отвыкнув от хлебопашества, он стал лесником. Молодые годы, считай, уже прошли, с женитьбой никак нельзя было медлить, и Филипп Зырянов начал действовать с привычной воинской напористостью и решительностью. Он не стал подыскивать себе ровню — перезрелую деваху или вдовушку. Нет, куда там! Он быстро прицелился на семнадцатилетнюю девчонку Иринку, черноглазую красавицу и певунью, в одночасье расшвырял во все стороны ее нерас-

торопных ухажеров и заслал сватов... Иринка к тому времени оставалась единственной дочерью у старожила Харитона Илларионовича Овчинникова. Конечно, сватам тут же был дан гневный отказ, а о Зыряпове сказаны такие слова:

— Ишь окаянный, кого углядел! Как коршун бросается на дыпленка! Да нет, не ухватить!

А Зырянов все же «ухватил»: через неделю украл Иринку, конечно с полного ее согласия. В безлюдном переулке закутал Иринку в тулуп, усадил в глубокую ямщицкую кошеву, сел с ней рядом и ткнул в спину дружка, сидевшего на козлах: «Гони!» Пара резвых коней была привычна к быстрой езде и дальним сибирским дорогам. Не успел мороз пробраться под тулупы — они пронеслись двадцать пять верст по тракту, вдоль бора, до волостного села Большие Бутырки. Оказавшись в церкви, сообразительный жепих приказал наглухо закрыть входную дверь. И только началось венчание, в дверь заколотили кулаками, забухали погами. Харитон Илларионович Овчинников то грозился, то безнадежно выкрикивал со слезным стоном:

— Варнак! Каторжное отродье! Распроязви ты в душу!

Попишко растерялся было, каясь, что обзарился на щедрую денгу, но Зырянов скомандовал ему негромко и властно:

— Батя, ать, два!

Ну а когда венчание закончилось, молодые вышли из церкви и, как положено было, пали перед Харитоном Илларионовичем на колени.

— Прости, родной батюшка!

— Прости уж... папаня!

Харитон Илларионович забушевал, всячески понося и обывая зятя-самозванца, но тут попишко, неожиданно осмелев после благополучного венчания, вдруг взыграл, захорохорился и строго, данной ему богом властью, осудил горячего старожила за богохульство перед святым храмом.

Свадьбу сыграли, конечно, по всем правилам, но и после все между новоявленной родней мира не наступило. И тогда решительный унтер-офицер, не долго думая, махнул с молодой женой в Барнаул — долой с глаз неугомонного тестя. В Барнауле он работал табельщиком на речной пристани, на Оби. Там у Зыряновых родился первенец Леонид, впоследствии врач; во время Отечественной войны ему волею судьбы пришлось командовать остатками полка под Москвой, где он и покоится в безвестной могиле.

Оставшись вдвоем с женой, Харитон Илларионович Овчинников взял себе в приемные сыновья осиротевшего паренька Павлика Гулько из ближнего степного села Романова, где жили новоселы-украинцы. Но тоска по дочери так и не утихла. И пришлось Харитону Илларионовичу отправляться в Барнаул к зятю с повинной. Долго он уламывал и улещал своенравного и занозистого зятя, но все же добился своего. Зыряновы вернулись в Гуселетово — на прежнее свое подворье.

Началась война с Японией. Филипп Зырянов оказался в Порт-Артуре. Там при взрыве японцами редута его ранило и коптузило. Побывав в плену, он вернулся с изувеченной рукой и Георгиевскими крестами. За ипвалдпность, полученную в результате ранения на войне, Зырянову установили пенсию. Но она не шла впрок. Как только ему присылали пенсионные деньги, по деревенским понятиям совсем даровые, в доме немедленно появлялись друзья-субутыльники. Начинались угощения, попойки. В пьяном угаре у Зырянова всегда пробуждалась душа службиста. Ни с того ни с сего он вдруг начинал командовать:

— Во фру-унт... становись!

Но субутыльников сильно шатало. Донельзя возмущенный слабой воинской выправкой друзей, Зырянов начинал негодовать, буйствовать и щедро раздавать всем зуботычины левой рукой, а затем и вышвыривать их из дома.

— Вот двухпалый вор! — поругивался Харитон Илларионович, узнавая о проделках зятя. — Левоу наловчился! И как дает-то!

При своей деловитости, воинской хватке и грамотности Филипп Федотович Зырянов мог и с изувеченной рукой завести крепкое хозяйство. Но он не обладал прижимистостью, жадностью и особой мужицкой хитростью, без чего нельзя было разбогатеть. У Зыряновых был небольшой пятистенник с голубыми ставнями, пара хороших меринов и немного скота — все только для своей нужды. Домик Зыряновых стоял четвертым по улице-однорядке Тюкала, если считать от центра села, как раз против озера.

В доме Зыряновых нас встретили очень радушно. Хозяйка Ирина Харитоновна, близкая родственница отца, черноглазая, подвижная женщина с мягкой улыбкой, бросилась нам навстречу и давай привечать — и пальтишко-то с меня сняла, и прижала-то к себе, и наговорила-то мне еще у входной двери много ласковых и похвальных слов.

И вдруг спохватилась:

— А Федюшка-то где-кась?

— Ищи-свищи, — хохотнув, ответил ей Филипп Федотович. — Его теперь с собаками не сыскать. Носится по всей деревне.

Ирина Харитоновна провела меня в передний угол, усадила на лавку у стола, успокоила:

— Погоди, явится твой дружок! — и бросилась в куть.

— Не хлопочи, сестрица, — отсоветовал отец, усаживаясь рядом с хозяином на голбце. — Мы ведь только из-за стола.

— Так я и послушаюсь тебя, так и послушаюсь! — возразила хозяйка весело, певуче. — Такие гостеньки у меня сѣдни, а я самовар не согрею?

— Тебе и угощать-то сейчас нечем, — заранее оправдывая

жену, сказал Филипп Федотович. — Одна картошка да капуста. Скорее бы уж кончался этот пост.

— Не грехи, Федотыч, не грехи! Чо есть, то и поставлю. Кто меня осудит? Свои ведь.

И верно, хлебосольная хозяйка выставила на стол все, что было у нее в запасе — и в доме, и в сених, и в погребке: половинки белого капустного кочана, огурцы, рыжики, грузди, соленый арбуз, сковороду с поджаренной на постном масле картошкой.

Едва мы, стараясь уважить хозяйку, принялись отведывать ее угощения, входная дверь распахнулась и на пороге, увидев гостей, остолбенел крепкий, щекастый мальчишка в распахнутой шубенке, в собачьем треухе. И все же гости его заинтересовали, кажется, меньше, чем выставленное для них угощение: все тарелки и чашки он быстро обвел сметливым, оценивающим взглядом.

— Во, легок на помине! Явился! Учуй! — проговорил хозяин с каким-то намеком и прикрыл неизуродованной пятерней улыбающиеся губы.

— Дверь-то, Федюшка, прикрой, — ласково сказала хозяйка. — Да поздоровайся с гостями, да садись за стол...

Федя разделся и выполнил в точности все, что велела мать, но за столом, поспевав, не утерпел и выговорил угрюмо:

— Опять капуста!

Теперь хозяин, не выдержав, расхохотался всюю:

— Ай надоела?

— В брюхе с нее урчит.

— Потерпи, сынок. — Ирина Харитоновна поласкала сына по льяной голове. — Еще немножко. Чо сделаешь-то? Сейчас за скромное боженька накажет.

— Поел бы он одной капусты!

— Господи, да ты чо, сынок?

— Бегает много, растет, — уже серьезно заговорил хозяин. — Голодно парню, а тут такой пост.

С Федей мы были одногодки. Почти одного роста, только я худенький, а он коренастый и, вероятно, покрепче, посильнее меня. Он проворно зачистил свой край сковороды, нахватался рыжиков и груздей, звучно хрумкал, умял ломоть арбуза вместе с корочкой. Больше ему за столом делать было нечего, и он немедленно удалился на голбец, откуда и стал оглядывать меня украдкой. Я тоже отказался от чая и, чувствуя, что Федю подмывает что-то, присел с ним рядом. Он тут же незаметно дернул меня за рукав, шепнул в ухо:

— Бери лопотину да пойдём-ка...

Нас не стали задерживать: знакомство будущих дружков состоялось и пусть себе занимаются чем хотят.

На крыльце Федя с загадочной улыбкой показал мне небольшое шильце, выдернутое им из щели в сених, и тихонько повторил:

— Пойдем-ка...

Гадая, что задумал Федя, я покорно пошел следом за ним через двор. Не оглядываясь, Федя торопил, помахивая мне рукой. Он явно затеял какое-то таинственное дело, и это меня немедленно подкупило: уж чего-чего, а разные таинственные дела мы обожали в детские годы.

И вот мы оказались в завозне, где стояли с поднятыми оглоблями ходок и два рыдвана, вдоль стен были уложены плуг, бороны, ботник, пестери, лагуны и какие-то большие дуплянки, вроде ульев-колод, но с такими дырами, в которые могла запросто пролезть крупная птица. Из одного угла, в котором были свалены тюки корья, заслышав нас, выскочила рябеньяк курица, похожая на тертку. Она молчком взлетела на рыдван, с него — на перегородку из соснового вершинника, разделявшую завозню с пригоном, где зимовал скот, и давай оттуда кудахтать ошалело, на весь двор.

— Кыш ты, холера! Разоралась! — прикрикнул на курицу Федя, воровато и приглушенно. — Снеслась — и валяй отсюда!

Курица нырнула в пригон, и тогда Федя, перебравшись через тюки, скрылся на время в углу завозни. Выбрался он оттуда довольный-предовольный и показал куриное яйцо.

— А то капуста, капуста...

Он осторожно сделал шилом прокол в скорлупе яйца и подал его мне:

— Высасывай. У меня еще есть.

Свое яйцо он высосал очень быстро и, обтерев губы, с удивлением спросил:

— А ты пошто не сосешь? Греха боишься?

— Узнают же, — подсказал я шепотом.

— Не узнают. Я дырочки свежим дерьмом замажу и опять их в гнездо.

— Найдут же!

— Это хитрющая курица, — пояснил мне Федя. — Она каждый год несется в разных тайных местах. А потом цыплят ведет. И мамка никак не может найти, где она скрывается и сидит на яйцах.

— А если отец найдет?

— Тогда он ей живо голову отрубит — и в чугунок, — ответил Федя, у которого все, что касается рябушки, заранее было предсказано. — Или безруеешь? Эх ты, дай сюда!

Он быстро высосал и второе яйцо.

— Погоди, мы скоро облопаемся яйцами, — пообещал он, весело подмигивая и улыбаясь так заразительно, что у него даже слегка вздувались круглые щеки. — Только не куриными, знамо, а утиными. Вон они, дуплянки-то. В них гоголихи несутся. Не знаешь?

В Почкалке я не видел таких дуплянок.

— На днях повезем на Горькое, — сообщил Федя очень деловитым тоном промысловика. — Мы там вешаем их на сосны, у

самого берега. А потом ходим да выгребаем яйца. Ловко? По-едешь с нами?

Я согласился, но смущенно.

— Ты не горюй, — поняв мое затруднение, успокоил меня Федя. — Вот тебе одна дупляшка. Моя. Отдаю. Да еще Алешка, мой старший брательник, даст. А может, и еще кто одарит...

До обеда мы обошли не только всю Тюкалу, но и еще две улицы под самым бором, где у Феди было несколько сверстников-приятелей. Все они, как я убедился, дружили той особой дружбой, которая складывается только у мальчишек одного возраста.

Зная о своей застенчивости и даже робости при новых знакомствах, я боялся, что в Гуселетове буду очень долго одиноким. А я не терпел одиночества, несмотря на нередко случавшееся со мною внезапное стремление к уединению, позволяющее отдаваться смутным мечтаниям. Оказалось же, что и в Гуселетове у меня, конечно с помощью Феди Зырянова, быстро завелись товарищи. Впрочем, многие из них, чтобы окончательно подружиться со мною и принять в свою ватагу, еще долго устраивали мне всевозможные испытания и проверки.

III

Через несколько дней, по последней санной дороге, потянулись гуселетовцы в бор, к озеру Горькому, ставить дуплянки для гоголей. Этим промыслом занимались, конечно, далеко не все сельчане и даже не все старожилы — потомки российских северян, которым оп, этот промысел, был известен со стародавних времен. Дуплянки ставили лишь те, кому по душе была старинная охота-добыча. У каждого двора было свое, издавна облюбованное место на берегу Горького.

С той минуты, как пошли мимо кордона сани с дуплянками, я потерял покой. Признаться, я серьезно побаивался, что некоторые из моих новых друзей, пообещавших одарить меня, могут и не сдержать своего слова. Но, словно догадавшись о моей тайной тревоге, у кордона неожиданно появился Федя на своем Бурке, запряженном в дровни, — на них лежали целых четыре дуплянки! Я стремглав выскочил из дома.

— Давай стащим во двор, — заговорил Федя, но почему-то невесело, словно запоздало раскаиваясь в своей щедрости. — Завтре и мы тронемся.

— Чего же тогда невеселый? — спросил я, не решаясь приступить к работе.

— Дознались, вот чо!

— Про яйца?

— Знамо дело... — И Федя, хмурясь, оглядываясь по сторонам, рассказал: — Алешка-то, мой старший брательник, узрел, окаянный, где она несется, да и сказал мамке. Ну, она туда...

А потом и бежит со всех ног с кошелкой. «Федотыч, Федотыч! — кричит с порога. — Да ты глянть-ка, глянть, чо за напасть-то эка? Яички-то все до одного пусты-пустешеньки! Да что же с нею, этой лихоманкой? Уж к добру ли, а?» А батя оглядел яйца и давай хохотать: «К добру, мать, к добру!» И глазом на меня косит: «Не пропадет наш Федька!» Ну разглядела мамка те дырочки — и чуть не в слезы: «Господи, Федюшка, грех-то какой!» И все. Дак лучше бы уж побила, чо ли...

Поделясь своей неприятностью, Федя быстро успокоился и с развеселой, хитровой улыбочкой предложил:

— Берись!

На следующее утро около кордона остановился небольшой обоз с дуплянками. Возглавлял его дедушка Харитон, большой знаток и любитель всякой охоты и рыбной ловли. Той весной ему шел семьдесят второй год. Дедушка Харитон был среднего роста и оттого, разговаривая, приподнимался на цыпочки: большинство сельчан были рослыми, а ему хотелось во время разговора смотреть им в глаза. Весь он был чисто седенький, но борода отливала подпалиной — не то к старости сам собой изменился ее цвет, как это случается часто, не то дедушка, без конца чадя самодельной трубкой, обдымил ее едким самосадам. Двигался дедушка Харитон всегда быстро, изворотливо, да и других заставлял поворачиваться на одной ноге, но сердиться на неуклюжих или растяп не умел — лишь восклицал с досады:

— А, будь неладна!

Я готов был к выезду на Горькое с рассвета. Сразу же после завтрака отец и я — в четыре руки — запрягли Зайчика в сани и уложили на них дуплянки. Так что, едва обоз остановился у кордона, я распахнул ворота.

— А я думал, спит еще промысловик-то! — сказал обо мне дедушка Харитон, даже не подозревая, конечно, как обижает меня своим подозрением.

— Где там! — защитил меня отец.

С дедушкой Харитоном отправлялся в бор его приемный сын Павел, сохранявший свою фамилию Гулько, и внук Андрейка, второй мой дружок в Гуселетове. На следующих санях везли дуплянки Зыряновы и их соседи братья Елисеевы — Иван первый, Иван второй и Васятка. Наши сани пошли последними в обозе.

Состав нашей охотничьей экспедиции был разновозрастным совсем не случайно. Дедушка Харитон отправлялся, чтобы давать советы в любом деле, на что он имел полное право, Зырянов-старший, как военный, — для поддержания строгого порядка в артельной работе, а все остальные — непосредственно для подъема и укрепления дуплянок на соснах — ведь надо было влезать без помощи лестниц как можно выше по стволам, чтобы не каждый, кому вадумается, мог опустошить загребущей рукой утиное гнездо. Правда, такие случаи были очень редки. Позднее все дуплянки, как правило, поступали в полное распоряжение маль-

чишек. Только они, обладавшие обезьяньей ловкостью, и занимались сбором яиц. По существу, для них, мальчишек, а не как подспорье в хозяйстве и велась эта охота-забава.

За последние дни снегу в бору заметно поубавилось — он таял теперь не только днем, но и ночью, а глубокий боровой песок поглощал влагу ненасытно. Многие пригорки, особенно где сосны стояли редко, совсем обнажились; они были густо усеяны шишками и припорошены слоем сухой хвои. Осевшие и почерневшие сугробы лежали лишь в сограх — в низинах, густо заросших черполосьем, но и там они постепенно тонули в снежнице. Во многих местах зимник сделался топкой хрупкой корочкой, которая зачастую трескалась от лошадиных копыт или от полозьев нагруженных саней. Местами лошадям приходилось тащить сани уже по голому, сырому песку. Мужики все время шли рядом с санями, иногда помогая лошадям, а мы, мальчишки, то приотставали немного от обоза и шумно мечтали о промысловой удаче, а то, как гончие, наперегонки делали большие круги в стороне от зимника.

Утро выдалось безветренное — редкое в наших местах для ранней весенней поры. Бодрящий запах влажной хвои густо, будто незримым туманом, окутывал землю. Только из согр, где лежало много перепрелой листвы, наносило тленом и застойной погребной сыростью. Из низин хотелось поскорее подняться на сухие пригорки, где дышалось легко, свободно. Здесь иногда чуть внятно, но уже пахивало и травяной новью — из песка показывались зеленые шильца пахучего сибирского кандыка.

Выбрались на побережье Горького. Это озеро, густо заросшее по берегам камышами, с небольшими островами, лабзами и чистыми песчаными косами, вытянулось по Касмалинскому бору, где расширяясь, где сужаясь, на десятки верст. Оно одно из самых больших озер в лесостепном Алтае. Вдоль его берегов, со множеством больших и малых заводей, по всему бору разбросаны десятки небольших озерков и непролазных, затопленных весной согр. Озеро Горькое лежит между Иртышом и Обью — на Главном, извечном пути пролетной птицы, стремящейся весной в северные края, а осенью — на теплый юг. По своему приволью оно не уступает и самым знаменитым степным озерам Кулунды.

Поставив лошадей под соснами, все мы вышли на берег — поглазеть на озеро. В прибрежных камышах была пробита просека — летом здесь стоят лодки и ботлики. Вся просека была залита водой, но дальше, по всей озерной дали, виднелся потемневший шероховатый лед.

— Еще поболее недели продержится, — определил дедушка Харитон. — А потом как дунет — за ночь и взломает.

Он уже дымил трубкой.

— Да, уходят времена! — Ему даже вздохнулось, хотя он, как я узнал после, не любил жаловаться на старость. — Я еще мальчонкой ставил здесь душлянки! Только те сосны давно со-

жжены... — Он спохватился, что не вовремя начал вспоминать прошлое. — Ладно уж, надо и за дело.

Сняв шапку, он троекратно перекрестился, истово взглядываясь в небесную высь над озером, потом оглянулся на всех нас, стоявших позади, и махнул рукой:

— А, будь неладна! Ленъ и лбы-то окстить!

— Дак нечем же! — лукаво усмехаясь, Зырянов повертел перед ним изувеченной рукой. — А двумя-то, по-староверски, не годится ведь, а?

— У других-то еще не оторвало!

Не отвечая, Зырянов начал подавать команды: кому разгрузить сани, кому собирать валежник, кому разводигь огонь.

— Ну, дак чо? — быстро смиряясь и оглядывая всех собравшихся погреть руки, заговорил дедушка Харитон. — Поди-ка наперво новосела на место определим, а? — Он заглянул мне в глаза. — Лазить-то по деревьям умеешь? А то, гляди, зря и поставим? Кто будет яйца-то выбирать?

Меня не испугало предстоящее испытание — искусством лазить по деревьям я владел в совершенстве. Правда, раньше мне приходилось лазить только в теплое время, когда бегал уже босиком. Но раздумывать было некогда. У комля ближней сосны, где лежала одна из моих дуплянок, я живо сбросил на землю пальтишко и стащил сапоги. Подумав, сдернул и шерстяные носки — мог ведь и порвать, делая дело...

Отец забеспокоился, что я простужусь. Не слушая его, я уже старался половчее охватить ствол сосны.

— Азартный, — одобрительно заметил дедушка Харитон. — На-ка вот, возьми шнур в зубы и лезь.

От шнура, когда-то промасленного для крепости, все еще пахло ворванью. Ну, не беда! Я быстро вскарабкался по сосне до того места, где должна была висеть дуплянка.

— Пойдет дело! — весело крикнул мне дедушка Харитон. — Так, стой на пеньках, а шнур перекинь через сук над головой. Так. Теперь опускай. А воды-то оттуда много видать?

Я оглядел Горькое. Поблизости за камышами всюду разлилось вешневодье, но дальше, до другого берега, где едва приметно маячила деревня Черная Курья, еще виднелась густо унавоженная зимняя дорога. По сторонам чернели острова с непролазными дебрями помятого камыша. Навсрху было свежо, даже слегка обдувало. «Прилетят — с середины озера увидят дуплянки!» — подумалось мне радостно. И только подумалось — увидел вдали уток. От радости чуть не сорвался с сосны.

— Уже летят!

— Касатые, — рассудил дедушка Харитон.

— Черной стаей!

— Тогда гоголь. Пролетный.

Поймав копец шнура, спускаемый мною к земле, дядя Павел, сероглазый, круглолицый мужик, вероятно, ровесник отца, но с окладистой русой бородкой, крикнул мне:

— Теперь слезай!

Опять мне приходилось испытывать то недоверие, какое обычно проявляют взрослые к мальчишкам, и во мне все задрожало от обиды:

— Я знаю, как ее повесить! Тяните!

Дуплянки бывают разные, но лучшими считаются сделанные из цельного неоскुरенного соснового чурбана аршинной длины, с гнилой сердцевинной, — гоголихе легче принять его за естественное душло. И укрепляются они на деревьях по-разному: ставятся на пеньки от сучьев, а поверху чем-нибудь привязываются к стволу, чтобы не сорвало бурей, или навешиваются на короткий пенек сука, для чего в верхней части дуплянки делается особая дырка. Первой мне и попалась вот такая дуплянка. Но из рассказов моих новых друзей я уже знал, как ее повесить на сосне.

— Да тяните же!

— Только не горячись, — предупредил меня отец.

Дядя Павел, слегка пятась от сосны, потянул за шнур и оторвал дуплянку от земли. Облегчая ему дело, я быстренько, без заминки помогал перетягивать шнур через сук. Зырянов по привычке подавал разные команды, все остальные молча наблюдали за моей пробой. Дуплянка была сухой, легкой и вскоре висела передо мною. Изловчась, я тут же без всяких затруднений подтянул ее, слегка развернул и посадил на обрубленный сук. Дуплянка повисла на южной стороне ствола, лазом в сторону озера, — пониже лаза была прибита полочка, где гоголиха могла присесть перед тем, как нырнуть в гнездо.

Во мне все ликовало, звенело и пело! Я не ударил в грязь лицом! С видом победителя я и спустился с сосны.

— И с гонорком, — заключил дедушка Харитон. — Если небольшой, дак ничо, даже помогает иной раз в жизни-то...

Отец торопил меня обуваться, одеваться и греться у костра, но мне показалось, что я и так весь горю. Я готов был сейчас же лезть на другую сосну, на третью, на четвертую... Уже и тогда если я брался за какое-нибудь дело, то отдавался ему с необычайной увлеченностью и горячностью.

У сосны, готовясь ко второй, более сложной операции, рядом стояли старшие братья Елисеевы: Иван первый и Иван второй. Они были погодки, но совершенно одинакового роста — высокие, крупные молодцы, будто из сказки. Голубоглазые, русоволосые, застенчивые, они походили друг на друга, как бывают похожи, пожалуй, только близнецы. Мне они казались совершенно неразличимыми. Да и дедушка Харитон, как оказалось, пугал братьев Елисеевых.

— Который же из вас Иван первый?

— Я, — ответил один из молодцов, опуская глаза.

— Тогда-ка первым и лезь.

А когда Иван первый, облапав, как медведь, ствол сосны, по-

лез вверх, сдирая руками и ногами лохмотья коры, дедушка Харитон обратился к Ивану второму:

— И пошто они тебя-то Иваном назвали? Мало ли хороших имен! Вон, скажем, Онуфрий, Парамон, Филофей, Флегонт, Сысой, Ераст, Лупон, Зосима... А, будь неладна! Не догадались сунуть попу два рубля! Любое даст, не заглядывая в святцы. Пожалели, однако...

Иван первый начал укреплять дуплянку на сосне. Он обжал ее в нижней части, вместе с сосною, заранее припасенным обручем из расщепленного надвое и выструганного талового прута — теперь никакая буря не сорвет дуплянку с сосны. Но я был убежден, что главная работа, конечно, сделана мною.

ОЧАРОВАННЫЕ ВЕСНОЙ

I

В те дни, когда я приехал в Гуселетово, прекратились ночные заморозки, всплески и падения весны. Она выровнялась, а затем, постепенно нарастая, овладела всей землей. Даже ночью, если хорошенько прислушаться, всегда можно было слышать журчание вешних ручейков, всюду пробивающих себе путь.

Под утро землю окутывали густейшие туманы. Не было расветов и зорь, а просто в положенное время туманный восток незаметно насыщался быстро растекающейся розоватостью. Боже мой, что творилось в этот розовый час! Чуя, что пора бы подниматься на крыло, но, должно быть, теряясь в зоревой мгле, гусиные стаи надрывались в озадаченной переключке. Мудрые лебеди, наоборот, трубили редко, но так протяжно и печально, словно навсегда прощались с небом. Заслышав лебедей, гусиные стаи замирали, пораженные, вероятно, и силой державных кликов, и их неизбывной печалью. Только когда, вызвав оцепенение во всей природе, лебединые голоса медленно затихали вдали, первыми, опомнясь, начинали переговариваться между собой журавли. Но переговаривались опасно, осторожно: курлыкнет один, ему через несколько секунд отзовется другой, а третий выждет еще дольше, прежде чем раскроет свой клюв. Но если уж разговор у журавлей выйдет без всяких помех, тогда опять осмелеют и повсюду затараторят гуси. А тем временем туман быстро насыщается густой золотистостью, и птичьи стаи, поняв, что наконец-то взошло солнце, совсем лишаются покоя. Гомоня на всю степь, они начинают подниматься ввысь. Продолжается великое весеннее кочевье.

Я уже говорил, что приход весны всегда возбуждал меня очень сильно, и все, что происходило весной вокруг, казалось мне чудом. Так было в Почкалке. Но то, что случилось со мной в Гуселетове, можно считать чем-то в роде наваждения.

Живя на самой опушке соснового бора, в окружении озер, наполненных кочующей птицей, я остро воспринимал малейшие признаки пробуждения природы. Слух мой стал необычайно обостренным: по свисту и хлопаю крыльев я различал полет любой птицы, издали слышал, как плотничают дятлы, посвистывают поползни, трескаются обогретые горячим солнцем шишки в кроне сосен или легонько шуршит от ветерка, завиваясь тонкой стружкой, золотистая пленка на сосновой коре. Зрение мое стало особенно зорким: издали я хорошо различал все оттенки оперения селезней разных пород, скорее всех замечал, где вылез из песка кандык или появились первые бутонсы сон-травы, от моего взгляда ни одна пичуга не могла укрыться в самой густой хвое...

Ничто не оставляло меня равнодушным. Все, что я ежеминутно видел и слышал, — все затрагивало меня, как говорится, за живое, все разжигало во мне живейшее любопытство. Я мог, скажем, подолгу и с большим наслаждением вслушиваться в шум бора.

— Ты пошто отстал? — спрашивали меня ребята.

— Слушаю, как бор шумит.

— Сроду не слышал, что ли?

Затаясь где-нибудь, я мог без усталости наблюдать за тем, как ласточка лепит свое гнездо.

— Ты чо тут?

— Да вон, ласточка...

— Чудной ты, ей-бо!

У меня, деревенского мальчишки, в отличие от многих моих друзей делового, практического склада, почему-то никогда не угасал интерес ко всему, что уже много раз было видно и слышано. Во всем, что было давным-давно знакомо, я каждый раз с удивлением открывал что-нибудь такое, чего не замечал прежде, и самые малейшие открытия меня радовали и обогащали. Эта моя привычка постоянно, с пристрастием наблюдать за природой, все время отыскивая в ней новое, не замеченное прежде, появилась у меня, как мне кажется, именно той памятной гусе-летовской весной и со временем стала моей второй натурой.

Днем мы, ребята, бродили около озер. Нигде не слышалось выстрелов — все ружья были припрятаны от белогвардейских властей, и пролетная птица совершенно не боялась людей. Тем более что мы по негласному уговору ходили даже без палок, каждый раз делая вид, что направляемся мимо, своей дорогой, а если и глазели на птичьи стаи, то не иначе как замирая на месте.

С каждым днем все более оживал извечный птичий путь над озерным краем. Вслед за криками, которые прибывали незаметно, небольшими стайками, и вскоре разбивались на пары, валом повалил гоголь. С металлическим свистом, подобно зарядам картечи, проносились гоголиные стаи над землей и с разлету врезались в озерные глади. Селезни тут же принимались

нырять, увлекая за собой самочек, — гоголи большие любители купаний на просторной чистой воде. Одновременно появилась белобокая и красноголовая чернеть. За селом, в степи, чернеть палетала стая за стайей, да так низко, что оглушала свистом, — должно быть, не успевала изменить свой курс, даже и разглядев нас на своем пути. Чернеть валила все гуще, все напористее, и уже казалось, что она заняла весь путь на север. Но тут появились табуны шилохвости. Они шли гораздо выше, в несколько ярусов, и не только со свистом, но и с особым шумом. Шилохвость останавливалась отдыхать на открытых степных озерах. Там от нее бывало черным-черно. Очень сторожкая, она дичилась людей. Но той же порой пришла доверчивая широконоска и округленькая, с плотной тушкой, свизязь. Обычно они гнездуются там, где много камышей, но в первые дни появления, осматриваясь, часто садились вместе с крикками на озере у опушки бора.

Прячась за прибрежными кустами ивняка или в чьей-нибудь баньке, мы зачарованно разглядывали красивейших весенних гостей. Особенно нельзя было наглядеться на селезней, сверкавших на солнце многоцветным брачным оперением. Какими только ярчайшими красками, чистыми, с нежнейшими переливами, не раскрасила их природа! Да с какой щедростью! Дух захватывало от одного взгляда на крикового селезня, царственно проплывающего по зеркальной водной глади! Серо-сизый, с зеленоватой изящной и гордой головой, в белом ошейнике, с бархатистым хвостом, украшенным завитками-кудряшками, он был, конечно, самым важным и нарядным из всех селезней. Однако совсем немногим уступал ему самец-широконоска. Он был расцвечен, пожалуй, даже ярче, наряднее, с большей долей изумруда и голубизны. Но вид его портил расплюснутый клюв, да еще неумение держаться на воде с достоинством и важностью. Одно загляденье был и селезень свизязи: светлый, охристый лобик, малиновая грудка, ярко-зеленые зеркальца на крыльях...

Все мы знали о сказочной жар-птице. Ну а чем же хуже были вот эти птицы, плавающие перед нашими глазами? И невольно думалось, что в жизни многое бывает не хуже, чем в сказке. Только знать бы, как природа творит свои чудеса? Вот разные утки: живут на одном озере, вместе плавают, вместе питаются тем, что находят в тине, а почему-то одеваются в разное перо. Вот селезни: сейчас красавцы, а ведь потом вылиняют, лишатся своей красоты, и лишь у самца свизязи почти полностью сохранится брачное оперение на все лето. Но почему только у него? Не чудо ли? У природы, оказывается, так много загадочного, так много тайн...

Но наше восхищение виденным и наши раздумья, если говорить правду, очень часто отступали перед охотничьей страстью, а точнее — перед голодом. Кто-нибудь из наиболее практичных друзей, чаще всего жадный и жестокий Ванька Барсуков, вдруг говорил затаенно:

— Вот бы из шомполки шарахнуть!

— Хорошо бы, — соглашались мы, хотя и не в лад.

— Похлебочки бы с утягиной! — вздыхал Федя Зырянов.

После этого у всех почему-то портилось настроение, все выжирались из скрадка, а утки, испуганно закрикав на разные голоса, поднимались с озера.

Ходили мы за село смотреть на гусей и журавлей. Это очень осторожные птицы, но нас они подпускали довольно близко — мы могли разглядеть их оперение, их лапки, носы и даже глаза. Иной раз мы останавливались перед какой-нибудь стаей, гусиной или журавлиной, и спокойно, не шевелясь, впивались в нее взглядами. Нам казалось, что и птицы разглядывают нас с любопытством, да так, вероятно, и было. Не знаю, как моим друзьям, а мне всегда чудилось, что они радуются нашему миролюбию, нашей заинтересованности их жизнью и тихонько начинают толковать между собой о нас — кто мы, откуда и чего нам хочется узнать? Ну а потом опять начинают освежаться внешней водой, чиститься и толковать уже о том, что пора бы и отправляться дальше, да вожак отчего-то засмотрелся в небо... И мне думалось в эти минуты: долетят ли они туда, куда летят? Не погибнет ли кто из них в пути? И удачно ли будет их гнездование в далеком северном краю? Уберегутся ли они от людей и зверей? А когда будут возвращаться назад, остановятся ли ненадолго опять вот здесь, близ нашего села? Хорошо бы нам знать птичий язык, а им — человеческий. Тогда бы мы не только перегляделись, а и поговорили по душам, и попрощались до осени. А осенью опять бы встретились и опять поговорили...

...Возвращался я домой всегда под вечер — голодный, мокрый, грязный. Покорно выслушав предсказания матери насчет моей дальнейшей непутевой судьбы, я развешивал всю одежду для просушки и, поужинав тем, что находилось в загнетке, в заветном чугушке, забирался отогреваться на печь. Она всегда была теплой, и я зачастую оставался на ней до утра.

Впечатлений, накопленных за день, было так много, что меня, несмотря на усталость, не всегда сразу одолевал сон. Но и засыпая, я не спал, а всего лишь, переступив какую-то черту, начинал жить еще более напряженной, взволнованной, а то и сказочной жизнью. Я видел еще больше чудес, чем днем, да каких! Если днем я мог только издали любоваться красавцами селезнями, то ночью — в цветных снах — я держал их в руках, ласкал их, поправлял им перышки на крыльях. Если днем я только мечтал поговорить с гусями и журавлями, то во сне я разговаривал с ними, и мы отлично понимали друг друга. Жизнь-сновидение даже утомляла, а то и пугала меня своей многозвучностью, многоцветьем и внезапной переменчивостью. Иногда я, должно быть, бормотал во сне, оттого и слышал тревожный голос отца, трогаящего меня теплой рукой:

— Ты что, Миша?

Отец и мать поднимались, как заведено в деревне, очень ра-

но. Вскоре и я, полупроснувшись, сползал с печи, выходил во двор и снова оказывался в розовом тумане. В нем ни зги не видно, но повсюду что-то творится, зарождается какое-то движение, слышатся то спокойные, то встревоженные птичьи голоса...

II

Хотя дружки у меня объявились в Гуселетове, и очень скоро, но, прежде чем окончательно принять в свой круг, они устроили мне немало испытаний, причинили немало неприятностей: одни — из любопытства к новичку в селе, другие — по причине дурных природных склонностей. Правда, Андрейка Гулько и Федя Зырянов в силу родственных отношений всячески старались оградить меня от излишних, иногда хитроумных испытательных затей. Но белобрысый и конопатый Ванька Барсуков, парнишка из богатой семьи, хвастливый, заносчивый и задиристый, часто строил против меня какие-нибудь каверзы, постоянно старался вовлечь ребят в забавы надо мной. Его без колебаний и неизменно поддерживал лишь остроносый, сильно гундосивший Яшка Ямщиков, хотя вообще-то был скрытен, себе на уме и не в пример другим богомолен, набожен. Он любил делать правоучительные замечания, за что его, бывало, дружно били все ребята, которым и без того надоедали поучения взрослых. Остальные ребята — Вася Елисеев, Егорша Долгих, Коля Черепанов, Галейка — относились ко мне вполне доброжелательно, что не мешало им, конечно, в каждом отдельном случае действовать по настроению.

К пасхе полностью закончился снегосход. В селе, где в летнее время колесо телеги врезается в песок по ступицу, где у домов иной раз наметает ветром песчаные сугробы, было уже совершенно сухо. Но в бору, по впадинам, и особенно в солопчачковой низине на север от села, за которой находились гуселетовские покосы и пашни, еще очень сыро. Оставалась неделя до пахоты. Она оказалась праздничной, для всех радостной, веселой, а для меня — полной всевозможных испытаний и немножко грустной.

Известно, что все деревенские развлечения начинались ребятами. Мы собирались у сборни или у церкви. Прежде всего все наперебой хвастались, зачастую изрядно привирая, что будто бы «облопались» с утра, в подтверждение чего даже показывали, надуваясь, голые животы. Но в эти минуты всех обычно забивал Ванька Барсуков — у него действительно больше, чем у кого-либо из нас, было возможностей «облопаться», и он мог в данном случае обходиться без привычного хвастовства. И поскольку в это время Ванька Барсуков определенно чувствовал свое превосходство над всей нашей ватагой, он всегда торопился извлечь из этого какие-либо выгоды. Именно он, Ванька Барсуков, и заметил, что только я один из всех не задираю подол

рубахи и не показываю свой живот. Толкнув меня в бок, он насмешливо спросил:

— А ты чего ел? Шишки?

И он, сильно вытянув шею и запрокинув голову, расхохотался. Да, конечно, он удачно намекнул на те шишки, какие отец мой собирал ранней весной, чтобы добыть из них семена.

— Правда, шишки ел? — переспросил меня простодушный Галейка. — От сосны шишки? Правда? — И он тоже залился так, что на его ресничках засверкали слезы.

Галейка был из бедной, единственной в Гуселетове казахской семьи. Она жила в саманушке на западной окраине села, пасла овец, занималась изготовлением сбриу, уздечек, ямлицких бичей и казачьих плеток, вила веревки из конского волоса и катала кошмы. Галейка был наивный, сердечный и честный мальчишка. Всегда и по любому случаю он был рад-радешенек залиться незлобивым смехом.

— Горька шишка, правда?

Насупясь, я молчал. Настороженно молчали и все ребята. И тогда Галейка, с запозданием почувяв в шутке Ваньки Барсукова что-то нехорошее, смущенно заморгал и отступил назад.

— Бежим! — вдруг крикнул Федя Зырянов.

Мне показалось, что он не случайно поспешил со своим предложением. Несомненно, он стремился предотвратить новую ссору между мной и Барсуковым. Да и знал он, что я хорошо бегак и, значит, могу показать себя перед ребятами с самой наилучшей стороны. Высокий, худой и легкий, я действительно бежал очень быстро.

Все охотно поддерживали Федю Зырянова:

— В Тобольский край!

— До конца улицы!

Не сразу, горячась, сдерживая друг друга, мы выстроились у сборни и под чей-то выкрик бросились в Тобольский край. Босые, в одних залатанных штанишках да ситцевых рубашонках, мы бежали бойко, азартно. Мой желудок в самом деле не был отягщен обильной пищей, и я быстро вырвался вперед, заняв плотную, утопанную лошадьми середину тракта. Конечно, тогда мне неведомо было, как надо хитрить в беге, — меня гнали вперед обида и самолюбие. Так до конца длинной улицы никто и не наступил мне на пятки.

Следом за мной пришел юркий и резвый Галейка.

— Ты как тарбаган: прыг, прыг, — похвалил он меня. — Я тебе бич дам, даром, — пообещал он, должно быть считая, что меня надо чем-то вознаградить за успех.

Постепенно стали подбегать остальные ребята — с потными лицами, взмокшими чубами. И надо же было тому случиться — самым последним подбежал, поддерживая штаны, Ванька Барсуков. Утираясь и гневно сверкая глазами, он пожаловался:

— Штаны, распрызави их, спадают! Говорил матери — заузь! Не захотела! Вот и побегай!

— Знамо, раз штаны... — несмело, угодливо прогундосил Яшка Ямщиков, рябоватый, тщедушный замухрышка.

Остальные ребята не прищипли в расчет оправданий Ваньки. Заговорили крикливо, насмешливо:

— Сваливай на штаны!

— Пузо пабито, вот чо!

— Правда, истинный правда! — обрадованно подхватил Галейка. — Знасшь барсук? Ты его порода! У тебя везде чистый сало. Сам хвастал: облопал! Зачем много лопал? Вот и отстал. А новосел шишка ел, вот и бегал, как тарбаган!

— Замолчи, киргизяка! — заорал на него Ванька Барсуков.

— Нехристь, он и есть нехристь, — поддакнул Яшка Ямщиков.

Но ребята любили Галейку и немедленно встали на его защиту:

— А ты чего загундел? Хошь — дам?

— Набожный, а гундит!

— Расквась ему нос, он и не будет!

До драки дело не дошло, но взаимоотношения в нашей ватаге сразу же испортились, и обратно к сборне мы двигались уже вразброд и молча. Однако вскоре у Ваньки Барсукова созрел какой-то план.

— А чего мы так идем-то? — заговорил он как ни в чем не бывало. — Лучше бы чехардой-ездой!

— Опять штаны спадут, — серьезно заметил Андрейка Гулько.

— А я их пояском подвяжу!

— Затягивай тогда потуже.

Андрейка Гулько, спокойный, уравновешенный парнишка, вступал в споры и драки очень редко. Он был немного старше нас, но в жожаки не лез, а если случалась необходимость — и говорил, и действовал смело, решительно. Ему приходилось уже во многом помогать отцу в хозяйстве, и поэтому он не всегда появлялся в нашей ватаге.

Ребячьи настроения переменчивы. Услышав предложение Ваньки, все мгновенно позабыли о только что случившемся раздоре.

— А чо, и правда, давайте чехардой?

— Станови-и-сь!

Ватага быстро растянулась цепочкой на тракте. И вот уже Андрейка Гулько, оставшийся позади всех, начал игру-забаву. Разбежался он быстро и, упираясь ладонями в согнутые спины ребят, прыгал легко и высоко. Вскоре он оказался впереди всей цепочки и, согнувшись, подставил свою спину.

Хорошо, ловко прыгали и другие ребята. Я был уверен, что тоже не подкачаю. То, что Ванька Барсуков встал позади меня, я считал простой случайностью. Заняв прочную позицию, я не дрогнул и сохранил равновесие, когда Ванька делал через меня прыжок. Оказавшись впереди, он крикнул мне:

— Не задерживай!

Но даже очевидное нетерпение Ваньки меня не насторожило. Сильно разбегаясь, я начал высоко взлетать над цепочкой друзей, чувствуя себя в большом ударе. Как всегда в любой игре, в любом занятии, я разгорячился и совсем позабыл об осторожности. Последний прыжок — через Ваньку Барсукова — мне хотелось сделать с особенным блеском, все во мне так и рвалось ввысь. Но в ту секунду, когда мои пальцы коснулись его потной спины, он вдруг слегка предательски присел. Потеряв опору, я по инерции пролетел над ним и ткнулся носом в песок.

— Да он и прыгать-то не умеет! — обрадованно заорал Ванька, обернувшись к ребятам. — Лезет на спину, лезет! Еле перелез!

Однако ребят нельзя было провести на мякипе. Сгрудясь, они двинулись по тракту толпой, неторопливо, поглядывая исподлобья, что же предвещало ничего хорошего. Перетрусив, Ванька Барсуков начал кричать о том, что я будто бы сильно толкнул его в спину, вот он и присел к земле. Тем временем я поднялся, протер подолом рубахи глаза, ощупал все лицо. Крови не было, это хорошо. Я знал, что Ванька подвел меня преднамеренно, и выкрикнул:

— Ты все брешешь, пузач!

А когда Ванька с испугом оглянулся на мой гневный голос, я бросился на него. Хотя я и часто дрался, как все деревенские ребята, но далеко не всегда умело и успешно — мне всегда мешали излишняя горячность, безрассудная отчаянность. Но в данном случае и горячность и безрассудность только помогли. За какие-то считанные секунды, не дав Ваньке проморгаться от неожиданности, я расквасил его нос так, что он «умылся юшкой». Опомнясь, Ванька начал угрожающе, но бесцельно размахивать кулаками. А мне удалось еще крепко съездить ему в ухо, а потом достать и по губам... Бывало, и меня били, и не однажды. Но в тот раз, разъяренный подлостью Ваньки, я дрался с безудержной напористостью и злостью. Никто мне не мешал, как и полагалось по нашим ребячьим законам, и, только когда Ванька, получив сильный удар «под дыхало», со стоном свалился на землю, ребята напомнили мне в один голос:

— Лежачего не бьют!

Что ж, правило есть правило...

Надо сказать, кстати, что все мы очень любили драться и зачастую дрались без всякой очевидной необходимости, без всякого повода, воистину полюбовно. Драки были одним из наших любимых развлечений. Любой из нас, встретив своего закадычного друга, мог самым разлюбезным топом предложить:

— Давай драться?

— Давай! — немедленно и охотно соглашался дружок. — Только мотри рубахи не рвать!

И начиналась драка. Вокруг быстро собиралась ребячья толпа. Все с живейшим интересом паблюдали за драчунами. Никто им не мешал, боже упаси! Ограничивались лишь советами:

— Бей его по сопатке! Бей! Бей!

— Молодец! Дай еще в ухо!

— Да не трусь, не трусь! Расквась ему мурло!

— Эх, раззява! Разве так бьют?

Но если один из драчунов падал, все бросались к его разгоряченному противнику, чтобы удержать того от нарушения священного правила: лежачего не бьют!

...Поднявшись, Ванька в смущении пробурчал:

— Еще бы... Налетел как петух!

Он не стал больше задиаться, а немного погодя, оказавшись рядом со мной, заговорил, к удивлению, даже примирительно:

— Ты чо налетаешь как петух?

— А ты не дури!

— Ну, ладно-ть, ладно-ть...

И вот тогда-то я, вероятно, впервые отчетливо понял, что никогда нельзя давать спуску злым и подлым обидчикам. Остепенить и вразумить их можно только битьем. С тех пор, признаться, я старался бить обидчиков так, чтобы они «умывались юшкой», и думаю, что поступал правильно.

...Все мы гурьбой вернулись к сельской площади.

Еще до появления парней и девок мы успели обновить установленные перед церковью качели. Ванька Барсуков и здесь не привязывался ко мне, но следил за мной неотступно, с нетерпением ожидая какой-нибудь моей оплошности. Когда мы качались с Федей Зыряновым, он молча стоял у одного из столов и иногда презрительно морщился, махал рукой.

— Врешь! — отвечали мы ему дружно.

Дело в том, что особым шиком считалось взлетать выше перекладины, чтобы через нее — хоть на одно мгновение — увидеть все село. Так мы и делали, разгоняя качели до необходимого предела. На наивысшей точке взлета немножко сжималось от страха сердце, но зато так приятно было со всей силой подбросить на такую же высоту товарища! А Ванька Барсуков хотел сказать, что мы качаемся плохо, трусливо. Стало быть, подумалось мне тогда, таким, как Ванька Барсуков, не вредно повторять уроки.

III

Не скажу, что все мы, деревенские ребята, отличались приущей многим детям жестокостью. Нет, мы очень любили, скажем, домашних животных, особенно их потомство. Как приятно было приласкать небоязливого жеребенка, почесать ему холку или около уха, дать ему на ладони крошки хлеба, ощутить его нежный, влажный, ищущий язык! Сколько радости было у нас,

когда мы, просыпаясь, видели внесенного ночью в дом еще необсохшего, причесанного материнским языком теленка, и как жалели его, когда он не удерживался на слабых, разъезжающихся ножках, и с каким восторгом учили его пить молоко! А сколько было у нас радостного визгу, если нам разрешали подержать на руках крохотного, всего в завитках, ягненочка, а он с испугу блеял, зовя мать! С каким восхищением мы наблюдали, как розовые поросята копошатся около растянувшейся на соломе матери, щца ее соски! Ну а о щенятах и говорить нечего. Мы могли играть и возиться с ними день-деньской и, можно сказать, делились с ними последним куском хлеба. А если кто осмеливался обижать щенят, тот становился нашим злейшим врагом.

Любили мы не только всех домашних, но и многих вольных птиц. Над всеми дворами у нас высились скворечницы. У многих водились голуби. Мы зорко оберегали гнезда ласточек. Никогда не обижали мелких пичужек, если находили их гнездышки или слабеньких птенцов, преждевременно выбравшихся на волю. Мы с упоением слушали пение жаворонков в весенней степи.

Но мы ненавидели воробьев и ворон.

Дело в том, что сибирские воробьи — настоящие разбойники, они совершенно опустошают огуречные гряды. Чего только не делали, чтобы спасти от них огурцы! Но все бесполезно. И потому мы в целях защиты своего хозяйства, плодов своего труда в определенное время безжалостно выдирали их гнезда.

Никакой пощады не давали мы и воронам. Они селились обычно поближе к опушке бора — из своих гнезд, с высоты, могли осматривать все село. Летом из-за ворон у ребят было много хлопот и неприятностей. Матери заставляли ребят стеречь от них, да еще от коршунов, какие тоже появлялись часто над селом, выводки цыплят, утят и гусят. Стеречь надоедало, а только забудешься, заиграешься — на дворе птичий переполох: хищницы сейчас же утащат какого-нибудь цыпленка. Ну и тому, кто зазевался, конечно, здорово попадало.

Зная, что их ожидает летом, ребята начинали войну с хищницами еще ранней весной. И вели ее беспощадно, всем ребячьим миром. Мы знали, когда в вороньих гнездах будут положены яйца, и уже тут как тут: облазим любые сосны, разметим все разбойничьи жилища, хотя иной раз вороны так и метят ударить тебя клювом в голову, так и бьют крыльями... Ничего! Все выдерживали! Если же настырные хищницы вновь строили гнезда, мы вновь бросались в бой с вражьей стаей! Естественно, тогда мы видели от ворон один вред...

Кажется, на третий день пасхи, вволю наигравшись в селе, вся наша ватага решила побродить по опушке бора, где уже было сухо, и узнать, много ли гнезд понаделали треклятые вороны. Время зорить их еще не настало. Да и не могли мы лазить по деревьям в праздничных рубахах: порвешь — не являйся до-мой.

Однако нам уже не терпелось — хотелось хотя бы подразнить и поугагать ворои. Гнезд было много. В них уже лежали первые яйца. Еще издали заметив нас, вороны начали метаться и орать во все горло. Хватая с земли все, что попадалось под руку, мы бросали в хищниц. Это сопровождалось разбойничьим свистом. Почти все ребята то и дело засовывали в рот пальцы и свистели так пронзительно, что вороны, бросая гнезда, взмывали и кружились над вершинами сосен. Вскоре в вороньем царстве поднялась всеобщая паника. Вороны метались над бором, как перед бурей.

Вот тут-то со мной и случилась беда. Я все время держался в сторонке, действуя наособицу, но ребята — очень наблюдательный народ. Не подозревая, как он может повредить мне, Федя Зырянов вдруг спросил меня при всех:

— А ты пошто не свистишь?

Я знал, что меня ожидает, но делать было нечего, пришлось сознаться:

— Не умею.

— Свистеть не умеешь?!

— Никак не выходит.

Немало я страдал с той поры, когда обнаружилось, что я не умею свистеть. У деревенских же ребят считалось, что без свиста невозможно жить. Свистом ребята вызывали друг друга из домов, перекликались в бору, на озерах, в степи. Свистом подзывали собак, гоняли голубей, пугали коршунов и ворон, когда они появлялись над селом. Без свиста, разумеется, нельзя было и скакать на конях.

Сколько усилий я затратил, чтобы научиться свистеть! Спрятавшись ото всех где-нибудь на огороде, за пригонами, я так и сяк растягивал губы, так и сяк засовывал пальцы в рот, тужился, но вместо свиста — одни слюни. Как ни горько, ни досадно было, а еще в Почкалке мне пришлось распрощаться с самой первой и заветной мечтой. За последнее лето, прожитое там, мне удалось научиться посвистывать лишь одними губами, но не сильнее, чем посвистывает суслик.

Ребята в Почкалке знали о моей беде и давно смирились с моей неполноценностью. Но теперь мне вновь предстояло страдать.

Гуселетовские ребята, как и почкальские, вначале не поверили мне, думая, что я шучу, потом отнеслись ко мне с большим сочувствием и давай учить:

— Ты вот так, вот так растягивай губы! И дуи!

— А если с пальцами — вот так! Пробуй!

— Ну, что ты?

К сожалению, я всегда легко поддавался уговорам. «А вдруг свистну? — подумалось мне тогда с надеждой. — Ведь я давно не пробовал, с прошлого года!» Надо было схитрить, попробовать сначала в одиночку, но у меня на это не хватило хитрости. Пе-

ред всеми ребятами я засунул в рот пальцы, начал тужиться, но у меня вместо свиста опять обильно потекли слюни.

— Га-а! — грохнула вся ватага.

Моя грубейшая ошибка развеселила Ваньку Барсукова. Презрительно сплюнув, как плюют табашники, он вскрикнул:

— Он и свистеть-то не умеет! Тьфу!

— Умею! — отрезал я, смотря на Ваньку в упор.

Да, вот здесь-то надо было стерпеть и смолчать, но я опять сделал глупость — взял да и свистнул, как суслик.

— Га-а-а! — еще дружнее залилась вся ватага.

Теперь даже лучшие мои дружки смеялись надо мной. Даже Федя Зырянов... Да и как, в самом деле, не смеяться, если человек не умеет свистеть? Тут можно лопнуть со смеха!

Едва ребята успокоились, как Ванька Барсуков с ехидно улыбающейся конопатой рожницей попросил меня:

— А ну-ка, слышь, свисти еще разок!

— Сейчас, — ответил я серьезно. — В самое ухо? — И сделал шаг вперед.

— Он опять! Опять как петух! — попятился Ванька.

— Трусишь?

Но на сей раз, едва мы сцепились, ребята растащили нас в разные стороны.

— Рубахи порвете!

Но я все же успел сделать одно открытие: привязчивые всегда трусливы. Не зря говорит народная пословица: пакостлив, как кошка, а труслив, как заяц.

Только много лет спустя я узнал о причине своей неполноценности. Вскоре после моего рождения обнаружилось, что я не могу сосать грудь матери.

— Язычок у ево присроспий, — пояснила бабка-повитуха после соответствующего осмотра. — Надоть подрезать.

Семейным консилиумом была назначена срочная операция. Дед наточил рыбацкий нож и подержал его немного в кипящей воде, а затем повитуха обмотала его чистой тряпницей, оставив открытым лишь носик, чтобы по оплошности не сделать лишнего разреза. Но встревоженной матери показалось, что бабка, несмотря на ее предосторожность, все-таки может повредить мне, — и перемотала тряпицу, оставив тот носик совсем небольшим. Повитуха поворчала на мать, кое-как ухватилась за кончик моего языка и, приподняв его немного, резанула по так называемой уздечке.

Все окончилось благополучно. Наголодавшись, я быстро освоился с первой в жизни работой. Но позднее стало ясно, что из-за боязни матери надрез был сделан недостаточным — я не мог высунуть язык, как это легко делали все ребята, запросто облизывая себе не только губы. И потому, когда я засовывал пальцы в рот, язык у меня не вибрировал, без чего не получается свиста, а лишь вздувался от натуги и закрывал все горло. По этой же причине в детские годы я говорил с легкой картавинкой.

Кстати, история с уздечкой продолжалась до последнего времени. Совсем недавно одна женщина-врач никак не могла понять, почему я не могу, как требуется, высунуть язык. Узнав наконец-то, в чем дело, она смутилась и предложила:

— Знаете что, давайте еще подрежем?

— О нет, избавьте! — отказался я решительно. — Пожалуй, и повитуха-то лишнего подрезала...

ОТЦОВСКАЯ ВЕРА

I

За неделю до пасхи, когда земля вокруг кордона пообсохла, отец, опередив всех сельчап, тщательно прибрал наш двор. Нет, это делалось им, конечно, не ради приближающегося праздника; просто никогда, нигде и ни в чем он не терпел беспорядка. Много я перевидал на своем веку людей. Не счесть. Но, клянусь, не встречал ни одного, особенно из крестьян, который мог бы сравниться с моим отцом в предельной аккуратности во всем, в любви к идеальной чистоте, изяществу, нарядности. Все у отца лежало и висело в определенных местах, ничто не было брошено второпях или от лениости где попало, да и надолго позабыто, сараи и хлевушки всегда вычищены, конь и корова всегда лоснились шелковистой шерстью, дрова нарезаны строго по мерке и уложены в прямые поленицы, в поильной колоде никогда не застаивалась колодезная вода, не нарастал, как у иных нерадивых, плюш зелени... В любом доме, где бы ни приходилось жить нашей вечно кочующей семье, пусть в самом запущенном, на любом заброшенном подворье, стараниями прежде всего отца, но не без помощи, конечно, матери, наводился и всегда поддерживался редкостный и несколько необычный для старой деревни порядок. Казалось, наша семья всегда жила в ожидании дорогих гостей. И одевался отец всегда очень опрятно: даже заплатки на его одежде казались сделанными не по нужде, а для украшения, как это делают неистовые поклонники моды в наши безбедные времена.

— Вот чистоплюй! — поражалась мать, хотя и сама никогда не была неряхой. — Ходит, со всего пылинки служдает.

Той весной я впервые помогал отцу в наведении порядка на нашем дворе. После деда, легко мирившегося с обычной крестьянской неряшливостью в хозяйстве, отец показался мне наделенным поистине поразительной страстью. Эта отцовская страсть оказала на меня огромное влияние. С той поры я всегда и во всем стал первым помощником отца и, кажется, многое от него перенял и сохранил в себе навсегда. Именно отцу я прежде всего обязан не только многими привычками в быту, но, что особенно важно, и привычками в предназначенной судьбою работе.

...Когда весь двор был прибран, ухожен, а мусор сожжен на огороде, отец прошелся с метлой перед кордоном. Потом сказал: — Завтра ходим к дяде Грише. Попроведем.

Я в недоумении вытаращил глаза:

— Но он же умер!

— К мертвым тоже ходить надо, если они были хорошими людьми, — грустно разъяснил мне отец. — Поправим могилку, поговорим с ним, вот он и будет рад.

По его словам выходило, что дядя Гриша, умерший год назад, будет доволен, если мы поправим над его могилкой холмик, не дадим ему совсем сровняться с землей. А уж мысль о том, что с дядей Гришей можно и поговорить, как бывало, окончательно меня смутила и растревожила.

Ночью я долго думал о дяде Грише.

Не знаю, на каком фронте он воевал, но, судя по всему, ему довелось побывать в тяжелых боях. По рассказам всех, кто его знал, дядя Гриша был очень мягким, добрым, смиреннейшим парнем, всегда смущающимся перед людьми, — возможно, отчасти потому, что считал себя некрасивым: в детстве его нещадно избила оспа. И вот такому тишайшему, совестливому парню дали в руки винтовку и заставили стрелять в людей, а то и колоть их штыком, хотя он не мог обижать даже зверушек и птиц. Можно ли понять, что происходило в душе этого парня из сибирской глуши, завезенного в чужие края, перед боями и во время боев, когда на его глазах немецкими снарядами разворачивало блиндажи и разрывало в клочья однополчан? Дядя Гриша был контужен и отравлен газами. И мягкая душа его не выдержала страданий: известно, что во время русско-германской войны психические заболевания были очень частыми на фронте, это отмечают и военные врачи, и писатели, и другие свидетели событий.

Не знаю, как дядя Гриша под осень семнадцатого года добрался до своего родного села. Его приютили и приласкали Зыряновы. Но вскоре он появился в Почкалке, в доме дедушки Бастрычева — решил попровесть нашу семью и узнать что-нибудь о своем старшем брате, который еще не вернулся из Иркутска.

День-деньской дядя Гриша обычно хлопотал по двору, охотно помогая дедушке в любом крестьянском деле, каких не счесть, особенно осенью. Но когда выдавалось свободное время, он любил позабавиться и с нами, своими племянниками. Конечно, мы не замечали, что дядя Гриша — большой человек, да и взрослолето, как оказалось, догадались об этом далеко не сразу: в поведении дяди подолгу не замечалось каких-либо отклонений. Пожалуй, эти отклонения и были-то впервые замечены во время его занятий с детьми.

Однажды, раздобыв у нашей матери, которая сама обшивала семью, клеенчатую ленту с делениями, соответствующими делениям аршина, он с наисерьезнейшим видом начал обмерять меня, как это делают портные, принимая заказы на шитье одеж-

ды. Я охотно вертелся перед дядей Гришей. Мои братишки запыли в один голос:

— И меня! И меня!

— Сейчас и ваш черед будет, — успокоил их дядя Гриша.

— Дядь Гриш, а для чего обмеряешь? — спросил я нетерпеливо.

— Рубаху тебе сошью и штаны, — увлекаясь своей затеей и оттого веселея, ответил дядя Гриша, должно быть, всегда тосковавший по своей прежней работе.

— А из чего? — задал я по легкомыслию каверзнейший вопрос: шить-то, конечно, не из чего было — ни ситца, ни холста.

— Вот братка приедет из городу и привезет разного матерьялу, — уверешо ответил дядя Гриша. — И на рубашки, и на штаны.

Братишки закричали наперебой:

— И мне? И мне?

— Всем, ребятушки, всем привезет! — У дяди Гриши ожило и даже посветлело землистое, нездоровое лицо. — А я вам все сошью. Я умсю. У вашей матушки, у Апросиньи Семеновны, машинку выпросим, а у дедушки ниток: у него есть, я знаю, на сеи запасены.

— А когда приедет наш папа, а твой братка? — спросил я, уже видя себя в новых штанах с помощью через плечо и в синей, усеянной белым горохом ситцевой рубахе.

— Завтра, — не задумываясь, ответил дядя Гриша.

Мы начали дружно прыгать и визжать от радости. Дядя Гриша, очевидно, был в восторге оттого, что мы верим ему, и сам заразился нашей истовой верой. Он все твердил и твердил, как заклинание:

— Завтра, ребятушки, завтра!

Он очень ждал нашего отца.

Никто из взрослых не мешал дяде Грише забавляться с нами, не оспаривал его заверений, и мы, отметив это, пропиклись к нему полнейшим доверием. И нашему веселью не было предела.

Утром все взрослые, как обычно, поднялись затемно. Я тоже проснулся, когда загремели в кути дровами и ведрами, и слышал, как дядя Гриша, одеваясь, сказал:

— Пойду встречу братку-то.

— Да не приедет он без письма, — остановила его мать. — Не морочь ты, Гриша, ребятам головы!

Но дедушка возразил:

— А почему бы ему не приехать? Вон уже сколь солдат возвратилось! С фронта! А наш в Сибири! И так уж задержался что-то... Ну а письмо по нынешним временам может и затеряться. Только сейчас-то, в такую рань, он, понятно, не может прибыть. Не поедет же он со станции в ночь-полночь. Вот позавтракаем, тогда и ждать можно.

Но дядя Гриша, выслушав дедушку со смиренной недоверчи-

востью, молча нахлобучил солдатскую шапочку и вышел из дома. И только тут дедушка промолвил задумчиво:

— Да, видать, головное увечье...

Но я не понял тогда смысла слов дедушки.

К завтраку дядя Гриша возвратился с грустным и отрешенным взглядом. За стол уселся молча и ел неохотно, мелко отщипывая хлеб. Раза три, услышав лай Найды, бросался к двери:

— Не братка ли?

Такие сцены стали повторяться часто.

В нетерпении дяди Гриши мы, дети, не видели ничего страшного — с немненьшим нетерпением и мы ждали возвращения отца. А взрослые при нас никогда не говорили о болезни дяди Гриши. Но один случай с ним вскоре заставил меня все же задуматься и насторожиться. Однажды, отправясь на огород, к бане, которую затопили с полчаса назад, я увидел бегущего навстречу дядю Гришу с пустым ведром в руках. Он был очень встревожен и, встретясь со мной, торопливо сообщил:

— Я залил огонь-то, залил!

Оказалось, он залил огонь под каменкой. Когда я сообщил об этом дедушке, тот с грустью повторил свои слова:

— Ничего не поделаешь, головное увечье.

— А отчего?

— От войны.

А потом я стал примечать, что дядя Гриша всегда сторонится затопленной печи на кухне, никогда не смотрит на огонь. И если, бывало, принесет по просьбе матери беремья дров, то, быстро свалив их в куги, немедленно бросается прочь.

Выпал снег, а отца все не было, и дядя Гриша совсем примок, перестал забавлять нас, детей, и неохотно брался за хозяйственные дела. Все в нем будто угасло.

И тогда дедушка решил отвезти его по первопутку в Гуселетово, к родным и друзьям, вероятно, в надежде, что там ему будет веселее жить и легче ждать брата.

Гуселетовцы рассказывали, что в середине зимы, в дни становления Советской власти в алтайских деревнях, дядя Гриша несколько прибодрился и любил бывать на сходках, которые собирались около сборки почти ежедневно. Всех ораторов он слушал внимательно, то очень задумчиво, то с легкой улыбкой, но никогда не поддавался бушевавшей на сходках стихии, никогда не выступал с речами, из чего я делаю заключение, что в то время он был, несомненно, в здравом уме.

Вернувшись наконец-то из Иркутска и узнав о трагедии брата, отец немедленно отправился в Гуселетово и пробыл там с неделей. Жаль, что я не был свидетелем их горькой встречи. Но Федя Зырянов успел рассказать мне, как они, встретясь, долго сидели друг против друга за столом и то один, то другой, со слезами на глазах, едва выговаривали всего лишь одно слово: «Братка!»

Они будто молились друг на друга.

Отец пытался, но безуспешно, отправить дядю Гришу на лечение в Томск, а на провесне бедный дядя слег и вскоре умер, как солдат, под своей поношенной шинелью.

Однажды я уже повидал смерть. Умирал мой самый младший братик Женья, которому было чуть больше года. Несколько дней он метался в жару, весь алый, пылающий, а потом, совсем обессилив, перестал двигаться и угасал медленно, вместе с медленно угасавшей летней зарей. Я не отлучался от его кровати и не сводил с него глаз, видя его сквозь слезы, как в тумане. С каждой минутой мне становилось все страшнее, особенно когда к неподвижным губкам Жени прикладывали зеркальце. В сумерки Женья умер, меня увели в другую комнату, заставили лечь в постель. Я испытывал тогда такую жалость к Жене и такой ужас перед его смертью, что и думать ни о чем не мог, — так и заснул под утро в полном смятении.

Теперь же, на десятом году жизни, мне впервые захотелось понять, уразуметь, что это такое — смерть и почему она так часто губит людей, иногда задолго до старости, иногда совсем малюток, едва начинающих лепетать первые слова. Позднее мне часто приходилось встречаться со смертью и, естественно, часто предаваться горестным раздумьям о кратковременности пребывания человека на земле. Но их никак нельзя сравнить с раздумьями детской поры. Мне кажется, во мне до сих пор сохранилось что-то от того ужаса, какой я пережил в час кончины Жени, и от того глубокого внутреннего протеста, какой возник в моей душе той памятной ночью, когда я думал о кончине дяди Гриши.

...Едва развиделось, отец засобирался на кладбище. В предпасхальные дни гуселетовцы поправляли свежие могилы, появившиеся прошлым летом и зимой, и отцу, вероятно, не хотелось встречаться с сельчанами за печальной работой.

На дальнем краю погоста мы остановились перед сильно осевшим могильным бугорком, у которого возвышался вытесанный из соснового коmlя и уже обветривший крест. Отец долго и молча стоял перед могилой брата. С его лица медленно сходила кровь, оно серело и становилось под цвет кладбищенского песка. Но вот он разжал губы и заговорил прерывисто, словно на последнем дыхании:

— Вот мы... вот мы и пришли, братка, к тебе. С Мишей. Проведать тебя пришли...

У отца затуманились глаза. Стараясь как-то разделить его горе, я спросил:

— Помолиться?

— Помолись, если хочешь, — разрешил отец, считая, должно быть, что молитва, раз она от души, да еще от детской, вполне уместна у могилы близкого человека наравне со всякой доброй речью.

Он обождал, пока я крестился, а потом, заметно овладев собой, заговорил с дядей Гришей — тихо и ласково. спокойно и обыденно, как с живым:

— Сейчас весна, братка. Только что солнышко взошло. Утки летят над бором. Сосны шумят. Все как было...

Отец, кажется, совсем не замечал, что меня песказанно озадачивает его манера спокойного житейского разговора с мертвым, лежащим в могиле.

— Да за что они тебя убили? — вдруг почти прокричал отец. — За что?!

— Он же сам умер, — прошептал я испуганно.

— Нет, сынок, его убили. На войне. Генералы.

Только теперь я понял, почему отец не мог видеть портрет генерала Скобелева в доме деда...

Отец вскинул взгляд в небо, будто тоже решив помолиться, и неожиданно позвал почти шепотом, но с такой болью, словно что-то надорвалось в его груди:

— Бра-а-атка!

До этой минуты я, конечно, не верил, что мертвый слышит живого. Но тут, как ни странно, мне вдруг суеверно подумалось, что дядя Гриша, даже через толщу земли, не может не слышать зов своего брата. И каждую секунду я ожидал тогда, что из могилы может донестись ответное слово.

II

Отец стал безбожником задолго до революции, что было, как мне помнится, не такой уж большой редкостью в деревне. Он никогда не кичился тем, что порвал с верой, и никогда ничем не оскорблял чувства тех, кто верил в существование бога. Матери он не запрещал ходить в церковь и исполнять всяческие обряды. Вместе со всей семьей, стараясь пзбегать каких-либо осложнений в доме, он соблюдал, в частности, все посты, тем более что постная еда зачастую была совершенно неизбежной при нашем скудном достатке даже в мясоеды. Естественно, что и разговлялся он в Христово воскресенье с такой же радостью, как разговлялись самые истовые богомольцы. Он лишь жаловался, что его тяготит мысль о предстоящем, в угоду верующим, длительном праздничном безделье, которое для него всегда было тягостнее любой болезни.

И все-таки, как я подметил, отец встретил пасху в приподнятом, оживленном настроении, словно в предчувствии чего-то долгожданного, что должно было в какой-то мере скрасить вынужденное безделье. Скорее всего, его радовало, что в пасхальные дни, как нельзя лучше, ему представится удобный случай подольше побыть среди сельчан. Его постоянно и сильно тянуло к людям.

При Советской власти мужики всегда околачивались около сборни, где почти ежедневно гремели сходки и митинги. Откуда-то брались все новые и новые общественные дела, которые можно было решить лишь миром, но иначе как надрывая глотки, и налетали издадека, как степные ветры, самые неожиданные и

ошеломляющие повести. В Почкалке отец почти каждое утро, наскоро позавтракав, отправлялся в Совет и возвращался оттуда весь распаленный, всегда с новым зарядом бодрости и веры в светлое будущее. Его никогда не утомляли длительные и шумные мужицкие сборища, от которых иные мужики с непривычки прямо-таки валились с ног, наоборот — они прибавляли ему новых сил и оптимизма.

Но вот прошло уже около года, как прекратились бурные мужицкие сборища. Замерли сборни. Мужики обходили их стороной.

На отца это действовало удручающе. В последние недели после поста отец редко встречался с мужиками. Все они с утра шли в церковь, а потом копались на своих дворах, готовясь к пахоте. Время встреч и сидений на завалинках еще не настало. Отцу было скучно и, мне казалось, даже тревожно от одиночества, тем более что кордон стоял на отшибе от села.

Теперь, с наступлением пасхи, отца оживила близость долгожданных встреч с односельчанами. Однако в первый день праздника, когда под несмолкаемый колокольный звон сельский священник обходил центр села, где жили люди побогаче, торопясь собрать праздничную мзду, мужики не осмеливались отлучаться от своих домов и предаваться развлечениям. Только на второй день, отдав дань вере, мужики начали собираться в излюбленных местах.

Одно из таких мест было перед домом дедушки Харитона. По давнишней привычке он загодя, с большим тщанием, углубясь на полчетверти в песок, сделал для своей любимой игры небольшой круглый каточек, выровняв и плотно утрамбовав его дно. У борта каточка установил наклонно специальный, зеркальной выделки лоток из мягкой осины.

Собирались мужики дружно, и почти все с пестерьками и кошелками, в которых несли пасхальные яйца, крашенные чаще всего в отваре из лукового пера. Каждый вступающий в игру ставил одно яйцо в любом месте на катке, но так, чтобы никто из играющих не ухитрился быстро взять его с кона.

Право начинать игру предоставлялось, естественно, хозяину катка. Дедушка Харитон, недовольно похмыкивая, удивляясь изощренной хитрости соседей, с минуту осматривал каток, так и сяк вертел в лотке яйцо, прежде чем пустить его на счастье.

Мужики посмеивались:

— Все колдует!

— Хитер дед!

Впрочем, не только у дедушки, но почти у всех мужиков начало игры редко бывало удачным. И лишь когда каток оказывался заставленным яйцами погуще, начинались выигрыши.

Отец не любил никаких азартных игр. Но эту старинную спокойную игру, в которой не очень-то разгораются страсти и нет риска понести большой урон, он, несомненно, любил, принимая ее как развлечение — бедна ими была тогдашняя деревня. Соби-

раясь в то утро идти к дому Харитона Илларионовича, отец осторожно взглянул на мать и робко вздохнул:

— С пяток бы яиц, а?

Однако напрасно он рассчитывал на милость матери. У нас водилось несколько кур, они уже неслись, но мать резанула отца уничтожающим взглядом, будто бритвой. Поняв, как наивен был его расчет, отец, смущенно оправдываясь, заторопился к двери:

— Да ведь я так, к слову...

— Иди, иди,— не смирилась мать.— Пасквозь тебя вижу!

Я увязался, конечно, за отцом, зная, что у дома дедушки встречу всех своих друзей.

Вокруг катка в разных позах спдели на сухом песке мужики, почти все бородачи, а позади них, вытягивая шеи, толпились мальчишки. На все ходы своих отцов, удачные и неудачные, они отзывались весьма бурно.

— Садись-ка, Сёмушка, садись вот рядышком,— сразу же позвал отца дедушка Харитон, хотя и видел, конечно, что тот пришел с пустыми руками.— Вот тебе для разживы десяток яиц, бери!

— А если я проиграю? — поинтересовался отец.

— А-а, будь неладна! Да все одно! Не ты, так я их проиграю.

— Пройграешь ты! — вставил один из мужиков, что вызвало дружный смех у катка. — Все наши корзинки обчистишь до обеда. Не впервой.

— Я возьму только два,— поразмыслив, решил отец.— Не повезет, так уж как-нибудь расплачусь...

Внеся свой пай на кон, отец долго не решался пустить по лотку единственное оставшееся у него яйцо. Но отцу повезло, и тут я увидел, как он, схватив выигранное яйцо, может совершенно по-мальчишески радоваться удаче. Эта нечаянная радость сделала для меня отца и ближе, и роднее, открыв в нем то, чего я не знал прежде.

Отец выиграл подряд несколько яиц, чем немало озадачил опытных игроков, знавших все тонкости игры. Он тут же отдал долг дедушке и, поняв, что ему удастся поразвлечься вволю, заговорил оживленно:

— Что же слыхать-то, мужики?

— А что сейчас услышишь, когда еще пути нет? — ответил широкогрудый и русобородый Лукьян Силаштьевич Елисеев, отец двух Иванов, которые устанавливали с нами душлянки.— Вчерась почтовик проезжал, дак сказывал: как малость пообсохнет — Колчак опять мобилизацию начнет. Сразу пять лет, сказывал, забреют.

— Всех дураков как пить дать забреют,— согласился отец, так и вспыхивая оттого, что к удаче в игре прибавилась новая удача — начался именно тот разговор, ради которого он и отправился нынче к мужикам.— А умные-то разве подставят головы?

— Да к схватят же и забреют!

— Овцы и те брыкаются, когда их стригут.

— Еще как! — подтвердил со стороны Ермолай Груздев, бедный мужик с Тюкалы, известный неудачник в любом деле. — Лопнись у меня одна даже вырвалась, холера ее задержит! Так и бегала целый день с голым боком.

Все неохотно посмеялись над известной и давно осмеянной историей, но никто не пожелал, как случалось прежде, вновь забавляться над нешутевым беднягой.

— Да-а, Колчаку сейчас, знамо, войско собирать надо, — со знанием дела заговорил бывший солдат-фронтовик Севастьян Журавлев, с пустым левым рукавом гимнастерки, заткнутым за пояс. — Весна! Обсохнут дороги — на Москву поперет. Говорят, ему до Волги осталось всего несколько переходов. Вот такие-то дела...

Но тут мужиков будто прорвало:

— Там дорога ишшо длинная!

— Да и ухабиста. Не очень-то поперешь!

— Что ж, поглядим, как адмирал пойдет по сухопутью.

— Он впереди себя наших парней погонит!

— Ну, кто смиренный, тот, может, и побежит, а ежели кто урливый, как мой вон Гнедко? Заурсит — что тогда?

— Огреет плетью, вот и все!

— Попробуй огрей! Сбросит!

Отец весело усмехался, всматриваясь в лица мужиков. Он был доволен: одной его искры хватило, чтобы разгорелся сырбор, и теперь, даже держась в стороне, можно было узнать потаенные мужичьи думы и заботы. Севастьян Журавлев почесал в затылке и озадаченно спросил:

— Я вот об чем, мужики, сейчас думаю: отчего он так зовется, Колчак-то? Чудно как-то. Не по-русски вроде. Откуда у него такое прозвище?

— Не знаешь? — Отец даже привскочил, обрадованный затруднением дотошного Журавлева, и весело выпалил: — Гриб!

— Да ну? Неужто есть такой?

— Есть!

— Его правда, — подтвердил Елисейев, кивнув на отца.

— Никогда не видал и не едал.

— А это редкий гриб.

— Гож для еды?

— Поганка.

Может, гриб колчак и не поганка, я точно не знаю, но тогда отец назвал его поганкой, и это дало неожиданный толчок мужицкому острословию. Поднялся хохот, пошли в дело иносказания, намеки:

— От гриба, стало быть, от поганки?

— А прозвища, слышь-ка, не зря дают!

— Раз поганка — дави ее ногой!

Как мне помнится, мужики тогда не очень-то сдерживались в своем кругу, если были уверены, что в нем случайно не оказа-

лось кого-либо из ненадежных или определенно опасных людей. Однако нас, мальчишек, во избежание беды, сельчане обычно гнали от себя, если чувствовали, что разговор завязывается серьезный, не для детского ума. Так вышло и теперь. Вспомнил о нас, Лукьян Силантьевич Елисеев оглянулся и прикрикнул:

— А вы чо тут торчите? Так и липнут как мухи! Носитесь вон по деревне, чего вам около нас вертеться?

Его дружно поддержали другие мужики. Впрочем, это нас не очень-то обидело. За зиму мы уже вдоволь наслушались разговоров о Колчаке, о возвращении ненавистных царских порядков, о стремлении колчаковских властей содрать с крестьян все недоимки по налогам за несколько прошлых лет, о мобилизации в белую армию, о новой войне. К тому же в последнее время мужики чаще всего стали говорить каким-то мудреным языком, с загадками, недомолвками и странной заумью. Такие разговоры были для нас скучны. Не все и поймешь-то...

...К обеду отец появился дома с живейшей веселинкой в каждой черточке своего ясноглазого лица. Едва переступив порог, он собирался, как мне показалось, тотчас выложить все новости, какими разжился в селе, но его остановил холодноватый, осуждающий взгляд матери — она не выносила его излишнюю восторженность и словоохотливость. Тогда он, стараясь задобрить мать, на вытянутых руках поднес ей полную фуражку крашенных яиц.

— Бери, мать. Угощай ребят.

Вместо того чтобы порадоваться и похвалить отца, мать сказала почти осуждающе:

— Тебе всегда везет.

— Не всегда и не во всем, — спокойно и несколько загадочно возразил отец. — А вот нынче и верно повезло.

При полном сборе нашей семьи, прямо-таки ошеломленной баснословной отцовской удачей, мать стала переключивать яйца из фуражки в большую деревянную чашу, строго пересчитывая их, словно боясь какого-то обмана. Отец следил за ней со странным выражением жалобной надежды. Но фуражка вопреки его помыслам полностью опустела. Все еще держа ее перед собой, будто в ожидании милостины, он сказал:

— Оставила бы мне, мать, парочку-то, а?

— Жди, так я и оставила! — Мать направилась в куть. — Ребята почти голодают, а он яйца проигрывать будет.

— Да не проиграю я! — горячо возразил отец. — Я еще выиграю! Сама же сказала: мне всегда везет!

— Ладно, бери, — вдруг согласилась мать, не устояв против отцовского довода, но тут же и съехидничала: — Забавляйся!

— Да не в забаве дело, — обрадованно пояснил отец, выбирая себе для игры наиболее подходящие по форме яйца. — Там, ва игрой-то, мать, такие разговоры!

— Вас хлебом не корми, только бы языки чесать! — сказала на это мать, глубоко убежденная в том, что изрекает самую боль-

шую истину о поведении мужчин, этого ужасного племени на земле.

— Да ведь у всех болит, мать, вот что!

— А у тебя, видать, уже все изболело?

— Может быть, может быть...— согласился отец с внезапной тихой грустью.— Ну да ладно об этом, мать. Одели-ка заодно и ребят. Ведь они вон ждут.

Мать сунула нам в руки по одному яйцу, считая, что этого вполне достаточно, но отец, к нашему удивлению, неистово запротестовал: ему хотелось, чтобы мы как можно полнее ощутили неожиданное счастье. Его нешумная, но яростная напористость сделала свое дело. Хотя и с воркотней, но мать выдала нам по два яйца.

Скудная жизнь озлобляла мать, и она, от природы склонная к вспышкам и взрывам, зачастую не выдерживала испытаний. Иногда сущий пустяк так взвинчивал ее, что от нее можно было ожидать любых неприятностей. Она сама страдала и заставляла всех страдать. Иногда, бывало, она пыталась взять себя в руки, смирить свою горячность, но ее хватало ненадолго. После такой очередной попытки следовал, как правило, еще более тяжелый срыв, когда совсем небольшое несчастье казалось ей трагедией. Отец же, наоборот, обладал, несмотря на мягкость характера, завидной стойкостью и выдержкой перед любыми трудностями, хотя мать, по известным причинам, и называла его выдержку простой беззаботностью.

В конце концов наступила минута, когда отец, решив, что в доме окончательно установлен мир да лад, заговорил таким тоном, будто у нас всегда так вот и было. Втайне он уже исстрадался оттого, что ему слишком долго не удавалось поделиться своей сегодняшней радостью.

— Да, мать, какие там разговоры! Заслушаешься! — заговорил он восхищенно, ловя все еще бегающий взгляд матери и надеясь смирить ее своей незлопамятностью. — Да ты сядь, мать, отдохни и послушай! Сядь! Оставь все дела! Я тебе сейчас все расскажу...

— Ну, говори, говори,— смилостивилась мать и присела к столу, хотя и очевидно было, что она не ожидает от отца путных речей.

— Взялись, мать, мужики за ум! Взялись! — продолжал отец, улыбаясь матери безбрежной, ослепительной улыбкой, от которой могло растопиться любое сердце.— Теперь дай только срок, так и заполыхает! С треском! Как в сухом бору. Теперь недолго ждать...

— Дождешься ли?

— Дождусь!

— А чудной ты, Сёма,— вздохнув, сказала мать мягко и жалостливо: ей казалось грешным делом обижать наивного и несчастного мечтателя, всегда видящего в жизни больше, чем есть, хорошего, всегда верящего в какие-то чудеса.

— Да чем я, Фрося, чудной-то? — опешил отец.

— Все в облаках паришь, как сокол ясный,— пояснила мать серьезно.— И всегда-то ты мечтаешь о счастье, и всему-то ты веришь! Да откуда у тебя такие мечты? Откуда у тебя такая вера? Ведь жил-то всегда в бедности.

— А вот все от той самой бедности,— уже без малейшей улыбки, без обычного радостного блеска в глазах ответил отец.

— Да ведь она как болото.

— Не скажи, мать,— запротестовал отец.— Большинство людей живут в бедности. Слабые в ней гибнут, как в болоте, это правда. Но те, кто покрепче духом, те в ней, растреклятой бедности, только закаляются, как в огне, да набираются разума. Таких людей, мать, я уже много встречал: и среди мастеровых в Барнауле, и среди солдат. Вот от них у меня все: и вера моя, и мечты.

— В бога я верю, в черта верю, а в наших мужиков нет,— сказала мать категорично, все еще удивляясь той восторженности, с какой отец рассказывал о происшедших за зиму перемен в мужичьей душе.— У мужиков семь пятниц на неделе. Сегодня сказали одно, завтра другое, да еще божиться будут, что всегда так говорили. Они как перекасти-поле: куда дует ветер — туда их несет.

— Ну, моя вера совсем другая, она покрепче, повернее твоей,— мягко улыбаясь, боясь обидеть мать, ответил отец.— Твоя вера от старины, от темноты, а моя — от света, какой впереди светит!

— А не ослепляет тебя тот свет?

— Нет, мать, не ослепляет, а только помогает лучше видеть все вокруг, все, все! — ответил отец.— Вот я и вижу, что делается сейчас с мужиками. Правда, случалось, носило кое-кого из них, как перекасти-поле. Не спорю. А вот теперь несет против ветра! Да как несет!

И он опять заговорил о мужичьих думах.

Не той весной, а гораздо позднее я заметил, что отец во всяких разговорах с людьми, зачастую казавшихся мне пустыми, скучными, всегда находил для себя что-то интересное, неожиданное, значительное. Он будто обладал каким-то особым, редкостным слухом, какой помогал ему улавливать тончайшие интонации в разговоре, самый потаенный его смысл. Когда он с обычным увлечением начинал пересказывать все, о чем при мне же шла речь среди мужиков, я не верил иногда своим ушам: оказывается, разговор-то в самом деле был очень интересным и значительным. Отец не только повторял то, что во всеуслышание было сказано мужиками, но и в силу особой природной догадливости досказывал то, что они по всегдашней скрытности придерживали в уме. От такого пересказа любая мужичья беседа, казавшаяся бессвязной и бесцветной, становилась логичной, целеустремленной и загоралась многоцветьем радуги. С годами именно отец научил меня с настроженной чуткостью вслушиваться в крестьянскую речь...

За последнюю неделю Касмалинский тракт, на котором стоит Гуселетово, хорошо обдуло ветерком, обсушило начинающим припекаать солнышком, и только в тех местах, где к старинному пути подступали солонцы, он все еще оставался труднопроезжим. Но движение по тракту уже возобновилось, хотя и не было еще оживленным, каким бывает обычно летней порой. Те из проезжих, кто по недосмотру попадал на солонцы, появлялись в Гуселетове на измученных и забрызганных липкой грязью лошадях, на обляпанных ходках и рыдванах.

В конце пасхальной недели наша ребячья ватага впервые ходила в бор за кандыком. Когда мы вернулись, меня встретили братишки, от которых едва-то удалось сбежать утром с друзьями. Поглядывая на меня обиженно, прямо-таки букой, Фадик сообщил с неохотой:

— Дедушка приехал.

Я так и загорелся:

— Один? С бабушкой?

— Один, — все еще хмурясь, ответил Фадик, хотя и получил от меня пучок кандыка. — Здоровый, толстый, во какой!

— Толстый? Да он же худой! Чего болтаешь?

— Это другой дедушка.

— А-а! — понял я. — Папин отец, да?

— Толстый, как бочка! — спохватясь, подтвердил бойкий на язык Петюшка. — И ходит босиком!

Мне хорошо была известна удивительная слабость младшего братишки, замеченная всей нашей семьей с той самой поры, когда он научился лепетать, и я его одернул:

— Хватит врать-то!

— Ей-бо, ходит!

— Правду сказал, — смягчаясь, заметил Фадик.

— А живет в Кабаньем! — получив поддержку, сразу же разошелся Петюшка, из всех нас самый живой, самый белоголовый, с голубыми глазами, полными беспредельной искренности. — Там, в ихнем бору, дикие кабаны водятся. Совсем, совсем дикие, как волки.

— Теперь врет, — сказал Фадик.

— Ну ладно, где он сейчас?

— Коня и телегу моет.

У меня, как я издавна привык считать, был один дед — и это меня вполне устраивало. Теперь, когда появился второй, я еще не знал, как должен отнестись к такому событию, — всегда с некоторой осторожностью знакомился с новыми людьми, хотя бы и состоявшими в родстве. И все же, не скрою, меня разжигало любопытство к гостю из Кабаньего.

Пожалуй, доведись мне встретить деда в любом чужом месте, а не во дворе кордона, я все равно признал бы в нем отца моего отца — так они были похожи друг на друга. Дед был тоже чи-

столицый и ясноглазый, хотя и отсчитывал шестой десяток, по, естественно, морщинистый и огузневший,— шагал медленно, с нажимом на всю ступню. Его темно-русые, слегка волнистые волосы, постриженные в кружок, по привычке, свойственной мастеровым людям, были повязаны тесемкой, чтобы не лезли в глаза. Дед в самом деле был босой, а пестрядинные портки в синюю полоску, должно быть праздничные, были закатапы до колен. Ну а рукава сильно вылинявшей ситцевой рубахи, снова, очевидно, алого цвета, само собой, были завернуты выше локтей. Оголенные, мускулистые и волосатые руки деда двигались в работе не спеша, плавно, что, несомненно, свидетельствовало о его спокойном нраве.

Некоторое время я наблюдал за дедом через прясло. Потом осторожно звякнуло щеколдой калитки.

— О, вот он! — почти пропел дед, выпрямляясь у телеги.— А большой-то какой! Вырос, вырос! Да-а, нашей породы... Ну подходи, внучек, подходи, али не узнал? Дед я твой. Ты же видел меня!

— Нет, не видел,— ответил я издали.

— Вот те на! Не упомянул, стало быть? Я приезжал однова к вам в Почкалку, да ты бывал с отцом у нас в Кабаньем.

— Мал еще был,— поспешил оправдать меня отец.— Что ж ты, сынок, поздоровайся с дедушкой-то.

Я равнодушно исполнил повеление отца. Ополоснув руки и обтерев их тряпицей, дед осторожно прижал меня к себе, но почему-то спиной — мой затылок коснулся его мягкой, припотевшей груди.

— Ого-о! — воскликнул дед протяжно.— Да ты мне уже по грудки! А тогда доставал только до пупка.— И он расхохотался добродушно, всласть, довольный тем, что родная порода и в потомках продолжает показывать себя с наилучшей стороны.

Отцу определенно хотелось, чтобы наша встреча была приятной и для меня, и для деда. Но я все еще дичился, и отец решил подкупить меня похвалой.

— Растет! Еще и нас обгонит! — сказал он, продолжая обмывать заднее колесо рыдвана.

— Будет тебе, Сёмушка, наводить-то красу,— сказал ему дед, легонько ероша мои волосы, густущие, светлые и в то же время жесткие, как щетина.— А с характером ты будешь, Миша! Ну и то сказать — без характера нельзя: всяк о тебя ноги вытирать будет. Сёмушка, да перестань ты, ради бога, облизывать колеса! Послезавтра опять попаду где-нибудь на солонцы.

— Ты что же, батя, и погостить не хошь?

— Некогда, Сёмушка, некогда. Весна. Повидаю вас всех — и ладно. До осени, там посвободнее будет.

— Ну, обрадовал! Вон в какую дорогу отправился, и всего-то на один денек? Да что люди подумают? Скажут, обидели.

— Пускай болтают. Не прилипнет.

Мать позвала всех обедать.

Она отнеслась к приезду Леонтия Захаровича с некоторой ревностью и обычной для нее подозрительностью. Когда же узнала, что свекор собирается уже послезавтра уезжать обратно, она и вовсе ударилась в тягостное раздумье. И для этого у нее, надо сказать, были веские причины. Дорога от Кабаньего до Гуселетова, по сибирским понятиям, не такая уж дальняя, но ведь все еще не торная, и отправляться сейчас по ней у деда не было никакой очевидной нужды. Вполне можно было подождать до той поры, когда отойдет пашня.

Подмываемая разными догадками, мать принялась исподтишка пытаться свекра:

— Дорога-то, видать, еще грязная?

— Кое-где, — ответил дед. — Ну, не велика беда.

— У мерина-то даже бока опали.

— Отдохнет.

— Что ж вы, папаша, один-то?

— Мать с ребятней. Куда ей из дому?

— После пашни, может, вместе приехали бы?

— Нам с ребятней целый обоз надо.

Не успела мать еще раз заикнуться, отец остановил ее:

— Будет тебе, Фрося, вот затеяла!

Но мать не из тех, кто сдается легко. Выждав немного, она опять взялась за свое: что-то так и подмывало ее на расспросы.

— А мерин-то у вас, я гляжу, другой? Давно завели?

Дедушка замылся, но схитрить не повернулся язык:

— Это соседский.

— Соседский? — поразилась мать, несомненно почувствовав, что в этом одолжении соседа, на которое крестьяне, дорожащие своей живностью, идут весьма неохотно, и кроется какая-то тайна.

— Я его часто выручаю, — пояснил дед, явно озадаченный излишней пытливостью снохи. — Зимой возил ему кряжи из бора. А тут мой Гнедко что-то прихрамывать стал. Вот он и говорит: «Бери моего Карего, поезжай...» Дружно живем.

Объяснение деда всех удовлетворило, но только не мать. Правда, на некоторое время она примолкла, но, должно быть, лишь оттого, что совсем запуталась в своих подозрениях и догадках.

Стараясь побыстрее загладить неприятное впечатление, произведенное матерью, отец завел с дедом разговор о том, как поживается мужикам в Кабаньем.

— Да как поживается? Всяко! — Дед спокойно и широко развел руки, показывая таким жестом, что в нынешние времена жизнь слишком неустойчива и каверзна. — Ты же знаешь: у нас норовистый да шумной народишко. Чего только не наворачивают.

— А что случилось-то?

— Дак чо... опять, слышь, заваруха вышла.

Отец тронул рукой деда, поторопил:

— Ну!

— Опять же Ефимша Мамонтов...— Дед явно не спешил со своей новостью, слегка косясь на нашу мать.— Он в нашем краю живет, на Кукуе. Да ты ведь должен помнить его! Он еще заходил к нам, когда ты летось приезжал.— Твоих годов, русский такой...

— Помню, помню. Ты рассказывай!

— А я думал, до вас уже дошло. По нашим местам только и разговору — все о нем. Гудит народ.

— Не тяни! — загорелся отец.

— Ефим-то Мефодьич, знаешь ли, всю зиму в бегах, — заговорил дед в открытую.— Всю зиму потайно жил: то где-нить в горах, то на займках. Дружков себе подобрал, какие поотчаяней. И наперво ухлопали они трех белячишек в Убиённой..

Отец сдержанно перебил:

— Про это я знаю.

— Ну а вдругорядь такой случай был. Собрались все Ефимовы дружки зачем-то на Кукуе. Пошущукались и разошлись, а трое остались почевать у хозяина. А за полночь прискакали милиционеры из Волчихи: кто-то дал им знать. Обложили они Ефимовых дружков на почевке и давай палить из винтовок. Двоих подранили. Ну, думают те бедняги, смертынька пришла. Но тут на выручку, услыхав выстрелы, прилетел сам Мамонтов! Он, знаешь ли, сорвиголова. И — пошло!..

— И про это, батя, знаю,— сказал отец.

— А чего же тогда слушаешь?

— Про то, как наши беляков бьют, я могу без конца слушать! — ответил отец. — И потом, мне хотелось еще и от тебя узнать, как дело было. Думал, кое-что приврано, а выходит — все правда. Молодец Ефим-то! Ну а теперь остальное выкладывай.

— Остальное случилось недавно,— продолжал дед.— Нашу волостную тюрьму, знаешь ли, к весне битком набили: и большевики там были, и советчики, и дезертиры, и те, кто ради интересу с красным бантом ходил. И вот разнесся слух, что всех их — под расстрел. По приказу, дескать, из Омска, от самого Колчака. Теперь доходит тот слух до Мамонтова. Он тогда со своими товарищами укрывался в степи на займке. Что делать? Спасать надо людей от смерти! А как? Думал-думал Ефимша и решил нарядиться белым офицером, а своих дружков обрядить солдатами. Шинели были. Погончики были. Вырядились они — и прямо в Волчиху. Вроде бы везут пойманного дезертира. Конвой и конвой. Прибыли в Волчиху и напрямик к тюрьме. Ефимша-то смело так входит в тюрьму, ему козыряют, а он еще, слышь, давай орать на стражу: «Службу не знает!» А потом ка-ак рявкнет: «Клади оружие! Открывай камеры!» Освободил, сказывают, человек тридцать да скорее в степь! Только их и видели!

Под конец дед, искренне восхищенный находчивостью и дерзкой храбростью своего сельчанина, незаметно перешел с обы-

чной для себя плавной, замедленной речи на повышенные тона. Отец слушал его с затаенным дыханием.

— Так и скрылись?

— Ищи ветра в поле!

— Ну, Ефим Мефодьевич! Ну, молодец! Ну, отчаюга! — Отец заметался по кухне. — Спасибо тебе, батя, порадовал! Не зря месил солонцы. Да с такой-то новостью можно пешком обойти весь Алтай! Ну, начинается! Дождались! Теперь, батя, в одночасье может так запылать, что спалит всю нечисть, как горькую полынь! Дотла! А ветерок и золу разнесет!

Но тут он вспомнил о матери. Она притихла в кути. Отец остановился перед нею в победной позе:

— Ну что, мать, слыхала? Молчишь? Чья же вера-то крепче: твоя — в бога или моя — в мужиков? Молчи, молчи. Тогда я тебе еще добавлю! Я не молюсь на мужиков, а верю в них!

...Вскоре после обеда дед и отец ушли в село. К ужину они не вернулись. Мать уложила всех нас, троих братьев, на полу в горнице, прикрыв стареньким одеялом из разноцветных лоскутков да еще дерюжкой. Я так и уснул, не дождавшись возвращения отца и деда, хотя мне почему-то хотелось видеть их после того, как они разнесут новость по Гуселетову.

Поздно ночью, когда со стороны села доносилась петушиная перекличка, я проснулся и, чувствуя, что спал долго и крепко, очень удивился, увидев освещенной щель между створок горничных дверей. На кухне слышались негромкие незнакомые мужские голоса. Я тихонько поднялся и подошел к двери. Один из ночных гостей что-то читал, сдерживая басовитый голос, но его то и дело перебивали нетерпеливые, возбужденные голоса. Мне было неловко мешать гостям, но что поделаешь — требовалось выйти. Я легонько распахнул двери. Незнакомые мужики, сидевшие вокруг стола, при качающемся лепестке огонька в коптилке, притихли, повернули ко мне головы, а сидевший в переднем углу широкоплечий, молодой еще дядька прикрыл ладонями какие-то бумаги перед собой. Деда за столом не было — он похрапывал на печи.

Слегка жмурясь на огонек, я спросил мужиков:

— Вы что до петухов-то сидите? — И потому, что гости мне очень мешали, добавил недовольным голосом: — Вас хлебом не корми, все тары да бары.

— Мишенька, а ты не стесняйся, здесь одни мужики, — весело заговорил со мной отец, поднимаясь ко мне с края скамьи. — Иди, иди, вон оно, ведро-то...

Но я вышел из дома.

До того дня я никогда не встречал человека, фамилия которого происходила бы не от обычных, широко распространенных зверей и зверушек, а от давным-давно исчезнувшего с земли мамонта. Именно по этой причине прежде всего она и врезалась тогда мне в память. Конечно, в ребячьей памяти даже и редкостная фамилия не могла бы удержаться долго, но на

другой день ее повторяло все Гуселетово. Все сельчане, и стар и млад, без конца толковали о храбрости Ефима Мамонтова, поднявшегося с оружием против ненавистных властей. С той поры его слава все лето, как гроза, раз за разом прокатывалась по нашей степи.

Я хорошо, во всех деталях, запомнил единственный проезд деда в Гуселетово. Об этом его приезде мы много раз вспоминали с отцом в поздние годы, и он подтвердил мою догадку, что дед приезжал не просто в гости и даже не по своей воле.

В то время Ефим Мамонтов, готовясь к большому восстанию, старался собрать как можно больше сил и всячески расширял связи с подпольными группами, которые существовали по всей округе. Он посылал своих людей иногда за сотню, а то и больше верст. Поездка Леонтия Захаровича в Гуселетово, где у него жил сын, да еще на пасхальной неделе, ни у кого не могла вызвать никаких подозрений. И Мамонтов надеялся, что Леонтию Захаровичу легко удастся через сына и его друзей отыскать в Гуселетове тех, кто, несомненно, тоже готовится к борьбе с белогвардейщиной. Он не ошибся: подпольщики отыскились здесь быстро.

Подпольная группа организовалась в Гуселетове сразу же после белогвардейского мятежа, в июне восемнадцатого года. В тот же день, когда заезжий офицер Скурнацкий объявил на сходе о свержении Советов и создании в Сибири новой власти, большая толпа гуселетовцев собралась за селом, в бору, и избрала «подпольный штаб». Его возглавил Иван Гончаренко, единственный в селе большевик, бывший матрос с Балтики, прослуживший на флоте десять лет, — сельчане чаще звали его Царевым: это прозвище досталось ему от отца, заслужившего в давние годы какие-то царские награды. Членами штаба были избраны Иван Федусенко и Яков Ланчевский. Подпольщики вели агитацию среди крестьян против белогвардейщины, распространяли большевистские листовки, доходившие разными путями из городов, добывали оружие, — словом, настойчиво готовили народ к восстанию. И эта незримая, но настойчивая работа со временем дала свои плоды.

НА ПАШНЕ

I

Той памятной весной, моей десятой весной, степное половодье в низинной Кулундинской степи, где сотни озер да тысячи ложбинок и западин, было на редкость разливанным и благодатным для земли, часто страдающей от засух. Уходило оно, это половодье, по наблюдениям стариков, гораздо медленнее, чем обычно, до отказа насыщая даже суходольные места живитель-

ной влагой. Но после пасхи, когда уже можно было подаваться в степь с плугами, вдруг возвратились холода и так заненастило — не вылезешь из-под крыши. В суждениях мужиков произошло разное: одни, явно паникуя, утверждали, что теперь дожди зарядят на целый месяц, а после того и сеять-то поздно будет — для созревания хлебов не хватит лета; другие не боялись задержки с пахотой и, наоборот, радовались холодной и дождливой погоде, уверяя, что это непременно к большому урожаю. Забегая вперед, можно сказать, что в девятнадцатом году на Алтае действительно выдался редкостный урожай, каких не помнили и коренные старожилы.

Думалось, что после недельного ненастья земля будет просыхать очень и очень долго. Но земля, словно у нее открылись все поры, быстро вобрала в себя небесные воды и, едва солнце стало припекать, густо закурилась теплым парком.

Крестьяне засобирались на пашни.

У мужиков это всегда связано с тревожными заботами и хлопотами, а у мальчишек, которых они брали с собой в степь, с неизмеримой радостью. Как известно, крестьянские дети начинали трудиться с самых ранних лет. Заставляла нужда. Но зачастую взрослые приучали детей к труду и без всякой нужды, а в силу одной догадки, что это пойдет им на пользу в будущем. Судили по себе.

Мальчишеские дела в крестьянской семье были неисчислимы. Чего только не приходилось делать! Едва сам вылез из зыбки — качай зыбку с новорожденным, едва сам научился ходить — учи ходить младшего, корми его, таскайся с ним, смотри, чтобы его не забодал бычок или того хуже — не загубила свипья; если малый разморился на солнце и свалился где-нибудь во дворе — принеси его домой, если разревелся — успокой, укачай, спой ему, как умеешь, колыбельную. В пять лет у тебя уже уйма дел по дому и по хозяйству: подметаай веником с утра полы, корми собаку и кошку, помогай полоть грядки на огороде, облазь все куринные гнезда и собери яйца, стереги от хищных птиц цыплят, помогай добывать ягоды и грибы, убирать урожай с огорода... Лет в семь — садись на коня, причем старайся делать это без посторонней помощи, учишь спутать коня в ночном, а утром поймать его и обратно, учишь запрягать его, водить на водопой, чистить скребницей, зимой — помогай взрослому задавать скоту сено, очищать сарай от навоза, отгребать снег от крыльца, сбивать наледь с колодезного сруба и поильной колоды. А вот когда тебе уже около десяти — отправляйся на пашню, учишь быть сеятелем: управляй коренным, если поднимают четверкой целинную землю, борони пахоту, вари похлебку, корми коней...

Не всегда работа была посильной. У иных неразумных родителей малые дети, бывало, надсаживались от тяжестей. Но у большинства крестьян приучение малолетних к труду велось разумно, заботливо. В таких семьях дети сызмалства хорошо изучали повадки домашних животных и птиц, крепко сживались

с окружающей природой, рано выросли и набирались немало практических знаний, без которых земледельцу нельзя жить. К сожалению, сейчас многое из этого важнейшего народного опыта утеряно.

Нечего греха таить, далеко не все дела, каким несть числа в крестьянском хозяйстве, делали мы с охотой. Иной раз пытались и отлынивать от нелюбимых дел. Но поездка на пашню для всех нас была праздником. Тут не случалось никаких отказов, никаких отлыниваний. Наоборот, если кого-нибудь не брали на пашню по причине малолетства — поднимался истошный рев, ручьями лились слезы.

Пашня всех нас властно манила.

В Почкалке я уже выезжал с дедушкой на пашню, но там мне приходилось довольствоваться весьма скромной ролью. Мне не разрешали даже боронить, боясь, что, если лошадь испугается выскочившего с пустоши зайца, я непременно упаду с нее и окажусь под бороной. (На мою беду, такой трагический случай был у нас в селе, и мать всегда о нем помнила.) Мне оставалось лишь ходить за дедом по свежей борозде, ожидая, когда он разрешит подержаться за поручни плуга. Чаще же всего приходилось собирать в колке сбитые ветром с берез сухие сучья для костра, кашеварить и, так сказать, сторожить стан. Но и то было хорошо! Теперь же, в Гуселетове, я впервые отправлялся на пашню с ответственной целью — заниматься бороньбой.

Никогда я не умилялся старой деревней. Не собираюсь раскрашивать в розовые тона и свое детство. Как известно, под старость оно всегда кажется более счастливым, чем было в действительности. И все же те дни, когда я собирался в Гуселетове на пашню, вспоминаются мне как действительно счастливые.

Мне сказали, что пашни дедушки Харитона, Зыряновых и наша находятся в одном месте, дальше всех на север от села. Таким образом, Андрейка Гулько, Федя Зырянов и я не разлучались на время сева, что было немаловажным обстоятельством, способствовавшим моему тогдашнему настроению. О, сколько у меня было тогда радостных хлопот! И как волновали меня сборы в степь!

Все мы, маленькие крестьяне, с радостью брались за любое дело, лишь бы скорее подготовиться к пашне. Мы заботливо кормили, поили и холили упряжных коней. Помогали взрослым чинить сбрую, смазывать все ее ременные части березовым дегтем, вить веревки из конопля и конского волоса, делать рукоятки для бичей из крепкого степного таволожника. Часто бегали к кузнице, где ремонтировались плуги, отбивались и закалялись лемеха, ковались зубья для борон. Там мы подтаскивали воду из колодца и заливали в чан, поочередно раздували мехи, если случалось упростить взрослых занять их место. Иной раз нам удавалось даже подержать в тисках на наковальне под ударами молота какое-нибудь легкое малиновое железо.

Но вот и долгожданное утро.

Мужики укладывали на телеги плуги, бороны, кули с отвешной пшеницей для посева, мешки с овсом для лошадей, лагуны с колодезной водой; женщины тащили котлы, чайники, туса, разную посуду, выделанную из дерева, всякую снедь для пахарей. А мы, мальчишки, выводили коней и, прибегая к разным хитростям, заставляли их опускать перед собой головы, чтобы в мгновение ока набросить на них хомуты. Расправив шлеи на крупах коней, мы заводили их в оглобли, и вот здесь-то, если говорить правду, для нас наступали самые неприятные минуты. Но взрослые, незаметно и зорко наблюдавшие за нами, тут же ненавязчиво, как бы случайно оказывали нам помощь — управляли тяжелые дуги в гужи и туго затягивали супони. Однако никто из взрослых эту помощь не клал в счет: всеми говорилось, что коней запрягали именно мы, мальчишки.

Наконец наш обоз тронулся в путь, вслед за другими, уже выходящими из села. От радости так и хотелось, на зависть лениво трусящим собакам, поноситься вокруг телег. Но делать этого, конечно, нельзя было: ты уже взрослый, едешь вместе с мужиками на важное дело, да к тому же тебе в любое время могут доверить и вожжи. От сборни спустились степной дорогой в широкую низину, через которую проложена гать; ее ремонтируют каждое лето, там и сям подваливая хворост, подсыпая песок, но все это постепенно поглощается солончаковой землей. Впереди нас по всей гати медленно тянулись телеги сельчан, часто застревающие в колдобинах. Следом за нами тоже поскрипывали телеги, раздавались крикливые мужские голоса и пощелкивание бичей.

Все село дружно тронулось на пашины.

В этой дружбе сельчан чувствовался старинный обычай, порожденный законами земельной общины, где все люди блюли общепризнанный порядок и неписанные правила. Кроме того, дружный выезд на пашню, несомненно, отличали и черты некоторой праздничной торжественности, без которой невозможно начинать великое весеннее дело. Все были веселы, ласковы и добры: людей возвышала мысль о предстоящем труде, в их душах гасли все привычные тревоги, вспыхивали надежды. И я несколько не удивился тому, что отец, передав мне вожжи, с минуту раскачивался, словно намереваясь прыгнуть с телеги, и вдруг высоким тенорком начал песню:

Вниз по реченьке-е, вниз по быстренько-ой,
Там плывет утка да со селезнем.
Впереди плывет селезенюшка,
Селезенюшка сиз-касатенький,
А за ним плывет сера утушка-а...

Песню сразу же подхватили на ближних телегах:

Ты постой, постой, селезенюшка,
Ты постой, постой, сиз-касатенький!
Ой, лучше бы нам да уместе плыть,
Да уместе плыть — не розниться...

Не стерпела, стала подпевать и моя душа, хотя я и не умел

петь, да и не знал слов старинной песни. Мне казалось, что в движении большого сельского обоза, с песней идущего в степь на заветное крестьянское дело, было что-то невыразимо трогательное и значительное. И невольно думалось: ну как можно жить, не умея пахать и сеять? И как живут те люди, какие даже и не хотят заниматься этими делами, самыми хорошими и важными из всех человеческих дел? Несчастные людишки! А вот я один из самых счастливых, это точно. Завтра же я услышу, как потрескивают на острие лемеха корни трав, и увижу, как укладывается, будто завиваясь, обнажая свою изнанку, пласт земли, как черная вспаханная пашня, с отчетливо заметными бороздами, все ширится и ширится в степи, поблескивая влажно и маслянисто.

И еще мне было радостно оттого, что я, выезжая в степь, чувствовал себя гораздо взрослее, чем вчера. Да что там-взрослее! Мне казалось, что отныне я на равных вступил в общество взрослых людей.

Ипой раз юный человек за один день проделывает путь, равный пути в несколько лет. Вот таким был для меня тот день, когда я впервые, как настоящий взрослый крестьянин, выезжал на пашню. Вскоре уже не отец, а я держал вожжи и правил лошадей. И если случалась надобность, вместе со всеми спрыгивал с телеги, помогал вытаскивать ее из колдобин на гати.

Вероятно, тот день был самым обыкновенным майским днем для наших мест. Но мне он казался во всех отношениях исключительным. На что ни взгляни — все было не таким, как вчера. Конечно, гать была плохой, ухабистой. Приходилось часто помогать коню. Но что за беда! Подумаешь, бродни до колен в грязи! Обмыл в луже — и дальше! Над низиной, во многих местах все еще залитой вешней водой, недавно носились и гомонили огромные стаи пролетной дичи. Теперь здесь пусто. Лишь одни чибисы посятся, надоедливо крича. Они любят солончаковые низины, покрытые реденькой, низенькой травкой, и уже наделали здесь гнезд. Но сейчас и эти крикливые птицы не раздражают. Летайте, носитесь, никому вы сейчас не нужны! У нас, взрослых людей, есть более важные дела, чем зорить ваши гнезда!

Но вот окончилась низина с проклятой гатью, и началась целинная степь. И вот тут-то уж никак невозможно было усидеть на телеге! Хорошо было бежать ровной целиной, на которой начинали оживать дернинки типчака, а между ними уже синела мелкоцветьем богородицына травка. В степи было пусто, совсем пусто, но этой пустоты не чувствовала моя душа. Вся она заполнялась тысячеголосым, нескончаемым пением жаворонков, неутомимо трепещущих в ослепительной небесной выси. Ничего, ничего мне не надо было в эти минуты, только бы не стихало нежнейшее серебристое журчание над головой! Ведь кажется, что это сама весна благословляет тебя на великое дело. Прикрываясь от солнца, я всматривался в высь, стараясь отыскать в ней певцов родной степи. Но они как невидимки. Их ты-

сячи, а поют они одну песню. И я думаю, что нигде нет таких певцов, как в нашей степи.

Между тем одни гуселетовцы сворачивали направо, другие налево и по едва заметным на целине колеям направлялись к своим займам. Наш маленький обозик в конце концов остался один на главной дороге, ведущей в соседнее село Романово. Вскоре и мы свернули к небольшим березовым колкам. Это место почему-то звалось Прирезкой — вероятно, здешние папши были «прирезаны» гуселетовцам во время первого землеустройства.

Гуселетово стало заселяться лишь в 1811 году, почти на сотню лет позднее деревушки Шаравиной, где жили мои предки, и некоторых других ближних сел. Но все же оно считалось старожильческим. Восемьдесят лет гуселетовцы жили, не деля землю: какие участки захватили первые засельщики, те из года в год и продолжали пахать их потомки. Земли всем хватало. Но в первые годы нашего столетия в село валом повалили переселенцы, и в 1908 году здесь впервые был произведен раздел земли между всеми членами земельного общества, старожилками и новоселами. Не знаю точно, успели ли гуселетовцы произвести передел земли после революции, весной восемнадцатого года, на основе законов уже Советской власти. Вероятно, успели. Хорошо помню, как отец, приехав на пашню, показал мне клич земли, принадлежащий нашей семье — ведь она всегда считалась состоящей в гуселетовском земельном обществе, хотя и жила в Почкалке. И хорошо помню, как во мне, юном крестьянине, заговорил тогда собственник: я порадовался, что нам кроме пашни принадлежал и небольшой колок, где хорошо побродить, собирая цветы со-травы и слушая щебетание птиц, а в жаркое время спрятаться от солнца в тени берез, полакомиться хорошо утоляющей жажду костяникой.

Побродив с дедушкой Харитоном и дядей Павлом по пашням, отец вернулся к землянкам и вдруг объявил, что сейчас же возвращается домой. Это было для меня неприятной неожиданностью. Не помню точно, чем отец объяснял свое решение. Кажется, тем, что сейчас, когда просохли дороги, ему надо построже следить за своим объездом, осмотреть и, если потребуется, отремонтировать пожарные каланчи. Но когда отец сказал, что вряд ли вообще вернется на пашню, я понял, что ему почему-то не до пахоты.

Только после отъезда отца я сообразил, что мое положение как земледельца весьма незавидное: у меня нет своей лошади, своего плуга, своей бороны да и своих семян. Все чужое — дедушки Харитона и дяди Павла. Своего у меня — три буханки хлеба, кое-какие харчишки да деревянная ложка. Вот и все.

Лишь после я узнал, что дедушка Харитон и дядя Павел, учитывая наше бедственное положение, по-родственному решили своими силами и своими семенами засеять нам для разживы несколько десятин. А я был послан на пашню всего-навсего ради того, чтобы быть вместе со своими друзьями и помаленьку

приучаться к мастерству земледельца. Вероятно, именно в этом родители и видели тогда мое призвание, тем более что всеми давно была замечена моя тяга к земле и ко всему, что на ней живет и растет.

И все же, несмотря на пеловкость ситуации, в которой я очутился на пашне, я был счастлив, безмерно счастлив...

II

Остаток первого дня на пашне, к сожалению, ушел на мелкие, незначительные дела — не ради них мы, конечно, с таким восторгом отправились в степь. Но и они были довольно интересны.

На нашей заимке поблизости друг от друга, вдоль восточной опушки колка, стояли четыре землянушки — Зыряновых, дедушки Харитона, Елисеевых и Черепановых. Они были выложены из кусков целинного дерна, да и покрыты поверх паката из соснового вершинника тоже плотно уложенной, будто слитой в один кусище дерниной, с которой легко сходила вода. В землянушках пришлось наводить полный порядок: обметать вешиками потолки и стены, выгребать из всех углов разное гнилье и застилать пары пшеничной соломой, просушенной на солнце. Затем устроили новые таганы над выжженной кругами за прошлые годы земле и заготовили в колке целые вороха березового сушняка.

Поблизости от каждой землянки были загоны с навесами, крытыми соломой, с деревянными колодами, в которых задавался коням овес и замешивалась сечка с отрубями. Кое-где у загонов подгнившие жерди были поломаны оседавшим настом или — еще по осени — самими лошадьми во время драк. Пришлось чистить изгороди лежавшими в запасе жердями. Наконец перед загонами уложили привезенные с собой шершавые куски-плиты слезавшегося, почти окаменевшего бузуна, добытого на местном соляном озере, — перед тем как идти к колодам с кормом, кони очень любят всласть пализаться соли.

Все мужчины (а на пашню выехали одни мужчины!) работали с одинаковым усердием. Потом дедушка Харитон зачем-то опять отправился бродить по пашням.

Известно, что в Сибири при изобилии пахотных угодий издавна существовала залежная система землепользования. Для несведущих людей, особенно из молодых, ее объяснить просто: распахав целинный участок степи, сибиряки несколько лет подряд засевали его главным образом пшеницей, а когда он заметно истощался, бросали и брались за другой. На заброшенной пашне в первое же лето откуда ни возьмись вырастала могучая и густая полынь — настоящая степная тайга. Полынь обычно шла в дело: ее очень любят овцы, и зимой, почуяв, что хозяин несет им навильник горчайшей травы, они как бешеные бросаются к нему навстречу, грозя сбить его с ног. Полынь росла на пустошах еще года три или четыре, а потом постепенно сменялась разной, не

менею могучей и живучей, степной травой; пустошь из мягкой становилась твердой, а лет через двадцать — вновь целиной.

Но не у всех и не всегда была возможность, да и нужда скашивать полынь. Тогда весной ее обычно выжигали, особенно если вдруг требовалось вновь пустить землю под пашню. Теперь это как раз и требовалось в связи с тем, что надо было засеять несколько десятин для нашей семьи.

...Мы неотступно следовали по пятам дедушки Харитона. Обойдя большой клин пустошей, он обратился к нам с неожиданным предложением:

— Ну чо, паря, зажжем, а? — Кивнул в сторону пустошей: — Ветерок туда дует.

Мы оживились, закричали:

— Зажигай, дедушка, зажигай!

Как известно, все мальчишки любят иметь дело с огнем: так и смотрят, где бы развести костерок, чего бы поджечь. Недаром взрослые постоянно прятали от нас самодельные спички и кресала для высечки огня из кремня, недаром зорко следили за нами, особенно летом, справедливо опасаясь, как бы мы не устроили пожар. Кстати, это и случалось частенько в деревнях по вине малышей. Ну а здесь предстояло выжечь несколько десятин пустошей. Было отчего поднять визг!

Пока дедушка Харитон добывал кресалом огонь, пытаясь зажечь трут из березовой чаги, мы нахватили мелкой сухой травки и уложили ее кучей под стеной полынной тайги. Огонь разживили с трудом, а когда он, потрескивая, накопец-то ворвался в полынь и над нею взвились клубы белесого дыма, шагов за сотню из пустоши на чистую целину ошалело выскочил заяц. Но вместо того чтобы бежать без оглядки, он почему-то заметался туда-сюда, хотя мы уже и махали руками, и орали во все горло:

— Заяц, заяц!

— Зайчиха, однако, — возразил дедушка Харитон.

Я ухватился за рукав его зипуна:

— У нее здесь зайчатки?

— Может быть. Они рано выводятся.

Зайчиха еще несколько секунд вертелась на одном месте, словно оказалась в клетке. Она даже приподнялась на задние лапки, поглядела на нас и только после этого вдруг стремглав ударилась, высоко подпрыгивая, чистой целиной. Но, оказавшись вдали от огня, она опять сиганула в гущину пустоши. Вот дуреха...

— Теперь они уже бегают, — бодро сказал дедушка Харитон о зайчатах. — Мать уведет их.

— Зачем зажигал? Зачем зажигал? — закричал я, все сильнее дергая дедушку за рукав зипуна. — Ты знал, что здесь зайчатки!

— А-а, будь неладна! Да не знал я...

— Знал, знал!

Сдернув с себя пальтишко, я бросился к огню. Но было уже

поздно. Я хлестал по огню единственной своей одежиной, а огонь, словно огрызался, подняв вихрь искр, все сильнее и не-
удержимее врвался в пустошь, взлетал языками, растекался
в стороны волной. Глаза мне обжигало искрами, залепляло хлопьями
травяного пепла, застилало дымом...

— Да ты чо, паря? Очумел? — закричал надо мной дедушка
и, подхватив под мышки, оттащил от огня. — Бича захотел, чо
ли? Погляди, лопотину-то не сжег?

Дедушка Харитон впервые показался мне совсем другим,
злым человеком, который не жалел даже маленьких зайчаток,
и я, не зная, как его наказать, хотел укусить его за руку.

— Да ты чо, совсем ума лишился? — вырывая у меня руку,
осерчал дедушка Харитон. — Вот ты какой карактерный! Гляди-
ка: кусаться задумал! Ну погоди, я тебе задам!

— Ты зайчаток сжег! — выкрикнул я сквозь слезы и, круто
повернувшись, зашагал к землянке, волоча свое пальтишко по
целине.

Через несколько минут, когда огонь, жадно пожирая полынью,
растекся уже по всей пустоши, Федя Зырянов появился в зем-
лянке. Я лежал на свежей соломе, отвернувшись к стене.

— Мишк, а Мишк, — позвал меня Федя, присаживаясь на
нары. — Да ты не плачь. Они убежали.

Я быстро обернулся, приподнялся на локоть:

— Врешь!

— Дак сам видел. Своими глазами. Ты это... только ушел,
а зайчиха и выманила их из пустоши. И они понеслись все вме-
сте. Только прыг-прыг...

— Побожись! — потребовал я, как было заведено в нашем
ребячьем мире.

Федя немного замаялся, но мне хотелось ему верить, и я ре-
шил, что его заминка была случайной. Может, только оттого, что
я так напористо потребовал клятвы.

— Вот те крест! — наконец-то побожился Федя.

— Сколько их было?

— Два зайчонка.

— Большие?

— Да уж большенькие. Не угонишься. Теперь они далеко.

Заминка у Феди больше не случалось, и он вспомнил еще не-
сколько подробностей драматической сцены с зайчатами, убега-
ющими от огня. Вероятно, скрепя сердце, но Федя с честью вы-
полнил весьма трудное задание дедушки Харитона. Вскоре тот
и сам появился в землянке.

— Ну, слава богу, живы остались! Ну и сиганули! Перепу-
гались, знамо, — заговорил он, тоже присаживаясь на нары у
моих ног. — Знатё бы, дак, знамо, закричать бы, выгнать их сна-
чала с пустоши, а потом уж и поджигать! А кто же знал, что они
вывелись на пустоши? Я думал, они в колке живут.

Меня всегда, всю жизнь легко было обмануть, что и делали
со мною многие, очень многие люди...

Взрослыми люди становятся в разную пору своей жизни. Случается, правда, что некоторые так и остаются детьми до глубокой старости. Словом, как на роду написано.

О том, кого же считать взрослым человеком, существует много самых различных мнений. Между тем есть ли тут о чем спорить? Всякий человек, по-моему, становится взрослым в то незабвенное время, когда он начинает работать и кормить не только себя, но и ближних.

Но как нелегко становиться взрослым!

...На следующее утро началась пахота.

Дядя Павел Гулько выехал на целинный клин с двухлемешным плугом. Его тащила четверка дюжих мерипов; на кореннике гордо восседал Андрейка, начинавший уже третью свою пашню и хорошо знавший свое дело. Но для верности впереди упряжки бойко вышагивал дедушка Харитон, стреляя вдоль зорким взглядом, — он прокладывал для Андрейки направление первой борозды, а дядя Павел, наклонясь, нажимал на поручни плуга, помогая лемехам врезаться в землю.

Как приятно было шагать первой бороздой! Есть особая прелесть в самом начале любого дела, а особенно, как мне кажется, в начале пахоты. Вот спала земля, оцетинившаяся жнивьем или помятой травой, будто укрытая по бедности старенькой дерюжкой, неприглядная, скучная и для глаза, и для души. Но лемеха плуга с мягким шорохом разрезают ее на пласты, переворачивают их вверх изнанкой, и черноземная влажная земля, маслянисто блестя на солнце, наполняет тебя такой радостью, что ты готов прыгать и взлетать над свежей пахотой. Ты хватаешь горстью рассыпчатую землю, вдыхаешь ее густой, волнующий запах всей грудью, и перед тобой будто открывается ее какая-то особая тайна. Ты понимаешь, что скоро она, засеянная человеческой рукой из лукошка, согреет своим теплом зерна и пробудит в них жизнь — они пустят корни, а их ростки выбьются на белый свет и укроют ее пестрейшей зеленью. Ну не чудо ли эта способность, эта власть земли? И хотя ты идешь готовой бороздой, проложенной другими, и совсем без дела, ты все равно чувствуешь себя соучастником великой крестьянской работы. И одного этого тебе пока вполне достаточно. Радуюсь успешному началу пахоты, ты безотчетно делишься своей радостью с землей, за что она тебя в свое время и вознаградит хлебом.

С полудня и мы, самые маленькие крестьяне, вступили в дело. Васятка Елисейев, Федя Зырянов и я появились на своих пашнях верхом на лошадях, с боровами. С гордостью и важностью работали мы, подергивая поводьями да покрикивая на коней там, где они, утопая копытами в мягкой пахоте, от патуги замедляли шаг. Взрослые встречали нас у поворотных полос и очищали зубья борон от набившихся на них разных кореньев и травы. Все бы ничего, но ведь и коню, и бороповальщику не то что на

твердой дороге: конь идет неровно, часто дергает борону, завязующую в пахоте, а ты сидишь на его подвижной, работающей спине, и под тобой не седло, а всего лишь обрывок старенького самотканого половычка или дерюжки.

Под вечер мы едва сползли с коней. Дедушка Харитон посмеялся над нами:

— Дак чо, мужики, видать, ухайдакались?

Не отвечая и корячась, как старики, мы сразу же потащились к землянке. И только там, оставшись наедине, заговорили шепотом.

— Побожись, что никому не скажешь! — начал Федя.

— Вот те крест!

— У меня вся... болит. А у тебя?

— До крови, поди, натер!

— Терпи, — посоветовал Федя. — И никому не говори.

— А как завтра? Болячка-то еще не заживет.

— Все одно терпи! А то засмеют.

— Помазать бы чем-нибудь.

— Дегтем! Лошадям сбитые холки чем мажут? Дегтем! И все пройдет! Пойдем утащим лагунок в кусты и полечимся. Идем!

И там, в кустах черемухи, поработав поочередно помазком, мы с Федей решили стойко выдержать все тяготы боевого крещения на пашне.

А за ужином дедушка Харитон, подергивая ноздрями, все удивлялся:

— Да откуда это дегтем наносит?

— От телег или от лагунок, — сказал дядя Павел.

— А почему раньше не наносило? Не пролили деготь-то?

Мы молчали. Больше терпения и мужества!..

А тягот на пашне оказалось куда больше, чем мы предполагали. Во всяком случае, не меньше, чем радостей. И пахота, и бороныба, и сев — все это, при тогдашних крестьянских возможностях, было весьма тяжелой работой. Крестьяне заботились лишь о том, чтобы не загнать, не вымотать до упаду лошадей, и старались кормить их как можно обильнее и сытнее — готовы были отдать им свой кусок хлеба. О себе же, как и о своих малельких помощниках, заботились мало, а то и совсем не заботились, считая, должно быть, что человек дюжее любой скотины. Под вечер мы так и валились с ног. А подниматься приходилось рано. Нас, ребят, спавших на зорьке обычно мертвым сном, иной раз стаскивали с нар. Просыпались мы уже на ходу, отправляясь ловить пасущихся козлей. Ночью, укрывшись шубами, мы не страдали от холода. Но утрами и вечерами холод все еще по-сибирски пробирал до костей, особенно когда над степью тянул северный ветерок, способный пронизать насквозь что угодно, а не только хилое ребячье тело. Да и днем-то иногда, сидя на коне, так околеченешь, что даже и зубами клацать не в силах, будто весь становишься деревяшкой. В полуденное время, когда хорошо пригревало солнце и все отдыхали, мы стаскивали рубахи,

а то и штаны и тщательно осматривали свои тела, особенно в тех местах, где зудело. Каждый из нас непременно находил на себе несколько полевых клещей, впившихся в кожу иной раз так, что виднелись лишь их серые вздутые спины. Мы выковыривали клещей ногтями, как горошины, вырывали их из кожи, на которой оставались кровоточащие ранки. Тогда мы не знали, конечно, что это очень опасные для человека клещи, переносчики — от грызунов — тяжелых, зачастую смертельных заболеваний. К счастью, нам везло.

Но нашей стойкости хватило ненадолго.

IV

Кажется, на другой или третий день после того, как началась пахота, к нашей заимке прискакали двое верховых — милиционер из волости, из Больших Бутырок, да десятский из сельской сборни. Оказывается, по всей нашей губернии была объявлена новая мобилизация сразу нескольких возрастов в колчаковскую армию. Приказ из Омска о мобилизации был строгим: за уклонение от военной службы, что стало уже массовым явлением в губернии, полагалось наказание вплоть до смертной казни.

Двум братьям Елисеевым нужно было бросать пашню и немедленно явиться в волость на призывной пункт. Их отец, Лукьян Силантьевич, могучий, рукастый, но на вид не очень-то бойкий мужик, жалобно поморщился и покопался в своей окладистой русой бороде.

— Как же с пашней-то? — спросил не то себя, не то приезжих.

— А это уж не наше дело, — ответил мордастый милиционер, поигрывая плеткой, словно на что-то намекая. — Управисься один, вон какой...

— Где тут мне одному с мальчонкой-то! Погодить бы надо. Отпахались бы, тогда и...

— Ишь ты, умник нашелся! — Веселая кошачья морда милиционера так и расплылась в улыбке, по тут же потемпела. — Командующий округом генерал-майор Матковский получше тебя, старого дурака, знает, когда и кого призывать в армию Верховного правителя России! — разъяснил он строго, чеканя последние слова. — А будешь долго чесать в бороде или в затылке — заработаешь полсотни плетей. Ну а твоих сынов под военно-полевой суд! Он у нас не милует. Вот и соображай. Вчера таких умников, как ты, пороли в волости.

Стоявший тут же Филипп Федотович Зырянов искоса стрельнул в милиционера острым взглядом:

— Сам, видать, и порол! Ишь, и сейчас рука чешется! Только слушай-ка, служивый, всех не перепорете! Силенок не хватит!

— Ты што, агитировать? — Милиционер приподнялся в седле и взмахнул плеткой. — А этого не хочешь?

Но Филипп Федотович двинул двупалой рукой в морду наступавшего милицейского коня, и тот осадил назад.

— Ты на кого, зар-раза, с плеткой-то? — закричал Зырянов. — На георгиевского кавалера? На старшего унтер-офицера? На героя японской войны? А пу, кошачья морда, тронь! Я тебя стяну с коня-то! Все кишки твои вымотаю на кулак!

Милиционер повертелся в седле, будто ему припекало зад, и его расплывчатая рожа покраснела еще пуще, чем от выпитого с утра самогона.

— Ну ладно, я тебе это припомню, кавалер и герой! — зло пригрозил он Зырянову. — А тебе, гражданин Елисеев, один приказ: завтра утром твой парни в полной готовности должны быть у сборни! Оттуда всех новобранцев повезем в волость. Одним обзом. А наслушаешься большевистской агитации да не отправишь парней — не миповать тебе порки. Буду пороть сам. Так и знай.

— Ладно уж, так и быть, — потупясь, согласился Лукьян Силантьевич, стараясь поскорее перевести разговор на мирный лад.

Когда милиционер ускакал к соседней заимке, дедушка Харитон пбругал своего горячего зятя:

— Зря расшумелся-то! Тут без шума надо.

— А чего он плеткой играет?

— Дак пусть тешитса, тебе-то чо?

— Полсотни-то я выдюжу, — задумчиво проговорил Лукьян Силантьевич. — А вдруг да прибавят! Тогда не знаю...

— Опосля, опосля поговорим, — остановил его дедушка Харитон. — Дай всем остыть.

До вечера мужики раза три сходились среди пашен и вели какие-то разговоры. По нашим ребячьим соображениям, братьям Елисеевым надо было уже отправляться в село, чтобы успеть до ночи помыться в бане и собраться в волость, откуда, скорее всего, их сразу же и угонят в армию. С соседних заимок призывники уже тронулись в путь. Но Лукьян Силантьевич все еще не отзывал своих сыновей с пашни.

День угасал под неумолчное пение жаворопков, будто навсегда повисших над землей. Все вернулись к заимкам, зажгли костерки. И только после ужина братья Елисеевы почему-то не на телеге, а верхни отправились в село. Их кони шли шагом.

Но на другой день оказалось, что оба Ивана так и не добрались до дома. Одни их кони пришли ночью ко двору, пришли без узд.

Узнали мы об этом только тогда, когда на заимке появился десятский, приезжавший накануне с милиционером из волости. Он был свой человек, гуселетовский, да и по духу свой. Он сочувствовал тем, у кого забирали сыновей в белую армию — воевать против красной, против своих же, русских, трудовых людей, и разговаривал с Лукьяном Силантьевичем мирно, прося понять его, что он лишь выполняет наистрожайший приказ властей. Лукьян Силантьевич должен был немедленно явиться в сборню.

— Они же отправились вчера домой! Вон, все люди видели! — без конца жалобно пояснял Елисеев, но и сам, кажется, понимал, что его пояснения весьма наивны.

— Верю, что отправлялись, всей душой, Силантьич, верю! — отвечал десятский. — Отправлялись-то в село, да, видать, мимо проехали, — все же съехидничал он беззлобно.

— Да куда им проехать? Тут одна дорога! — безнадежно упорствовал Лукьян Силантьевич. — Может, с ними беда какая стряслась, а? Теперь время такое.

— Никакой беды с твоими сынами, Силантьич, пока не стряслось, — уверенно отвечивал десятский, едва сдерживаясь от ехидной улыбки. — Но может и стрястись. В дезертиры они подались, только и всего! Не первые и, видать, не последние.

— В дезертиры?

— А то, чать, не знаешь? — Тут десятский не стерпел и хотнул. — Таких недогадливых, Силантьич, я уже повидал сегодня. Все твердят одно: уехали в село собираться на призыв. А где они? Больше половины не доехало! Не одни твои. Собирайся, Силантьич, некогда мне.

— Пороть будут?

— Пока велено доставить в сборню.

— Ты вот что, служивый, — обратился тут к десятскому Филипп Федотович Зырянов. — Ты слушай меня, старого воропа. Ты скажи-ка там в сборне — и отца-то их, мол, на пашне нету. Сказывают, тоже в село уехал, провожать сыновей в волость. А Силантьич сейчас же махнет отсюда куда глаза глядят. И переждет где-нибудь.

— Нет, я поеду, — вдруг заявил Елисеев. — Куда мне бежать от пашни?

— Ну и поезжай, если дурак! Отведаешь колчаковских плетей — поумнеешь!

— Он сказал, не больше полсотни.

— Все одно сдерут всю шкуру! Все одно не ходить тебе за плугом! Поезжай отведай.

Мы уже слышали кое-что о дезертирах, которые, не желая идти в солдаты, прячутся в бору или по заимкам. Нам нравились такие смелые люди. В самом деле, чем идти в беляки, на войну, под пули, лучше уж прятаться по глухим местам и жить тайно. Это даже интересно. И мы, признаться, позавидовали братьям Елисеевым. Ведь были всегда такими смиренными парнями, а оказались вон какими отчаюгами — не побоялись даже военного суда и стали дезертирами. Вот это да!

Вечером Федя позвал меня в колок и шепотком заговорил о братьях Елисеевых:

— Ухари! Сбежали от белых, вот и все!

— А если их поймают? — Мне пехорошо вздохнулось. — Жалко. Засудят под расстрел.

— Поди поймай их! Они теперь где-нибудь в бору. Спрячутся в какой-нибудь согре, а то в камышах.

— А как жить будут?

— Проживут, прокормятся.

— Ухари-то они, знаем, ухари...

— Знаешь чо? — Федя продолжал уже почти мне в ухо: — Давай и мы сбежим!

— Куда?!

— А тоже в дезертиры. Будем как Иваны-братаны.

Предложение было неожиданным и очень заманчивым, тем более что работа на пашне оказалась трудной, наши силенки истощались, да и харчишки стали скудными.

— Одни? — спросил я, едва переведа дух.

— Знамо, одни, — без запячки ответил Федя, у которого всегда и все было заранее обдуманно. — Васятке нельзя. Он остался теперь за хозяина, с кошми. Ему ждать, когда отца выпорют. Андрейке тоже нельзя. Он вместо тебя боропить будет. А мой батя останется с Алешкой.

Все было разумно, все резопно...

— А когда? — зажегся я идеей дружка.

— Утречком. Уйдут мужики коней кормить, а мы шуганем в колок, а там и домой.

И план побега отличный!..

— Только молчи, — предупредил Федя. — Никому ни слова.

Я понимал, что мужики о нашей затее не должны, конечно, знать. Но как скрывать ее от друзей? Нехорошо как-то, даже нечестно, и я предложил:

— Давай хоть одному Васятке скажем. Он не выдаст. Он тоже ухарь, как его братаны.

— Ладно, одному Васятке, — согласился Федя, чтобы избежать лишней проволочки в затеянном деле.

Утром, отрезав по краюхе хлеба, мы бежали с пашни.

Боясь погони, мы все время оглядывались, всматривались в даль: не скачет ли за нами конный? Едва что-то померещится — бросались в придорожные сухие травы. Но погони не было: мужики, конечно, все-таки выпытали у Васятки, что и мы, как бы вслед за его старшими братьями, ударились в дезертиры. Васятка сказывал потом, что мужики, услышав такое, чуть не катались по земле со смеху.

Пришли мы на кордон. На всякий случай со стороны огорода, решив немного отдохнуть за банькой, оглядеться, а потом уж и направиться в дом. Так и сделали.

Отец только что вернулся из какой-то дальней поездки и расседлывал во дворе потного, с подвязанным хвостом, забрызганного грязью коня. Должно быть, мотался по бору, по сырým местам.

— Эх, ясно море, явились! — Он в изумлении поднял руки. — Обожди-ка, но ведь сегодня пятница, а не суббота. Стало быть, одни? Удрали, да? Молодцы-ы! Ну и молодцы-ы!

От его похвалы нам стало стыдно.

— А мы как Елисеевы братаны, — серьезно пояснил Федя,

стараясь подчеркнуть, что не обычное лептйство, а лишь высокие побуждения, вроде тех, какие были у Елисеевых парней, заставили нас бросить пашню раньше времени.

— Понятно. Тоже дезертиры?

— Знамо дело...

— Ну и головы! — весело подивился отец: должно быть, ему все же что-то правилось в нашей ребячьей вольности. — Только, дружки-приятели, тут есть разница. Елисеевы-то братья сбежали от Колчака, который хотел заставить их воевать против Советской власти. А вы от кого сбежали с пашни? От дедушки Харитона? Ну а он что же, заставлял вас воевать? Нет, он заставлял оборонять. Так какие же вы дезертиры? Вы просто беглые варнаки.

Варнаками мы не хотели быть.

— Мы только поедим и опять туда, — помрачнев, ответил Федя.

Я подхватил уже обрадованно:

— Только поедим немного!

— Ладно уж, ладно, — сказал отец ласково, примирительно. — Устали небось, а? Ну, пошли в дом.

— Дядя Семен, вы сейчас из бора? — спросил Федя, поняв, что одну беду пронесло. — А вы не видали там Елисеевых братьев?

— Вы о них лучше помалкивайте, — останавливаясь у крыльца, заговорил отец. — И узнаете, где они, — молчок! Да не вздумайте бежать еще в бор. Там всякие люди сейчас бродят. Бывают и варпаки.

Варнаков мы всегда боялись: о них у нас, в Сибири, все еще ходили страшные рассказы.

«ДОБЫТЧИКИ»

I

Многие взрослые сельчане вместо спокойного отдыха после недельной работы на пашне в это воскресенье уныло бродили из дома в дом, делясь невеселыми новостями. Из многих семей парни скрылись от призыва и не показывались в селе, их отцов без конца таскали то в сборню, то в волость, и возвращались они домой, отпробовав плетей или зуботычин. Ночами милиция устраивала облавы на дезертиров, усердно обшаривая многие подворья и займки, но, к счастью, безуспешно: сельские парни хорошо знали укромные места. Однако их родители переживали трудные, тревожные дни.

А нам, юным сельчанам, горя было мало. Своих-то забот, конечно, и у нас хватало — ведь наступила самая горячая пора лесной охоты, добычливой и заразной. Накануне вечером, когда все село мылось в банях, растянувшихся цепочками по

берегам озер, наша ватага нашла время собраться вместе и уговориться, когда и откуда выйти в бор на промысел.

Сбор был назначен у кордона.

Друзья сходились, дожидывая куски хлеба.

Опоздал лишь Васятка Елисеев, но все милостиво согласились обождать его: Лукьяна Силапьевича испортили тогда в волости плетьюми так, что его, бедного, чуть живого привезли домой на телеге. («Сразу за двоих пороли, дак...» — пояснил Лукьян Силапьевич.) Так что наш дружок мог задержаться по уважительной причине. Но вот явился и Васятка, да еще с веселым видом, чем всех и удивил.

— Батя поднялся! — радостно сообщил Васятка. — По избе прошелся! Только весь в стружьях, смотреть страшно. Чуть согнется — сукровица. Мы его с мамкой мазью из трав мазали.

Все ребята от души порадовались за дружка:

— Оживет!

— Он двужильный!

— Ожить, знамо, оживет, — согласился Васятка. — Только бы ему ишшо не попало. Власти требуют: все одно, дескать, подай своих Иванов в солдаты! А где их найдешь?

За дни, пока все работали на пашне, бор омолодился и зажил новой, более спокойной, чем во время шумного пролета птичьих стай, жизнью. Утки успели обзавестись гнездами, начали класть яйца, а потому таились в непролазных камышах. Только одинокие селезни все еще посились над озерами. Весь бор уже был объят той устойчивой тишиной, какой совсем не мешает усердное плотничанье дятлов, пересвисты и треньканье лесных щичуг. После вольготной степи, почти всегда обдуваемой ветерком, в бору казалось очень душно, особенно в сосняках, где застаивался запах хвои, прогретой на солнце. Легче дышалось в низинах, заселенных чернолесьем, где все еще поблескивали между кочек лужицы полой воды, пронзенные со дна щетинкой яркой зелени.

Не доходя до озера, мальчишки постепенно разбредались в разные стороны с дороги, по которой мы шли, — она обрывалась у Горького. Наши дуплянки были развешаны в том месте, где находилась небольшая рыбачья землянка дедушки Харитона.

За старшего у нас был тринадцатилетний, рослый и серьезный Алеша Зырянов. Ему, должно быть, льстило, что под его началом оказалась орава мальчишек, и он с большой серьезностью относился к своей роли. Меня, как новичка, он поучал особенно заботливо:

— Залезешь, так не горячись, ловчей держись за сук. Складешь яйца в фуражку, а потом ее в зубы. И слезай!

По деревьям я лазил с удовольствием, нередко хвастаясь своей ловкостью и неутомимостью. Более того, даже по телеграфным столбам на тракте я, бывало, взбирался в считанные секунды, с истинно беличьей цепкостью и легкостью.

Помню, с каким волнением поднялся я к первой дуплянке.

Мы, деревенские ребята, были приучены на все смотреть просто, без излишних размышлений и терзаний. Но на этот раз я вдруг испытал какую-то неловкость и стыдливость перед бедной, так жестоко обманутой гоголихой, которая только что вылетела из гнезда. Держась за ствол сосны, я почему-то помедлил и в задумчивости засмотрелся поверх прибрежных камышей на широкое сверкающее озеро.

Но уже пробудилось любопытство. «Может, там и нет ничего», — сказал я себе, безотчетно подбадривая себя. И все же я не ощутил никакой радости, когда сузил руку в лаз и нащупал выстланное разной мягкостью и пухом теплое утиное гнездо, а в нем до десятка крупных яиц. Жалко стало доверчивую гоголиху...

А с ближних сосен уже доносились крики:

— У меня полно яиц! Смотрите, во какие!

— Мишк, а у тебя? Чо молчишь?

Жалость жалостью, а ведь есть-то охота. А тут еще, как нельзя кстати, вспомнились заверения знатоков, что гоголихе ничего не стоит снова нанести полное гнездо яиц. Ну раз так — можно и брать.

Жалость быстро забылась, едва я разглядел на солнце свежее гоголиное яйцо. Чудо! Светится, как стеклышко! Я быстро опустошил гнездо. Семь голубоватых с прозеленью яиц будто свалились мне в фуражку с неба! Даровые! И я уже пожалел, что у меня меньше, чем у друзей, дуплюнок, и уже позавидовал друзьям. «У них будут полные корзинки! — подумал я с досадой. — А у меня на доньшке».

Но мне повезло. В следующей дуплюнке я, к своему удивлению и радости, обнаружил около двух десятков яиц. Мне пришлось ради осторожности два раза спустаться с сосны на землю, держа в зубах свой картуз с добычей.

Ко мне подошел Алеша Зырянов, все время следивший за мною со стороны. Я сказал ему с восторгом:

— Несучая гоголиха попалась! Больше всех нанесла!

— Да, тебе подвалило, — с мужицкой рассудительностью согласился Алешка. — Только, однако, не одна гоголиха у тебя несетя, а две. И каждая считает гнездо своим. Так бывает. Глупые они, знамо...

С другой стороны к нам подошел Васятка Елисейев, чем-то озабоченный, от чего-то приунывший. Узнав, что в одной из моих дуплюнок, судя по всему, несутся две гоголихи, он и совсем опечалился, чего никак нельзя было ожидать от доброго и артельного паренька.

— А у меня в двух дуплюнках гнезда свиты, а яиц нету, — пояснил Васятка, заметив, должно быть, недоумение в наших глазах. — И что такое с ними? Пошто не несутся? Рано им, чо ли? Или, поди, облюбовали другие дупла?

— Да где они их найдут? — возразил Алеша Зырянов. — Гоголих тыщи, а много ли дуплюнок? Видишь, вон у Мишки

одна на двоих. И потом, зачем же они вили гнезда? Они зря не вьют.

Серьезно, умно рассуждал Алеша, но его доводы совсем повергли Васятку в уныние. Он сказал потупясь:

— Тогда куда же яйца подевались? Выкрал кто, чо ли?

— Ну и придумаешь же ты, Васюха! — сдерживая улыбку, возразил Алеша. — Да виданное ли это дело? Сроду не слыхать было, чтобы кто-то чужой по дуплянкам лазил. Нет у нас воров-то!

— Да, может, вороны приладились и добывают?

— Воронам не достать. Горло коротковато.

— Да кто ж тогда? Кто?

Заметив, что у Васятки наворачиваются слезы обиды, Алеша снисходительно похлопал его по плечу:

— Да ты, слышь-ка, не плачь, а радуйся! Вот как! Чужие не могли взять. Свои взяли.

— Свои? — От растерянности у Васятки даже немного оглупело круглое лицо. — Наших никого здесь не было.

— А может, были?

— Девки, чо ли? Да, они не полезут.

— Эх, паря, недогадлив ты! — с сожалением заметил Алеша и, немного склонясь над Васяткой, понизил голос: — А про братанов забыл?

— Они же убегли! — возразил Васятка. — В дезертирах они!

— Убегли, да, видать, не так уж далеко, — ответил Алеша. — Должно, где-то в бору прячутся. Небось оголодали, вот и полезли в дуплянки. Свои ведь, не чужие...

И рассказать-то невозможно, что сделалось в те минуты с Васяткой! Он любил братьев той особой любовью, какая на диво скрепляла русские семьи в старые времена. До этого Васятка, вероятно, считал, что если братья не заглядывают домой даже ночами, чтобы разжиться хлебом, то они, стало быть, убежали куда-то далеко, может быть, к самому Мамонтову: тот всех дезертиров, сказывают, собирает в свой отряд. А они, оказывается, прячутся где-то здесь, в чащобах бора, совсем недалеко от дома.

— Знаешь, Алеша, — заговорил Васятка, весь розовея от напора радостных мыслей, — коли так, они еще придут! Правда, а?

— Знамо, придут, — согласился Алеша. — В бору сейчас годно.

— Тогда я вот чо сделаю: складу сейчас все яйца обратно в дуплянки! Пусть берут! Пусть едят! Может, с ими и дружки есть, тоже дезертиры, пускай все кормятся!

— Это резон, — сказал Алеша с медлительностью и серьезностью взрослого. — Ну, не все, знамо, складывай, немного и себе возьми. А то еще увидят тебя ребята с пустой корзинкой и привяжутся. Куда, дескать, яйца подевал? Ты вот чо... ты подстели побольше моху на дно, а потом наложи яиц рядка два, вот и будет у тебя полная корзинка. И прикуси язык. Своим, знамо, все

скажи, а чужим — ни слова. А то живо споймают твоих братья-нов у этих душлянок. Тогда они пропали.

■ Васятка быстро снарядился и полез с картузом в зубах к дуплянке, а к нам подошли Андрейка и Федя. Они уже закончили сбор яиц и недоумевали, отчего мы толчемся под одной сосной. Неохотно, но Алеша рассказал им обо всем, что произошло, и потом всем нам строго цаказал:

— Кто обмолвится одним словом — тому укорочу язык! А двумя обмолвится — обрежу еще и уши.

Угроза была серьезной, и мы наперебой начали божиться, что будем молчать. С огромным удовольствием мы чувствовали, что отныне наша жизнь отмечена особой метой и скреплена большой общей тайной. Ах, как приятна всяческая тайна в мальчишеские годы! Даже небольшая, пустяковая, какой грош цена. А тут такая, от которой дух спирает.

— Теперь разовеемся, — распорядился Алеша, кивая на корзинки.

Все уселись в кружок на сухом песочке под сосной и дружно начали высасывать, причмокивая и облизываясь, гоголиные яйца. Один я не рещался на это...

— А ты чего? — поинтересовался Алеша. — Пробуй! Или бережешь?

— Бережет, — посмеялся надо мной Андрейка.

— Да нет, он брезгует, — сказал Федя. — Я знаю.

— Значит, брезгун?

Я действительно брезговал пить сырые яйца. Даже не мог спокойно смотреть на тех, кто это делает, и отходил прочь. Так продолжалось долгие годы.

...Веселой гурьбой возвращались мы из бора. К дороге, по которой мы шли, то и дело выходили все новые и новые группы мальчишек. Встречаясь, все хвастались друг перед другом своей добычей. Один Васятка помалкивал и не давал касаться своей корзинки.

— А чо их смотреть? Яйца и яйца.

Мы поддерживали дружка:

— Знамо, чего там смотреть! Пошли!

Сегодня утром мы выходили в бор совсем зелеными мальчишками, у которых ничего-то не было за душой, ничего! А в полдень возвращались в село с большой тайной, которая совершила с нами чудо. Она делала нас осторожными и рассудительными. Она прибавляла нам лет,

II

Не помню, сколько еще раз мы опустошали свои дуплянки, заставляя бедных гоголих нестись и нестись. Но однажды, сразу после окончания пашни, моя рука пащупала в дуплянке вместо яиц спину гоголихи; она затаилась, будто обмерла, рещив

как угодно, а защитить свое право на потомство. Я с испугом выдернул руку и быстро соскользнул на землю.

Дедушка Харитон, подъехавший к берегу на телеге с ботничком, увидев меня с пустым картузом, спросил:

— Ты чего соскочил-то как ошпаренный?

— Там гоголиха сидит, — сообщил я ему негромко.

— О, тогда, паря, не трожь ее, не трожь! — заговорил дедушка с озабоченностью. — Стало быть, села, крепко села.

В это время из дуплянки, висевшей поблизости, — к ней уже поднялся Федя Зырянов, — выбралась и, сильно захлопав с испугу крыльями, рванулась в сторону озера гоголиха, теряя с лапок легкие пушинки.

— Все, ребята, кончать пора! — теперь уже распорядился дедушка Харитон. — Федька, слезай! Хватит! Андрейка, Васятка, не трожьте птицу, довольно! Пора и пожалеть божью тварь!

Дедушка живо согнал всех с сосен.

— Птиц забижать грешно, — пояснил он, когда перед ним собрались все ребята. — Им тоже жить и плодиться надоть. Сейчас заберете яйца, они, бедные, бросят пестись и останутся бездетными. А если и нанесут да высидят — утята все одно не успеют вырасти и научиться летать. В теплые края не улетят — все тут погибнут. Какой замерзнет, какого лисы сожрут...

Досадно было, конечно, что дедушка не разрешил в последний раз обчистить дуплянки, но ослушаться его никто не посмел. Впрочем, дедушкин запрет огорчил нас ненадолго. Мы могли поживиться в других местах. Не довольствуясь той добычей, какую нам давали дуплянки, мы уже не однажды при возвращении домой обшаривали береговые камыши небольших лесных озер, поднимая на каждом по две или три кряквы. Но до последних дней вода была еще очень холодной, и мы не решались забредать на лабзы, где чаще всего и гнездились хитрые утки. За последнюю же неделю вода всюду прогрелась настолько, что можно было, сняв штаны, лезть в озера без опаски.

— Айда по озерам! — предложил украдкой Федя.

Васятка и я схватились за свои корзинки. Алеша Зырянов и Андрейка Гулько, как старшие, взялись помогать дедушке Харитону стаскивать с телеги и волочить к берегу его ботничок. Звать их с собой бесполезно. Они теперь, на ботничке, будут промышлять на Горьком. Там, на песчаных островах, чайчи яйца можно грести лопатой.

От берега дедушка все же крикнул нам вдогонку:

— Глядите там — запаренные не брать! Он, — дедушка показал на небо, — он все видит!

Пошли мы в сторону от зимней дороги, вдоль Горького. Федя и Васятка строили разные планы на день, начавшийся так неудачно. Я же шел позади и заговорил с Васяткой:

— А у тебя в крайней дуплянке были яйца?

— Сегодня были, — ответил Васятка, — А чо?

— Вот видишь, не тронули их твои братаны. Значит, и они знают, что так и надо.

— Так, поди, так! — оживленно согласился Васятка.

— А может, они и не приходили больше, твои братаны, — обернувшись, по-своему рассудил Федя Зырянов. — Вот и остались яйца.

— Приходили, чо ты! — зашумел Васятка; он не допускал и мысли, что братьям что-то помешало появиться у душлянок. — Почему бы им не прийти?

— Мало ли что...

В последние недели наша большая тайна не переставала волновать нас, как и в самом начале: мы частенько, осматривая душлянки, шепотком, озираясь, разговаривали о братьях Елисеевых, которые являлись для нас под стать сказочным богатырям. Они и в самом деле оказались стойкими парнями. Некоторые их сверстники, не умея мириться с лишениями бродячей жизни, стали изредка появляться дома: хотелось сытно поесть, помыться в бане, повстречаться с любимыми девушками, поспать в тепле. Некоторые из таких легкомысленных были схвачены. Другие сверстники Елисеевых, совсем потеряв осторожность, вовсе заживались дома на несколько дней, а потом, наслушавшись советов трусливых родителей, сами сдавались в руки властей. И тех, и других под конвоем увозили в волость — там и терялся их след.

Но братья Елисеевы оставались молодцами.

— А домой они появлялись? — спросил Федя.

— Ни разу, — твердо ответил Васятка.

— Может, ночью приходили, когда ты спал?

— Мамка не утаила бы...

— Как же они живут без хлеба?

— Где-нибудь добывают.

— А где?

Пытлив, дотошен был Федя...

...Наконец мы спустились в большую низину, продрались сквозь отцветающий черемушник и оказались у продолговатого озера, до которого прежде не добирались. Озеро, как обычно, было оторочено камышовой каймой, за ней блестела неширокая полоса еще чистой воды, а дальше, в центре, поднималась, помятая снегами, но все равно высокая, густая лабза.

— Тихо, — предупредил меня, как новичка, Федя. — Тут знаешь, сколько на лабзе утей? И все касатые.

— А не глубоко здесь? — спросил я опасливо.

— По грудки дак, может, будет.

— А вылезем на лабзу?

— Знамо, вылезем! Лабза крепкая, я тут был.

Сняв штаны и спрятав их вместе с корзинками под кустами черемухи, мы в картузах и рубахах, встав цепью, осторожно, с непривычки подрагивая, полезли в озеро. На полпути к лабзе пришлось поднять подолы рубах, тело покрылось гусиной кожей,

стало немножко жутковато от мысли, что вот попадет яма — и окунешься в нее с головой. Босые ноги обжигало холодом в густой и холодной, как студень, донной тине. Дышалось почему-то порывисто, будто после бега. А над озером стоял дремотный покой, над крепью лабзы беззвучно перепархивали камышевки и, качаясь на камышинах у самой воды, пересвистывались чуть слышно. Невольно думалось, что здесь, вопреки предсказаниям Федя, только их царство и есть...

Вылезти на лабзу, даже при небольшой глубине, оказалось нелегким делом. Край у нее слаб, рыхл, он крошился, едва навалишься грудью. Не однажды мне привелось хлебнуть здесь озерной водицы.

Первым выбрался на лабзу, конечно, Федя, и перед ним тут же, заорав на весь бор, взмыла в небо огромная кряква. «Вот хитрющая! — подумалось. — Ведь она давно слыхала, как он бултыхался, а все сидела». С минуту я слушал, как трещал камыш там, где пробирался счастливый Федя, отыскивая утиное гнездо. Но вот он остановился. «Нашел! Яйца выбирает! — подумал я с завистью. — И все молчком, все молчком...»

Удача Федя меня так распалила, что я уже не стал жалеть рубаху, опустил подол и полез напролом. Кое-как я выбрался, пробив всем телом ход до того места, где лабза была покрепче, позастарелей. Весь я был в тине, облеплен камышовой прелью, обмазан корневой слизью. Справа, перед Васяткой, тоже рванулась ввысь перепуганная насмерть кряква. «Нашумели, теперь все улетят», — терзался я, торопясь обтереть хотя бы лицо. Но тут, в пяти шагах от меня, раздался такой шум и треск, будто лабза взорвалась изнутри. Я с испугу едва удержался на ногах. «Да это же кряква!» — наконец понял я и бросился вперед.

Но по зыбкой лабзе надо ходить с особой осторожностью и ловкостью. На ней все время утопаешь по колено, как в огромной перине. Задерживаться долго нельзя, но и спешить нельзя, рискуя сделать неверный шаг.

Всегдашняя горячность и здесь меня чуть не подвела. Второпях сделав первый бросок, я пробил лабзу левой ногой почти насквозь и упал на стену камыша, исцарапав лицо. Пришлось, однако, стерпеть, чтобы избавиться от насмешек друзей. Дальше пошел уже осторожно, раздвигая густые желтые камыши, обшаривая глазами те места, куда хотелось поставить ногу, и те, где могло быть утиное гнездо. Да, вот оно! Небольшая тропка ведет в гущину камыша, а там, на кочке, виднеется пух и перо. Я пролез к гнезду, дрожащими руками уложил рядом с ним картуз и, забываясь от радости, крикнул ребятам:

— У меня тоже есть! Штук десять!

Но дружки не откликнулись, и я понял, что нарушаю суровое правило промысла.

Гнездо было теплое, в нем хотелось погреть озябшие руки. Но что это? От гнезда исходил какой-то нехороший, затхлый душок, а яйца светились тускло, как высохшие на солнце галь-

ки. Взяв из гнезда одно яйцо, я опустил его в лужицу на утиной тропе. Яйцо плавало. «Запарены! — резануло меня до самого сердца.— Они наберут, а я с пустыми руками явлюсь!»

Огорчение мое росло с каждым шагом. Я продирался средней, самой непролазной крепью. Местами высоченный камыш повалило встреч мне как заплот, здесь я выбивался из сил. По краям лабзы, где шли Федя и Васятка, криквы взлетали часто. «Они делают гнезда ближе к воде,— понял я с досадой.— Зачем им жить в такой чащобе?» Друзья затихали у найденных гнезд иногда надолго. У них, конечно, были уже полные картузы яиц. А мне так и не везло! Хоть лопни с досады! Я решил скитрить — свернуть со своего пути, поближе к Феде или Васятке, — как вдруг позади меня, опять напугав, взмыла криква. Пришлось возвращаться обратно. Оказалось, что я, если бы заметил, мог не сходя со своего пути, прихлопнуть рукой крикву на гнезде. Вот как крепко сидела! Я был уверен, что ее яйца уже запарены, но они быстро тонули в воде. «Как раз, поди, неслась», — рассудил я, быстро выбирая голубоватые с прозеленью яйца из гнезда и укладывая их на дно картуза. Теперь можно было позабыть о всех неприятностях. С новыми надеждами я двинулся вперед.

Теперь и передо мною стали взлетать криквы. Но незапаренные яйца нашлись еще только в двух гнездах. Правда, мой картузишко был уже полон, — пожалуй, его тяжело будет держать в зубах, когда придется выходить на берег. Можно было и не жадничать.

Впрочем, вторая половина лабзы оказалась будто вымершей. Здесь не поднялось ни одной криквы. Должно быть, все они, напуганные шумом, уже сорвались с гнезд и теперь как ошалелые носились над озером. Федя и Васятка, опередив меня, уже выбрались своими путями на край лабзы и звали меня:

— Мишка-а, ты где-ка?

Я отозвался и ускорил шаг, тем более что оказался на тропке, пробитой утками в камышах, — здесь они выводят утят из глубины лабзы, где скрываются от хищных птиц, на воду, чтобы кормиться на зорях. Таких троп на лабзах бывает много. Местами они почти всегда слегка залиты водой. Одной тропой обычно пользуются несколько семей.

Передо мной вдруг что-то забилося в камышах. Я замер: утка! Дергаясь, она лезла в заросли, стараясь спрятаться от меня, но почему-то не могла взлететь. Что за чудо? Быстро уложив свой тяжелый картуз между кочек, я бросился к утке.

Мне опять кричали:

— Мишка-а, ты где там?

— Скорее сюда-а! — ответил я во все горло. — Я утку поймал! Скорее!

Ломая сухие камыши, быстро подошли дружки. Я пояснил: — Она в капкан попала!

В давние времена, когда в наших глухих местах трудно было

завести ружье и достать припасы, многие охотились на уток с маленькими капканчиками, ставя их в воду на утиных тропах. Когда подросшие, но еще не летающие утята выходили цепочкой вслед за матерью к воде, зачастую чью-нибудь лапку, глядишь, и стискивали железные дужки.

— Утка-то чужая, зачем ее брать? — сказал Васятка.

— Ее все одно коршун раздерет, — рассудил Федя.

Тем шнурком, каким капкан крепился за суковатый колышек, спрятанный в камышах, Федя связал крякве крылья и ноги. Крякву он вручил мне, а капкан Васятке. Внимательно осмотрев капканчик, Васятка вдруг воскликнул удивленно:

— Дак ить он с нашей метой! Глянь-ка, Федя! Вот она! — Он указал на какую-то зазубринку на дужке капканчика. — Видишь? Наш! Его дедушка ковал!

— И правда, ваш, — знающе подтвердил Федя.

— Как же он оказался тут?

— Может, остался с прошлого года?

— Да нет, он не заржавелый. И потом, я сам же считал их — все были собраны, смазаны и в кладовке на гвоздь повешены.

— А сейчас висят?

— Не знаю.

— Тогда и гадать нечего, — быстренько сообразил Федя. — Нет их в кладовке. Твои братаны, видать, и расставили. Где-то здесь они живут.

Мы опять напали на след братьев Елисеевых!

— Возьми утку, — сказал я Васятке. — Твоя же...

Но Васятка был так обрадован, что отказался от утки. Тогда мы по предложению Феди решили, возвратясь домой, сварить похлебку с уткой у Елисеевых и устроить пир горой.

Мы выбрались с озера и, коль скоро речь зашла о еде, устроили привал на сухом песчаном пригорке. Честно поделили добычу. Федя и Васятка тут же принялись с жадностью высасывать яйца, а я быстро нарвал себе листьев слизи.

— Так и не осмелишься? — спросил меня Федя.

— Не могу, тошнит, — ответил я со стороны.

Невдалеке послышались ребячьи голоса. От озера Горького, кособочась под тяжестью корзин, показались из соснячка Ванька Барсуков и Яшка Ямщиков. Мы сразу же догадались: они не только опустошили свои дуплянки, но и облазили немало береговых камышей на Горьком. На всякий случай я прикрыл свою утку мокрой рубахой.

На пригорке Ванька и Яшка опустили на землю свои корзины. Стараясь показать, как он умаялся от своей добычи, хвастливый Барсуков долго обтирал свое потное лицо.

— Ну и нагрузились мы с тобой, Яшка!

— С божьей помощью, — набожно пояснил Ямщиков.

Ванька издали окинул взглядом наши корзинки.

— А у вас, кажись, не богато?

— Мы дуплянки не трогали, — ответил Федя.

— Ну и дураки!

— И по камышам не все подряд брали. Запаренных-то можно набрать сколь угодно, даже без божьей помощи.

— Думаешь, у нас запаренные?

— Их издали видно.

Ванька схватил в корзине одно яйцо и показал его нам на вытянутой ладони.

— Запарено, да? Запарено?

— Запарено! — ответили мы дружно.

— Подумаешь, какая беда! Немного, дак чо? Хотите, я его сейчас же, на ваших глазах, заглотну?

— Подавишься! — посмеялся Федя.

— А вот и не подавлюсь!

Ванька надколол яйцо об оголенный корень сосны, на всякий случай расширил пробоину, отбрасывая кусочки скорлупы. Его не остановила затхлая вонь, ударившая из пробоины. Ванька поднес яйцо ко рту и запрокинул голову, а через несколько секунд, потянув губами, сглотнул что-то такое, отчего у него по всему горлу прошла судорога. С заминкой, но одолев некоторую оторопь, от которой даже навернулись слезы, он отбросил подалее пустую скорлупу и спросил:

— Еще?

Он считал, должно быть, что мы не потребуем новых доказательств — и так ошеломлены его решительностью. Но Федя и здесь остался верен своей всегдашней привычке.

— Давай еще, — подначил он. — Это незапаренное было. Ты покажи наперво, тогда поверю.

— Не веришь, да? — не чуя подначки, загорелся Ванька Барсуков. — Гляди!

Он выхватил из корзины еще одно яйцо и кинув его о корень сосны, а я, сдерживая приступ тошноты, вскочил с места и бросился с пригорка в кусты калины.

Мучения мои были ужасны, но я все же слышал, как Федя заспорил с Ванькой.

— Ты смухлевал, смухлевал! — кричал он что есть силы. — И это не было запарено! Темное пятнышко было, а больше ничего! Глотай ишшо! Тогда поверю!

III

Утку мы несли поочередно, и каждый из нас удивлялся:

— Вот окаянная, чего обожралась-то?

— Они жадные, еще хуже Ваньки, — заметил Васятка.

— Думаешь, и его прохватит? Не-е...

— Замолчите! — взмолился я, отставая на шаг.

— Молчи, Вася, не вспоминай про этого живоглота, — распорядился Федя. — Пускай его и не прохватит, но хворать он будет: шутка ли, столько утят заглотил! Через недельку они бы пикали. Молчи, Вася, а то Мишка вон уже весь зеленый.

Мне хотелось поскорее добраться домой. Но Федя и Васятка, к моему огорчению, задумали облазить еще одну лабзу на ближайшем озере. Вероятно, все-таки взяла свое зависть: как-никак, а у Ваньки и Яшки корзины были распольным-полны...

Но мы не согнали больше ни одной кряквы.

— Уже облазил кто-то, — огорченно пояснил Федя. — Гляди, вот следы, да и камыш помят.

— Пошли домой, — попросил я жалобно.

— Если возвращаться на нашу дорогу — язык высунешь, — сказал Федя раздумчиво. — Теперь надо уж дойти до прошлогодних вырубок, а оттуда другой дорогой.

Еще не дойдя до лесосеки, где прошлой осенью гуселетовцы заготавливали дрова, мы услышали на ней звон топоров и глухие удары. На самом краю лесосеки, где остались нетронутыми редкие строевые сосны и одинокие березы, мы увидели следы тележных колес и много ям, из которых были выворочены пни. Мы пошли краем лесосеки и вскоре увидели работающих людей. Одни обкапывали лопатами пни, чтобы удобней было обрубить у них корни, другие выворачивали пни вагами или вырывали их лошаадьми, третьи кололи пни, забивая в них тяжелыми колотушками деревянные клинья. У дороги стояли три телеги-роспуска, на которых, должно быть, и увозили расколотые пни с лесосеки.

— А-а, это на дегтярню возят! — догадался Федя. — Мужики деготь хотят гнать. Зайдем, поглядим?

Краем уха я тоже слышал от отца о дегтярном заводе, на создание которого он добывал разрешение в лесничестве. Смола и деготь всегда требуются в крестьянском хозяйстве, а покупать их сейчас на стороне не на что. Вот гуселетовцы, как объяснял отец, и решили устроить свой дегтярный завод, благо в селе нашлись старые мастера.

Я еще плохо знал гуселетовских мужиков и парней. Но Федя и Васятка, выйдя к лесосеке, остановились и заговорили удивленно:

— Гляди, это же Голубев Ефимша копает!

— Он самый, а вон и Меркурьев Степка! Вон сидит на ваге!

— А рядом-то, рядом! Сам Филька Крапивин! И он здесь!

Едва я догадался, почему удивляются мои дружки, завидя знакомых гуселетовских парней, как Васятка, быстро опустив корзину на землю, закричал:

— Бра-атки-и! — и стремглав понесся к парням, которые пытались расколоть с помощью клиньев широкий, в несколько обхватов, сосновый пень.

— Все дезертиры тут! — весело пояснил мне Федя.

Парни, работавшие поблизости, побросали работу, подозвали нас к себе. Все задымили самосадам. Ефимша Голубев, кудрявый, фатовый парень, из тех, какие очень нравятся девушкам, протянул кисет Феде:

— Закуривайте, мужики.

— Мы ипшо не курим, — застенчиво пробурчал Федя.

— Что так? Боитесь, уши надерут?

— А то нет?

Белобрысый, очень курносый Филька Крапивин, с хитрыми глазами, глядящими отчего-то вкось, кивнул на меня:

— А это чей же с вами? Вроде и не нашенский?

— Дяди Семена сын, с кордона.

— О-о, дядю Семена мы знаем! — вроде бы даже обрадовался Филька. — И верно, его порода. Как это я не спознал? — Желая, видимо, сделать мне приятное, он тут же предложил: — На, паря, курни разок, попробуй!

Стеснительность и здесь меня подвела. Считая, что мой отказ парни расценят как трусость, я без раздумья поймал конец услужливо подставленной сигарки и на совесть потянул в себя струю табачного дыма. И тут же захлебнулся и забился в тяжелом, надрывном кашле.

— Ничего, я тоже попервости кашлял, — одобрил меня Филька,

Но парни накинулись на озорника:

— Вот дурная башка! Чему мальчика учишь?

— Гляди-ка, до слез...

— Он еще блевать будет, — сказал Федя, конечно лишь из жалости ко мне. — Он брезгливый. Я курну — мне ништо...

— И ты кашлять будешь!

— Не буду. Я уже пробовал.

— Ну, тогда ты совсем мужик! Хошь, я тебе кресало подарю? — опять заговорил Филька. — Держи! У меня два. А вот тебе и трут. Ну а бумажки сами раздобудете.

Парни опять накинулись на Фильку:

— Чего ты затеял? Постыдись!

— Ну и дурная башка!

— А чо вы все на меня? Чо налетели? — искренне удивился Филька. — Им так и так пора уж курить. А где они кресало возьмут? Привязались, зашумели! Забыли, с каких пор сами-то дымить начали?

Федя спокойно взял кресало и трут, упрятал подарки в карман, довольно тяжелый от всяких необходимейших вещей, особенно в лесных походах.

— Смотрите только в селе не курите, — напутствовал нас Филька. — А то скоро сушь начнется, еще подпалите какой-нибудь сарай. Валяйте лучше к баням, к озерам.

Все это время Васятка — в стороне — ластился и ластился к своим братьям и не мог на них наглядеться, и не мог наговориться с ними шепотком — педаром, стало быть, ходила молва о дружной семье Елисеевых. Никто не мешал братьям наслаждаться неожиданной встречей.

Но перекур окончился, и Ефимша Голубев скомапдовал:

— Ну, ребята, встаем!

Васятке тяжело было расставаться с братьями.

— А вы еще, братки, долго здесь?

— Да побудем пока, Васятка, побудем, — ответил Иван первый. — Делать нам дома до сенокоса нечего, вот мы и подрядились корчевать пни для дегтярни. Поработаем, а нам дегтем заплачат.

— Только вы никому чужим не болтайте, что мы тут пни корчем, — наказал Иван второй. — А то нас и поймать могут. Налупцуют плетями, как батю, да и ушлиют воевать за Колчака.

Парни нагрузили телегу корявыми расщепинами из пней, и она двинулась на дегтярню. Мы отправились за ней следом.

У дегтярни, на просторной поляне, уже высились большие завалы сосновой и березовой, комлевой и корневой древесины, подготовленной для закладки в печь. Судя по всему, дегтярня должна была задымить в ближайшие дни.

Среди мужиков, встреченных на дегтярне, я разглядел высокого, дюжего, но еще молодого дядьку, лицо которого показалось мне очень знакомым. Да и он, кажется, узнал меня. Взъерошив у меня вихор надо лбом, он заговорил басовито:

— Чуть-чуть не захватил отца-то! Здесь он был, да ускакал домой. Как дела-то? Привыкаешь к Собачьим Ямкам?

И тут мне вспомнилось: этого могучего человека я видел в ту ночь, когда несколько гуселетовцев собралось у нас на кордоне. Он сидел во главе стола и, когда я вышел на кухню, непроизвольно прикрыл широкими ладонями какие-то бумаги перед собой. Несомненно, он был главным и среди тех, кто собирался на кордоне ночью, и здесь, в бору, где мужики готовились гнать деготь.

— Кто он такой? — спросил я Федю, когда мы, не задерживаясь у дегтярни, отправились домой. — Да вот этот, какой со мной-то говорил?

— По-уличному зовется Иван Царев, а как пишется — не знаю, — ответил Федя. — Будто Иваном Гончаренко. Так, кажись.

— Так, — подтвердил Васятка.

— Он в матросах служил, по всем морям плавал. Ухарь! А что-то его давно не видать было...

Так я второй раз увидел руководителя гуселетовского подполя, большевика, бывшего балтийского матроса Ивана Филипповича Гончаренко.

IV

В краткой истории села Гуселетова, записанной самими сельчанами, коротко рассказывается о создании летом девятнадцатого года на артельных началах небольшого дегтярного завода. Возглавлял артель Иван Гончаренко, собиравший вокруг себя силы, готовые взяться за оружие против колчаковщины.

Иван Гончаренко жил в Гуселетове на полулегальном положении. Это было вполне возможно тогда в наших местах. Ведь

колчаковская власть, по существу, проникла только до волостных сел, где были восстановлены земства, организована милиция, а кое-где собраны из кулачья и «боевые дружины». В глухих деревнях она, колчаковская власть, так и не смогла пустить и укрепить свои корни. Правда, вместо повсюду разогнанных Советов в сборнях сидели старосты, но они никакой реальной властью, конечно, не обладали, да и обладать ею, в ущерб обществу, даже при всем желании не решались: знали, как это опасно. Реальной властью в деревнях, как и прежде, обладали лишь сельские сходь, зачастую единодушно выступавшие против мобилизации и других мероприятий колчаковских властей. Можно сказать, что в деревнях хотя и без открыто развевающегося красного флага, но жила и здравствовала Советская власть. В таких условиях большевики и дезертиры зачастую жили почти открыто, хотя, конечно, всегда настороже. Стоило появиться на дороге из волости пароконным ходкам или верховым, о них немедленно узнавало все село, и все, кто должен был жить тайно, исчезали бесследно.

У гуселетовцев была большая нужда в смоле и дегте. Так что устройство дегтярни с разрешения лесничества у властей не могло вызвать никаких подозрений. Но не только хозяйственные соображения принимались в расчет Иваном Гончаренко и другими подпольщиками при создании дегтярного завода.

Услышав о первой же выгонке дегтя, в бор потянулись на телегах и гуселетовцы, и степняки, недавние новоселы. Иногда на дегтярне собиралось до двух десятков подвод. Подпольному штабу трудно было найти лучшее место для своей работы: собраний подпольщиков, проведения бесед с мужиками, устройства встреч с посланцами подпольных групп из соседних селений. Здесь, около дегтярни, скапливались, укрывались и обучались военному делу дезертиры, сюда свозили раздобытое разными способами оружие. Отсюда мужики вместе с лагунами дегтя развозили по всей ближайшей округе многочисленные возвания с призывами готовиться к восстанию.

ПРИВОЛЬЕ

I

В начале лета у нас, в алтайских степях, устанавливается сухая погода. День за днем жара нарастает и вскоре становится невыносимой. Пески на деревенских улицах, особенно на припеке, так раскаляются, что обжигают подошвы ног. Иногда к тому же из прииртышских просторов в эти дни начинает потягивать, как из невидимого горнила, жгучий сухой ветер. Он опалит лицо и глаза. От него нет спасения в тени. Собаки, высунув языки, замертво валяются под предамбарьями и крыльечками. Вороны с раскрытыми клювами нагло лезут к поильным колодам.

Весь небосвод раскаливается добела, а на солнце и взглянуть-то невозможно.

Моим ровесникам, бывало, все ничем: загорелые до черноты, разомлевшие, в потных рубахах, они носятся, не зная устали, и даже без конца затевают возню на горячем песке. А у меня от жары быстро разбалывается голова. Я креплюсь, помалкиваю, отнекиваюсь, когда меня тащат на солнце, но вдруг из носа кровь. Я бросаюсь во двор, начинаю плескать себе в лицо водой из колоды или бадьи. Но все мои старания скрыть, что со мной опять незадача, остаются напрасными. Кровь не струится, а хлещет, заливая весь подол рубашки. Из дома с криком выбегает мать, за ней бабушка, и вокруг меня начинаются длительные, шумные хлопоты. Но остановить кровотечение удастся не скоро. Иногда бабушка, стараясь не выдать своей тревоги, говорит, возвышая голос:

— А пускай течет! Сойдет дурная кровь — голове легче станет.

Я не пойму, отчего только у меня одного так много дурной крови. Кажется, я ничем не отличаюсь от своих друзей.

Но действительно, вскоре после того как прекратится кровотечение, голова проясняется, становится легкой и светлой. Измученный, я обессиленно засыпаю на полу в прохладных сенях.

В Почкалке это повторялось очень часто.

От зноя там не спасал даже пруд. Хорошо, правда, что он был недалеко от дома. Перебежишь улицу, пронесешься переулком, между огородами, и ты перед прудом в широкой ложбине: здесь, серединой села, протекал маленький ручьишко, который и обнаруживал-то себя лишь весной. Не знаю, почему сельское общество не могло перегородить тот жалкий ручей постоянной земляной плотиной, какие делаются у водяных мельниц. На почкальском ручье она всегда делалась из... навоза. Вешняя вода, собравшись с силами, ежегодно пробивала в плотине промоину, иногда довольно широкую, и тогда движение по ней прекращалось недели на три, пока мужики не управлялись с пашней. Потом наступало время вывозки навоза — за зиму у хозяев, имевших много скота, его накапливались целые горы. В какое-то пригожее утро с разных сторон к пруду начинали двигаться десятки телег с пестерями, груженными до отказа навозом, от которого исходил теплый пар и било душными волнами. За полдня дружной работы заляпывалась не только прореха в плотине, но и наращивался на ней свежий толстый слой, рыхлый и зыбкий, как лабза: в первые дни после ремонта ни проехать ни пройти.

Но постепенно плотина утаптывалась людьми и лошадьми, уминалась колесами, и на ней обозначалась вполне проезжая дорога, которой хватало до следующей весны. Со временем наполнялся пруд. Излишне, пожалуй, говорить о цвете и качестве воды в пруде: она была очень схожей с той навозной жижей, какой ныне охотно пользуются огородники и садоводы. К то-

му же, опережая нас, ребяташек, на пруд бросались бессчетные стаи домашних уток и гусей. И ко времени, когда наступал купальный сезон, весь пруд и его берега оказывались загаженными настолько, что даже нас, купальщиков неробкого десятка, брала оторопь, когда приходилось добираться до воды.

То, что происходило у нас на пруду, строго говоря, нельзя назвать купанием. День-деньской мы барахтались, дурачились, дрались, топили друг друга, ныряли от берега до берега — на зависть изгнанной с пруда птице, с ненавистью поглядывающей на нас со стороны. Даже в жаркую погоду кожа у всех становилась пупырчато-зеленой, не иначе как от воды, а глаза краснели, как у окуней. Стоило выйти из пруда — всех трясло как в лихорадке, но никто по своей охоте не уходил домой.

В полдень у пруда появлялась чья-нибудь мать. Она истошно кричала:

— Вы что, окаянные, еще не наглотались? А ну вылезай! Совсем выжили бедную птицу! Живо!

И мы кубарем летели мимо нее в узкий переулочок...

...А вот в Гуселетове для купания полное раздолье. Кругом озеро. Некоторые из них с голыми, чистыми берегами, с песчаным дном, покрытым лишь тонким слоем скопившейся за годы тины. На Горьком, правда, берега почти всюду заросли камышами, но к ним есть и открытые подходы, где янтарно сверкают небольшие пляжи, а подальше, глядишь, заманчиво поднимаются над водой, вытягиваясь косами, голые песчаные острова. Вода в озере горькая, почти морская, и такая прозрачная — на любой глубине видно дно.

Купаться мы начали с наступлением первых теплых дней. Кстати, несмотря на исключительно благоприятные возможности, в то лето никто из гуселетовских ребят не утонул, что, бесспорно, является отличным свидетельством их природной неотопляемости, всегда удивлявшей взрослых сельчан. Правда, один из нашей ребячьей ватаги — богомольный Яшка Ямщиков — однажды попробовал это сделать на озере Горьком, и всевидящий, который должен был, по нашему разумению, особенно строго оберегать свое верное чадо, в эти минуты как раз почему-то отвел от него свой взор. Но мы сообща выручили своего ирриятеля из беды.

Вот как это было.

Дно на Горьком чистое, песчаное, углубляется постепенно, но на нем нередко встречаются подводные дюны: взойдешь на гребень такой дюны — тебе всего по грудки, но зато, перевалив ее, оказываешься в глубокой продолговатой впадине. Мы хорошо знали облюбванное для купания место и, переплывая впадины, безошибочно останавливались отдыхать на гребнях дюн.

Яшка Ямщиков плавал трусливо, не умея расчетливо расходовать свои слабые силеньки, и не владел чувством ориентировки на озере. Почти всегда, не рассчитав, Яшка раньше времени опускал ноги, обычно как раз над самой глубиной. Не достав

дна, он выныривал с вытаращенными глазами и в страхе, пособачьи, добирался до отмели, где уже давно отдыхали и барахтались все ребята.

В тот раз Яшка дольше обычного медлил на берегу, обогреваясь на солнце да поигрывая медным крестиком на худенькой груди.

Мы уже затеяли игры на первой песчаной гряде, как вдруг Ванька Барсуков вспомнил:

— А где Яшка-то?

На берегу Яшки не было, а над первой впадиной то всплывало, то скрывалось под водой одно его темя — так слегка погружается поплавок из пробки, когда осторожная рыба все трогает и трогает наживку, но боится ее заглотнуть.

— Вон он! Тонет! — пронесся разноголосый крик ребят.

Желание спасти Яшку всех нас так и сорвало с гряды. Но в ту минуту, когда мы, перегоняя друг друга, плыли над впадиной, всем нам — не сомневаюсь! — вспомнились рассказы взрослых о том, что утопающие непременно мертвой хваткой вцепятся в своих спасителей и вместе с собой тянут на дно. Взрослые всегда предупреждали: увертывайтесь от рук тонущего, а хватайте его только за волосы. И вот мы окружили тонущего Яшку, подплыв к нему совсем близко, но никто не решался схватить его и вытащить из воды. В нашем шумно плещущемся кругу Яшка стоймя висел в светлой воде, не проявляя никаких намерений спастись, и все реже и реже показывал свое темя. Было очевидно, что он, вопреки рассказам взрослых, совсем не собирался схватить кого-нибудь из нас и увлечь в пучину озера. Но никто из нас не мог побороть в себе страх! Все кричали, брызгались, стараясь удержаться на плаву, и очень медленно, с опаской подбирались к Яшке. Не пойму, как он мог так долго висеть в воде? Или я с испугу потерял тогда счет времени?

Все кричали захлебываясь:

— Хватай его, хватай!

— Да не бойсь, тяни за волосы!

Больше всех кричал, конечно, Ванька Барсуков. В то же время он медленнее всех приближался к Яшке.

Но вот темя Яшки окончательно скрылось под водой. Тогда Андрейка Гулько, первым поборов страх, нырнул и через несколько секунд вытолкнул Яшку из впадины. Тут все мы дружно бросились к утопающему. Толкаясь, мешая друг другу, мы вытащили его сначала на отмель, а потом и на берег.

Не зная, как откачивать Яшку, мы долго трясли его в несколько рук и переворачивали с боку на бок. Толком не помню, что помогло нам тогда, но только из нашего Яшки, как из шланга, начала бить струя воды.

Долго он со стенаниями метался на пригретом песке. Мы наблюдали за ним с испугом, любопытством и жалостью. Многие пытались заговорить с Яшкой, но в ответ он только обводил

всех осолопевшим взглядом. Потом Ванька Барсуков помог ему сесть. Тут Яшка, все еще мучаясь икотой, хватаясь за грудь, поймал на себе крестик и выговорил первые слова:

— Спас господь-то...

— Мы тебя спасли, — резонно поправил Андрейка Гулько.

— А вас кто надоумил? Он!

— Вот как начнешь опять тонуть, мы спасать тебя не будем, так и знай! — всерьез разобидясь, постращал его Андрейка. — Поглядим, как господь тебя спасет!

— Не богохуль, — простонал Яшка.

— И от ремня он тебя спасет?

— От какого еще ремня?

— От отцовского.

— А вы не говорите, что я тонул! Боже упаси! — испугался Яшка. — Тогда, знамо, он задаст.

— А господь?

— Чего ты привязался? — бросился защищать дружка Ванька Барсуков. — Он еще синий, а ты его стращаешь! Отойдите, не закрывайте его от солнца. Пускай согреется. Он не трус, а так, плавать ишшо не научился!

— А отчего? От трусости, — сказал Андрейка. — Вот ее и надо выбивать, а не выбьют — пропадет.

Кстати, слова Андрейки оказались пророческими. Спустя несколько лет не столько из-за темноты, сколько именно из-за трусости Яшка Ямщиков в поисках спасения своей души оказался в какой-то секте — их много поразвелось тогда в Сибири. Эта секта Яшку окончательно и сгубила.

II

Мы часто купали и своих ковей.

В деревне это увлекательное занятие было привилегией исключительно мальчишек. Впрочем, после пахоты и вывозки навоза, когда наступало затишье в земледельческой работе, кони, по существу, вообще поступали в полное мальчишеское распоряжение. Раньше все сибирские села, иногда на довольно большом отдалении, окружались покотинами — изгородью в несколько жердей, которую общество ставило сообща. На дорогах, ведущих в соседние села, а также на пашни и покосы, ставились ворота; каждый проезжий строго обязывался закрывать их за собой. Все пространство за селом, ограниченное покотиной, считалось выгоном, где паслись стада коров, отары овец и без всякого догляда, зачастую даже не слутанные, крестьянские кони.

В жаркие полдни, спасаясь от зноя, а особенно от гнуса, кони чаще всего стояли в сараях. Но как только жара начинала спадать, мы выгоняли их за село, в излюбленные пизинные места, где трава держалась стойко и густо. (Позднее, когда трава

выгорала от солнца, мы гоняли коней в ночное — обычно к берегу озера Горького.) Все мы скакали на своих любимых конях, а остальных шумно подгоняли, подхлестывая бичами. Проголодавшись, кони и сами охотно бежали на выгон. Но все же порядок есть порядок: мы любили показать взрослым, что выгонка на ночную кормежку — дело весьма хлопотливое, не простое, а требующее определенной смекалки. Взрослые, вспоминая свое детство, делали вид, что так оно и есть.

До вечера еще было много времени, а впереди целая ночь. Можно было не беспокоиться — кони успеют хорошо покормиться до утра. Тех из них, какие нужны были для какой-нибудь поездки или имели привычку бродяжить ночью, увлекая за собой остальных, мы спутывали волосяными путами. Спутанный далеко не ускачет! Остальным давали вольную. Потом мы собирались на своих скакунах в небольшой отрядик и какое-то время бесцельно ехали шагом в любую сторону выгона, обсуждая разные сельские новости или стовариваясь о чем-либо. Но всегда кому-то становилось невтерпех — он начинал хвастаться своим скакуном, его статью и быстротой. А кто же мог стерпеть такое хвастовство? И тогда уж начинал хвастаться каждый, истово хваля своего коня и всячески понося коней своих друзей.

— У твоего брюхо висит! Не видишь?

— Он у него опоён! Хозяин, а недоглядел!

— А у твоего? У твоего копыта треснутые, во!

— Оттого и на ноги слаб! Еле скачет!

— Это твой о каждую кочку запинается!

— Мой? А ну повтори ишшо раз!

Когда дело доходило до оскорбительных, совершенно невыносимых поношений, зачинщик всеобщего хвастовства вдруг кричал:

— Раз так, бежим! Я вам покажу!

Наступало время разрешить споры наглядно. С дикими выкриками, со свистом, колотя коней голыми пятками в бока, мы стремглав бросались вперед и неслись степью, как дикие кочевники. Кони у всех были местной, сибирской породы, небольшие, но бойкие и удивительной выносливости. Не помню, чтобы у кого-то был особо редкостный скакун, славящийся своей быстротой. Мы делили успех поочередно. На третьей или четвертой версте кто-нибудь, кому повезет по той или иной причине, в конце концов оставлял соперников позади и, пригибаясь, гнал своего коня очертя голову, гнал так, что под ним выстилалась трава...

Оглянувшись раз-другой и поняв, что победа бесспорна, удачник сдерживал своего быстрого, переводил на шаг. И затем, дождавшись счастливой минуты, начинал потешаться над отставшими — некоторые из них вгорячах, не успев сдержать разгоряченных коней, проскакивали мимо:

— Догоняй его, догоняй!

Вскоре все собирались в круг, и тут кто-нибудь из оставшихся накидывался на победителя:

— Расхвастался! А сам мухлюешь!

— Как мухлюю?

— Не успели свистнуть, а ты бежать!

Это было, конечно, неправдой. Все видели, что победитель пустил коня после того, как раздался свист, но все с радостью подхватывали обвинение:

— Да я только собрался свистнуть, а он уж поскакал! Догони тогда-ка!

— Подвох! Он всегда так...

— Давай еще раз! Без мухлёвки!

— Стройся!

И мы бежали обратно, до того места, где уже паслись наши кони. Нового победителя опять было начинали обвинять в недобросовестности, но уже не так дружно и горячо. Надо было возвращаться домой. Мы отпускали своих скакунов, повязывали через плечо узды и чаще всего с песнями возвращались домой.

Если случалось, что кони не требовались для поездки или работы, то утро мы спали спокойно. Но чаще всего какая-нибудь нужда да случалась в хозяйстве, даже в глухое время лета, и мальчишкам приходилось отправляться за нужными лошадьми на зорьке. У нас был единственный конь — мой любимый Зайчик. Отец часто ездил в бор, а поэтому я ходил за ним в поскотину почти ежедневно.

Но ловить коней утром было куда сложнее, чем отпускать их на ночь, и, еще только выходя из села, некоторые ребята начинали кручиниться:

— Не знаю, поймаю ли? Дикашарый, никак не дается!

— А ты вроде мимо, мимо, а потом за гриву!

— Он видит узду-то!

— А ты ее прячь! И посвистывай.

Действительно, завидев молодого хозяина с уздой, иной своенравный конь, пусть даже спутанный, бросался в сторону, прыгая и долбя передними копытами землю. Приходилось сообща выручать такого хозяина. Хитря так и сяк, мы ловили коня, надевали на него узду, засовывали в рот удила — без заправленных удил, которыми можно разодрать губы в кровь, на сибирских конях не ездят.

У нас с Зайчиком была настоящая дружба. Дня не проходило, чтобы я не скормил ему кусок хлеба, вовремя не напоил чистой колодезной водой, не расчесал его длинную гриву и хвост. Но и Зайчик умел ценить мою заботливость, хорошо понимал мои желания и сам помогал мне во многом. В поскотине он прежде всего приветствовал меня коротким, но веселым ржанием, словно бы говоря: «Ого-го, это ты! Доброе утро!» Понимая, что мне трудно его обуздать, он не только низко опускал голову передо мною, но и сам, тыкаясь, лез в узду, сам разжимал зубы, лоя удила. Передние ноги ставил всегда ря-

дом, с таким расчетом, чтобы легче было снять с них ослабленное путо. Наконец, он помогал мне и забираться на него. Всегда терпеливо выжидал, пока я, опираясь голой ногой о его коленный сустав, делал подскок, не нервничал, если мне не удавалось за один раз оказаться на его спине.

Умный, вежливый был конь и к тому же редкостной красоты. Весь он, от ушей до кончика хвоста, сверкал чистой заячьей белизной, без малейшей примеси серого или дымчатого цвета. Тонконогий, длинногривый, любивший на ходу вскидывать голову высоко, горделиво, он был воистину красавцем, на зависть всем сельчанам. Не однажды они пугали отца:

— Гляди, Леонтьич, украдут! Заведи железное путо.

Но отец не хотел, как он говорил, заковывать коня в кандалы...

Где отец раздобыл его — не знаю. На нем не было даже тавра — выжженного на ляжке особого хозяйского знака, какие были почти у всех сибирских коней, — с такой отметиной легче найти коня, если его угонят воры. Должно быть, у прежнего хозяина не поднялась рука с раскаленным железом на такое чудо природы.

К полудню все оставшиеся в покотине кони, спасаясь от зноя и овода, сами бежали домой, в сарай, в прохладную тень. И тогда взрослые говорили мальчишкам:

— Искупали бы коней, чо ли?

Мальчишки немедленно и шумно гнали коней, чаще всего на раздольное Горькое. Правда, в знойное время в бору овода гораздо больше, чем в степи, но, когда гонишь коней быстро, отстает вся летучая тварь — и слепни, и пауты.

Кони охотно лезли в озеро. Мальчишки загоняли их поглубже, старательно промывали у них шерсть, окатывали водой, заставляли плавать на глубине. Над озером долго стоял визг и хохот.

...Сняв с Зайчика узду, я говорил ему:

— Ну иди, иди, а то тебя заедят тут.

Он кивал головой, косясь на меня одним глазом, смело заходил в воду, но перед первой впадиной останавливался и оглядывался: ждал, когда я разденусь. Я быстро догонял Зайчика. Дружелюбно хлопывая его по скуле или поглаживая ему шею, я осторожно обливал его водой. Должно быть, от щекотки по его шелковистой спине пробегала легкая дрожь. Но, быстро прыгнув к воде, он опять поглядывал на меня и взмахивал головой. Отлично понимая его, я говорил:

— Ну, давай поплывем!

Я не любил стеснять Зайчика во время купания и потому никогда не садился на него, как это делали другие, а лишь держался за челку или гриву — так и ему было легче плыть, и мне интереснее...

Не все кони, как и люди, умеют хорошо плавать. Одни плавают какими-то порывистыми рывками, суматошно вырываясь

из воды, словно из последних сил или от страха, и отфыркиваются слишком часто и слишком шумно. Другие плывут так, что над водой скользит лишь одна вытянутая морда с вылушенными глазами. А вот наш Зайчик плавал красиво: легко, ровно, спокойно, не погружаясь глубоко. Голову он держал так, что мог всегда переглядываться со мною и ориентироваться на озере, фыркал редко, просто от удовольствия, и не обдавал меня брызгами.

Обычно на второй подводной гряде, оставив позади целый косяк коней, мы останавливались передохнуть. Я опять всячески ласкал Зайчика, без конца поглаживая его рукой. Если к нам приплывали на лошадях мальчишки и затевали вокруг возню и визг, Зайчик, встретясь со мной взглядом, звал меня дальше.

На третьей гряде после передышки я говорил Зайчику:

— Ну что, хочешь один поплавать? Плыви!

Его не надо было долго уговаривать. В знак согласия он раза два взмахивал головой и спускался на глубину.

Дальше на озере уже не было подводных песчаных гряд-отмелей. Зайчик заплывал все дальше и дальше, и вскоре на водной глади уже едва виднелась его голова да шлейф легкой ряби от распущенного хвоста. Я не знал, какая глубина на озере, и начинал побаиваться, что азартный Зайчик увлечется и не рассчитает своих сил: и возвратиться ко мне, и переплыть на другой берег ему будет трудно. От тревоги я начинал подрагивать, а Зайчик все плыл и плыл, словно хотел затеряться на пустом озерном просторе, где лишь кружатся одинокие серые чайки.

Наступала минута, когда я, не вытерпев, начинал кричать. Голоса далеко разносятся над водой, но едва ли мой зов достигал ушей Зайчика. Просто он догадывался о моем волнении и начинал делать большой разворот чуть не на середине озера.

...Когда я смотрел замечательный французский фильм «Белая Грива», я с удивительным чувством вспоминал свое детство и своего любимого коня. Вернись прошлое, я назвал бы его теперь Белой Гривой.

III

Однажды ночью я просыпался несколько раз подряд, чего не случилось со мной никогда, и вскоре понял, что просыпаюсь исключительно от зуда в теле. За ночь я сильно расчесал себе руки, грудь, бока и ягодицы. И вспомнилось мне, что ведь не первую ночь я сплю так беспокойно, что кое-где у меня на теле уже появились красноватые расчесы. Да и братишки мои все время чешутся и мечутся во сне.

— Боже мой, не чесотка ли? — ахнула мать утром, осмотрев меня и братишек. — Да откуда эта зараза?

— Мало ли откуда! — сказал отец. — Со всего села сбегаются к озерам, вместе кушаются, вместе играют.

— Что же делать? Как быть?

— Схожу за бабушкой, — сказал отец.

Бабушка Евдокия, жена Харитона Илларионовича, переступив порог, заговорила на привычной высокой ноте:

— Мне и смотреть-то нечего! Наши ребята тоже все в кровь изодрались. У Зыряновых, сказывают, та же беда.

И все же бабушка Евдокия, раз пришла, заставила меня снять рубаху, повертела перед собой и без всякого предупреждения спустила с меня штаны.

— Так и есть, — сказала она, потрогав пальцем те места, где были расчесы. — Одевайся.

— И меня погляди, — полез к бабушке Фадик.

— И меня, — заныл Петюшка.

— Ну да ладно, погляжу, — согласилась бабушка, решив уважить малышей. — Скидывайте рубахи. Хотя болесть-то у всех, знамо, одна.

Братишки остались довольны уважительностью бабушки, признавшей их вместе со мною больными, были веселы и болтливы. А матери не терпелось:

— Ну что, бабушка Евдокия?

— А чо ишшо, милая? Человечья чесотка! — ответила бабушка, на которую наша болезнь не произвела, кажется, никакого впечатления. — Они разные бывают, чесотки-то: от мышей и крыс заводятся, от кур да голубей, от лошадей, а чаще от кошек. Но самая зловредная чесотка — человечья: махонькие такие клешшики залезают под кожу и делают под ней себе норы. И живут там, зудят...

— Как же их выживать оттуда?

— Только, милая, мазью, особой мазью, — ответила бабушка, построжев, коль скоро разговор зашел о лечении, а мы так и навострили уши. — Смазывай все тело, оставляй одно лицо. Мазь едучая, но зато клешшей намертво убивает. Окромья этой мази, никакого спасения от них нету. Пускай Сёмша привезет с дегтярни свежего березового деготьку, а уж куриное дерьмо сама насобираешь. Дерьмо-то растолки в ступе помельче да с деготьком и перемешай. Да ишшо, слышь-ка... Вот ведь, чуть не забыла! Ишшо горстку сосновой серы добавь, тоже истолченной. Ну и мажь на здоровье, не жалей, только мотри, все тело. Да накажи, чтобы не мазали себе руки да не лезли в глаза. Выест!

Мать растерялась:

— А как же одевать их тогда?

— А никак! Днем голые посидят. Теперя-ка тепло. Ну, на ночь вымой. Утречком опять мажь.

— И долго так?

— Да денька четыре, а то и с неделку.

Тут все мы в рев:

— Не будем! Не будем!

— Сама намажься!

— Мне-то зачем? — спокойно возразила бабушка. — У меня, глядите, нет чесотки. А вы, может, помереть захотели, дак не мажьтесь. Помирайте.

Отец тут же отправился на дегтярный завод, который уже действовал, и привез небольшой лагунок свежего березового дегтя. Через час от лекарства на весь дом распространилась удушающая вонь. Сколько у нас было тогда крику и слез! Сидя на пороге предбанника и макая тряпицу в черное вонючее мезиво, мать первым, как и следовало ожидать, обмазала меня, обмазала щедро, от ушей и до пят. Я тут же, чувствуя себя несчастнейшим человеком на свете, скрылся в бане, где для нас была постлана на полу пшеничная солома. Наступили противные, как бубушкина мазь, дни позора и тоски.

Когда мы, все братья Бубенновы, собрались в бане да оглядели друг друга, мы взревели с новой силой. Заглянув к нам, мать заговорила уже спокойнее, явно удовлетворенная тем, что ей пусть не без греха, но удалось в точности выполнить наказ старой лекарши:

— Ну чего вы ревете-то? Вот дурачки. Не одни вы сидите в бане. Все ваши дружки-товарищи сидят. На всю вашу шатию напала зараза. Надо терпеть. Помирать-то неохота, поди? Ну вот и сидите, сказывайте сказки.

Первый день был особенно трудным. Мои братишки — по малолетству — довольно быстро смирились со своим положением и начали разные забавы. Сначала они осторожно касались пальцами друг друга, посмеиваясь от щекотки, потом, разойдясь, начали всячески разрисовывать свои тела. От их беззаботного визга хотелось бежать из бани. Но куда побежишь, голый да измазанный, будто выпырнул из вонючей ямы? Я устроился поближе к небольшому окошечку и с горькой тоской безотрывно смотрел на изгородь, за которой почти у самого кордона проходила лесная дорога. На ней изредка показывались прохожие и проезжие: или отправлялись в бор, или возвращались из бора. В своем кругу мы, деревенские ребята, в том возрасте еще не стеснялись наготы. Но когда естественная нагота была обезображена, мне даже перед братишками было неприятно и неловко быть нагим.

Время тянулось медленно и тоскливо.

Моим братишкам не сиделось на месте. Они толкались, бегали по бане, затевали разные игры. В задумчивости я и не заметил, как они выскочили в предбанник, а потом открыли и наружную дверь. И вдруг я услышал их крики:

— Жеребенок! Жеребенок!

Мимо кордона проезжал какой-то мужик на рыдване, вероятно на дегтярню. Он сидел, как положено, на правой стороне рыдвана, свесив ноги, к нам спиной, и смотрел в сторону бора. Рядом с его рыдваном, но только с нашей стороны, шагал рыжий, весь в белых заплаточках жеребенок-сеголеток. До чего же он был уморительно забавен, почти игрушечен рядом со своей

крупной матерью. В лад с нею он тоже помахивал худенькой ушастой головой да изредка и хвостом.

Но что это? Мои братишки взапуски летели от бани к пряслу из березовых жердей. Меня так и обожгло: им, малым, все сойдет, а вот мне за них как пить дать здорово попадет от матери! Забывая о стыде, я тоже выскочил из бани, закричал на братишек, но они, будто оглохнув, уже карабкались на прясло. Пришлось и мне туда бежать.

С прясла братишки молча, зачарованно смотрели на удаляющегося жеребенка, и у меня, скажу по совести, не поднялась рука, чтобы стащить их на землю. Более того, я и сам вскочил на среднюю жердину прясла. В этот момент мужик оглянулся и увидел нас во всей нашей черной наготе.

Тот мужик, скорее всего, был веселым человеком. Забавы ради он сделал вид, что увидел на прясле совсем не ребят, вымазанных дегтярной мазью, а чертенят. Он изобразил на лице страх и, крестясь, заорал:

— Господи, спаси и помилуй! Тьфу, тьфу, окаянные! Изыди! — и давай нахлестывать свою кобылицу бичом.

Но мы, конечно, очень охотно поверили в то, что мужик смертельно испуган. Надо было нагнать на него еще побольше страху! И мы давай изображать из себя чертенят: орать на все лады, размахивая руками и подпрыгивая на прясле.

И дождалась, что на крыльцо выбежала мать.

Надавав подзатыльников и заново обмазав всех мазью, она опять загнала нас в баню. Но теперь сидеть в изоляции было все же легче — у нас появилась какая ни на есть забава. Стоило показаться людям на дороге у кордона, мы дружно высказывали из бани и, не боясь матери, с криками взлетали на прясло. Кое-кто из сельчан, вероятно, уже знал о том, что мы играем в чертенят. Завидя нас, они, притворно вопя, бросались прочь с дороги, а мы заливались таким смехом, что иной раз валились с прясла.

Не помню, на какой день нашего сидения у окошечка бани неожиданно появился Федя Зырянов. Постучал, позвал:

— Мишк, выйди!

Я вылетел в предбанник.

— Ты все еще заразный, чо ли? — спросил Федя, оглядывая меня с ног до головы.

— Какой я заразный?

— А пошто тебя так долго мажут?

— Мама говорит, для верности.

— От этой бабушкиной мази не только махонькие клешники, а любой зверь сдохнет, — сказал Федя, присаживаясь на скамеечку в предбаннике. — Едучая, терпения нет, всего изъела! А уж провонял — и не говори! Мылся, мылся вчерась в бане, а от меня все дегтем, как от сбрун. Ну а вам видать, и вовсе не отбацился! Не сказывала мать, когда баню затопит?

— Может, к вечеру, — ответил я с печальной предположительностью.

— Будешь ты как дед Нефед с дегтярни. Убегай от матери, а то до нутрей деготь пройдет. Кишки прочернеют, как вожжи.

— А как другие ребята?

— Все как черти. Весь деготь, говорят, на нас пошел. Телеги смазывать нечем. Ладно, своя дегтярня.

— Чего слышно в селе-то?

— Новостей много. Всего не расскажешь! — оживился Федя, без сомнения собираясь рассказывать обо всем, что уже стало ему известно. — Пока мы сидели по баням, всякое было. Вон в Бутырках, говорят, какие-то люди налетели на милицию и давай всех лупить. Те бежать. Прибежали к нам в село. Одино — тот самый, сказывают, какой моему бате грозил на пашне. Помнишь? Ну вот, а здесь-то их и напоили самосидкой! (Так называли у нас самогон.) Свалились они замертво, а у них и стащили разную оружиею. Два парня, Исаенко и Сухно.

— А когда те проспались, что было?

— Неизвестно. Мужики уложили пьяных в ходки и вывезли за село. И пустили коней по дороге. Никто и не знает, где они проснулись. А возвращаться в село за оружием, видать, побоялись. Уехали дальше.

— Так они и в Кабанье, поди, попали! — заметил я, повеселев от забавной новости. — А там Мамонтов!

— Он им, поди, задал!

Как всегда, заговорив о Мамонтове, мы размечтались — имя храброго и неуловимого партизанского вожака, уже овеванное славой в наших местах, вызывало у нас, мальчишек, самые неожиданные желания и помыслы.

Наклонившись ко мне, Федя заговорил вдруг шепотом:

— А ты хочешь быть Мамонтовым?

— Хочу! — признался я горячо.

— И я хочу.

А ведь недавно мечталось совсем о другом...

IV

Уже на исходе весны у отца прибавилось забот и хлопот по службе. Хотя лесные травы живо шли в рост, но пока еще не успели подняться высоко и густо, чтобы заволочь все согры, все низины, а подлесок едва лишь начал давать прирост и потому еще не успел загустеть сочной листвой. В ту пору для шального огня в бору не было никаких естественных преград на земле. Он мог, едва занявшись, быстро набрать силу и рвануть по бору свободно, играючи взлетая на вершины сосен. Ему была полная воля не только в сосняках, где пригретые солнцем пески были покрыты слоем отмершей, высохшей, воспламеняющейся, как порох, хвои, но и в чернолесье, заваленном не успевшей пере-

гнить и слегка подсушенной листвой. И потому лес нуждался в зорком хозяйском догляде.

Одно спасало тогда бор: в нем редко появлялись люди. Но они потянулись в него сразу же после пахоты. К озерам выезжали рыбаки. На их становях — за неимением спичек — никогда не давали угасать огню. Целыми артелями выезжали мужики заготавливать жерди для поскотины и на свои изгороди, делать заготовки на косьевища, на черенки для вил и грабель. Все село выезжало обламывать березы на веники и метлы. Кроме того, всюду по бору в поисках съестного и развлечений носились мальчишечьи ватаги. Начинающие тайные курильщики, скрываясь от взрослых, обучались добывать огонь из кремня и любили разжигать где попало свои костерки.

За всем этим людом нужен был глаз да глаз. И отец каждое утро отправлялся в бор вслед за сельчанами, объезжал все места, где они работали, все рыбачьи стоянки, все ребячьи убежища...

Но особенно беспокойным стал он, когда начались грозы. В начале лета они всюду разгулялись по алтайскому приволью. Налетали они всегда внезапно и прокатывались буйно, гулко, как горные камнепады. Обычно после каждого раскатистого удара грома в темные небеса взлетали, причудливо ветвясь, ослепительные, дрожащие молнии — от них все живое замирало в тягостном ожидании смертной секунды. Но иной раз молнии, зародившись где-то в темени небес, остро рассекая их так и сяк, стрелами вонзались в землю, нередко настигая в степи неосторожного человека или расщепляя почти до комля возвышающуюся над бором вековую сосну с сухостойной вершиной, и она враз занималась, как огромная свеча.

В грозу отец не мог усидеть дома, все время выбегал на крыльцо, оглядывался вокруг. А как только гроза начинала стихать, торопливо седлал коня и скакал к ближайшей пожарной каланче. Забравшись на нее, он подолгу с тревогой всматривался в лесные дали.

Однажды, скорее всего именно от грозы, грохотавшей ночью, и случился-таки в бору пожар. Занялся он верст за семь на восток от села, куда людям и забираться-то не было никакой нужды. С пожарной каланчи отец первым заметил утром, что над хвойным разливом стелется дым.

Отец прискакал в село, исполнил первых встречных мужиков и во главе небольшой, наспех собранной конной группы отправился по тракту кромкой бора в сторону Больших Бутырок. А вскоре над селом пронесся набат. Никого не нужно было уговаривать спасать бор. Гуселетовцы дружно бросились вслед за отцом — кто вершини, кто на телегах, с топорами и лопатами.

Услышав тревожный набат, я поспешно засобирился к Феде. Всего лишь два дня назад я наконец-то вырвался из позорного заточения в бане и еще стыдился показываться в селе — от меня, должно быть, за версту несло вонючей дегтярной мазью. Но

по такому исключительному случаю можно было и пренебречь насмешками встречаемых.

У крыльца меша перехватила мать.

— Ты куда?

— Сама знаешь!

— Ты с ума сошел!

Мать всегда и всего боялась. Бывало, куда бы ни захотелось пойти, что бы ни вздумалось сделать, ее враз обуревали тысячи опасений. Если ей, не дай бог, казалось, что ее подстерегает какая-либо неприятность или беда, она душевно металась и все видела в грозном освещении.

— Пошел в дом! — закричала мать. — Ишь выдумал! Сгореть хочешь? Займется рубаха — и все, сгоришь!

— Сама сиди тут! — крикнул я в ответ и метнулся с крыльца мимо ее растопыренных рук.

Мать позади истошно вопила, грозила всеми карами, но я уже был на воле.

Навстречу мне летел раскрасневшийся Федя.

— За нашими бахчами горит! Бежим скорее, поедем на телеге!

По всему селу скакали конные, тарахтели телеги с мужиками, парнями и мальчишками — все были с топорами, баграми, лопатами.

— Все от грозы, — рассуждал дорогой дедушка Харитон. — Сухая была гроза. Всю ночь гремела, а пыль едва прибила. Степью, надо быть, весь дождь прошел.

— Может, и от грозы, — согласился Филипп Федотович, но не совсем охотно. — А может, и подпалил кто по оплошности. Сейчас везде шатаются люди.

— Так ить загорелось-то, видать, ночью!

— Ну и что? Не залили костер — и пошло.

— Нет, паря, это от грозы.

— Ладно хоть ветру нет, — заметил Филипп Федотович.

За той большой поляной близ опушки, где были наши бахчи, Филипп Федотович свернул в бор и направил коня по свежим тележным и копытным следам. Телегу встряхивало на узловатых, избитых корнях, торчащих из земли. Нас часто обгоняли верховые. Они посмеивались над нами — дескать, тянемся будто на похороны. Но дедушка покрикивал насмешникам:

— Тупайте, тупайте! Без нас не затушите!

Мы с Федей втайне были согласны с зубоскалами. В самом деле, разве ездят на пожар шагом или рысцой? Ох уж эти старики! Как всегда, я проявлял особенное нетерпение и шепотком подбивал Федю удариться вперед на своих на двоих. И когда однажды конь начал топтаться, вытаскивая телегу из рытвин, мы спрыгнули с нее и понеслись во весь дух. Нам, босоногим, не страшны были ни корни, ни хвойные иглы.

Пробежав версты две, мы почувствовали запах гари и увидел целый табор телег и коней, оставленных здесь сельчанами

под присмотром стариков бородачей. А еще через версту увидели, что весь лес впереди затянут белесой дымной сутемью, из которой прямо в небо поднимаются высокие трепетные огни: от комлей до вершин пылают сосны. Потом мы увидели у пожарища людей.

Огонь шел по земле, усыпанной хвоей, спокойной извилистой волной. Подступая к мелкому густому сосняку с низко висящими ветками, с успевшей пожелтеть от наступающей жары хвоей, он взрывался с треском, взметывая фонтаны искр, вымахивая хвосты дыма. Найдя комель сосны с потеками серы, он начинал подскакивать вверх, цепляясь за шершавую кору, а потом метался меж сучьев. Не прошло и минуты, как разом с оглушительным шумом занималась вся крона.

Поодаль могучий Лукьян Силантьевич Елисеев, лишь недавно начавший выходить со двора, вырубал небольшие сосенки и раздавал их толпе мальчишек, среди которых были и наши друзья. Дядя Лукьян и нам вырубил по сосенке.

— Валийте в ряд, — сказал кратко. — Васятка, веди!

Мы втроем нашли себе места в большой цепи мальчишек, хлеставших сосенками по огню, и с необычайных азартом принялись за дело. Нашей задачей было всячески сдерживать огонь, не давая ему подскакивать от земли и добираться до хвон. От пожарища полыхало таким жаром, что мы мгновенно взмокли. Нас то и дело осыпало искрами, как снегом в метель. Приходилось заботиться о рубашках и о волосах. Мы часто вгорячах обжигали босые ноги. Очень хотелось пить.

Исхлестав свои сосенки догола, мы бежали к дяде Лукьяну за свежими. Здесь нам удавалось немного передохнуть от жары, обтереть потные и чумазые лица, послушать, о чем толкуют прибывающие на пожар мужики. Дядя Лукьян говорил им, где требуется подмога, и они, подняв на плечи топоры и лопаты, расходились в разные стороны.

Однажды мы встретили здесь моего отца на потном Зайчике, осыпанном по крупу пеплом. Увидев нас, отец спешился, стал расспрашивать:

— Ну как, молодцы, тепло?

— Пить охота.

— Сейчас скажу старикам — пускай подвезут воду в лагунах, — сказал отец. — Тут до самой ночи провозимся!

— Хоть бы к ночи потушить, — сказал дядя Лукьян. — Вот какая сушь! Дождя надо.

— Ну всего разбило в седле, — выпрямляясь, пожаловался отец. — И верно, глоток бы воды.

Как раз подошли толпой мужики.

— А ну, кто помоложе, — позвал отец. — Бери коня, слетай к табору: пускай старики добывают воды.

Так у отца, вероятно впервые с утра, выдалось несколько минут для отдыха, и он с удовольствием опустил па землю. Один из мужиков спросил:

— Лесу-то много охватило, Левонтьич?

— Много, мужики, много, — с досадой ответил отец. — Силу забрал, пластает по вершинам. Здесь его не удержат. Будем опаживать и окапывать по просеке. Филипп Федотович уже повел мужиков к озерам. Теперь надо сюда идти...

Мужики застучали лопатами.

— Ну, так мы сюда и пойдём!

Вернулись и мы на свое место. С огорчением увидев, что за время нашего отсутствия огонь заметно продвинулся вперед, мы принялись захлестывать его с новой силой.

Но как мы ни старались, а нам все же приходилось поочередно отступать перед прожорливым и неукротимым огнем. Иной раз ему удавалось даже прорываться через нашу цепь. Тогда мы дружно бросались помогать оплошавшим друзьям отстоять новый рубеж обороны. Было хуже, если огонь перемахивал через цепь по вершинам сосен и, засыпая искрами круговины позади, старался взять нас в кольцо. Тут нельзя было долго раздумывать. Приходилось поскорее выбираться из опасной огненной ловушки.

К полудню стало совсем трудно: солнце палило нещадно, и по всему пожарищу полыхали сосны. Мы обливались потом. Быстро опоражнивались привезенные стариками лагуны с водой, но и это не помогало. Все высухло и горело у нас в груди.

Несколько раз появлялся около нас отец на почерневшем от пепла и сажи Зайчике. Он то вел куда-то за собой толпы мужиков, то посылал куда-то людей с плугами, а то и принимался вместе с нами захлестывать огонь.

Проходившие мужики часто кричали нам:

— А вы, ребята, не видали тут Левонтьича? Где же его искать?

Отец нужен был всем и везде.

После полудня он опять подскочил к нам в запотевшей распахнутой рубахе, весь алый от жары, и заговорил оживленно:

— Молодцы, хорошо держите! Только небось заморились? И есть, поди, охота? Тогда так: валяйте теперь домой, а мы его к вечеру добьем. Дальше просеки не пойдет. Да и гроза соберется под вечер, парит здорово.

Как раз подошла толпа мужиков-украинцев, только что приехавших из степного села Романово. Они заняли наши места. Нас пожалели — отправили домой на телегах.

...На вечерней заре я проснулся от удара грома.

Быстрее, чем обычно, стемнело. Огромная низкая туча навалилась на село с иртышской стороны. Слепило и ударило еще несколько раз подряд, и уже в полной тьме хлынул шумный ливень. Но, к удивлению, ненадолго, будто для чего-то сберегал свои силы. Я выскочил на крыльцо. И гадать было нечего — он вовсю хлестал над лесным пожарищем. Вот здорово-то! Помог мужикам!

Гроза долго еще раскатывалась и гремела над бором. Поджи-

дая отца, я все время выскакивал за ворота. Но вот наконец на селе в разных местах послышались мужские голоса, скрип телег, лай собак...

Показалась лупа. Я напряженно всматривался в сторону леса, ожидая увидеть скачущего отца. Но через некоторое время на дороге показалась чья-то телега. Рядом с нею шагали мужики, а Зайчик, без седока, белел позади. Подхваченный тревогой, я бросился навстречу сельчанам и, поравнявшись с телегой, разглядел: на ней лежит отец.

— Не бойсь, он спит, — сказал негромко Филипп Федотович, шагавший с вожжами в руках. — Сморило дорогой. Весь день в седле.

У ворот кордона телега остановилась, и Филипп Федотович тронул меня за плечо:

— Бери коня, расседывай.

— А папа?

— Пусть поспит. Тревожить не будем.

Мать выскочила на крыльцо, крикнула:

— Говори скорее, убило отца-то?

— Спит он.

— А чего он разоспался-то на чужой телеге?

Расседлав коня, я вновь вышел за ворота, осторожно подошел к телеге. Отец негромко, но тяжело всхрапывал во сне. Я начал всматриваться в его усталое, грязное лицо.

Мне было неясно, почему мужики не только проводили заснувшего отца до кордона, но все еще сидят на длинной скамье близ калитки и все что-то толкуют о нем, все толкуют... Я ревниво прислушался: хвалят или осуждают? Оказывается, мужиков многое поразило в отце, которого они впервые так хорошо разглядели на людях, да еще в горячем деле. До меня все время долетали разные лестные слова об отце. Сдерживая счастливое волнение, я осторожно вытаскивал из растрепанных волос отца сухие сосновые иглы.

V

В июне, хотя и держалась жаркая погода, часто прокатывались оглушительные грозы, обрушивались проливные ливни. И потому все так и рвалось из земли. Знаменитые пшеницы нашей степи поднялись, как по команде, ровно и высоко, вовремя заглушив все сорняки. Чистые, густые, остистые, они изумрудно мерцали на солнце, чуть приметно волнуясь от легких степных дупований. Когда мальчишки моих лет вступали в их таинственные пределы, пробираясь куда-нибудь межой, издали виднелись лишь их вихрастые, выгоревшие добела головы. Радовал и травостой на целине. Даже суходольные места были покрыты мощной барсучьей щегивой типчака, любимой овечьей травы, и сплошь торчащими метелками рано отцветающего житника —

между их дернинами нелегко было юркать даже суслику, жителю этих угодий. А в пониженных, более увлажненных местах поднялась настоящая степная тайга. Над мелкотравьем, перевитым ползучим мышиным горошком, широко разливалось половеде колющегося мятлика и овсяницы, высоко, как пики, торчали метелки аржанца, еще выше, совсем на просторе, вздымались развалистые кусты ежи сборной и большого пырея. Но все эти травы, хотя и чувствовали себя полными хозяевами целины, не лезли на особо обласканные солнцем поляны-куртины, где издревле разрослись стелющиеся по земле заросли необычайно запашистой степной клубники. В начале июля ее здесь было красным-красно.

Поблизости от села, на полянах в бору, водилась и земляника, и клубника. Ягод на первый случай всем хватало, и никто без времени даже не помышлял, в нарушение общественного порядка, отправляться за ними в степь. Все терпеливо ждали, когда будет назначен «ягодный бой». Хороший был порядок! И вот когда наконец-то наступил долгожданный день, ожило все село. Мы, мальчишки, раньше обычного, на зорьке, пригнали коней из покотины. Снаряжались быстро, весело, шумно. С восходом солнца по всему селу затарахтели телеги с принаряженными, как на праздник, женщинами и девушками, с крикливой ребятней. На многих телегах, едва они вышли на степные дороги, зазвенели песни.

Не знаю, как делились между сельчанами ягодные места, но их всем хватало. Возможно, каждый двор выезжал на свои покосы. Хорошо помню, что наша семья оказалась тогда в полном одиночестве. Откровенно говоря, мы могли набрать все наши ведра и корзины на одной делянке, но, признаться, у всех так разбежались глаза, что мы иногда без всякой нужды переходили с места на место. Тут нашим вожаком, конечно же, была мать. На ягодниках она с особенным блеском показала свое умение работать быстро и сноровисто. Руки ее действовали неутомимо и с такой ловкостью, что ее ведро наполнилось, как в сказке. Правда, второпях она зачастую срывала не совсем созревшие ягоды, даже зеленые, с веточками, но в этом, по ее разумению, не было никакой беды: дома все очистится, перемешается, истолчется — и станет ягодной сушеной лепешкой. Отец же и здесь остался верен себе. Прежде всего он разрешил всем нам, трем братьям, отвезать ягод вволю, а уж потом и собирать их в свои корзинки. Но мать решительно потребовала:

— Наперво наберите, а потом хоть облопайтесь!

Конечно, ей хотелось сделать как можно больше запасов для зимы. Находясь во власти хозяйственных помыслов, прежде всего в интересах детей, она, как это ни странно, забывала, что мы еще дети. А вот отец, он хорошо понимал это и был против предлагаемой матерью очередности. Он прямо-таки взбунтовался, что случалось с ним в редчайших случаях, при вынужденных обстоятельствах, и настоял на своем порядке. Осторожно,

воровато поглядывая на мать, мы принялись поспешно набивать клубникой свои рты.

Найдя большую, спелую ветвь, отец тут же передавал ее кому-нибудь из нас и говорил тихонько:

— На-ка вот, съешь!

Не думаю, чтобы отцу хотелось отставать от матери, но он не спешил, он наслаждался работой, собирая ягодку к яголке. Заглянешь к нему в ведро — там будто огонь.

Набрав первую корзинку, мать не выдержала и подошла к отцу:

— А ну где твои ягоды? О господи, и это все? Ну и работничек! Руки-то еще не отсохли? Ну так отсохнут! Ребят учил, да и сам небось мимо рта не проносил?

— Фрося, помолчи, — мягко попросил отец.

— Люди на всю зиму наберут, а мы...

— Да не горячись ты, мать!

За день мать набрала несколько ведер ягод. Но сейчас мне вспоминается не то, как я ел поздние ягодные лепешки, сделанные матерью, а то, как отец угощал нас кистями спелой клубники в степи. Хорошо помню и то, как он, в каком-то радостном возбуждении отрываясь от работы, поднимался на ноги и говорил нам:

— А поглядите-ка, ребятушки, на степь! Какое раздолье! Какое чудо! — Его поэтическая душа была полна восторга. — Так и хочется петь!

— Пой, пой, — язвительно советовала мать.

Он все же сделал свое дело: собирая ягоды, я стал частенько оглядываться по сторонам. В самом деле, как хорошо было в степи! Иной раз засмотришься — не хочется отрывать от нее взгляда.

Ранней весной, когда мы выезжали на пашню, степь, как ни говори, была довольно неприглядной: серая, вроде волчьей шкуры, целина, помятые снегами и обтрепанные ветрами польняные пустоши, черные, засыпанные пеплом палы. Над степью от восхода до заката солнца серебристой журчащей волной растекалась песнь тысяч жаворонков, она наполняла душу смутным счастьем, предчувствием великих свершений на земле. И все же степь, да еще при непогоде, при ветре, пронизывающем до костей, казалась пока неухоженной, сиротливой, диковатой.

Теперь же она была совсем иной. Под знойным солнцем, под просторным ослепительным небом ее безбрежье было куда необъятнее, чем весной. И даже при полном безветрии она чуть заметно для глаза колыхалась широко, из края в край, как море. И была не однообразно зеленой, а многоцветной, каким часто бывает море: в одном месте серебрилась, в другом — отсвечивала свежей позолотой, в третьем — густо синела, в зависимости от того, где и какие преобладали травы. Березовые колки стояли среди степного половодья как белоскальные острова. По всем руселетовским цокосам виднелись пустые телеги, около них, поч-

ти вплавь по травам, паслись выпряженные кони, а людей, собирающих ягоды, совсем и не видно было, только то с одной, то с другой стороны чуть внятно доносились девичьи песни.

Именно в тот день, по совету отца присмотревшись к степи, я впервые понял, какое это чудо на земле. Степь была только степью, ничего лишнего, не присущего ей от сотворения, ничего, что не сродни ей, — и в этом была ее главная красота! И степное безмолвие в отличие от лесного, особенно таежного, не вызывало тревоги и тоски, а лишь слегка грустное раздумье. Сливаясь со степью всей душой, человек не чувствовал среди ее просторов одиночества. Степь и человек — да здесь больше ничего и не надо было! Хорошо было и человеку, и степи. Все остальное было им чуждо.

И еще я понял тогда, что, делая любое дело, даже с большим увлечением и любовью, даже считая его, может быть, очень важным в жизни, не будь рабом этого дела, не забывай оглядываться вокруг, не переставай любоваться красотой всего, что тебя окружает, давай полную волю своей душе, жаждущей общения с миром.

Мы еще раза два, делая небольшие перерывы, выезжали всей семьей за клубничкой. Эти выезды запомнились тем, как степь все больше и больше овладевала моим сердцем и моим сознанием. Ее привольные просторы, сливающиеся с горизонтом, ее чуть грустное безмолвие волновали мои мысли и чувства. Не сомневаюсь, что именно в те дни и родилась моя сыновняя привязанность к родной степи. Она не угасла даже и тогда, когда у меня появилось новое увлечение — горы. Степь была моей первой, незабываемой детской любовью, а вот горы — любовью юности.

ВОССТАНИЕ

I

В конце июля утиные выводки держатся у своих гнезд. Утята становятся большими, но еще только учатся взлетывать, шумно хлопая крыльями по воде. За это их и зовут хлопущами. Пройдет всего неделя, и они начнут облеты родных озерков с лабзами, а потом переселятся на Горькое, где безопаснее жить, нагуливаясь к осени, откуда удобнее уноситься на вечерних зорях семьями-стаями в степь, кормиться в хлебах.

Все мальчишки хорошо знали, что, пока утята на подлете, пока они хлопущи, самое время отведать утятин. У нас ничего не было для ружейной охоты. Не было и капканчиков, чтобы ставить их на утиных тропах. Нам приходилось надеяться только на свою ловкость, на свои руки.

Впервые мы собрался на промысел, кажется, в начале последней июльской недели. Узнав об этом, прибежал почернев-

ший, как полевой котел, Галейка, все лето находившийся с отцом в степи, где они пасли отару овец. Все были оживлены и весело болтали, запрягывая в карманы штанов краюшки хлеба вместе с разными предметами, необходимыми в лесном походе. Быстро, без обычного спора избрали маршрут похода.

Впрочем, идти можно было на любые озера. Хотя мы и здорово разбойничали весной, все равно на каждом озерке уцелело по нескольку утиных гнезд. Да ведь и разоряли мы только те из них, где находились незапаренные яйца. Так что выводки были всюду, и мы их часто видели, шатаясь по бору, добывая камышовые рожки или ставя морды на карасей.

Решили начать с Круглого озера.

В пути, как всегда, размечтались о большой добыче.

— Наловить-то наловим, — сказал Андрейка Гулько, как старшой в нашей ватаге. — А только как ловить будем? Артелью?

— Знамо, артелью, — ответил Барсуков. — Оцепим озеро, и пошел! Только хватай!

— А утят как делить?

— А никак! Сколь поймал — все твои. Твое счастье!

— Какая же это артель? Ты опять счастливей всех будешь!

— Лови и ты. Рот не разевай.

— Если артелью — делить поровну надо.

— Еще чего! — возмутился Ванька. — Я буду носиться как бес, а другой стоять, раззявя хлебово! И утят пропускать между рук! А ему — дай? Пускай сам ловит!

— Бывает, не везет.

— Будь ловчее — повезет!

— Тогда уж все врозь, — спокойно заключил Андрейка. — Идите с Яшкой и ловите, а мы будем артелью.

Ребята дружно поддержали старшого:

— Артелью, артелью!

Но Ваньке невыгодно было отрываться от нас: вдвоем трудно ловить, да еще с таким растяпой, как Яшка. Может случиться, что как ни носись, а весь выводок уйдет с озерка.

— Ладно, черт с вами! — пересиливая себя, согласился Ванька. — Только коли кто будет рот разевать, я того... — Он погрозил кулаком и сказал, должно быть, отцовские слова: — На даровщину все горазды! Ловить так ловить! Прохлаждаться нечего! Верно, Яшка?

Тот прогундел:

— Истинно.

— А успеешь ли глядеть-то за всеми? — ехидно справился Федя.

— Успею! У меня вострый глаз! Отцовский!

— Ты весь в отца.

Озеро Круглое мы избрали прежде всего потому, что оно небольшое, неглубокое и окаймленное по берегу лишь неширокой полоской камыша. Когда до него осталось около сотни шагов, Ванька Барсуков остановил нас и со свирепым видом

погрозил пальцем — дескать, каждый замри и не дыши! Затем сделал охватывающий жест руками:

— Обходим. Только тихо. Я свистну.

Но вот и озеро. За лето по берегу и на лабзе вырос густой, сочный камышище. Вода на озере расцвечена нарядными белыми лилиями и покрыта ряской. И повсюду на ряске — замысловатые узоры утиных следов, а кое-где и перо. Есть выводок, есть!..

Поджидая, когда наши друзья выйдут к другому берегу озера, я и Федя в молчании стояли перед оставшимся с весны прогалом в береговом камыше. Наконец неподалеку раздался свист Ваньки.

Прямо против нас, у края лабзы, в реденьком камыше часто зашлепали, улепетывая, утята. Их мать, кряква, как это всегда делают утки, попыталась отвести нас от своего потомства, направить на ложный след. Оставив утят, она быстро отдалилась в другой край озера и там вдруг свечой взвилась в воздух. Но деревенским мальчишкам были известны утиные хитрости. Мы знали, что там, где взлетела утка, утят искать нечего, и бросилась забредая по грудки в зеленоватой воде, туда, откуда все еще доносилось шлепанье выводка.

Но раньше чем мы достигли лабзы, в стороне взлетела еще одна кряква. И сразу же раздался крик Ваньки Барсукова:

— Вот они! Лови!

Оказывается, здесь было два выводка.

И началась охота.

Мы окружили лабзу и начали с криками бросаться туда-сюда, едва заслышав где-нибудь бульканье или завидев, как потряхиваются метелки камыша. Утята и не пытались прятаться от нас в камышовой чащобе на лабзе. Они уже привыкли жить на воде. Умея подлетывать, они, однако, не пытались этого делать, даже когда их хватали руками. Чаще всего они, спасаясь, ныряли и старались подальше уйти под водой и, только достигнув камышей, уходили в сторону, затонув всей тушкой, оставляя над водной гладью одни головки. В суматохе мы не всегда замечали, куда они ушли, и начинали новые поиски. Иной раз, не рассчитав, утята выныривали совсем рядом, но, увидев нас, мгновенно булькали, вскидывая хвосты. Поневоле им все время приходилось быть под водой и в лучшем случае выгадывать несколько коротких минут передышки, затаясь в камышах. Но мы лазали по камышам без роздыха, шумели на все голоса, хлестали ладонями по воде — и все время пугали утят.

Неистовее всех носился, конечно, Ванька Барсуков. Он первым и заорал во все горло:

— Есть один!

Держа за распахнутые крылья молодую, судорожно трещающуюся крякву, показывая ее нам то брюшком, то спинкой, он побрел к берегу. Нам любопытно было взглянуть на первую

добычу, и все ребята, прекратив на время охоту, потянулись за Ванькой. Наше завистливое внимание было ему приятно: хотите посмотреть — смотрите, мне не жалко. Вот она какая, не отличись от взрослой кряквы!

Мы выбрались на берег и, окружив широко улыбающегося счастливица, стали рассматривать в его руках молодую, красивую уточку с тонкой шеей и изящной головкой. А она то часто вздрагивала и перебирала лапками в воздухе, то вдруг резко вытягивала шею и даже прищелкивала клювом, с которого еще не совсем сошла желтизна.

— Ну хватит! — вволю насладившись своим успехом, воскликнул Ванька. — Неколи!

Он прижал одной рукой утку к груди, а другой, ухватив ее за нос, начал сворачивать ей шею.

— Ты что делаешь? — рванулся к нему Андрейка.

— Не лезь! — огрызнулся Ванька.

И тут он хищно впился зубами в прекрасную головку утки. Утка сильно забилась и еще быстрее, чем прежде, стала перебирать лапками. Ванька поднял с земли сосновый сук и сильно ударил ее по лапкам. Они обмякли и повисли.

Кто-то тихо сказал:

— Жалко...

— Разжалобились! — оборвал его Ванька. — Распустили нюни! Пошли-ка лучше ловить, а то уйдут утята.

Он небрежно швырнул утку на землю и полез в воду.

И опять утята, спасаясь от нас, начали метаться по озеру, без конца нырять, затаиваться в камышах. Но мы не давали им и короткой передышки. Постепенно утята начали слабеть, уставать и не могли далеко уходить под водой.

Второго утенка опять поймал Ванька Барсуков. Все же он был действительно ловок и удачлив! Но теперь никто из нас, кроме Яшки, не потянулся за ним на берег. Окинув нас режущим взглядом, он прокричал с берега:

— Разжалобило вас!

Пока Ванька хвастался своей добычей перед покорным Яшкой и справлял свое страшное дело, по утенку поймали Андрейка Гулько и Васятка Елисеев. Не успели они выйти на берег — завизжал от радости и Галейка. А мы с Федей, завидуя друзьям, продолжали торить камыши. Мне не раз удавалось вовремя заметить движущуюся над водой голову утенка и вовремя броситься вперед всей грудью, но утята всегда как-то вырывались из-под меня, и я стоял, растерянно смахивая ряску со своей рубашки. Обидно было до слез...

Но вот поймал и Федя. Он держал уточку крепко, прижав ее к груди, а она, грациозно выгибая шею, вытягивала свою головку и, как мне показалось, страдальчески осматривала родное озеро.

— Не будешь резать? — спросил я Федю хмуро, очень раздосадованный своей неудачей.

— Не-е-е... Раз был уговор...

И верно, накануне вечером, встретясь для обсуждения предстоящего промыслового похода, мы уговорились привести утят живыми: пусть живут до осени! Интересно ведь поглядеть, привыкнут ли они у нас, станут ли домашними? С этой целью мы и взяли пестерьки, крытые тряпицами.

Федя вышел на берег, а я вновь побрел по камышам. Одного утенка я поймал-таки, но, боясь искалечить, прижал его к груди слишком осторожно. Как раз в этот момент сзади раздался резкий и насмешливый голос Ваньки Барсукова. Он крикнул что-то обидное. Я обернулся, и утенок, вырвав у меня крылья, взмахнул ими и выскользнул из моих рук. Нырнув, он исчез бесследно.

— Раззява! — радуясь моей оплошности, закричал Ванька. — И поймал, да упустил! Косорукий, вот чо!

Я готов был выдрать ему глаза.

— Замолчь, живоглот!

— А-а, ты еще обзывать? Да? Обзывать?

Не миновать бы драки здесь же, в озере, но Ваньку толкнул в спину вовремя подоспевший Андрейка Гулько.

— Иди-иди, не задирайся!

— Он обзывает!

— Не глотай запаренные яйца.

Наконец-то, с большим запозданием, но повезло и мне. Прямо передо мною всплыл утенок и, должно быть обессилев от долгого ныряния, не осматриваясь, потянулся к лабзе. На этот раз, схватив утенка, я прижал его к себе крепко.

После этого мне уже не хотелось вновь лезть в озеро. Но Федя, помогавший мне упрятывать утенка в пестерьку, настаивал:

— Пойдем, может, еще поймаешь. Двум веселее будет жить.

Но как я ни метался по озеру, все опять без толку. Впрочем, это не вызвало у меня особой досады. Я был доволен охотой. Не беда, что у меня всего один утенок. Завтра еще поймаю. Я даже развеселился и несколько раз принимался хохотать: Ванька-то Барсуков тоже остался с носом. Все ребята, кроме меня, сравнялись с пим в добыче, а Андрейка Гулько даже оставил его — поймал четырех утят.

Но такого позора не могло вынести Ванькино самолюбие.

— Без меня вам ни одного бы не поймать, — заговорил он ворчливо, выжимая рубаху для просушки на солнце. — Одному крикни, другому крикни. Все слепошарые! В упор не видят! И полоротые — из рук выпускают!

Мы не хотели связываться с Ванькой. Пусть поважничает. Утомленные суматошной охотой, обрадованные удачей, мы были настроены мирно, незлобиво. Некоторые ребята уже развесили свои штаны и рубахи на сучьях сосенок, на кустах калины. Негромко переговаривались, хлестали себя ладошками по голому телу, сбивая надоедливых паутов и слепней. И тогда

Ванька, раздраженный нашим миролюбием, вдруг засобирался домой.

— Пойдем отсюда, — сказал он Яшке. — Где твои утята? О-о, у тебя живые? Дай сюда!

— Не дам! Не дам! — запротестовал Яшка, что было для нас большой новостью.

— Я тебя, дурака, научить хочу. Учись!

— Я не хочу, не хочу!

— К тебе с добром, с помощью, а ты, гнус, еще морду воро-тишь?! — загорелся Ванька, считая неповиновение Яшки предательством, его перебежкой в наш стан. — Дай сюда, тебе говорят!

Но Яшка взревел, вырывая у него мешочек с утятами. Еще минута, и они все же окажутся во власти Ваньки, и тогда...

— Побьем, а? — тихонько предложил мне Федя.

Конечно, я согласился с большой живостью.

Федя оглушил Ваньку сзади мокрыми штанами, свитыми в жгут, я добавил ему мокрой рубахой. Остальные ребята, без нашего зова, дружно налетев со всех сторон, пустили в ход кулаки.

И Ванька был избит сильно, серьезно, как никогда. Его, должно быть, не сразу-то и признали в родном доме.

II

Несколько дней мы успешно охотились на утят-хлопушей. Но из моей затеи — продержать их до осени — ничего не вышло.

Утята дичились, все время искали лазейки в хлевушке, ничего не ели и даже, на удивление, не подходили к корытцу с водой.

— Опаршивеют и подохнут, — сурово выговаривала мне мать. — И все из-за твоей дурасти. И отец ему еще потакает! Реви не реви, а зарежу я их, вот и все! Хоть похлебки ребятишки похлебают.

И однажды, выйдя утром на кухню, я увидел в руках матери полуголого, худенького, синеватого утенка, а рядом в тазу — с горстку серого мокрого пуха.

Обидно было, но похlebка, признаться, показалась очень вкусной: о мясе у нас в доме летом и помипу-то не было.

Но вот мы вернулись из бора с пустыми пестерьками. Все хлопуши, будто сговорившись, поднялись на крыло и улетели от родных гнезд на просторы Горького.

Увлечшись охотой, мы, мальчишки, день-деньской пропадали на озерах, а вечерами, едва скрывалось солнце, заваливались спать. Поэтому мы совершенно не замечали, что происходит в селе и в наших семьях. Правда, мне показалось странным, что отец редко бывал дома. Однажды я спросил мать:

— Где же он? Все нет и нет...

— А вот явится, сам и спроси, где его черти носят, — ответила она с раздражением. — Доносится, тогда узнает!

В тот раз отец вернулся домой после полуночи. Я проснулся, услышав голоса на кухне: сдержанный — отца и почти крикливый — матери. Трудно было понять, о чем они спорят. Кажется, мать пыталась от чего-то удерживать отца. Она, как всегда, чего-то боялась.

Утром я заговорил с отцом:

— Ты где все ездешь? Совсем загонял Зайчика!

— Сегодня отдохнет, — ответил отец раздумчиво.

— Отвести в поскотину?

— Да нет, погоди.

Отец был чем-то возбужден, но непривычно молчалив.

Однако за завтраком, продолжая, вероятно, ночной спор с матерью, он неожиданно разговорился, хотя и без обычного радостного оживления, какое вызывал у него любой разговор в семье, на людях.

— У Колчака теперь плохие дела, — сказал он серьезно. — Еще весной ему дали по морде, а теперь пинками в Сибирь гонят. Теперь у него одна забота — дай бог ноги!

подавая на стол, мать спросила:

— Сорока на хвосте принесла?

— Не сорока, а люди, которые бегут из его армии. Дезертиры. Красная Армия уже подходит к Челябине. А как и оттуда его выбьют — он так и покатится по сибирским степям!

— Загадали!

— Так и будет!

— Тогда и рыпаться нечего, — отрезала мать. — Надо обождать, а не пороть горячку. А то выскочите — и подставите дурные головы.

— Да нельзя же больше ждать, пойми ты!

— О детях вы не думаете!

— Если бы не думали, может, и терпели бы, а то вот не терпим!

Постепенно я убеждался, что в селе называют важные события. Они касаются даже нашей детской судьбы. Пока отец и мать что-то недоговаривают, но, судя по всему, скоро все откроется само собой. Нечего и говорить, как меня обожгла и возбудила родительская тайна.

После завтрака, увидев, что отец опять куда-то собирается, я бросился к нему:

— Ты куда? Скажи!

— Пора и нам, сынок, подниматься на крыло, — ответил отец загадочно, вдруг блеснув зубами. — Пойдем-ка со мной к сборне. Сейчас туда сойдется все село.

На площади перед сборней уже собралась негромко разговаривающая толпа. У коновязи стояло несколько подвод и вертелись верховые в седлах, некоторые из них — с ружьями, что

меня особенно удивило. Отец заторопился в сборню, а я встретился со своими друзьями.

— Зачем сходка-то?

— Воевать мужики собрались, Колчака бить, — ответил всезнающий Федя Зырянов. — Вчерась вечером все дезертиры объявились. У Васятки братаны пришли. А вон, видишь, кто вершин-то с ружьями? Весной в бору мы их видали. Вон Ефим Голубев на буланке, вон Филька Крапивин, какой мне кресало дал, а вон и Степка Меркурьев, с берданкой-то...

Несколько верховых отделились от коновязи и поскакали в дальний конец Тюкалы.

Появление вооруженных людей, несомненно, создавало в селе особое настроение значительности совершающихся событий. Любопытство прямо-таки припекало нам пятки. Мы без устали шныряли по толпе, стараясь уловить что-нибудь важное в мужицких разговорах. Интересно же было поскорее узнать, как гуселетовские мужики и парни будут бить ненавистного Колчака! Когда это будет? И где? Вот поглядеть бы...

— А вон и Васятка с братанами! — оповестил нас Федя.

Васятка шагал между братьев, как взрослый, и вид у него был очень серьезный, будто шел не поглядеть на сельскую сходку, а принять в ней непосредственное участие. Несомненно, он проникся таинственной сопричастностью к тем делам, какие волновали его братьев, и повзрослел от этой сопричастности. Но, увидев нас, он все же не сдержал своей улыбки и рванулся вперед.

— Вот они, мои братки!

Он долго и тягостно скучал о своих братьях...

Иваны Елисеевы сильно загорели за лето, еще шире раздались в плечах, стали совсем мужиками, только без усов и бород. Они вроде бы собрались пройтись по озерам, поохотиться на дичь: у обоих — берданки, на поясах — тяжелые патронташи.

В знак дружеского расположения они похлопали нас по спицам, потрепали наши вихры.

— Растете, — одобрительно заметил Иван первый.

— Скоро нас догонят, — пошутил Иван второй.

— Теперь вы не дезертиры? — спросил я братьев напрямую. — Колчака пойдете бить?

Братья перемигнулись и захохотали:

— Попадется, так излупим!

— Только попадись!

Из сборни начали выносить стол и лавки, расставлять у крыльца. Гуселетовцы со всех сторон площади стали быстро собираться перед сборней. Обгоняя взрослых, мы забрались на одну из стоявших у коновязи телег со свежим степным сеном. Отсюда хорошо было видно крыльцо потемневшей казенной избы.

Обычно перед началом сходки мужики разговаривают шумно, крикливо. Но сейчас они выжидающе примолкли, вроде чего-то опасаясь. Стоять под палящим солнцем было тяжело. Но

никто не торопил начинать сход. Удивительное мужичье терпение заставило примолкнуть и всех мальчишек.

Но вот открылась дверь сборни, и на крыльцо вышел Иван Гончаренко с красным флагом в руках — это было небольшое, совершенно чистое полотнище из кумача. С крыльца Гончаренко энергично шагнул на скамью, а затем и на стол, и тут вдруг взмахнул флагом, стараясь развернуть его перед народом — пусть ударит всем в глаза давно не виданным цветом.

На несколько секунд сход замер, будто и в самом деле ослепленный алым цветом флага, и лишь немногие из тех, что толпились у крыльца, тут же выкрикнули, но и то неслаженно:

— Ур-ра-а!

Только после этого сход опомнился, колыхнулся волной, и над площадью единым духом рвануло уже из сотен мужичьих грудей:

— Ур-ра-а-а!

До слез кричали и мы, мальчишки...

Гуселетовцы хорошо помнили, как больше года назад офицер Скурнацкий, объявив на сельской сходке Советскую власть низложенной, в бешенстве топтал ногами красный флаг, захваченный в сборне. Тогда многим казалось, что они не увидят его уже никогда. Зная, как тот случай подействовал на сельчан, подпольщики с большим трудом раздобыли аршина два кумача и решили, что Советская власть в селе будет восстановлена прежде всего с выноса нового флага. Но и подпольщики, вероятно, не предполагали, какой восторг вызовет этот скромный акт торжества непобежденной Советской власти.

— Ур-ра-а! — надрывался сход.

Иван Гончаренко даже и не пытался начать речь. Широко улыбаясь, он то потрясал высоко поднятой рукой, приветствуя народ, то оглядывался на своих товарищей, стоявших позади, на крыльце. Среди них я увидел и своего отца.

Я не был свидетелем того, как гуселетовцы впервые увидели в своем селе, на сходе, красный флаг. Но то, с каким чувством они встретили его тем летом, запомнилось мне на всю жизнь. Не однажды позднее случалось мне наблюдать ликование народных толп по случаю каких-либо больших событий. В ликовании гуселетовской сходки летом девятнадцатого года было что-то особенное...

Наконец раздался сильный голос Ивана Гончаренко:

— Товарищи! Все вы помните тот день, когда вот тут бесился белый гад Скурнацкий! Он топтал наше знамя! Но его не затопчешь! Оно опять в наших руках! И теперь мы его уже никому не отдадим! Никому и никогда!

Гул прошел над сходкой.

— А в ту ночь, когда уехал Скурнацкий, мы создали подпольный штаб, — продолжал Гончаренко. — Он действовал больше года. Вот он, весь здесь! — Он указал на своих товарищей стоявших позади. — И наш штаб, товарищи, говорит вам сейчас:

настала пора взяться за оружие! От имени штаба объявляю родное наше Гуселетово восставшей местностью! Да здравствует навеки Советская власть!

Он еще долго говорил о тех жертвах, какие понесли сибиряки от кровавой диктатуры Колчака, о нежелании крестьянских сыновей воевать в белой армии, о порках карателями непокорных крестьян, о надругательствах и грабежах, какие чинит белогвардейщина, и, наконец, о том, что повсюду трудовой народ поднимается на борьбу за восстановление Советской власти. И тут он упомянул о Ефиме Мамонтове.

— Отряд товарища Мамонтова действует с ранней весны, вы все это знаете, — сказал Гончаренко. — Он провел уже много боевых действий и прикончил многих белых карателей. В настоящий момент к отряду товарища Мамонтова присоединяются десятки сел и деревень. Теперь присоединится и наше Гуселетово. Штаб товарища Мамонтова находится в Солоновке. Вот его воззвание, полученное нами только вчера вечером с нарочным. Я его зачитаю, товарищи...

Я не помню, конечно, этого воззвания. Возможно, это было и не воззвание, а известный приказ № 1 штаба Мамонтова, изданный примерно 3 августа 1919 года, в котором говорилось о начале широкого повстанческого движения в нашем крае. Возможно, какой-то другой документ из штаба Мамонтова — далеко не все они остались известны.

После Гончаренко на стол вскакивали еще некоторые гуселетовские подпольщики. Но мы, мальчишки, уже не слушали их горячие речи. Усевшись на телеге, мы заговорили о Мамонтове. Разные слухи о нем ходили все лето. Он стал нашим героем, пожалуй, раньше, чем героем взрослых. Теперь начались разные догадки — когда он позовет наших мужиков и парней бить Колчака? На этот счет у каждого из нас были свои соображения, и немудрено, что вскоре мы заспорили с обычной своей горячностью. Но тут с соседней телеги крикнули:

— Опять Царев!

И верно, Иван Гончаренко опять держал речь. Он говорил о том, что надо создать свой, гуселетовский отряд крестьянской Красной Армии, получше вооружиться и, когда поступит приказ от Мамонтова или из волостного штаба, выступить и сразиться насмерть с белыми гадами. И тут же объявил запись добровольцев в отряд.

Все мои друзья повскакали на ноги и стали шумно выкрикивать имена тех, кто протискивался к столу у крыльца сборни, а я, не слушая их выкрики, не отрывал взгляда от своего отца. С огромным нетерпением ожидал, когда и он сделает шаг к столу, где велась запись в отряд. Я не сомневался, что он делает такой шаг.

Но отец стоял в оцепенении. Почему он стоит как вкопанный? Ведь он мог опередить многих! Неужели он не хочет вступать в отряд? Неужели не хочет бить Колчака? Ведь он так

ненавидит всех генералов и буржуев, так ненавидит! Вот сейчас, сейчас он шагнет к Гончаренко... Но время летит, летит, а отец ни с места. И вот уже Иван Гончаренко поднимается на стол с бумажкой в руках и зачитывает всех, кто вступил в отряд: шестьдесят семь гуселетовцев изъявили желание взяться за оружие. Но в списке так и не оказалось имени отца! Мне нечего было больше слушать Гончаренко; я соскочил с телеги и, весь трясясь от обиды, бросился домой.

Узнав, в чем дело, мать сказала:

— Слава богу, одумался все же.

— Да, все пойдут, а он...

Не слушая мать, я скрылся на сеновале.

В полдень меня отыскал там отец. Стоя на лестнице, позвал:

— Миша, ты здесь? Слезай обедать.

— Не пойду, — помедлив, буркнул я в ответ.

— Что с тобой? С ребятами подрался?

— Уходи! Ты не хочешь бить Колчака!

— Кто это тебе сказал?

— Ты не записался в отряд!

— Да я давно записан!

— Всех записанных вычитывали. Тебя нет.

— Эх, ясно море, вон в чем дело! — почему-то даже весело воскликнул отец. — Значит, ты разобиделся на меня и убежал со сходки? И ничего не знаешь? Ну а теперь иди-ка и взгляни на меня.

— А чего на тебя глядеть?

— Да ведь я при оружии!

Меня как ветром сорвало с душистого сена. Да, отец никогда не обманывал: его грудь перекрещена ремнями, с одного боку — кобура с наганом, с другого — настоящая пашка. Вот это да!

— Значит, ты и не слыхал, как меня выбирали командиром отряда? — заговорил отец, обтирая ладонью мои влажные щеки. — Гончаренко же меня и назвал, а выбирали всей сходкой.

Вслед за отцом я спустился на землю. И тут отец, приподняв за чуб мою голову, посмотрел мне в глаза:

— Как же ты мог подумать?

А после обеда он сказал мне:

— Ты не отводи Зайчика в поскотину.

— Опять куда-то?

— Надо, — ответил отец со счастливой улыбкой. — В Солоповку, сынок, на связь с Мамонтовым. Дождались мы своего часа!

ЗВЕЗДА МАМОНТОВА

I

В те дни Ефим Мамонтов особенно часто вспоминал о Петре Сухове и его красногвардейском отряде. И не случайно: только что, 9 августа, исполнился год со дня его гибели в горах Алтая.

Уже год! Торопится время. Стало быть, тоже надо торопиться жить и действовать. И как хорошо, что наконец-то началась горячая пора! Так, с мыслями о Петре Сухове, Ефим Мамонтов и готовился к развитию широких боевых действий против бело-гвардейщины.

Да, памятной была их встреча...

Ранним утром со стороны степи в село Вострово (в народе оно звалось тогда не иначе как Кабанье) вступила большая колонна красногвардейского отряда — в нем было более пятисот человек, часть конных, часть на крестьянских телегах, да еще обоз. Как и все односельчане, Ефим Мамонтов давно был наслышан о приближении этого героического отряда: обогняя его, народная молва шла по всей Кулундинской степи. И вот на Кукуе, в несколько обособленном краю Кабаньего, стали проситься на постой усталые, хмурые, пропыленные красногвардейцы с настороженными взглядами. Проявляя истинно русское хлебосольство, крестьяне охотно приглашали их в свои дома и щедро угощали всем, что имелось в кладовках, погребах, на огородах. За какой-то час красногвардейцы освоились, разговорились, и крестьяне узнали, что отряд в последние три дня вел тяжелые бои в ближних степных селах, наголову разбил там крупные бело-гвардейские части полковников Травина и Волкова.

Тем временем готовилась могила.

Оказывается, на одной из подвод красногвардейцы привезли наскоро сколоченный гроб с телом сраженного в последнем бою пулеметной очередью командира роты Михаила Трусова. Вскоре состоялись похороны. На траурный митинг собрались не только красногвардейцы, но и многие жители села. Среди них был Ефим Мамонтов, хотя и чувствовал себя еще слабым после недавно перенесенной болезни; худой, бледнолицый, он поглядывал исподлобья, с затаенной болью и тоской.

Митинг открыл Петр Сухов.

Еще в те минуты, когда красногвардейские шеренги выстраивались вокруг могилы, Ефим Мамонтов со жгучим любопытством наблюдал за всеми действиями Петра Сухова, и ему показалось, что он в какой-то мере понял, почему о красногвардейском командире ходят по степи легенды. Это был человек, пожалуй, лет за сорок, несколько угрюмого вида и, должно быть, сурового нрава. Он поражал прежде всего своей необычайной сдержанностью и холодноватым спокойствием, будто и не побывал только что в боях, не испытал тяжести ночного марша и совсем не думал о том, что его ждет впереди. Высокий, в офицерском обмундировании, с наганом в кобуре у пояса, в ободранных хромовых сапогах, он шагал тяжеловато, не спеша, заметно прихрамывая, — был ранен недели три назад. Смуглое, продолговатое лицо Сухова, обрастающее черной отавкой, густой и колючей, на удивление сильно освещалось пронзительными, искристыми, как антрацит, глазами. Чаще всего Сухов отдавал команды не словами, а взглядом. Но когда он начал

речь, стало ясно: человек необычайно напористой, кипучей энергии, затаенной, до поры сдерживаемой страсти. Да к тому же и мастер зажигательного слова, но, в отличие от многих ораторов, обожающих краснобайство, слова прямого, честного, открытого, мужественного, какие только и трогают людские сердца.

Вначале он не столько для красногвардейцев, сколько для крестьян вспомнил о том, какой путь прошел отряд, сколько блестящих побед одержал над превосходящими силами противника, стремящегося разгромить его в степи. Потом, сдерживая волнение, стал говорить о храбром молодом командире, погибшем на его глазах геройской смертью, поднимая свою роту в атаку на врага. Закончив речь, он положил в гроб героя его личное оружие — это была дань как сегодняшнему дню, так и глубокой старине.

Пока звучали над гробом прощальные речи других красногвардейцев, Ефим Мамонтов продолжал почти безотрывно наблюдать за командиром героического отряда. От красногвардейцев, шахтеров из Кольчугина, остановившихся в его доме, он уже успел кое-что узнать о Петре Сухове. Оказывается, Сухов совсем и не из Барнаула, как считал Мамонтов, а из земли Кузнецкой. Когда туда ворвались белогвардейские банды, Петр Сухов во главе потрепанного в боях отряда Красной гвардии с Кольчугинского рудника ушел из родных мест в Барнаул, где, по слухам, пока стойко держались защитники Советской власти. Но соединиться с алтайскими красногвардейцами отряд Сухова успел лишь на подступах к Барнаулу, за Обью. Дни его обороны были уже сочтены. На рассвете 15 июня сильно поредевшие в боях отряды защитников города, осажденного со всех сторон белогвардейскими частями, с трудом вырвались на несколько эшелонов за его пределы. Эшелоны остановились на станции Алейская — на Алтайской дороге, по пути в Семипалатинск. Вот здесь-то из огромной, почти неуправляемой вооруженной толпы был создан единый красногвардейский отряд, командиром которого избрали, по предложению губернского ревкома, малоизвестного кольчугинца Петра Сухова, который за несколько последних дней красного Барнаула зарекомендовал себя человеком большого мужества, да к тому же хорошо знающим военное дело.

Но что было отряду делать? Куда держать путь? Те, кто был убежден, что мятеж контрреволюции охватил широкие просторы Сибири, предлагали уйти в горы и пробиться в Семиречье. Однако руководители губернского ревкома были твердо убеждены, что Омск еще находится в советских руках, и настояли держать путь именно туда, надеясь соединиться там с Красной Армией. И только через месяц похода, когда отряд находился в глубине Кулундинской степи, стало ясно, что путь для него на запад накрепко закрыт и что у него одно спасение: уходить в горы. Вот теперь он и направлялся туда, но белые преследовали по

пятам, стараясь окружить и разгромить его еще до того, как он достигнет предгорий.

Судьба отряда была явно трагической.

Этого не мог не понимать Петр Сухов. Шутка сказать — пробраться с таким большим отрядом трудными горными путями в Семиречье! Вероятно, Сухов больше, чем кто-либо, сознавал, что отряду грозит гибель: поздно решили уходить в горы, там теперь всюду, особенно в зажиточных селах, созданы «дружины самообороны», да и белогвардейские отряды будут преследовать настойчиво, будут устраивать западни. Но удивительное дело, никаких признаков растерянности, тем более смятения, не чувствовалось в речи Сухова. Да, кренкой воли человек...

Крестьяне Кабаньего — попутно и это заметил Ефим Мамонтов — с глубоким вниманием слушали речи красногвардейцев, в которых они зачастую со слезами на глазах клялись отомстить за погибших товарищей и добиться желанной победы, за которую те заплатили своей жизнью.

Вдруг выдалась какая-то странная заминка: Петр Сухов медленно обернулся в сторону, где густой толпой стояли крестьяне, и несколько секунд высматривал в ней кого-то своим пронзительным, но не колющим, а затеплившимся взглядом.

— Товарищи крестьяне! — наконец заговорил он приглушенно, как и положено у могилы. — Не желает ли кто из вас, хотя вы и не знали нашего товарища, сказать над его гробом прощальное слово?

Крестьяне стали молча переглядываться, лица того, кто мог бы держать речь от их имени. Вместе со всеми и Мамонтов не раз огляделся по сторонам. Но никто из его друзей, с кем он устанавливал в родном селе Советскую власть, кто, бывало, любил помитинговать, не попалался на глаза. Одни скрывались от новых властей (это он по болезни, выжужденно, оставался дома), другие, может быть, не решались высовываться: отряд-то уйдет, а тут и потянут за язык. Ефим Мамонтов не был речистым, он любил больше дело, чем слово. Но сейчас молчать было грешно, и он вдруг сделал два воинских шага к могиле.

— Назовите свое имя, — сказал ему Петр Сухов.

— Да меня тут знают, — смутился, оглядываясь, Мамонтов.

— Но вас не знают наши красногвардейцы.

— Ефим Мефодьевич Мамонтов.

— Товарищи красногвардейцы, — обратился Сухов к своему отряду, стоявшему в шеренгах. — Слово имеет товарищ Мамонтов, крестьянин здешнего села, бывший фронтовик... Я не ошибаюсь?

— Да нет, нет! — Тяготясь вниманием, Мамонтов уже торопился поскорее заговорить, раз на то пошло. — Обмундирование, как видите, еще не изношено.

И странное дело, Ефиму Мамонтову захотелось, чего не случалось прежде, говорить о многом, очень о многом: его, уже уверовавшего в крепость Советской власти, мятеж контрреволю-

ции оглушил, будто ударил гром над головой, он не знал, что делать, а тут еще навязалась болезнь, жить приходилось в постоянной тревоге, и ему иногда стало казаться, что все пропало. Но вот пришел красногвардейский отряд... И хотя он должен был скоро уйти, хотя ему, скорее всего, грозила гибель в горах, все равно его появление в селе освежило словно холодной водичей в тяжкий зной душу Мамонтова.

— У этой могилы, — начал Мамонтов, — одно мне сказать хочется: ваша кровь, товарищи рабочие, товарищи красногвардейцы, не пропадет даром! — Обратившись к односельчанам, он переспросил: — Верно я говорю?

— Верно, — негромко ответили из толпы.

Но тут его опять захлестнуло то необоримое волнение, какое он испытывал всегда, выходя держать перед народом речь, и ему так и не удалось высказать всех тех мыслей, какие у него породило появление красногвардейского отряда. Речь его, как обычно, оказалась краткой, да к тому же и не очень-то складной. Но его необычайное волнение, от которого все его исхудавшее лицо враз осыпало бисером пота, было куда красноречивее всяких высоких слов, — все воочию увидели, как больно тронула его смерть молодого человека, лежавшего в гробу, гибель его товарищей в недавнем бою, и все поняли, что это печальное утро, несомненно, оставит в жизни Мамонтова глубокий след.

И все же Мамонтову удалось сказать самое важное, что надо было сказать в эти минуты. От имени односельчан он приветствовал красногвардейский отряд, который уже больше месяца, несмотря на потери, мужественно боролся за общее народное дело. Указывая на склоненное у могилы знамя отряда, он выразил надежду, что отряд донесет его до полной победы над ненавистной белогвардейщиной. Пожелав отряду удач, Мамонтов еще раз сказал, что кровь погибших героев не пропадет даром.

Едва он отступил от могилы, загремели залпы.

Под вечер, когда Ефим Мамонтов лежал на голбце, по привычке укрывшись, хотя и было тепло, своей солдатской шинелью, в его небольшой домик на Кукуе пришел человек в военной форме, но далеко не военного вида, а с ним молодая женщина, сестра милосердия, с брезентовой сумкой. Отец, Мефодий Олимпиевич, приведший в дом гостей со двора, указал на сына:

— Вот он, отлеживается.

— Я доктор, — отрекомендовался немолодой военный невоенного вида и бесцеремонно, не спрашивая разрешения, присел на край голбца. — По распоряжению товарища Сухова. Знаете ли, он заметил на похоронах, что вы очень худы и бледны.

— Глазастый он у вас, — отозвался Мамонтов.

— Да, видит далеко, — охотно согласился доктор. — Вероятно, даже очень далеко... Да вы пока лежите... Что с вами? Отчего болеете?

— Должно, с простуды, — ответил Мамонтов. — Несколько дней в жару лежал, всего знобило, грудь закладывало. Но теперь-то, можно сказать, отлегло.

— Отлично, — сказал доктор. — Приподнимитесь-ка. Снимите гимнастерку. Рубаху...

Он долго и плотно прижимался ухом то к груди, то к бокам, то к спине.

— Отлично, отлично, — повторил он оживленно и даже помог Мамонтову натянуть нательную рубаху. — Да, все у вас обошлось хорошо. В легких чисто. Но запомните вперед, что и богатырские силы надо беречь. В молодости всегда думают, что они неиссякаемы. Скоро совсем поправитесь, дорогой товарищ. Впрочем, мы вам оставим кое-какие лекарства. Они вам помогут.

— Спасибо, доктор, — сказал Мамонтов. — И товарищу Сухову передайте спасибо.

— Он хотел к вам сам зайти, да, знаете, я его своей властью уложил спать, — ответил доктор. — Двое суток в бою. Не сомкнул глаз. Едва держится на ногах. А там ждут дела, дела...

Отряд Сухова еще один день стоял в Кабаньем, готовясь к броску в предгорья. За ночь красногвардейцы, попарясь в жарких банях, хорошо отоспались, отдохнули и с утра стали еще разговорчивей и общительней. У них было много своих дел: они обменивали трофейное имущество на разное продовольствие, соль, табак и фураж, чинили телеги из своего обоза, сбрую, подковывали коней. Заодно они во многом и охотно помогли крестьянам. В отряде нашлось немало редкостных для деревни золотых рук, которые могли отремонтировать и косилки, и жатки, и перебрать кадки для солений, и починить прохудившиеся ведра...

За один день между крестьянами и рабочим людом, уже больше месяца скитавшимся по степи, установились самые миролюбивые отношения. Крестьяне убеждались, что все слухи, какие распускали об отряде Сухова, лживы, они своими глазами видели: вот он какой душевный, рабочий люд, думающий не только о себе — обо всем народе. А красногвардейцы в свою очередь убеждались, что среди крестьян немало людей, глубоко преданных Советской власти. Со многими крестьянами, не скрывавшими своих настроений, красногвардейцы были во всем открытвенны, а с Мамонтовым, хорошо запомнив его у могилы, особенно. И Мамонтов в тот день много нового узнал о красногвардейском отряде, в частности о Петре Сухове.

А началось с того, что он как-то спросил у своих постояльцев из отряда:

— Где же губревком? Его что-то не видно.

И красногвардейцы-кольчугинцы — здесь был, кажется, и командир их роты — рассказали ему о том, что произошло вскоре после выступления отряда со станции Алейская.

Среди тех людей, какие эвакуировались из Барнаула в часы захвата его белогвардейщиной, были три человека, возглавлявшие губернский ревком, — несомненно, самые известные на Алтае. Это Матвей Константинович Цаплин, председатель ревкома, коренастый, черноусый, тридцатидвухлетний человек интеллигентного вида, большевик с пятого года, еще до революции руководивший подпольной большевистской организацией Барнаула, а после революции возглавлявший здесь Совет; Иван Вонифатьевич Присягин, член ревкома и председатель губкома партии, бывший рабочий-кожевник, ставший профессиональным революционером еще в юности, учившийся в ленинских партийной школе в Лонжюмо, побывавший в двух сибирских ссылках, делегат VII (Апрельской) Всероссийской конференции большевиков с правом решающего голоса, верный ученик Ленина; Михаил Кириллович Казаков, заместитель председателя ревкома, непосредственно руководивший обороной Барнаула, молодой большевик, один из той группы прапорщиков 24-го Сибирского запасного полка, которые сразу же после свержения царя встали на сторону большевиков, а затем принимали активное участие в борьбе за Советы. Все они, глубоко преданные революции, готовы были пожертвовать ради нее жизнью. Но они, несомненно, были очень удручены сдачей Барнаула и растерянны. Главной же бедой этих честных людей была полнейшая неосведомленность в военной ситуации, сложившейся тогда в Сибири. Беспредельная уверенность в незыблемости молодой Советской власти породила у них ту странную наивность, которая помешала им достойно оценить мятежную силу контрреволюции. Уже зная, что мятежники захватили Новониколаевск, Томск, Кузнецкую землю, Семипалатинск и, наконец, Барнаул, зная показания пленных, сообщения белогвардейских газет, члены губревкома, как это ни поразительно, были убеждены, и даже глубоко убеждены, что в Омске все еще стойко держится Советская власть. Они никак не могли допустить мысли, что восстал не один безответственный бунтовщик Гайда со своим 7-м Татранским полком, а весь чехословацкий корпус, эшелоны которого растянулись по всей Сибирской магистрали. Восстать против Советской власти, которая разрешила корпусу вернуться на родину через Дальний Восток? Не может того быть! Так члены губревкома думали в Барнауле накануне эвакуации, так думали и в Алейской. Потому-то они настояли держать путь на Омск, только на Омск. Они даже мечтали, что отряд, пройдя степью до Славгорода, сможет там погрузиться в эшелоны, выехать на магистраль и соединиться с частями Красной Армии! И незачем пробираться через горы в Семиречье: тот путь далек, труден, да и опасен — по слухам, там орудуют разные антисоветские банды.

Кольчугинцы вздыхали, вспоминая об их наивности.

У Петра Сухова, по их словам, была полная возможность отказаться от большого командного поста, хотя бы по той очевидной причине, что его не знали как человека и командира большинство красногвардейцев отряда, жителей Алтая. Нет сомнения, он лучше, чем кто-либо другой, понимал, в каком труднейшем, драматическом положении находился отряд с первого часа своего рождения и какие его ожидают трудности в походе, даже при благоприятных обстоятельствах. Но он меньше других рассчитывал на такие обстоятельства. Он не верил в ограниченный характер мятежа: каким бы авантюристом ни был Гайда, он вряд ли в нарушение суровой воинской дисциплины отважится самостоятельно затеять весьма рискованную акцию в чужой стране, да еще с таким большим размахом. У бывшего прапорщика Сухова, знающего не только русскую, но и иностранные армии, не могло быть розовых иллюзий. Если мятежники еще и не захватили Омск, то могут захватить в ближайшие дни. Наконец, Гайда и командующий белогвардейскими войсками Гришин (Алмазов) не будут, конечно, сидеть сложа руки — они постараются окружить и разгромить отряд еще в Кулундинской степи. Как ни толкуй, на пути к Омску не избежать жестоких схваток с частями регулярной армии, хорошо обученными, имеющими большой опыт военных действий и много оружия. Все это конечно же учитывал Петр Сухов. И все же он согласился стать командиром отряда. Что же его заставило принять такое назначение? Как ни гадай, одно: любовь к людям. Он был коммунистом в самом высоком значении этого слова. Он считал, что не имеет морального права уходить от тяжелой ответственности, выпавшей на его долю. Тем более что, судя по всему, сможет лучше других командовать отрядом в трагической ситуации. Цапкин и Присягин — люди во всех отношениях исключительно гражданского склада, а Михаил Казаков хотя и прапорщик, но не знает войны и к тому же совершенно обескуражен неудачами.

Начальником штаба отряда был избран Дмитрий Сулим. Когда-то он был подпоручиком 24-го Сибирского запасного полка, но откололся от своих прежних друзей офицеров, перешел на сторону революции. Еще в сентябре семнадцатого года Сулим стал начальником гарнизона Барнаула и принял горячее участие в создании и обучении отрядов Красной гвардии. Он все сильнее и сильнее тянулся к большевикам. Однако какая-то часть барнаульских большевиков, знавших о его прежних политических взглядах эсеровской окраски, относилась к нему с некоторой предубежденностью. А тут еще, на его беду, украинцу Сулиму подложили свинью эсеры. Стремясь перетянуть его на свою сторону, они стали прочить его — и об этом разошелся слух — на пост министра по делам национальностей в создаваемом Сибирском областном правительстве. Эта провокационная затея, безусловно, повредила репутации Сулима. Но он уже всем сердцем принимал большевистские идеи и знал, что у него один

путь — в огонь революции. Вместе со всеми Дмитрий Сулим полной чашей испытал горечь отступления от Алтайской, горечь эвакуации из Барнаула, не меньше других был измучен бессонными ночами и тревогами, но оставался деятельным, бодрым, склонным к юмору, к шутке. Вообще, взглянув на этого живого, двадцатилетнего молодого человека, можно было безошибочно угадать, что никакие неудачи никогда не смогут погасить его приподнятого, романтического взгляда на жизнь, его оптимизма.

Его избрали с согласия Петра Сухова. Как человек спокойного, трезвого ума и практического характера, Сухов прежде не очень-то жаловал людей такого возвышенного склада, каким был Дмитрий Сулим, но тут молодой офицер вдруг пришлось ему по душе. Сухов учитывал прежде всего, что им вполне заслуженно получено воинское звание, что он в военном отношении, без сомнения, самый образованный человек в отряде. Учитывал и то, что большое доверие, какое оказывалось Сулиму в такой драматической обстановке, еще более поднимет его дух, пробудит у него новые творческие силы. Учитывал даже и то, что Сулим горячо влюблен (у него осталась в Барнауле невеста), а любовь, как известно, лучше всего помогает человеку жить, любить жизнь и людей. Наконец, в общительном характере Сулима в изобилии были как раз те качества, каких отчасти не хватало Сухову, — возвышенность, веселость, поэтичность, а они-то, эти качества, не менее важны в походе, чем его сдержанность и суровость.

Дмитрий Сулим не мог не понимать, чем он обязан командиру отряда, — отныне и навсегда покончено с оскорблявшей его настороженностью окружающих людей. И молодой начальник штаба с большой энергией взялся за свое дело.

Весь красногвардейский отряд был разбит на роты. Их было пять: Барнаульская, Железнодорожная, Коммунистическая, Интернациональная и Кольчугинская; все они имели свои порядковые номера и разбивались, в свою очередь, на взводы и отделения, как обычно в русской пехоте. И были еще два отдельных строевых взвода — пулеметный и конной разведки. И были еще хозяйственный и санитарный отряды.

В поход отряд выступил утром 19 июня, собрав в окрестных селах до трехсот подвод. На передней на двух дровнях ярко горело и трепетало знамя, на котором издали можно было прочитать босвой клич: «Да здравствует социалистическая Красная Армия и Гвардия! 1918».

Весь день с революционными песнями тянулась колонна через Алейскую степь. Нещадно палило солнце. Над дорогой при полном безветрии поднимался огромный шлейф пыли.

К вечеру отряд достиг опушки ленточного Барнаульского бора и вступил в село Боровское. Губревком и штаб отряда расположились на берегу озера Бахматовского. Развели костер, начали готовить ужин. И вдруг появился чем-то обеспокоенный

Дмитрий Сулим. Оказывается, красногвардейцы встретили в селе почтальона, который только что прибыл с почтой. Из рассказов почтальона, из телеграмм и газет, которые он привез с собой, стало совершенно очевидно, что власть в Омске уже находится в руках белогвардейщины.

Всю ночь члены губревкома, командир отряда Сухов и начштаба Сулим, забыв про ужин, обсуждали создавшееся положение. Цаплин и Присягин говорили: да, мятеж принял более широкие формы, чем они предполагали, но его ликвидация — вопрос немногих дней, а потому решение идти на Омск остается в силе. Они явно переоценивали возможность молодой, неокрепшей Советской республики и недооценивали возможность сильного в военном отношении врага. Это, конечно, было не виной их, а бедой. Сухов и Сулим, хотя и понимали, как люди военные, что ожидает теперь отряд впереди, но скрепя сердце согласились с авторитетными руководителями Алтайского губревкома. Тем более что нелегко было без большого морального ущерба изменить принятое решение и повернуть отряд обратно, на горный путь, в Семиречье.

Тогда же, у озера Бахматовского, члены губревкома задумали уехать вперед, оставив отряд на Сухова. Перед рассветом в обстановке глубокой секретности они покинули стоянку и под видом землемеров отправились в направлении станции Карпат. В том случае, если красные войска в ближайшие дни не освободят Омск, они хотели перейти линию фронта и доложить командованию Красной Армии о чрезвычайном положении Алтайского красногвардейского отряда, а при необходимости связаться с Москвой.

Так была допущена без согласия Сухова роковая ошибка. По существу, губревком покидал отряд, едва выступивший в поход, как будто для разведки и установления связи с Красной Армией не нашлось других людей! И покидал в те тяжелые часы, когда были получены и, несомненно, разнеслись по всему отряду весьма удручающие вести. Ни у кого из алтайских руководителей, опытных революционеров, не появилось мысли, что их тайное исчезновение произведет весьма неблагоприятное впечатление на весь отряд и может вызвать среди красногвардейцев разные кривотолки. Никто из них не подумал, что утром же начнутся расспросы об исчезнувшем губревкоме, а Сухову отмалчивать будет нелегко, ой нелегко...

Так и случилось. Еще с вечера отряд был встревожен неприятной вестью, а утром, узнав о таинственном исчезновении своих партийных и советских руководителей, встревожился еще сильнее. И немудрено, что в отряде поползли слухи: дескать, вожаки испугались трудностей, смалодушничили и сбежали. А командир и начштаба отряда при всем желании не могли пресечь эти слухи — они обязаны были упорно молчать о том, куда и с какой целью направились члены губревкома, чтобы не подвергать их опасности: ведь провокаторы, а они, как оказалось, были в отря-

де, могли немедленно сообщить белым об их маршруте. Безрассудно оторвавшись от отряда, они и себя обрекли на верную гибель, и в красногвардейские ряды внесли замешательство. А что пережили Сухов и Сулим в то утро, когда они вдвоем, без губревкома, но выполняя его волю, повели отряд вперед!

Отряд пересек Барнаульский бор, затем Касмалинский и у Больших Бутырок вышел в Кулундинскую степь. Путь держали на Каргат. Вскоре отряд достиг села Мостового, что стоит в окружении больших степных озер, и там задержался на десять дней.

Чем же была вызвана такая длительная задержка в Мостовом? После всего лишь четырехдневного, спокойного пути отряд вовсе не нуждался в отдыхе, а высылать вперед группы разведки можно было, конечно, не задерживая поход. Длительная остановка в Мостовом была вызвана — нечего греха таить — мучительными колебаниями и раздумьями Петра Сухова. С присущей ему беспощадной трезвостью он обдумывал создавшееся положение. Он понял, что все прогнозы членов губревкома в Боровском были ошибочны: красные войска не смогут освободить Омск быстро, борьба будет, скорее всего, тяжелой и затяжной. У Сухова накопилось достаточно новых сведений о широком разгуле контрреволюции в Сибири. И где фронт — неизвестно, и наступает ли Красная Армия — неизвестно. В такой обстановке, можно сказать с завязанными глазами, нельзя было вести сотни людей, доверивших тебе свои жизни, вперед, в неизвестность. Нелегко было в те дни Петру Сухову! Конечно, он не был одинок. Рядом с ним всегда был живой, обаятельный, неунывающий Дмитрий Сулим, неутомимо хлопочущий об укреплении строгой воинской дисциплины в отряде, о повышении его боевой готовности. Рядом были энергичные, мужественные командиры. Рядом было много большевиков, известных своей революционной деятельностью в Барнауле, всегда заботящихся о сплоченности отряда, о поддержании в нем того порыва, с каким он выступил в поход. И все же именно он, Петр Сухов, нес главную ответственность за судьбу отряда. Вот и было отчего мучиться в раздумьях.

Между тем дни летели и летели. Ближняя разведка все чаще и чаще стала доносить о приближении больших отрядов белогвардейцев с разных сторон — из Барнаула, Славгорода, Новониколаевска, Камня-на-Оби. Было очевидно — белогвардейское командование сосредоточивает силы, чтобы окружить и разгромить красногвардейский отряд уже в Мостовом. Собралось совещание командиров и многих коммунистов, играющих заметную роль в отряде. По предложению Сулима решено было опередить противника и разбить его отряды поодиночке, не дав им возможности соединиться и замкнуть кольцо.

В ночь на 1 июля Петр Сухов дал первый бой под селом Овечкино, а днем — в деревне Вылково, и барнаульский офицерский добровольческий отряд был разгромлен. Красногвар-

дейцы захватили много оружия, патронов, снаряжения и более двухсот строевых коней — они были немедленно обращены на организацию кавэскадрона. После этого в селах Глубоком и Леньки был уничтожен славгородский отряд противника численностью в четыре сотни штыков и сабель. Затем сильный, внезапный удар пришелся по врагу в Баеве. Все эти удачи высоко подняли боевой дух отряда Петра Сухова, помогли обзавестись в достаточном количестве оружием, боеприпасами, военным имуществом, всем, что необходимо в походе.

И все же надо было поскорее уходить из этого района: озлобленное белогвардейское командование, несомненно, бросит сюда свежие и еще более значительные силы. Но куда уходить? Куда?

Из вражеских источников — от пленных, из газет — Петр Сухов теперь знал, что Красная Армия далеко от Омска, где-то на Ишиме. Тяжело было сознавать, что она не идет на выручку, как многие ожидали в отряде, да и не сможет, вероятно, скоро прийти. Что же делать? Пожалуй, оставалось одно: пока не поздно, повернуть назад, уйти в горы. Теперь решение этого вопроса зависело от него одного. Но Сухов после долгих раздумий решил все же продолжать путь на запад. Он считался с настроениями в отряде: обманутые легкостью первых побед, красногвардейцы рвались только вперед и мечтали о соединении с Красной Армией. Однако теперь Сухов вел отряд не в Омск, как думали все красногвардейцы; он решил обойти белогвардейскую столицу Сибири стороной и долиной Иртыша пробиться до Ишима, где, по слухам, складывался фронт.

Отряд выступил в бодром, боевом настроении. Но через два дня, войдя в село Панкрушиха, красногвардейцы узнали о печальной судьбе членов Алтайского губревкома. Исчезнув из Боровского, они пробирались по степным селам благополучно всего лишь трое суток. В воскресный день они появились в Панкрушихе. Тут их встретил и опознал эсер Филимонов, сельский учитель. Позвав на подмогу волостного писаря Брызгалова и кулака Строганова, он догнал ревкомовцев в соседней деревне Луковке. Надеясь, вероятно, на свою легенду о землемерстве, они, как ни странно, не оказали напавшим никакого сопротивления, хотя и были вооружены. Им скрутили руки. Избили, вернули в Панкрушиху, посадили в каталажку, а утром отправили в Камень-на-Оби...

Вскоре красногвардейский отряд прибыл в небольшое село Травное. Гибель ревкомовцев (никто не сомневался, что они погибли, хотя казнили их только в сентябре) произвела удручающее впечатление на весь отряд, в том числе, конечно, и на Сухова, и на Сулима. К тому же всем стали известны новые, весьма неутешительные сведения о действиях белогвардейщины на широких просторах Сибири. Становилось ясно, что отряду, даже минуя Омск, не пробиться через огромную территорию, занятую противником. Надо было уходить из степей.

Был созван совет отряда, в который входили все командиры

и многие коммунисты. Сухов и Сулим прямо и откровенно заявили на заседании, что путь для отряда на запад надежно закрыт, надо как ни тяжело, а поворачивать обратно и горными дорогами, окольными и трудными, пробираться в Семиречье. В этом единственное спасение. Спорили долго: кто настаивал, пусть и с большой кровью, но продолжать путь на запад, кто в горячах предлагал бросить оружие и разойтись куда глаза глядят. Но все же в конце концов предложение Сухова и Сулима было принято. На другой день, 15 июля, ровно через месяц после эвакуации на Алейскую, на митинге отряда было окончательно решено уходить в горы.

Уходили быстро: заметно поредевший за последнее время отряд на одну треть стал конным, к тому же имел свой постоянный обоз — гораздо меньше стало требоваться крестьянских подвод, мобилизация которых всегда отнимала много времени.

Белогвардейское командование теперь особенно спешило разгромить его в открытой степи. На выполнение этой задачи были брошены главным образом добровольческие части под общим командованием полковника Травина. Он срочно начал сосредоточивать свои главные силы в большом селе Вознесенском — точно на пути красногвардейского отряда, а навстречу ему с целью задержать его на время сосредоточения выслал в Шимолино белоказачий отряд во главе с полковником Волковым.

Отряд Сухова, подойдя к Шимолину, с ходу вступил в бой и разбил сотни Волкова. Не задерживаясь здесь, отряд сделал бросок на Вознесенское. Петр Сухов решил нанести внезапный удар и по гарнизону Травина, пока тот не успел получить подкрепление. Ночью под проливным дождем красногвардейцы приблизились к окраине Вознесенского, а под утро с трех сторон ворвались в село. Гарнизон Травина был разбит наголову. Красногвардейцы захватили много трофеев: шесть пулеметов, сотни винтовок, много повозок с боеприпасами и разным имуществом, а также все документы штаба и белогвардейское знамя. А днем к Вознесенскому, не зная о разгроме гарнизона Травина, без всяких предосторожностей подошла большая колонна белогвардейских войск — запоздавшее подкрепление из Славгорода. Увидев на колокольне белогвардейское знамя, вывешенное по приказу Сухова для обмана врага, колонна с песнями вступила в село. И тут с разных сторон по ней ударили красногвардейские пулеметы. Уничтожение и вылавливание белогвардейцев длилось до самого вечера. Лишь немногим из колонны удалось скрыться, пользуясь темнотой.

И тут же отряд Сухова вышел на Кабанье.

III

Поздним вечером из-за бора вернулись разведчики, а на зорьке отряд Сухова вновь вступил в поход. Отряд проходил через Кукуй — дорогой на Солоновку, чтобы оттуда пересечь боры,

Алейскую степь и достичь предгорий. Проезжая на вороном коне сбочь колонны, Петр Сухов, как всегда и везде, завидев крестьян, останавливался и спрашивал:

— Никто, товарищи, из вас не обижен? Говорите.

У него был такой порядок: все командиры в отряде, а сам он в особенности, строжайше следили за тем, чтобы никто из красногвардейцев не посмел причинить крестьянам какой-либо обиды.

На Кукуе у многих ворот тоже стояли крестьяне, зачастую семьями, молчаливо и задумчиво провожая глазами проходящий отряд. Около одного пятистенного домика с голубыми ставнями стояло несколько мужиков — сошлись с разных дворов, — и среди них Петр Сухов сразу же узнал Ефима Мамонтова.

Остановив коня, Сухов и здесь спросил:

— Никто из вас, товарищи, не обижен?

— Все обижены, — внезапно буркнул один мужик.

— В чем дело? Говорите!

— Да не вами, а распроклятой жизнью. Закрутила, завертела. За горло берет. С ног сбивает.

— Ну, тут один совет: не надо поддаваться, не надо вешать головы, — с улыбкой сказал Сухов. — С распроклятой жизнью воевать надо!

— Знамо, так, но она же...

— Ладно тебе! — остановил Мамонтов философа с соседней завалинки. — Мы тут подумаем, как с нею быть.

— Как ваше здоровье, товарищ Мамонтов? — вдруг спросил Сухов.

— Благодарю. Полегче стало.

— Что ж, товарищи, до новой встречи!

Мужики — вразнойбой:

— Счастливого пути!

— Желаем удачи!

Через час после того как отряд покинул Кабанье, Мефодий Олимпиевич обнаружил в темном углу сеней наган в кобуре, две трехлинейные винтовки и сумку с патронами. Суматошно позвал сына:

— Глядь, Ефимша, позабыли!

Осмотрев оружие, Мамонтов сказал отцу:

— Ты, батя, помалкивай.

— Неуж понарошке оставили?

И верно, тут не было никакой случайности. Направляясь в горы, может быть к своей гибели, Петр Сухов по пути во многих местах создавал подпольные группы и снабжал их оружием, какого в отряде было с избытком. Там же, где по какой-либо причине ему не удавалось создать такие группы, красногвардейцы по его приказу оставляли оружие тем крестьянам, о которых им становилось известно, что они определенно сторонники Советской власти и в будущем могут пустить его в дело. Так отряд Сухова, уходя в горы, заботился о том, чтобы

повсюду оставались люди, готовые к борьбе, и старался рассеять в деревнях как можно больше семян революционной правды.

...Отряд Сухова без задержек пересек два ленточных бора со многими озерами и вышел степью к Алтайской железной дороге, с которой когда-то отправлялся в поход, — кстати, совсем недалеко от станции Алейская. Не раз здесь Сухов горько пожалел о том, как много драгоценного времени было потеряно.

Через неделю, 2 августа, отряд, все время преследуемый карателями полковника Волкова, прибыл в Тележиху, большое, богатое село в горной котловине. Утомленные длительными переходами, изнуренные степной жарой, красногвардейцы мечтали хотя бы о коротком отдыхе. Но уже под вечер бандам карателей удалось перекрыть все дороги из села и таким образом прижать отряд к горе Будачихе. Утром начались бесконечные белогвардейские атаки. С остервенелой силой они продолжались два дня. Попытка красногвардейцев пробиться из окружения ночью не увенчалась успехом. И тогда Сухов сказал, что остался единственный путь к спасению — через гору Будачиху. Нашлись два крестьянина, которые согласились быть проводниками. Начались сборы. Закопали в землю пулеметы. Составили в козлы и сожгли лишние винтовки. Среди ночи, при внезапно разбушевавшейся грозе, стали подниматься на Будачиху. Тяжело было карабкаться по камням в кромешной мгле, под грохот грома и блеск молний, под проливным дождем, но на рассвете отряд, хотя и растерял много людей, все же достиг вершины горы, где все лето лежал заледенелый снег.

Боясь подвоха, белые лишь в полдень осмелились войти в Тележиху. Они нашли здесь только походный лазарет красногвардейского отряда, оставленный по великой нужде. Волков был в ярости. Все раненые красногвардейцы, девушки-санитарки и крестьяне, оказывавшие помощь отряду, были жестоко зачучены и расстреляны.

Пользуясь тем, что каратели Волкова отстали, потеряв день в Тележихе, отряд Сухова быстро вышел на Уймонский тракт. В селе Абай красногвардейцам повстречался (скорее всего не случайно) человек некрестьянского вида, назвавшийся Казарцевым, революционером, побывавшим в якутской ссылке. Он сказал, что живет в Катанде, последнем большом селе на тракте, и может отправиться вперед, чтобы заранее раздобыть коней для отряда и заготовить сухарей на длинный, почти безлюдный путь. Предложение было очень заманчивым, но Сухов, хотя и торопился, долго не решался воспользоваться услугами Казарцева — обычно он не доверял случайным людям. Но тут откуда ни возьмись появился красногвардеец Жебуркин, который заявил, что хорошо знает Казарцева по ссылке как настоящего революционера. И Сухов сдался. Он послал Жебуркина вместе с Казарцевым вперед: очень уж хотелось сократить остановку в Катанде.

Через переход красногвардейцы впервые увидели необычайно стремительную, вспененную красавицу Катунь — она брала начало на блестящей вдали снегами Белухе, самой высокой горе Алтая, и, сделав огромный крюк, круто заворачивала на восток, чтобы прошуметь по каменистым ущельям на виду у породившей ее горы, а уж потом уйти на север, к Оби. Теперь оставалось три-четыре перехода до Ини, где проходил Чуйский тракт — главный путь в Монголию. У красногвардейцев появилась уверенность, что отряд выйдет на него благополучно.

Это был предпоследний день отряда.

Незадолго до того как Казарцев повстречал красногвардейцев в Абае, в Катанду с небольшим конным отрядом прибыл из Улалы (нынче Горно-Алтайск) поручик Любимцев. У него была задача — задержать здесь красногвардейцев, чтобы дать возможность настичь их частям полковника Волкова. Не надеясь выполнить эту задачу своими силами, Любимцев начал спешно создавать из состоятельных жителей окрестных селений так называемые дружины самообороны. Охотников стать дружинниками пашлось немало: в здешней горной глухомани, где царило кулацкое засилье, противников Советской власти было куда больше, чем в степях. Но за сутки до вступления красногвардейцев в Катанду отряд поручика Любимцева и кулацкие дружины как ветром сдуло.

Прискакав в Катанду, Казарцев и Жебуркин начали спешно готовиться к встрече красногвардейского отряда. Они действительно быстро собрали пужное количество вьючных и верховых лошадей, заставили катандинцев сушить сухари, готовить табак, продукты...

Вечером 8 августа отряд Сухова появился в Катанде. Его здесь встретили, как и обещал Казарцев, внешне гостеприимно. Красногвардейцы, обильно угощаясь в крестьянских домах, радовались да похваливали расторопных друзей по якутской ссылке. Никто и не подозревал, что их ожидает завтра.

Петр Сухов узнал, что на днях в Катанде побывали поручик Любимцев и созданные им дружины. Но его заверили, что Любимцев, услышав о приближении красногвардейцев, струсил, удрал в Улалу, а дружинники разбежались по заимкам. Такие заверения не могли успокоить Сухова. Он очень боялся новой ловушки в горах, тем более что остаток пути до Чуйского тракта — узкая дорога, почти тропа, которая все время тянется вдоль отвесных скал над самой пропастью, где беснуется Катунь. Здесь в любом месте могут быть устроены засады.

Стремясь избежать новой беды, Петр Сухов начал искать другие пути в Иню, к выходу на Чуйский тракт. Он разузнал, что туда можно пройти почти напрямую, горными тропами, через Теректинский хребет. Это было очень заманчиво. Противник мог ожидать его только на дороге, идущей вдоль Катунь, как единственной к Ине; никому из белых карателей и в голову не могло прийти, что он откажется от нее, тем более что спе-

шит. Несомненно, той ночью в Катанде, проведенной в тяжелых раздумьях, Петр Сухов все более склонился к мысли, что надо идти через перевал — через «белки», как говорят местные люди, чтобы наверняка избежать засад. Именно поэтому он и задумал послать группу Сулима, человек до пятидесяти, через горы, впереди отряда, с целью миновать самый опасный участок пути, внезапно появиться близ Ини, захватить перевоз через Катунь и таким образом обезопасить выход отряда на Чуйский тракт.

Утром 9 августа красногвардейский отряд выступил из Катанды. Пока двигались к поселку Тюнгур, Петр Сухов увидел, что путь берегом Катунь становился все более опасным, и окончательно пришел к решению свернуть с него и пробираться к Ине напрямую, через хребет. Вот здесь-то он, во исполнение своего ночного плана, и отправил группу Сулима вперед. Но когда она ушла, встревоженный Казарцев вместе с некоторыми местными жителями начал горячо убеждать Сухова, что он допускает ошибку — путь через хребет, хотя здесь всего сорок верст, очень труден и опасен, гораздо легче и безопаснее идти над Катунью. И Сухов, сбитый с толку, да еще, возможно, вспомнив, как пришлось карабкаться по Будачихе, поддался настойчивым уговорам предателей.

Красногвардейский отряд двинулся дальше вдоль Катунь, а услужливый Казарцев остался в Тюнгуре. С ним остался, ускользнув из отряда, и его закадычный друг по якутской ссылке Жебуркин.

Слева над узкой дорогой, по которой, спешившись, двигались цепочкой красногвардейцы, вздымалась огромная гора Байда, справа в глубоком ущелье неслась Катунь, шумно клокоча и пенясь на камнях. За Катунью опять вздымались лесистые горы, и совсем близко — рукой подать — на весь Алтай ослепительно сверкала под солнцем свежно-ледяная вершина Белухи. Любопытства бы чудесными красотами природы, но Сухов — это заметили многие — мрачнел с каждой минутой. Впереди двигался головной дозор. За крутым поворотом, перед мостиком через речку Дети Кочко, его вдруг встретила пулеметным огнем затаившаяся здесь заранее дружина кулака Шапкина.

Услышав стрельбу и все поняв, Петр Сухов повернул отряд назад, но с другого берега Катунь из густых кустарников ударил еще один пулемет. Там, за рекой, в полной безопасности оказалась вторая засада, в которой находились каратели поручика Любимцева и дружинники Черепанова. Пропустив красногвардейский отряд вперед, эта засада отрезала теперь ему обратный путь в Тюнгур и расстреливала в упор, прижав к отвесным скалам Байды. Красногвардейцы метались у подножия горы, карабкались вверх по ее камням, замертво падали, скатывались в ущелье. Часть отряда все же прорвалась в сторону Тюнгура, но и здесь была встречена огнем: едва красногвардейцы вышли из поселка, в нем немедленно объявились дружинники, покинув свои потайные места — подполья, сеновалы,

погребам и банькам. И командовал этой кулацкой дружиной услужливый эсер Казарцев!

До вечера красногвардейцы отбивались как могли от озверевших банд, а с наступлением сумерек все оставшиеся в живых поднялись на Байду и разбрелись по ней, теряя в темноте друг друга. Так перестал существовать отряд Петра Сухова, совершивший поистине героический рейд по алтайским степям, предгорьям и горам.

С рассветом на Байду бросились кулацкие банды — вылавливать красногвардейцев. Обессилев за день тяжелого боя, за ночь блужданий по горе, оставшись без воды и пищи, небольшие группы красногвардейцев не могли оказать бандитам серьезного сопротивления. Измученных, израненных, избитых, их гнали или волокли в Тюнгур, в штаб полковника Волкова, который только что прибыл сюда, как раз к расправе. Выйдя к первой большой группе истерзанных красногвардейцев, раздетых почти догола, Волков заорал:

— На колени, мерзавцы!

Никто не встал на колени.

Начались расстрелы. От белогвардейских пуль пало сто сорок четыре красногвардейца. Среди них были и женщины.

Дружинники по приказу Волкова продолжали рыскать по Байде — искали Петра Сухова. Знали, что он ранен в ногу и не может уйти далеко. Но Волкову так и не удалось дождаться, когда найдут преследуемого красного командира, — спешил с докладом о своей победе.

На Байде Петр Сухов пытался собрать около себя остатки отряда, но где там — всюду шныряли дружинники, тщательно обнюхивали все кусты, ямины, груды камней. К тому же, истекая кровью, Сухов быстро терял силы. Недалеко от того места, где он лежал, красногвардейцы спрятали в небольшой пещерке знамя отряда, завалив его камнями.

Нашли Петра Сухова только на третий день. Нашли его два тюнгурца, братья Иван и Ерофей Кудрявцевы, ходившие в горы главным образом мародерничать: стаскивали с убитых одежду, обувь да искали у них золото — белогвардейцами был пущен слух, что отряд Сухова ограбил в Барнауле банк. Мародеры долго рассматривали лежавшего в камнях в полузабытии красногвардейского командира, сильно исхудавшего, потерявшего много крови, изъеденного гнусом. Братья мельком видели Сухова верхом на коне, когда он проезжал через поселок, но теперь не могли его сразу признать — так изменился он за три дня мучений.

Поручик Любимцев и его подручные издевались над Петром Суховым до ночи, а утром расстреляли его на берегу Катуня. Позднее из уст в уста передавались его последние слова. Он сказал перед смертью:

— Вы расстреляли моих товарищей, расстреляете и меня, но вам не расстрелять рабочий класс, не уничтожить нашу идею!

...Вероятно, в тот же день группа Сулима, благополучно перешла Теректинский хребет, вышла к Катунь близ деревни Усть-Иня. Здесь висел через реку трос — паром был прижат к другому берегу у одинокого зимовья. Как развизалась здесь события — навсегда осталось тайной. Существует такая легенда. Красногвардейцы долго кричали перевозчика, но никто не отзывался с другого берега. Тогда один смельчак, взявшись обеими руками за концы крепкой палки, покатился по тросу, провисшему над бурлящей Катунью, надеясь с разгона выскочить на паром. Но над стрежнем реки он был сражен пулей затапавшегося перевозчика. Не увенчались успехом и другие попытки перебраться через реку. Тем временем перевозчик послал в село гонца — доложить о появлении красногвардейцев офицеру Малкину, который с педделю назад прибыл сюда для организации еще одной засады на Катунь. Белые внезапно напали на измученных красногвардейцев и всех их перебили на месте ночлега.

IV

...Ефим Мамонтов долго жалел, что, чувствуя себя еще слабым после болезни, не решился уйти с отрядом Петра Сухова, как ушли с ним четверо односельчан. И уж совсем не мог простить себе того, что опростоволосился и не разжился в отряде оружием для всех друзей. (Самому-то, спасибо, подсунули!) И вот ведь что чудно — не собирался же он в будущем сидеть сложа руки! Не собирался покоряться ненавистной белогвардейской власти! Не той он был породы!

Всегда, с самых юных дней, Ефим слыл в селе человеком прежде всего горячего дела, человеком живого, веселого и задорного права. В армии (служил в ней с 1910 года) он даже в условиях строжайшей дисциплины показывал себя отчаянной головой. Мамонтов не состоял в большевистской партии, но всегда высказывал мысли, глубоко волновавшие однополчан. Это нравилось солдатам, и они избрали его в полковой комитет, а потом послали даже на Первый Всероссийский съезд Советов, состоявшийся в июне 1917 года. Там Мамонтов дважды слушал выступления Владимира Ильича Ленина. Призыв Ленина к решительным революционным действиям пришелся горячему солдату по душе. Позднее, стараясь передать смысл того памятного призыва так, как он его понял, Ефим Мамонтов любил повторять: «Меньше слов — больше дела, вот как говорил Ленин!» Возвратясь на провесне восемнадцатого года в Кабанье, он и здесь часто вспоминал ленинские речи. Встречаясь с друзьями — матросом с Балтики большевиком Анисимом Копанем, Никифором Прилепой, Яковом Брюханем, Иваном Малышенко, двоюродным братом Архимом Гребневым и другими, уже создавшими в родном селе Совет, он с привычным азартом взялся помогать им в работе. Необычно подвижный, деятельный, он

не мог спокойно просидеть на одном месте и несколько минут. Трудно было поверить, что он восемь лет отслужил в армии телеграфистом. В нем всегда жила необычайная порывистость, нетерпение. Ему было всего-то тридцать лет — молодая, неукротимая сила в нем так и бурлила.

Слухи о гибели отряда Петра Сухова дошли до Кабаньего лишь в конце августа. Как раз в те дни проводилась мобилизация, объявленная Временным Сибирским правительством. Белым срочно требовались солдаты, много солдат — на Волге началось наступление молодой Красной Армии. Командующий Сибирской армией Гришин (Алмазов) отдал жесточайший приказ о расправе над теми, кто уклоняется от мобилизации.

Но сибирские крестьяне не хотели отдавать своих сыновей в белую армию. Повсюду зашумели сельские сходы. В селе Черный Дол, близ Славгорода, на сходке было твердо решено: не отправлять парней на призывной пункт. Более того, чернодольцы стали задерживать обозы с новобранцами, идущими в город из других сел и волостей. Из Славгорода немедленно прибыл отряд карателей капитана Кержаева. Но на чернодольцев не подействовали никакие угрозы. Застрелив одного крестьянина на глазах у всех односельчан, Кержаев со своей бандой скрылся из села. После этого чернодольцы в согласии с жителями соседних сел подняли восстание — первое на Алтае.

На рассвете 2 сентября тысячи повстанцев, вооруженных чем попало, ворвались в Славгород. Внутри города их своевременно поддержали рабочие. Белогвардейский гарнизон был истреблен почти поголовно. Над Славгородом вновь взвилось знамя Советской власти. В городе был создан Крестьянско-рабочий штаб. Во все стороны полетели гонцы. И огонь восстания запылал на огромных просторах Кулунды. Повсюду спешно создавались повстанческие отряды. В Славгород отправлялись делегаты на срочно созываемый уездный съезд Советов...

Красногвардейские семена дали первые всходы.

Гонец из Славгородского штаба прискакал тогда и в Кабанье. Здесь тоже, несмотря на страдную пору, быстро собрался шумный сход. В ушах здешних крестьян все еще звучали слова правды, слышанные немногим больше месяца назад от красногвардейцев, все они были опечалены слухами о гибели героев в горах и потому, долго не раздумывая, создали революционный военный штаб, который должен был возглавить сельское восстание. Начальником штаба единодушно избрали совсем одолевшего к тому времени свою болезнь Ефима Мамонтова — как ни коротка была, как ни нескладна, а все же помнилась его клятвенная речь у могилы. Военным комиссаром штаба был избран большевик Анисим Копань, а начальником создаваемого отряда — бывший прапорщик Воробьев.

Просматривая список отряда, Мамонтов подсадовал:

— Записаться-то записались, а где оружие?

Но когда собрался отряд, у многих, к его удивлению, оказа-

лись трехлинейные винтовки. Осматривая их, Мамонтов повеселел:

— Узнаю. Красногвардейские?

— Знамо, чьи же еще?

Ефим Мамонтов рвался в боевой поход. Но было поздно. Славгородское восстание полыхало всего неделю. Тучей палетел отряд атамана Анненкова, ворвался в Славгород, разгромил штаб восставших, догнал сжег Черный Дол и начал зверскую расправу над повстанцами по всей ближней округе. Именно тогда впервые и прогремела черная слава кровавого атамана.

Повсюду искореняя дух неповиновения, анненковцы направлялись и в Кабанье. Своевременно узнав об этом, Ефим Мамонтов не струсил, а решил схватиться с вооруженными до зубов карателями. Он послал в засаду часть отряда во главе с Воробьевым. Но бывший прапорщик предал: самовольно снял засаду и открыл путь карателям в Кабанье. Повстанцам ничего не оставалось, как скрыться из села. Ворвавшись в Кабанье, анненковцы убили здесь четырех крестьян и около полусотни испороли нагайками.

Первое время Ефим Мамонтов и его близкие друзья скрывались то в бору, то в степи поблизости от села, но с каждым днем опасность оказаться в лапах карателей все возрастала, и они под видом бродячей плотничьей артели ушли в предгорья. Там Малышенко и Прилепа промышляли с продольной пилой, Мамонтов столярничал, благо это мастерство перенял от отца еще в детстве, а Копань занимался разведкой и установлением связей.

Но жить бездействуя Мамонтов долго не мог: отовсюду шли вести о порках крестьян, о расстрелах, о грабежах. Рук сами хватались за оружие. Однако в незнакомой местности пельзя было рассчитывать на успех борьбы. И Мамонтов решил, несмотря ни на что, возвратиться в родные места.

Здесь ему очень скоро удалось сколотить небольшую боевую группу, которая со временем и стала ядром партизанского отряда. В феврале она уже приняла боевое крещение, совершив первый налет и расправясь с белогвардейским офицером и двумя колчаковскими агентами.

Обычно сам Мамонтов и его товарищи скрывались порознь, в разных местах, но вскоре, осмелев, решили собраться в Кабаньем, на Кукуе, и обсудить план дальнейших действий. Негерпеливый, жаждущий борьбы Мамонтов настаивал продолжать налеты, но его товарищи решительно возражали. Надо обождать до весны, говорили они, собрать силы, раздобыть оружие. А поздней ночью дом Ивана Малышенко, где после сбора остались почевать Копань и Прилепа, был окружен милицией, по чьей-то указке прибывшей из Волчихи. Началась перестрелка. Копань и Прилепа были ранены. Малышенко успел убить помощника начальника милиции Кашмарышкина и одного милиционера. Но палатчики вот-вот могли ворваться в дом. В эти критические

минуты во двор осажденных влетел Ефим Мамонтов. Дорвавшись до горячего, боевого дела, он действовал бесстрашно. Подоспели еще товарищи — и отряд милиции, теряя убитых и раненых, бежал с Кукуя. Этой ночью и родилась слава Ефима Мамонтова, безудержно храброго вожака первых алтайских повстанцев.

На рассвете небольшой отряд Ефима Мамонтова скрылся из Кабаньего, а сюда незамедлительно прискакала банда карателей. Запылали дома повстанцев на Кукуе. Отец Якова Брюханя погиб в огне. Отец Мамонтова — Мефодий Олимпиевич — и брат Григорий были истерзаны до полусмерти. Избитая нагайками жена Мамонтова — Дора Афанасьевна — с грудным ребенком бежала из села. Несколько жителей Кабаньего, подозреваемых в связях с «буптовщиками», были расстреляны.

Ночная схватка с колчакской милицией, хотя и была для повстанцев случайной, явилась началом активных боевых действий небольшого отряда Ефима Мамонтова, который раньше других, создававшихся почти одновременно в разных местах алтайской земли, поднял на врага оружие. К весне в отряде насчитывалось уже около тридцати человек. Он скрывался на займках в степи, где повстанцы занимались изучением оружия, обучались стрельбе. Но никогда не прекращал борьбы.

В конце апреля, узнав, что в казематах волостной милиции находится много политических заключенных, которым грозит смертная казнь, отряд Мамонтова совершил дерзкий налет на милицию и освободил всех обреченных.

После того налета о Мамонтове появились заметки в белогвардейской печати. Для уничтожения повстанцев были посланы специальные карательные команды. Однако отряд Мамонтова был неуловим. Отлично зная все пути и перепутья в своих борах, где много озер, в своей степи, где много березовых колков, повстанцы ловко увертывались от ударов и уходили, запутывая свои следы. Зачастую они действовали, разбиваясь на небольшие группы, что совершенно сбивало с толку карателей, и всячески старались сберечь свои силы. Но утраты, к сожалению, были все же неизбежны. В доме своего товарища был окружен Никифор Прилепа. Он долго отстреливался, убил нескольких карателей, но дом подожгли — и он погиб в огне. В разведке погиб и Архип Гребнев...

Несмотря на утраты, на драматичность условий борьбы, отряд Ефима Мамонтова оказался необычайно жизнеспособным, деятельным и за летние месяцы удвоил свои ряды. В этом прежде всего была заслуга самого Мамонтова. Его честность, прямота, скромность, умение увлечь за собой людей, его исключительная личная храбрость, находчивость, постоянное горение святой ненавистью к белогвардейщине и, наконец, его беспредельная преданность идеям Советской власти оказались той чудодейственной нравственной силой, которая постоянно сплачивала первых партизан в единое ядро, создавала в отряде атмосферу высокого

боевого товарищества, звала в бой. Большевикам, находившимся в отряде, частенько приходилось сдерживать неистового Ефима Мамонтова, но они не могли не восхищаться его горением в борьбе — всегда есть много привлекательного в дерзостно бурлящей молодой силе. И потом всем было ясно, что в нетерпении Мамонтова паходило отражение мятущееся состояние крестьянской души того времени, ее тайная и неумная тоска по свободе. Наконец, его нетерпение не было безрассудным. Мамонтов был убежден, что, берясь за оружие прежде, чем создались условия для всеобщего восстания на Алтае, он все равно не останется одиночкой. Всем своим сердцем он чувствовал, что действует не столько по своей воле, сколько по воле народной. И Мамонтов не ошибся: за ним пошли крестьяне-сибиряки. Конечно, всякая поспешность, особенно в боевом деле, во сто крат усиливает риск, грозит бедой. Но он, Ефим Мамонтов, всегда относился к людям риска, без которого, собственно, нельзя сделать в жизни и шага. Риск — он в любом движении, в любом действии. Надо только знать, что без него не обойтись, и надо уметь рисковать. Мамонтов умел рисковать — смело, красиво, и потому его риск всегда оказывался счастливым, всегда увенчивался победой.

Но слава Ефима Мамонтова как партизанского полководца еще только начинала расправлять свои орлиные крылья. Ее взлет был впереди.

Как известно, на Алтае почти одновременно зародилось несколько очагов повстанческого движения, очагов гнева и ненависти против колчаковщины — вокруг Кабаньего и Солоновки, поблизости от Славгорода, вокруг Зимина, поблизости от Барнаула, в селах, тяготеющих к городку Камень-на-Оби, в притаежном Заобье и, наконец, в предгорьях. Но наиболее активным, несомненно, всегда был очаг, где действовал отряд Ефима Мамонтова. В условиях, когда у партийной организации Барнаула, понесшей огромные потери, не хватало сил, чтобы охватить своим влиянием всю губернию, значение отряда Мамонтова, ставшего к лету уже боеспособной, обстрелянной воинской частью, было особенно велико. Действуя открыто, дерзко, отряд показывал тем самым, до какого накала дошла народная ненависть к белогвардейцам — ее уже нельзя ничем сдержать, ее взрывчатая сила способна совершать чудеса. Широко расходившийся слух о победных делах отряда, ставшего грозой для белых карателей, лучше всяких прокламаций действовал на сознание сибирского крестьянства. Не случайно к отряду Мамонтова тянулись люди зачастую издалека. Не случайно с ним искали связи те, кто только готовился к боевым действиям. И не случайно, наконец, что со временем все очаги междуречья Оби и Иртыша слились в единое, огромное, огпедышащее пространство с центром в селе Солоновка, прозванном партизанской Москвой, а Ефим Мамонтов стал главнокомандующим двадцатипяти тысячной армией на Алтае.

Но это случилось осенью, а в начале августа, когда только начались массовые восстания, звезда Ефима Мамонтова впервые вспыхнула и засияла над широчайшими просторами алтайской земли.

КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ

I

Стоит вода перед плотиной — недвижимо, застоино, сонно. Кажется, она покорно смирилась со своей неволей и будет стоять так всегда. Но невидимо для человеческого глаза вода настойчиво ищет в плотине слабые места, неутомимо делает в них промонны, и наступает час, когда она, навалясь всей своей застенной силой, разносит плотину в клочья и неудержимо рвется вперед.

Так было и в Гуселетове.

Все лето жизнь в селе на первый взгляд казалась дремотной, невозмутимой: нигде не всплеснет. Сельчане, постепенно успокоившись после тревожных дней весенней мобилизации, с обычной крестьянской размеренностью справляли свои дела. Но с той памятной сходки, когда состоялось торжественное возвращение красного флага и был создан отряд Красной Армии, жизнь в селе забурлила, забушевала.

Стояли первые дни августа, солнечные, жаркие, сухие — словно по мужицкому заказу для предстрадной поры. Хлеба уже начинали зреть. Мужики ахали от удивления: урожай, как и ожидалось, выдался редкостным для нашей засушливой степи, о нем и сейчас еще вспоминают старики. Наступило время, когда надо было, едва застоговав сено, снаряжаться к страде. А тут такие события: того и гляди начнется война, да не где-нибудь, а совсем поблизости, может, у околицы, может, и у самых ворот. И еще ладно, если начнется ненадолго, а если затянется до зимы? Урожай погибнет от непогоды, останешься без хлеба.

Гудело все село, так и сяк гадая о том, что ожидает его в ближайšie дни. И даже мы, мальчишки, не могли оставаться безучастными к мужицким разговорам у сборни, на улицах, у завални. Куда ни пойдешь — везде толки о скорой страде и скорой войне. Только, бывало, и слышишь:

- Оно, мужики, все бы ничего, да как с хлебами быть?
- Пойдут беляки — не до хлебов будет!
- Погодить бы надо...
- Им годить некогда: на них из Расаи прут!
- А жалко хлеба, ой как жалко!

И хотя для мужиков в самом деле наступили очень хлопотливые предстрадные дни, они все равно ежедневно со всех концов села собирались к сборне. О тех же, кто записался в отряд, и

говорить нечего — те здесь и дневали и почевали. Теперь сборня, где в июле, бывало, и мухи-то дохли от скуки, депь-деньской полнилась мужицкой разноголосицей. Здесь почти постоянно находились члены Военно-революционного штаба, решая бессчетные, вдруг громко заявившие о себе мирские дела. Одно дело порождало много других дел, а те, цепляясь одно за другое, разрастались, как хмель.

Посыпались разные приказы, призывы, воззвания и обращения из волости. Между Гуселетовом и Большими Бутырками без конца скакали гонцы с пакетами под сургучными печатами. Скакали гонцы и по другим дорогам — из Гуселетова во все соседние села. У сборни не только с утра до вечера, но и ночами наготове стояли оседланные кони и пары, запряженные в легкие ходки. Словом, село находилось на военном положении и жило в тревожном ожидании больших, решающих событий.

Отец возвратился из Солоновки через день, под вечер, когда стадо коров пылило со степи в село. Едва белобрысый и хитроглазый Филька Крапивин, ездивший за кучера, осадил пару взмысленных коней у сборни, отец выскочил из плетенки ходка и бегом бросился на крыльцо. Там его уже поджидали гуселетовские вожаки, члены Военно-революционного штаба. Филька направился к коновязи. Сюда же немедленно потянулась толпа мужиков и парней от кузницы.

— Ну, налетели! — запетушился Филька, задиравший нос оттого, что побывал вместе с командиром отряда в Солоновке, в штабе Мамонтова, и теперь мог надивить всех новостями. — Заждались, видать?

— Выкладывай, — потребовал один мужик. — Только зря не болтай.

— А когда я болтал?

— Завсегда, паря, завсегда. У тебя язык-то...

— Ты, дядя Егорий, языком меня не попрекай, — милостиво ответил ему Филька. — погоди, скоро и я, может, речи говорить буду на митингах. Еще заслушаешься! Вот и сейчас, как начну говорить, так и разинешь рот!

— И правда, как есть ботало, — сказал дядя Егорий. — Не дай бог, если таких говорунов разведется много. Всех заговорят — и работать некому будет.

— Стало быть, подъезжаем мы ночью к солоновской поскутине, — не смутившись, начал Филька. — Остановил я это коней, а товарищ командир, Семен-то Леонтьевич, выскочил из ходка — открывать ворота. А нас тут же — цап! С двух сторон.

— Началось! — рассмеялся дядя Егорий.

— Засада, — не придавая внимания насмешке, с важностью пояснил Филька. — А вернее сказать — партизанский пост.

— А-а, — невольно вырвалось у дяди Егория.

— Видишь, дядя Егорий, зря ты наперед оскорбляешь, вот чо!

— Да говори ты, ладно уж...

— Ну, сели двое к нам в ходок и — в Солоповку, — продолжал Филька. — Прямо в штаб товарища Мамонтова. Повели в дом — большой, в два этажа, какого-то богача.

— И тебя?

— Я при конях!

— Выходит, ты ничего и не знаешь, чо там в штабе-то было?

— Знаю, но сказать не могу. — Филька многозначительно поиграл глазами, потом искоса, мимо мужиков, посмотрел в вечернее небо. — Военная тайна. Понятно? Как я есть адъютант... Да ты убей меня, дядя Егорий, а тайна эта останется при мне! Вот у меня какой язык, а не ботало. Ну а про то, что повидал в Солоповке, когда рассвело, могу рассказать с нашим удовольствием. Покормил я, значитца, утром коней, напоил, поджидаю товарища командира, Семена Леонтьевича. Прибежал он ко мне, рассказал, как наши дела, и опять в штаб. А тут и началось! Со всех сторон скачут к штабу вершни, едут в ходках, на рыдвапах. Шум, гам. Гляжу, по всему селу — сплошное войско. Я коней запряг на всякий случай. Ну, чтобы быть наготове. Сижу, ем огурцы с хлебом да все слушаю. Оказыватца, народ-то у штаба из самых разных мест, которые даже из-под Славгорода, а то и Семипалаты. Стал я кое-кого выпрашивать: как там повсюду, восстают или нет? Отвечают одно: везде восстают, везде гарнизуются отряды.

— А про белых чо слышно?

— Говорят, должны вскорости нагрнуть.

— Самого-то Мамонтова небось так и не видел?

— Побожусь! Выскочил он на крыльцо, весь в ремнях, крикнул кого-то, а ему тут же коня...

Рассказывал Филька пылко, вдохновенно, но мужики так-таки и не проявили к нему большого доверия — хмыкали, скребли в бородах и воздерживались от подробных расспросов, что для любого рассказчика, конечно, было пестерпимо оскорбительно. И Филька, не выдержав, внезапно оборвал свой сказ и махнул на мужиков рукой:

— Эх вы, старые пни!

Берясь за вожжи, он позвал меня с собой:

— Садись в ходок. Заедем к нам, отпряжем мою пристяжную, а потом на своем красавце уедешь домой.

— Мы с Федей.

— Валяйте с Федей. А отпряжете?

Дорогой, вспомнив про подаренное Феде кресало, он заговорил с нами самым развеселым тоном:

— Ну, научились курить-то?

— Нет ишшо, — смутился Федя.

— Пошто же так долго собираетесь?

— Мох больно едучий.

— А рази табак не вырос на огороде?
— Оборви-ка листок, а тятя увидит, задаст...
— Укралы бы где-нить.
— Ишшо попадешься!
— Эх вы, трусливые вы ребята! — пожурил нас Филька. — Надо отчаянными быть, как товарищ Мамонтов! Он ничего не боится! Орел! Небось партизанами хотите стать, а курить не умеете?

Он как в воду глядел, этот Филька.

— Дак тогда добудем! — живо пообещал Федя.

Присхав на кордон, мы распрягли Зайчика и, выйдя за ворота, уселись на лавочку посумерничать, как это любят делать после работы мужики.

Из разговора с Филькой можно было сделать одно-единственное заключение: все мы годимся в партизаны, но вот, к сожалению, не умеем дымить самосадам. Стало быть, дело за малым: надо научиться курить — и мы попадем в отряд. Только и всего-то...

...Хорошо помню, в каком радостном возбуждении был отец в тот вечер — вот таким я его видел в целинной степи, когда мы собирали ягоды. Все, что он увидел, услышал и узнал в Солоновке, встречаясь с Мамонтовым, все это так взволновало его, как волновало недавно степное бескрайнее раздолье, березовые колки, цветущие травы, ослепительное небо, чуть внятно доносящиеся издали девичьи песни. Он рассказывал о своей поездке весь вечер, хотя мать, занятая делами, и не очень-то слушала его, а мы по малолетству определенно не могли понять всего, о чем он спешил поведать тогда своей семье. Одно мне было ясно, что самое ближайшее будущее, какое всех нас ожидало, отцом сравнивалось — пусть не на словах, а только в своей душе — с нашей удивительной летней степью, в которой человек, как нигде, чувствует себя вольным и счастливым.

II

Недалеко от сборни, около кузницы, всегда было особеннолюдно. Здесь с утра собиралась по крайней мере половина отряда, а иногда и весь отряд. Шли военные учения, готовилось к бою оружие.

В селе оружия оказалось очень мало: несколько винтовок у бывших фронтовиков да у подпольного штаба. Некоторые сельчане вытащили припрятанные дробовичишки-фузеи старинной выделки. Но как мне помнится, даже вот такого оружия, к тому же зачастую требующего ремонта, хватило лишь для третьей части отряда. Но и это оружие невозможно было как следует применить в бою: патронов на винтовку — по паре обойм, пороху на дробовое ружье — по одной охотничьей роговой пороховнице. И солдаты гуселетовского отряда, как и других отрядов, создававшихся в те дни, поневоле вспомнили о казацких пиках.

Кстати, я не оговорился, назвав повстанцев солдатами. Чаще всего их именно так и называли, ведь создавались-то не партизанские отряды, а отряды и полки крестьянской, или народной, Красной Армии. (Слово «красноармеец» к тому времени еще не успело прижиться в Сибири.) В народе же чаще всего их называли пикарами, по главному роду оружия, каким они были вооружены.

Многие гуселетовские мальчишки, мои сверстники, с утра до вечера вертелись около сборни или у кузницы. Здесь всегда можно было попасть на глаза кому-нибудь из членов военно-революционного штаба, выскочившему на крыльцо, чтобы отправить курьера или рассыльного. Парни, отбывающие обязанности курьеров и рассыльных, часто отлучались от коновязи — почесать языки или стрельнуть табачку в толпе у кузницы, а наш брат всегда был здесь, всегда наготове. И тут нам нередко выпадал счастливый случай. Нам кричали:

— Эй вы, орлы! Кто сбегает на Оторвановку?

— Я! Я! Я! — неслось со всех сторон.

— Вот ты... Ты чей? Садись-ка на любого коня и дуй! Черепанова Кузьму знаешь? Сейчас же сюда! Мигом!

И счастливец наметом летел на Оторвановку, а мы ждали нового счастливого случая, не сводя глаз с дверей сборни.

Если же требовались сельчане, живущие поблизости, тут уж члены штаба и не тревожили рассыльных, а прямо обращались к нам, зная, что мы выполним поручение и быстро, и точно. Так что беготни по селу у нас было предостаточно. И как ни считай — не простой ребячьей беготни ради забавы, а ради большого общественного дела. Это мы сознавали, этим гордились.

Как-то угадывая, что в ближайший час поручений штаба не будет, мы перекочевывали к кузнице. Там для нас тоже находилось немало важных дел. Скажем, парни ленились перегреть уголь, раздуть мехи или подтаскивать воду в чай, а мы все это делали с большим усердием, за все хватались наперебой.

Главной работой в кузнице была поделка пик. Вначале их готовили только для своего отряда, но вскоре было получено воззвание начальника Бутырского военно-революционного штаба. Его зачитывали у кузницы не однажды, как только собиралась группа сельчан, которой оно еще не было известно. Здесь малограмотные мужики нередко прибегали к нашей помощи. Мы, мальчишки, читали без запинок, бойко, звонко. Вот это воззвание:

«Товарищи крестьяне всех селений! Обращаюсь к вам с моим возванием. Момент настоящего движения не буду вам описывать, потому что он всем вам известен. Ваши товарищи, братья и дети сражаются с белыми бандами и отдают все, не считаясь с жизнью, разбивают отряд за отрядом (белых), но враг силен оружием. Он папргает свои последние силы и питает надежду на подавление народного восстания.

Я обращаюсь к вам, товарищи крестьяне, в самом спешном порядке соберите все имеющиеся у вас по деревням и селам пики и всякого рода оружие и в самый кратчайший срок доставьте таковое оружие в Бутырский районный штаб, где сформировался почти тысячный отряд и должен сейчас же ударить по врагу, дабы облегчить участь наших бьющихся товарищей. Враг сконцентрировал все свои силы в одно место, делает последние усилия, но наши орлы народной армии стойко бьются, ни на пядь не отступая от неприятеля — угнетателя и поработителя крестьянства. Товарищи наши ждут помощи, почем же я к вам обращаюсь с настоящим воззванием. Везите как можно скорей пики в вышеозначенное место. Если мы сломим сейчас врага, мы достанем много оружия, что даст нам большое подспорье, и враг в скором времени будет окончательно побежден.

Товарищи! Не откладывайте дорогое время. Идите на помощь. Ее ждут от вас. Гибель врага близка!»

Мужики любили слушать это воззвание. Должно быть, им нравилось, что Бутырский штаб обращался к ним с такой почтительностью и такой искренностью. Перечитывалось воззвание обычно во время перекуров, когда кузнец не стучал молотом, и сопровождалось разговорами — гаданиями о близких схватках с беляками.

Однажды во время очередного перекура у кузницы появился Иван Гончаренко.

— Все читаете? — спросил он, но не очень-то весело. — А пик сколько наделано?

— А вот, гляди, все тут, — ответил кузнец, краснолицый мужик с окладистой бородой, в фартуке из кожи.

— И только-то? — совсем помрачнел Иван Гончаренко. — Стало быть, плохо читаете. И не все на ус мотаете. Там тысячный отряд собрался, а где в Бутырках набрать для него пик? Нам надо отправить туда целый воз, а то и два!

От неловкости мужики замялись, густо задымили...

— Думаете вы, головы, или нет?

— А где, Филиппович, скажи ты нам, беляки теперь идут? Далеко ли? — спросил один из мужиков, стараясь, должно быть, своей наигранной вежливостью смягчить недовольство Гончаренко. — Есть из волостного штаба известия?

— Есть, — сразу же ответил Гончаренко, хотя и видно было, что маленькая хитрость мужика не достигла своей цели. — Утром получен из Бутырок пакет. Идут из Барнаула, двумя путями: и по железной дороге на Алейскую, а лучше сказать — на Зимино, где тоже произошло большое восстание, и по нашему Касмалинскому тракту — на Бутырки. Егеря идут под командой полковника Окунева. Сейчас бои у Павловска. Завтра я выезжаю в Бутырки, в штаб, там и буду, а скоро и наш отряд двинется на фронт. Только вы мною зубы-то не заговаривайте! Еще раз спрашиваю: почему пик мало?

Кузнец поднялся, одернул фартук.

— Да к чо, Иван Филиппович, всего нехватка: ни черенков нету, ни железа.

— И взять негде, — поддакнули из толпы.

— Чудной же вы народ! — Иван Гончаренко покачал головой. — Как для себя, так все нашлось, а вот снабдить волостной отряд нет охоты. Стало быть, забываете, что эти пики нужны для нашего общего дела.

— Так нет же ничего!

— Постыдитесь болтать-то! — совсем сердито одернул мужиков Иван Гончаренко. — Я видел, сколько везли нынче черенков и косьевищ из бора! Возами! Все они давно обстроганы, высушены и обделаны. Загляни к каждому в сарай — там их полно. Готовые дровки для пик! А вот коснулось поделиться — вы жметесь, как девки. Где же ваше революционное сознание? Было, да все вышло?

Мужики притихли, начали тушить сигарки, а Гончаренко вдруг обратился к нам, мальчишкам, стоявшим у кузницы особой толпой:

— Правду я говорю, ребята?

— Пра-а-авду! — ответили мы дружно и радостно.

— У всех есть черенки?

— Е-е-есть!

— Принесете?

— Принесе-ем!

— Только погодьте, ребятки, — сказал Гончаренко, увидев, что мы уже поправляем на плечах помочи от своих штанов. — Вы без спроса-то черенки не берите. Нехорошо. Вы скажите дома, что штаб просит поделиться, очень, мол, надо для нашей армии. Да и железо для них, если найдется, несите.

Ребятья толпа зашумела:

— Ладно, скажем!

— Айдайте!

— Погодите еще немного, — вновь задержал нас Гончаренко и, обернувшись к мужикам, пристыдил их, хотя и как бы шутейно: — Вот они, сознательные-то люди! — Он кивнул в сторону нашей ребячьей толпы: — Вот у них, когда они вырастут, лучше дело-то пойдет, чем у нас сейчас! Ну а теперь, ребятки, ступайте.

Обрадованные похвалой, мальчишки бросились врассыпную. Не прошло и получаса, как они стали возвращаться к кузнице, волоча за собой по два, а то и по три черенка из комлей тонких березок. Операция была осуществлена быстро, хотя и не обошлась без неприятностей. За одним мальчишкой долго, почти до кузницы, гнался ветхий дед, запинаясь на каждом шагу и что-то бессвязно выкрикивая. Не желая срамиться перед людьми, он наконец остановился, погрозил внуку кулачком и под мужичий гогот поплелся обратно. Другого мальчишку настигла среди улицы горластая мать и отобрала косьевище. Третий вернулся с пу-

стыми руками, весь в слезах. Знать, не у всех родители оказались стоворчливыми, податливыми на нашу агитацию.

Слух о нашей помощи партизанам быстро разошелся по всему селу, и вскоре ребята со всех, даже отдаленных улиц понатащили к кузнице целый ворох хорошо выструганных березовых комельков, годных на дровки для пик.

Но с железом дело было плохо. Любое, даже бросовое, оно у всех было на строгой примете — уже несколько лет никаких скобяных товаров не завозилось в село. Одному лишь мальчишке, да и то, вероятно, с большим риском, удалось раздобыть обломанные вилы.

Осматривая их, кузнец горевал:

— Ну излажу две пики, а где ишшо взять?

И тут мы с Федей вспомнили о Ваньке Барсукове. Бывали мы на его дворе, лазили по сараям и видели — много там разного железа: запаслив был отец Ваньки. Не долго думая, мы отправились к Барсуковым. Хотя совсем недавно Вапька был избит ребятами по нашему почину, мы не придавали этому значения — драки были для нас обычным делом, о них никто не помнил долго. Не смущало нас и то, что Вапька в последнее время не показывался со двора. Мы не тяготились разлукой с ним и потому не замечали, как летело время после нашей драки.

Ванька долго не отзывался на свист Федей. Мы пошептались и собрались было уходить, только теперь осознав, сколь бесполезна наша затея. Но тут Ванька, несомненно следивший за нами со двора, не выдержал и высунул голову над заплотом в том месте, где у Барсуковых были сложены поленицы дров. Осторожен был Ванька! И глядел на нас волчонком...

— Иди сюда, — позвал его Федя.

— Ишшо чо!

— Да не будем мы драться! У нас тут дело

— Како ишшо дело?

У Ваньки остались над заплотом одни глаза.

— Ты за белых или за красных? — спросил его Федя. —

Чо молчишь? За кого?

— А вы? — подумав, осведомился Ванька.

— Мы, знамо, за красных!

Еще помедлив, Ванька ответил:

— Ну и я за красных.

Не знаю, от чистого ли сердца сказал так Ванька или схитрил, не желая еще более обострять отношения с нами, но сказанное им нас очень обрадовало.

— Ну тогда мы заодно! — заключил Федя. — Лезь сюда. Дело есть.

Но осторожный Ванька потряс головой:

— Вы лезьте.

— Айда, — скомандовал мне Федя.

Мы быстро вскарабкались на высокий заплот из горбылей и соскочили в угол барсуковского двора, укрывшись за поленицами дров от хозяйских глаз из дома. Правда, почуяв чужих,

барсуковский рыжий кобель-волкодав загремел у амбара цепью и хрипло залаял, но мы не встревожились — ведь с нами был Ванька, хотя и теперь он держался поодаль, настороже.

— У вас многовил, я знаю, — заговорил Федя.

— Знамо, есть, не ходим побираться, а чо?

— Раз ты за красных, давай одни вилы.

— А для чо?

— Партизанам на пики, — терпеливо разъяснял Федя. — Извил три пики выйдет. Закалят, заточат — и воюй! Так и пропорет беляку пузо! В волости тыща партизан собралось, а пик мало.

Ванька задумался, зашмыгал носом, отвел взгляд.

— Отец спохватится: где, скажет, вилы?

— А ты молчи!

— Оп все одно дознается! Вилы нельзя.

— А чо ишшо есть?

— Старые зубья от конных граблей сгодятся?

— Давай!

Мы очень радовались: все-таки, скажи на милость, быстро сговорились с Ванькой! Мы знали — оп жадный, прижимистый, а вот поди ж ты, вдруг не пожалел на партизанские пики железа.

В сарае-завозне, где стояли жатка-сноповязалка, сенокосилка, копыные грабли, молотилка с приводом, в особых ящиках лежало про запас разное железо — шинное, угольное, кровельное, а на гвоздях в степе висели разные цепи, обручи для кадок и бочек, толстая проволока-катанка, связки подков, изношенные кривые зубья от конных граблей. У нас захватило дух: вот где богатство-то! Сколько можно наделать пик!

Ванька влез на один из ящиков, гремя железом, но в это время в полуоткрытых воротах сарая, застя собой свет, появился его шестнадцатилетний брат Степка, по нашим понятиям — совсем взрослый парень. Несколькo дней назад он пытался поймать нас на улице, чтобы отомстить за избившие младшего брата. Мы оказались в западне.

— Ага, попались, змееныши! — Степка взмахнул плетью и шагнул в сарай. — Железа вам надо? А плетей не надо?

Загнав нас в угол, Степка, перегибаясь через конные грабли, начал стегать то одного, то другого плетью. Мы подняли такой крик, что сбежались все, кто был тогда в барсуковском доме.

Костистый, по-медвежьки волосатый Никодим Барсуков сгреб рассвирепевшего Степку за шиворот и бросил наземь. Узнав, зачем мы оказались в завозне, он дал звонкий подзатыльник Ваньке. Нас же выпустил из сарая молча, лишь обжигая темным взглядом.

...Через час, узнав о нашем избивании, военно-революционный штаб вызвал в сборню не только Никодима Барсукова, но и нескольких сельских богачей. На них была наложена своеобразная контрибуция — сдать все железо, годное для изготовления пик. На дворы к богачам тут же отправились группы партизан. А Степка Барсуков одну ночь отсидел в каталажке.

С раннего утра в кузнице зазвенели молотки. Кузнец и его подручные выковывали, закаляли и затачивали на точиле накопечки для пика, а несколько парней насаживали их на древки, которые тут же и обдeldывались начисто. Работы хватало всем, даже нам, мальчишкам, некогда было сбегать домой за куском хлеба. К вечеру одна телега была нагружена новенькими пиками, колочке блестящими на солнце, и отправлена в Большие Бутырки.

Здесь следует отметить, что не только в августе, в первые дни восстания, но даже и в начале зимы, во время полного разгрома колчаковских войск, когда в боях добывалось много оружия, пика в армии Мамонтова продолжала оставаться на вооружении многих партизан. Так, в Бутырском полку, для которого в первые дни его организации гуселетовцы делали пики, большая часть партизан (до тысячи человек) была вооружена ими даже в декабре, когда на Алтай пришла Красная Армия.

Более четырех месяцев алтайские партизаны, вооруженные чаще всего только пиками, да в большинстве не на конях, а в пешем строю, ходили в атаки против белогвардейских войск, вооруженных в избытке лучшим для того времени огнестрельным оружием. И мы, положив руку на сердце, должны признать, что от наших дедов и отцов требовалось не меньше храбрости, чем от нас в годы Великой Отечественной войны. Идти с винтовкой против немца, державшего у груди автомат, было нелегко. Но идти с пикой против белогвардейца, лежащего в окопе с винтовкой в руках, не менее трудно. Встречать немецкие танки, бросая в них бутылки с горючей смесью, — подлинный героизм. Но и бросаться на белогвардейские пулеметы и пушки с открытой грудью — героизм наивысшей пробы. Войны разные, но каждая из них была в равной степени величайшим испытанием нравственных сил людей нашей страны.

Пика, являясь зачастую единственным оружием партизан, была ими любима и даже воспета. Партизан Мицихин, например, написал о ней популярные стихи, в которых были такие возвышенные строки:

Мозолисты руки тебя не забудут
И век будут помнить тебя.
О грозная пика, в бою с деспотизмом
Ты многих от рабства спасла!

Партизаны любили песню неизвестного автора «Судьба Колчака», в которой тоже говорится о пике. Песня пелась от имени адмирала, оказавшегося в затруднительном положении.

Пики, вилы, топоры,
Они с ума меня свели.
По Иркуту и Оби
Везде видны пикари.

Успех этой весьма непритязательной песенки, сложенной малограмотным автором, был необычайным: она трогала сердца тысяч людей, вооруженных пиками, да куда сильнее, чем многие расхожие сейчас, написанные опытной рукой песни.

Партизанской пике и нынче наша слава!

...А за стеной кузницы, где неумолчно звякало и звенело железо, за столом, принесенным из какого-то ближнего дома, работал оружейный мастер, ремонтируя разное оружие. Рядом с ним работал и отец, меняя у винтовки разбитую ложу.

Ружейный мастер, солдат-фронтовик, разбираал, чинил, смазывал и вновь собирал запущенное оружие с величайшей сосредоточенностью, боясь затерять какую-нибудь мелкую деталь из тех, что были разложены на столе. Его раздражало, что мы, мальчишки, все время ведемся поблизости и хотя и не мешаем работать, но уж очень пристально следим за действием его рук, прямо-таки вживаемся в его мудреное дело. Он стеснялся отца, но, не выдерживая, иногда дипломатично просил:

— Леонтыч, да гони ты их, чего они тебе мешают?

— Да они совсем и не мешают мне, Ионыч.

— Ну мне сопят под руку! Не люблю! Тут же с механикой имеешь дело.

— А ты, Ионыч, не обращай на них внимания, пусть себе сопят, лишь бы не лезли, — советовал отец. — Пускай присматриваются к оружию. Кто его знает, что после будет? Может, и им доведется воевать.

— Неужто так долго воевать будем?

— Все может быть. Буржуев на земле много.

...Еще более тянуло нас к одинокой баньке у озера, где готовились боеприпасы. Но сюда нас не подпускали и близко.

У бережливых солдат-фронтовиков, явившихся домой с прятанным оружием, насбиралось кроме неиспользованных патронов немного стреляных винтовочных гильз (стреляли уже здесь, дома, по зверю), а у охотников — гильзы для бердан. Решено было — по бедности — использовать их еще раз. Но не было пистонов, пуль и пороха. Однако в отряде нашлись умельцы, которые начали делать порох, употребляя для этого, если не ошибаюсь, мелко растертый древесный уголь и селитру, пропитывая изготовленную смесь самосидкой. Но не простой, конечно, самосидкой, а перегнанной дважды, то есть перегонном, горевшим синим пламенем. Он был не хуже спирта, по словам мастеров, которые время от времени учиняли ему пробы. Самодельный порох высушивали на солнце, а затем начиняли им гильзы или набивали охотничьи пороховницы. Разные же пули (для винтовок, бердан и охотничьих ружей) выплавлялись в баньке, на каменке, из сплава свинца, олова и баббита. При проверке самодельные патроны действовали хорошо, лишь с редкими осечками, а пули прорывали в мишенях большущие дыры, что очень веселило партизан: такая попадет — не уйдет беляк! Только вот ствол

сильно забивало гарью. Но и тут мастера нашли выход: они вставляли в обойму четыре самодельных патрона, а один — казенный, с тем чтобы ствол прочищала туго идущая заводская пуля.

Все понимали, что пользы от охотничьих дробовых ружей, заряжающихся с помощью шомпола, в бою будет мало, но отказаться от них не могли: грохот-то, по крайней мере, будет! А если ударить с близкого расстояния пулей или картечью — будет и польза. И поэтому заодно готовили припасы и для дробовиков — все, дескать, не хуже безмолвной пики! Однако тут же обнаружилось, что дробовики выстреливают зачастую с большой задержкой: после того как спустишь курок и он ударит по самодельному пистону, нужно несколько секунд держать ружье на прицеле, ожидая, когда постепенно воспламенится порох во всей фиске, а затем и в казеннике. Но зато какая-нибудь старинная фузея, в которую засыпалась целая горсть пороха, так грохотала и выбрасывала столько дыма, что на некоторое время им закрывалось от взгляда все озеро.

Считалось, что один такой выстрел мог здорово озадачить беляков в бою.

Как ни гнали нас от баньки, мы все равно постоянно вертелись вокруг да около. И дождались: и здесь настал-таки наш час! Глядим как-то, а главный мастер сам манит нас к себе.

— Дело есть, орлы, — заговорил он, когда мы встали перед ним. — Не знаете, где бы раздобыть тонкой-тонкой белой жести? Молва о нас, как видно, дошла и сюда.

— А для чо?

— Капсюли и пистоны не из ча делать.

Я мгновенно вспомнил о нашем единственном семейном сундуке — приданом матери, ее гордости. Он был обит наискось узкими, перекрещивающимися полосками белой жести, скорее всего для красоты. При перевозке из Почкалки в Гуселетово на боковой стенке сундука одна полоска жести была порвана. Чтобы маленькая сестренка, которая везде лезла, случайно не оцарапала себе руки, я еще весной по приказу матери отрезал отгибающиеся концы полоски у самых гвоздей. Жесть резалась ножницами легко, как тонкая кожаца.

Подумав, я спросил у мастера:

— А много надо?

— Тащи поболее!

Мне нисколько не жалко было сундука, хотя он был и редкостным для деревни. Я готов был одобрать с него всю жесть, раз она требовалась для партизан. Но как это сделать? Ведь мать сейчас же увидит, и тогда не избежать жестокой порки. Молча, в раздумье, я удалился от баньки.

— Есть? — догадался Федя. — А где-ка?

Я рассказал о нашем сундуке.

— А где-ка он стоит? — заговорил Федя. — А тяжелый он?

— Да не шибко.

— Давай отодвинем от стены и обдерем сзади. И опять на место. Она и не увидит.

— Обдери-ка! Она всегда дома.

Действительно, днем мать лишь ненадолго выбегала из дома и совсем не отлучалась со двора. Скорее всего, сейчас она или стирает ребячье бельишко на кухне, или сидит в горнице и чинит мою рубаху, разорванную вчера, когда я метался, спасаясь от Степкиной плетки. Как ее выпроводишь из дома? А ведь жезль требуется срочно. Да и вообще сегодня ей опасно показываться на глаза. Она еще не остыла после вчерашней истории и винит в ней не оглашенного Степку, а нас с Федей — за то, что полезли на чужой двор добывать какое-то железу.

Положение казалось безвыходным. В подобных случаях, хотя их и немного было в моей короткой жизни, я держался совершенно по-разному, что, признаться, меня самого очень удивляло. Чаще всего во мне вдруг будто зажигалось что-то, и я становился необычайно деятельным, напористым, находчивым и отчаянным. В поисках выхода из затруднительной ситуации я готов был очертя голову броситься на любую преграду, в любой огонь. Мне сам черт не страшен был в такие минуты! И почти всегда такая моя напористость, граничащая с безрассудством, вознаграждалась с лихвой. Но иногда по какой-то таинственной причине во мне будто внезапно отказывало то внутреннее устройство, какое зажигало мою способность к активным, горячим действиям. Тогда меня охватывали робость, растерянность и рассеянность. Теперь, думая о сундуке, я и очутился вот в таком унижительном состоянии несобранности, удрученности, вялости мысли и духа.

Но Федя был человеком более уравновешенного и устойчивого, оптимистического склада. Выведав о всех моих опасениях, он укоризненно воскликнул:

— Эх ты, забоялся?

— Да ведь не прогонишь же ее из дома!

— Сама уйдет!

Я знал, что Федя — мастер на всякие выдумки, но что же можно было придумать в данном случае? Уклоняясь от всяких пояснений, Федя твердил:

— А вот увидишь! Уйдет!

Окно нашей кухни было распахнуто. Оставив меня у дороги, Федя в несколько скачков оказался у окна и крикнул.

— Тетя Апросинья!

Мать вскоре выглянула, сказала сердито:

— Не кричите тут, дите спит.

— Тетя Апросинья, вас бабушка Евдокея зовет, — заговорил

Федя потише. — Она помирает.

— Помирает? — опешила мать. — Отчего?

— А я почем знаю. Задумала.

— Кто тебе сказал?

— Улишние ребята...

— Да что же с нею стряслось? Вот еще беда-то!

Думаю, что мать была искренне огорчена неожиданной печальной вестью: бабушка Евдокия во многом помогала нашей семье.

— Сейчас сбегая к ней, — сказала мать и стала давать нам наказы: — Вы приглядите тут за девчонкой. Проснется — дайте ей молочка. И ребят покормите, когда прибегут. Да смотрите в огород не лезьте, не трогайте огурцы.

До чего же все складно получилось! И мать уйдет надолго, и братишек нет дома, и сестренка спит! Действуй! Не оглядывайся! И позднее, когда обнаружится обман, с нас взятки гладки: самих обманули ребята — только и всего. Но как мне стыдно было перед матерью! Ни за что не пошел бы на кордон, если бы заранее узнал о замыслах Федю. Но теперь отступить было поздно.

У калитки я сердито попрекнул Федю:

— Зачем обманул?

— Надо было, — ответил он просто.

За полчаса мы ободрали всю жесть с задней стенки сундука. Спрятав добычу под рубахой, Федя понесся в село бездорожьем, а я принялся успокаивать разбуженную сестренку, поить ее теплым молочком из загнетки. Тут прибежали из бора и братишки. Им я достал из погреба кринку простокваши. Но сам не притронулся к еде, хотя уже и было обеденное время. Может быть, только теперь, когда все было сделано, я уразумел, что расплата за содеянное будет неизбежной и жестокой. Правда, слегка успокаивало лишь то, что расплата не могла быть скорой: сундук поставлен на прежнее место и покрыт, как всегда, домотканым ковриком из разного тряпья. Здесь ничто не могло привлечь внимания всевидящего ока матери.

Мать вернулась разгневанной до предела. Она стала кричать, еще не дойдя до кордона. В ее руках сверкал обчищенный таловый прут — успела поднять где-то на дороге. Но я давно был наготове. Выскочив из дома, опрометью пересек двор и перемахнул огородное прясло.

У кузницы мастер-оружейник работал, склонясь над толстым чурбаком из соснового комля, а Федя сидел перед ним на пске — он уже был вознагражден за доставку жести.

— Отчаянные вы ребята, — сказал мастер, подозвав к себе и меня. — Раз умеете рисковать — выйдет из вас толк. Нам рискованых теперь поболее надо. Такая жизнь настала. Смелым да рискованым — дорогу торить!

И все мои невеселые раздумья как ветром сдуло. Да пусть будет любая порка! Подумаешь! На мне быстро все заживает!

— Ну, и ты поглядеть хочешь, как я пистоны делаю? — милостиво обратился мастер ко мне, хотя мог и не спрашивать. — Так и быть, гляди.

Из полоски жести он вырезал ножницами небольшой кругляшок, края его изрезал мелко, бахромой, оставив целой лишь

середину величиной с воробыиный зрачок. Потом положил кругляшок над слепой дырочкой в специальной доске, сделанной в суку, где дерево покрепче, и наставил над его нетронутой серединой небольшой пробойник. Легонький удар молотком — и в дырочке-углублении образовался пистон: осторожно вытаскивай и начиняй взрывчатой смесью.

Кстати, через два года, когда у меня появилось дробовое ружье и я стал часто охотиться за водоплавающей дичью, мне вспомнилось это партизанское умельство. Я всегда сам делал пистоны, постепенно отдирая жечь с семейного сундука. Со временем он был ободран мною начисто.

...Уходили мы от баньки, считая, что наши дела идут как нельзя лучше. У нас, как говорится, уже были кое-какие заслуги перед партизанами. Вполне можно было надеяться, что нас примут в отряд. Ну не воевать, конечно, а хотя бы кашеварить, кормить и караулить коней, носиться туда-сюда с пакетами, ухаживать за ранеными. Ведь все это мы могли делать не хуже взрослых.

Может быть, кто-нибудь, читая эти строки, проично усмехнется, сочтя, что я все это сейчас выдумываю. Ничего подобного! Отлично помню, как мы, уйдя от баньки, всерьез размечтались о том, что не завтра, так послезавтра нас обязательно зачислят в отряд. Ведь нам не было еще и по десяти лет, а в таком возрасте все, о чем мечтается, кажется возможным и доступным. Мы и ушли-то от баньки раньше времени потому, что настала пора уже и начинать кое-какие сборы.

И надо сказать, нам с Федей не хватало тогда всего по три-четыре года, чтобы стать партизанами. Мальчишек в тринадцать-четырнадцать лет в партизанских отрядах было немало: они были незаменимы для различных мелких дел и поручений. А мальчишки, которые были еще немного постарше, — те воевали на равных со взрослыми. На Алтае известны имена многих юных партизан.

Да, жаль, немного не хватило..

— А в чем пойдем? — спросил я тогда Федю.

— Как в чем? — удивился Федя. — Сейчас босиком ишшо тепло.

— А пиджаки брать?

— Какую ни то лопотину надо бы. Ночью холодно спать на земле.

— У нас с тобой и пик-то нет!

— Возьмем трещотку, какими зайцев пугают на бахчах. Будет вместо пулемета.

Но тут я все-таки доконал Федю:

— А курить-то еще не умеем! Забыл?

Да, в суматохе мы совсем позабыли научиться курить, хотя несколько нежных табачных листьев, слегка пожелтевших, Федя уже раздобыл на соседнем огороде и даже высушил на солнце.

Кремень, кресало, трут и бумага — все это было подготовлено. Не хватало лишь времени забраться на часок в коноплю.

Однако мне очень не хотелось курить.

— А может, так примут? Папа вон не курит.

— Он командир! — ответил Федя. — Ему все можно.

Вскоре, соблюдая все меры предосторожности, мы забрались в коноплю, поднявшуюся в конце зырянского огорода камышовой чащобой. В густой высоченной конопле было невероятно душно, как в бане. Удушливый, одурманивающий запах конопли был нестерпим, как запах белены. У меня в висках мгновенно застучала кровь.

Мы долго мяли жесткую бумагу из какой-то книги, еще дольше свертывали и склеивали цигарки, рассыпав немало листового табака. Но самым трудным делом оказалось добыть огонь. Мы пооббивали себе кресалом все пальцы, пока наконец-то трут занялся и от него заструился дымок.

Здесь, в конопле, нас и напел Алешка Зырянов. После сильной рвоты я валялся замертво, а Федя с испугу не знал, что со мною делать. Да и сам-то он, как признавался потом, едва держался на ногах.

Очнулся я на руках отца.

Он уложил меня на половички в тени у дома, сам сел на землю у моих ног. Некоторое время он молча выжидал, давая мне возможность осмотреться и все вспомнить, а затем спросил:

— Тебе лучше? Ну и ладно, ладно.

И опять долго молчал, думая и стискивая скулы.

— Сейчас вас отвезут на бахчи, — овладев собой, заговорил он с обычной своей мягкостью и ласковостью. — Поживете с дедушкой Харитоном. Ему одному трудно караулить. Зайцы арбузы грызут. Пугать их надо. И арбузов там поедитесь вволю.

Покорно соглашаясь, я прикрыл глаза.

IV

Под вечер Алешка повез нас на бахчи.

Уезжал я туда со сложнейшим чувством. Прежде всего, было жаль своей мечты, которая тогда совсем не казалась мне наивной. Я не мог, конечно, предполагать, что мне на моем веку еще хватит войны по горло, да какой! В то же время у меня вызывала недоумение та очевидная поспешность, с какой нас удаляли из села. Я еще не знал всех причин, заставивших отца принять такое решение. Однако, чувствуя, что мне на какое-то время лучше всего покинуть родной дом, я не испытывал тогда обиды на отца. В его решении, несомненно, чувствовалось желание ограбить меня от беды.

И только дорогой от Алешки я узнал: отцу известно все, что я натворил в тот день. Оказывается, вскоре после того как мы с Феей ушли на зырянский огород, в баньку наведалься отец. Он увидел у оружейника ленточки белой жести, сразу же дога-

Дался, откуда они взялись, и бросился на кордон. Он нашел мать в слезах, с опухшим лицом; голова ее была обмотана мокрой тряпкой. Узнав, что мы обманули ее, сгоняв напрасно к бабушке Евдокии, она, естественно, догадалась, что нам зачем-то нужно было спровадить ее из дома, и стала гадать: «Зачем?» Она раз сто оглядела весь дом и, как ни странно, обнаружила-таки, что ее сундук изуродован, — вероятно, по неопытности мы оставили какие-то следы. Успокоить мать не было никакой надежды. Отец знал, что в любую минуту он может уйти с отрядом из села, и боялся, что, если уйдет внезапно, я могу попасть под горячую руку разгневанной матери. Вот он, ничего не говоря о моих проступках, и решил поскорее отправить меня на бахчи.

Рассказ Алешки, да еще с издевкой, растревожил меня до крайности. То-то отец сидел у моих ног, стиснув скулы, иногда отводя затуманенные глаза. Он знал о всех моих проступках, но думал-то, конечно же, не о них, а о чем-то другом, более важном. О чем же? На всякий случай он тогда прощался со мною: мало ли что могло случиться с ним в скором бою! И еще, как я понял позднее, он думал вообще о моей жизни. Какой она будет, да еще если доведется остаться без него? Каким я человеком стану, когда вырасту? Повторяю, я гораздо позднее, как мне кажется, разгадал его думы. А тогда, наблюдая за ним, видя его в глубоком раздумье, я только смутно догадывался о его тревогах.

Отец не однажды удивлял меня в то лето. Но чем пристальнее вглядывался я в него, тем больше открывалось в нем для меня нового. Я хорошо знал, что он наделен добрым сердцем и открытой, поэтической душой. Теперь же я понял, что он наделен еще и какой-то особой, почти таинственной мудростью. И как я ни был огорчен тогда своими неудачами, я не мог не радоваться тому, что отныне отец стал мне еще более близким и дорогим. Я был благодарен ему за то, что он своей добротой, своей заботой зародил во мне что-то такое, без чего человеку нельзя жить, а что именно — я понял, кажется, лишь тогда, когда сам стал отцом.

...Дедушка Харитон жил на бахчах уже две недели. Стоя у своего шалаша под кудлатой сосной, своей ровесницей, пыхивая черной трубочкой, он не шелохнулся, пока наша телега не остановилась рядом. Но затем, будто опомнясь, встретил нас с шумной и несколько иронической приветливостью:

— Ты гляди-ко, сколь народу прибыло! Ну, берегитесь теперь-ка, зайцы! А то ить совсем одолели!

— Они не с зайцами собирались воевать, — со смешком заговорил зловредный Алешка, считавший себя совершенно взрослым, хотя и был старше нас всего на два года. — Они, дедушка Харитон, знаешь, с кем собирались воевать? С беляками! Ха-ха! Вояки, солены уши! А их вот сюда...

— С беляками? — На лице дедушки мелькнуло выражение огорченного недоумения. — Стало быть, в партизаны собира-

лись? — Но тут он вдруг поразил нас своей внезапной серьезностью: — А тогда-ка... пошто же их не пустили? Пустить надо было! Оне вон какея робята, чуть не с меня, да и забияки. Пущай бы шли в отряд. Допустим, и не побили бы беляков, зато, глядишь, здорово напугали бы!

— Беляки-то, поди, не зайцы.

— А-а, да только как следоваит пугни! И они побегут!

Не на первой, так на второй минуте, а мы все же поняли, что дедушка похваливает нас, как это всегда водится у взрослых, лишь ради шутки, из привычки ласково изводить мальчишню. С угрюмой безнадежностью, не ожидая ничего хорошего, мы стаскивали с телеги свою одежопку и свои харчишки. Но как в те минуты хотелось нам побыстрее вырасти и стать взрослыми!

— Ну ладно-ть, в отряд не взяли, а зачем же ко мне их? — все еще не упимался дедушка Харитон, очевидно обрадовавшийся случаю почесать язык. — Жили бы дома. Небось еще и напроказили чего-нибудь?

— Еще как! — охотно отвечал Алешка, решив, видно, окончательно осрамить нас перед дедушкой. — У тетки Апросиньи железо с сундука ободрали и отдали партизанам. На пистоны.

— Молодцы-ы! — с усмешкой похвалил нас дедушка.

— Да еще накурились до одури!

— А чо? Пора!

— Дак на губах еще не обсохло!

— А у самого-то обсохло? — не выдержав, огрызнулся Федя. — Разболтался тут!

— А уже вечереет, — спохватился Алешка, взглянув на солнце, застрявшее в густой сосновой хвое. — Мне, дедушка Харитон, велели привезти арбузов, если поспели. Всем разговеться охота. Да и на пашню завтра.

— А-а, будь неладна! Дак и правда, что же тогда заболтался? Хотя арбузам еще полежать бы надо, но поищем.

Бахчи начинались в пяти шагах от дедушкиного шалаша. Они занимали большую, с извилистыми краями, продолговатую поляну; с северной стороны, от кромки бора, ее прикрывала полоса густого сосняка, с южной — большая согра, заросшая непролазным черполесьем. На нови да при благодатной погоде того лета урожай на бахчах выдался необычайный. Я обомлел, когда окинул всю поляну взглядом. Она была сплошь укатана черными, полосатыми и светлыми арбузами, продолговатыми, каменистого цвета дынями, какие звались у нас дубовками, и огромными, с тележные колеса, тыквами...

По подсказке дедушки Харитона мы быстро нарвали и натащали с бахчей к шалашу кучу арбузов и, загрузив рыдван, с нескрываемой радостью расстались с Алешкой. Со взрослыми, хотя они и любят насмеяться, еще можно жить и ладить, а вот с теми, кто чуть постарше, совершенно немислимо: зазнайство у них выше всякой меры. Так они кичатся своей взрослостью, что не глядели бы глаза!

До захода солнца мы еще успели немного побродить по поляне. На небольшом пераспаханном островке, густо засыпанном шишками, стояла толстая, в два обхвата, сосна, у которой сучья были высоко обрублены, а крона раскидывалась лишь вокруг вершины. Когда-то давно чья-то беспощадная рука с непомятой целью сняла с нее не только все нижние сучья, но и сделала на солнечной стороне комля большую затесть. Со временем сосна растолстела, там, где была затесть, образовалась глубокая ямнина, вроде раковины, и в ней стали селиться шершни.

— Вы тут, около сосны, не очень-то шныряйте, — посоветовал дедушка Харитон. — Ожалить могут. Сейчас-то они вов забрались на ночь в свое гнездо.

Желтое шершневое гнездо, напоминающее пчелиные соты, бугром выпирало из раковины. Я впервые видел такое поселение огромной летучей твари — шершней мы боялись больше, чем кого-либо из лесного гнуса. Но я еще никогда не испытывал их укусов и так, на всякий случай, спросил:

— А здорово они кусаются?

— Ударит — с ног собьет.

Походя дедушка учил нас распознавать самые спелые арбузы. Надо было уметь слушать, как они изнутри отзываются на щелчки — глуховато или звонко? Спелыми оказывались, как правило, те арбузы, какие росли поближе к корню, а значит, раньше появились на свет. Но не все. Имели еще значение их сорт и окраска. Азартнее всего мы бросались к большим арбузам, щелкали по ним с большой надеждой, но они обычно звенели, будто отлитые из стекла.

— Все на большие заритесь, а зря, — учил нас дедушка Харитон. — Сейчас, какие помельче, да если еще черные, те как раз и поспелее.

От шалаша под сосной, по чистой меже, была проложена тропа в низину, к согре. Здесь у дедушки был устроен колодец со срубом из ошкуренного осинника, с тесовой крышкой. Он был неглубок — до воды, пожалуй, можно было дотянуться даже рукой. В воде висело на веревке полузатопленное ведро, повязанное тряпичей. К нашему удивлению, на дне ведра поверх нескольких пригоршней песка, служившего грузом, лежала ошпанная и, вероятно, слегка подсоленная утиная тушка.

Тут уж мы в один голос:

— Деда, где взял?

— Поймал, — ответил дедушка Харитон. — Я каждый день с утятинной. Завтра и вы поймаете.

Начинались какие-то чудеса.

— Не верите? — переспросил дедушка Харитон и, опорожив ведро, зачерпнул воды. — Сейчас утиные стаи летают кормиться в степь, на хлеба. Летят, когда уже стемнеет, низко над бором. Скоро сами увидите. И вот как только с высоты завидят, что опушка близко, тут они сразу же вот так, как с горки, скользят вниз, к земле, скорее садиться на поля. Там уже косят

ячмень, овес и просо. Ну а вдоль опушки, сами знаете, идут телефонные столбы, висят провода. В темпоте-то их не видно. Несется стая, да как врежется в провода — тут, бедные, и бьются, ломают себе крылья. Лисы бегают, подбирают. Ну и я хожу.

За время, пока мы бродили с дедушкой Харитоном, наша досада на то, что нас отправили из села, утихла. Оказывается, на бахчах было даже очень интересно пожить, тем более что наступила арбузная пора. К тому же, что совсем уж неожиданно, тут можно было полакомиться и любимой утятинной. Когда же был разведен, как в почном или на рыбалке, у шалаша костерок да подвешен на таган котелок, нам и совсем стало хорошо.

Ужинали при свете вечерней зари. Мы и оглянуться не успели, как весь бор залило малиновое половодье. Оно охватило нашу поляну со всех сторон. Одинокая сосна с жилищем шершней, стоявшая среди поляны, горела пачищенной до блеска красной медью, а крона ее занималась чистым пламенем. И даже арбузы на бахчах поблескивали, густо облитые заревой глазурью. Давно я не видал такой сказочной зари — может быть, она была последней летней зарей. Отполыхала она быстро, крылато. Вокруг нашей поляны вскоре все скрылось в густой сумеречи. И казалось, что из этой сумеречи вот-вот выглянет лесной леший или зашипит кикимора — в те далекие годы мы, деревенские мальчишки, еще очень верили в разную чертовщину.

Но тогда, у дедушкиного шалаша, ожидалось это только с любопытством, без всякого страха. Над нами весело вился дымок костра, его огонь освещал широкий круг под сосной, и нам казалось, что по краям поляны лежит незримая черта, через которую не могла ступить ничья чужая нога. Дедушкино жилье, его земля, его хозяйство — все было неприкосновенным, над всем была только его власть. Потому дедушка даже и не оглядывался по сторонам: он знал, что никто не смеет ступить в его владения. Он поглядывал только на нас, без устали трудившихся над арбузами.

— Вы чо, мужики, ладно ли с вами? — заговаривал он с беспокойством. — Это который вы уже уплетаете? Уж не третий ли?

— Третий.

— Мотрите, мужики, арбузы-то большие, недолго и до беды. Уплывете ишшо ночью из шалаша.

— Не уйдем!

— Дак вы чо, обжоры, чо ли? Как вы зайцев-то гонять будете?

И правда, тяжело нам было подниматься от костерка. Мы без всякого интереса, часто спотыкаясь в темноте от напавшей сонливости, ходили за дедушкой Харитоном по межам и поочередно, давая друг другу время на передышку, пускали в дело свои трещотки. Впрочем, вряд ли был толк от нашей трескотни. Если зайцы и убежали с бахчей, то, конечно, недалеко, а когда мы уходили — спокойненько возвращались обратно: им хватало ночи. Но не скажу, чтобы от них была большая погрыва на бахчах.

Скорее всего это заделье было придумано взрослыми для нас, мальчишек, как забава.

Засыпая, я вновь увидел вечернюю зарю. Она полыхала над бором еще более буйно, чем после захода солнца. И откуда-то из этой волшебной зари на нашем белом длинногривом коне все скакал и скакал ко мне яснолицый, кареглазый отец, скакал с веселой улыбкой и какой-то радостной вестью.

ВОЙНА ЕСТЬ ВОЙНА

I

Крестьянин не может проспять восход солнца. Будто самой природой установлено нерушимое правило, по которому великий труженик земли, отчего он и зовется земледельцем, должен встать спозаранок, чтобы на ногах, а еще лучше в работе встретить жизнетворящее небесное светило, тем самым оказав ему особую честь.

Подняв нас на зорьке, хотя в том не было никакой необходимости, дедушка Харитон заставил сходить еще до завтрака на тракт, у которого проходила телеграфная линия, и поискать несчастных уток, попавших в беду ночью.

— Пока их лисы не растаскали, — пояснил дедушка Харитон. — Идите по обе стороны от линии и смотрите, где перья на земле. Какая если шибко убилась, тут и лежит, а подранки — те в стороны уходят. Завидят вас — забьются, побегут...

Босые, подсучив штаны выше колен, чтобы не замочить в росной траве, мы отправились к опушке бора. В сотне шагов от нас шли телеграфные столбы, между ними в два ряда висели провода. А сразу же за трактом виднелись скошенные полосы ячменя и овса: кое-где уже стояли суслоны, но большая часть скошенного хлеба еще не была связана в снопы и лежала в россыпи.

Мы решили идти не против утреннего, сильно ослеплявшего солнца, а в сторону села. Несколько минут мы шли, стреляя глазами по сторонам, но нигде нам не попалось даже утино перо. Не вытерпев, мы начали покрикивать друг другу, а потом и сошлись под линией.

— Может, обманул? — засомневался Федя.

— А утку-то ели!

— Может, ему дал кто?

— Пойдем поглядим еще на полях.

На десятине, где не было суслонов, мы издали заметили какой-то бугор, едва прикрытый реденько раструженным скошенным ячменем. Что такое? Откуда на пахоте бугор вроде могилки? Подошли и видим: рядом с ним — узкая яма, тоже прикрытая ячменной россыпью, но с краю в ней зияет большая дыра. Мы бросились к яме, заглянули в нее и обомлели: на дне ее

трепыхались, не в силах расправить из-за тесноты крыльев, две кряковые утки.

— Вот язви их! — обрадованно заулыбался Федя. — Удумали!

— Да ты гляди, вон там еще яма!

Во второй яме сидела одна утка, в третьей было пусто, но в четвертой — опять две...

— Знать, много тут утей бывает! — воскликнул Федя.

— Что делать будем?

— Давай заберем по одной — и пошли!

— Чужие ведь...

— А поди-ка, они его! Боговы! Накопал тут, жадюга!

Федя уже спустил в яму ноги, но я вдруг увидел, что от села трактором скачут какие-то верховые, за ними высоко вздымается пыль. И я схватил Федю за плечо.

— Вершни скачут! Хозяева!

— Бежим!

Мы стремглав бросились с поля через тракт, но у первого же телеграфного столба в изнеможении свалились на землю.

Верховые на разномастных конях шли крупной рысью. Их было четверо. Они проскакали, даже не взглянув в нашу сторону, и тут у Феде как-то странно округлились глаза. Глядя на меня, он почему-то прошептал:

— Пикари!

Когда пыль, поднятая верховыми, осела, мы разглядели, что от села движется большой обоз, и сразу догадались — гуселевский отряд Красной Армии выступил в поход. Он идет бить Колчака.

Мы молча поднялись и вышли к дороге.

В колонне было более двадцати телег. На передней стояло па дремке, покачиваясь, красное знамя. Над всеми остальными телегами вспыхивали на солнце высоко торчащие, остро заточенные пики. Позади колонны, чуть приотстав от нее, двигалась небольшая конная группа. Партизаны ехали шагом, давая возможность дозору ускакать подальше вперед, и пели незнакомую мне песню. Вскоре я услышал голос запевалы — это был голос отца. Он ехал во главе колонны. Не знаю, что стало со мной — в необычном трепетном порыве я во всю свою прыть бросился навстречу отцу, — всю жизнь я вспоминаю тот свой беспамятный порыв при встрече с отцом на Касмалинском тракте...

Передняя телега, на которой отец, свесив ноги, сидел рядом с возницей, тут же остановилась, а за нею стала остапавливаться и вся отрядная колонна. Соскочив с телеги, отец ловко подхватил меня, ошалевшего от счастья, и прижал к груди, и тоже со странным порывом, как в тот раз, когда вернулся после войны из Иркутска. Казалось, за одну ночь он соскучился обо мне не меньше, чем за долгие годы. Потом он усадил меня на телегу и спросил:

— Вы куда же направились в такую рань? Домой?

— Уток пошли искать,

— А я думал, вы опять от дедушки Харитона дезертировали, — посмехался отец, но очень коротко, будто невзначай. — Домой-то пока не ходи... — Он явно недоговорил, надеясь, что я догадаюсь, о чем речь. — А я вас вон откуда разглядел, от боя-рок!

В прежнее время верстах в двух от села или чуть подальше росло несколько кустов крепкого, в полной молодой силе боярышника — они и сейчас еще живы, но сильно застарели и подсохли. Это было приметным местом на тракте, особенно для разного отсчета, скажем, когда устраивались бега.

— Как же ты издала разглядел? — спросил я отца.

— А вот... — Он снял с груди бинокль. — Вот погляди-ка!

Несколько секунд я был в нерешительности, со странным удивлением разглядывая отца, у которого ничего не осталось от прежнего привычного вида. Он был в полном военном обмундировании, чистом, хорошо отглаженном, в хромовых сапогах, в портупее, с кобурой у пояса. Его всегдшняя привычка к аккуратности в данном случае ставилась особенно заметной и целесообразной. Нет, он не красовался перед людьми, это было противно его природе. Всем, чем мог, он только хотел подчеркнуть, что сейчас, накануне боевых действий, любой человек в отряде должен проявлять особую, строгую собранность, умение видеть в порядках, определенных военной дисциплиной, высшую разумность, без которой нельзя браться за оружие.

— Ну чего же ты? — поторопил меня отец.

— А куда глядеть?

— Да вон, на бор.

Бор, к моему величайшему изумлению, оказался необычайно близким — все, что было на опушке, виделось очень хорошо. Но когда в окуляры бинокля попала ворона, сидевшая на телеграфном столбе, я чуть не завизжал от восторга. В те далекие времена простой бинокль был для деревенского мальчишки чудом из чудес. Мне нелегко было расставаться с ним, но я понимал, что нельзя же долго задерживать отца, а к тому же вспомнил и о друге:

— На, Федя, погляди!

Тут к передней телеге подошли несколько партизан. Среди них был и Филька. Ухмыляясь, как всегда, он заговорил первым:

— Товарищ командир, пополнение, чо ли?

— Будущее, — ответил отец.

— А я слышал, что они давно собираются в отряд. Сказывают, готовились даже.

— На самом деле? — будто не зная ничего, спросил меня отец.

— Да, — признался я смущенным шепотком и, словно кто толкнул меня в омут, прижался к отцу, хотя у нас, мальчишек, и считалось стыдным ласкаться с родителями, да еще при народе. — Возьми нас! Возьми!

Отец растерялся, тронутый моей неожиданной просьбой, и задержался с ответом, приглаживая мои непокорные жесткие волосы.

— Возьми, дядя Семен! — погромче меня подхватил Федя.

— А чо не взять? — дурашливо заговорил Филька. — Они все умеют. За конями приглядят. Кашу сварят.

— погоди ты! — остановил его отец. — Не растравляй.

— Возьми! — выдохнул я уже слезно.

— Нельзя, Миша, — со вздохом заговорил отец. — Это не на пашню. Война не шутка. Там всякое бывает.

Партизаны заговорили вокруг:

— Во, орлы, все бы так-то! Пошло бы дело!

— Главное, мужики, они войны не боятся!

— Глупые шшо...

— Как знать!

Хотя отец и отказывал, но делал это очень ласково, а его ласковость обладала удивительной силой убедительности. Я очень скоро понял, что мы, конечно же, еще не доросли до войны и все наши мечты — это от детства, которое совпало по времени с войной. И тогда я, смирясь со своим мальчишеским положением, попросил отца, как обычно просят малыши своих родителей, уезжающих куда-нибудь из дома:

— Ну хоть прокати!

— Совсем вы еще малыши, — улыбнулся отец.

— Да уж побалуй, Леонтьич, побалуй, — вдруг поддержал меня один бородач. — Может, это балованье им вспоминаться будет.

— Не говори зря, Егорыч!

— Да я што! — замялся Егорыч, поняв неловкость своего намека. — Однако думается-то сейчас не о себе, а о них!

— Хватит нам только о себе думать, — сказал на это отец. — Пора за ум браться — думать не о себе, а о других и не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Пора стать настоящими людьми. А мы не успеем стать — они вот станут! Ну ладно! — вдруг сказал он другим тоном, обращаясь уже к нам. — Усаживайтесь на телегу, и тронемся, а то ведь нам спешить надо. Прокатим, так и быть! Только недалеко, версты две.

Мы уселись рядом с отцом, по-мужицки свесив ноги, и возница тронул коня — закачалась дуга, закачалось обвисшее при полном безветрии знамя отряда. Отец был рад, что встретил меня, рад, что мог побаловать нас на прощание, его веселили какие-то думы. Может быть, нашу неожиданную встречу он считал доброй приметой, обещающей успех в скором бою, и мечтал о новой, будущей встрече. В дороге ему всегда хотелось петь, а сейчас, кажется, особенно, и он, обращаясь к нам, весело пошутил:

— Ну, партизаны, споем?

Он вдруг легко вскочил в телеге на ноги, ухватился за плечо возницы, и его чистый, страстный голос высоко взлетел над стешью:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы доро-о-гу
Грудью проложим себе!

Его голоса, вероятно, только и ждал отряд. Над всей колонной, может быть, не очень стройно и слаженно, но зато с большой силой, от всей души, загремела одна из любимейших песен того времени.

Мы тоже, как могли, подхватили песню.

Наше счастье было беспредельным. Казалось бы, что тут особенного? Ну встретились с отрядом, идущим в бой. Ну отец, решив побаловать, взял нас на две версты с собой. Но ведь в этом случае как бы исполнялась, пусть в ничтожной мере, наша заветная мальчишеская мечта. С полчаса, но мы были в отряде, вместе с партизанами ехали на телеге и даже пели с ними одну песню. Тем самым мы пусть и немного, но приобщились к партизанской жизни, да еще в тот час, когда в ней чувствовалось особое, яростное горение, всегда сопутствующее людям, идущим на подвиг.

И до того случая, и позднее отец, уезжая куда-нибудь из дома, не однажды брал меня с собой — прокатиться до конца улицы, до околицы. Все те случаи, всегда для меня, бывало, радостные, со временем позабылись, стерлись в памяти. А вот когда он, отправляясь из Гуселетова в бой, вез меня на телеге под красным знаменем да с восторгом пел песню, я не забывал и не забуду никогда. Может быть, те минуты, когда я ехал с отцом и его отрядом, после значили в моей жизни больше, чем иные годы.

II

Поднявшись над бором, солнце хорошо освещало всю сосну, одиноко стоявшую среди бахчей, — от толстых и корявых корней, выпиравших из земли вокруг всего комля, до кудлатой вершины. Гнездо шершней в глубокой продолговатой раковине с утра оказывалось на солнцепеке. Крупные, темные шершни со все нарастающим шумом, надоедливо и злобно гудя, бессмысленно вились вокруг своего гнезда. Нам казалось, что они даже никуда не улетали от сосны. Ишь нашли теплое место...

В первый день жизни на бахчах мы много бродили по всей поляне, примечая наиболее спелые арбузы, иногда даже делая на них ногтями особые заметы. Это было хорошее, любопытное заделье. Но на второй день оно уже надоело, и мы почему-то все чаще стали появляться у сосны, где было шершневое гнездо.

Сначала мы разглядывали поселение шершней издали, с опаской, но, постепенно смелея, стали подходить к нему все ближе и ближе. И тут заметили, что рой шершней, носящихся у гнезда, становится все больше, шумит все тревожнее и злобнее, значительно расширяя границы облета вокруг сосны. Шершни явно предупреждали нас: не смейте подходить близко, не смейте вступать в наши пределы!

Разговаривали мы негромко и удивленно:

— Вот твари! Гляди, как носятся!

— А много их тут!

Откровенно говоря, шершни нам ничем не мешали: они спокойно вились лишь над клочком неспаханной земли под сосной. Нам вполне можно было соседствовать мирно. Разве только случайно, направляясь куда-нибудь вдаль, мог напасть на нас одинокий шершень. Но нам почему-то не хотелось жить мирно с этой злобной лесной тварью. Нам не нравилось пенужное беспокойство.

И вот на другой день, когда солнце поднялось уже высоко над бором, а дедушка Харитон еще не вернулся из похода за грибами, мы вновь оказались у сосны на бахчах и, не сговариваясь, ступили на клочок непаханой земли. Это был вызов с нашей стороны. О, что тут началось! За несколько секунд, как по команде, рой шершней со злобным гудением завьюжил вокруг сосны. Но мы не трогались с места. Стараясь выдержать первое испытание, мы все распалили и распалили себя, кляня злобное отродье насекомых на все лады. Как всегда, я кипятился с особенной горячностью.

— Чего они прижились тут? Нашли место!

— Им тепло тут, — пояснил Федя, не то оправдывая шершней, не то по привычке помогая мне распалиться всюю. — И дождь не мочит.

— Нашли бы где-нибудь душло!

— Им и тут хорошо.

— Давай их шуганем отсюда, а?

— Закалят!

Если один из нас начинал какую-нибудь затею, то другой обычно соглашался быстро, без долгих раздумий. Но на сей раз Федя, человек более сдержанный и благоразумный, чем я, почему-то проявил осторожность, — вероятно, он с большей серьезностью прислушался к предупреждению дедушки Харитона. Но тут я все по той же своей невоздержанности выпалил:

— Боишься, да?

Такого оскорбительного подозрения бесстрашный Федя стерпеть, конечно, не мог и, нахмурясь, сказал:

— Ладно, давай!

— Чем будем бить?

— Наберем сучьев, чем же еще?

У мальчишек всегда есть идущая из глубин сознания живейшая потребность так или иначе испытывать себя, свои силы,

свою волю, свое мужество. Она совершенно естественна, как веление природы, и, чем сильнее заявляет о себе, тем лучше для человека; она является наивернейшим признаком развития в нужном направлении его личности. А проявляется эта потребность в любое время, зачастую совершенно неожиданно, лишь бы подвернулся подходящий случай. Вот такой случай и подвернулся нам на бахчах.

Но была, как мне кажется, еще одна причина, заставившая нас тогда испытать себя и даже, может быть, похвастаться своей храбростью. Мы все еще находились под сильнейшим впечатлением встречи с партизанским отрядом. Мы видели, с каким большим душевным подъемом отправлялись партизаны в бой, и это не могло не отозваться в наших мальчишеских душах. Мы молчаливо, но тяжело завидовали партизанам. И нам хотелось, пусть во встрече всего лишь с шершнями, узнать, на что мы способны.

В сосняке мы быстро насобирали сучьев и изломали их об колено. С двумя охапками дровишек мы возвратились к сосне и свалили их на краю непоханой земли.

Наша затея, к сожалению, оказалась не такой простой. Мы бросали полешки в шершневое гнездо, тщательно целясь, но не всегда попадали даже в комель сосны. Рой шершней вился уже тучей, все более гудяще и злобно. Подходить близко было все же страшновато. Мы быстро израсходовали свои боевые запасы, но попасть в гнездо нам удалось всего два или три раза. Попадая, мы каждый раз быстро улепетывали подальше от сосны, а когда возвращались, то с разочарованием видели, что шершневое жилище всего лишь поцарапано, но не разрушено — его трудно было разбить в глубине раковины.

— Да ну их к лешему! — рассерчал Федя. — Ишь как разгуделись! Ишню нападут. Пойдем отсюда!

Но во мне уже властвовал какой-то бес.

— Нет, я им сейчас задам!

У меня остался один лишь толстый, изогнутый сук, который не удалось переломить в сосняке. Я решил, что переломлю, если он понадобится, у сосны. Теперь, подержав его в руках, я сказал Феде решительно:

— Сейчас!

— Да ты одурел, что ли? — догадавшись о моем намерении, попытался удерживать меня Федя. — Они же тебя зажалят!

— Пускай!

Держа сук в руке так, чтобы удар по гнезду пришелся его горбинкой, я направился к сосне. Сделав несколько шагов и особенно остро ощутив опасность, боясь струсить, я бросился вперед во всю прыть и, добрав до сосны, за три удара разнес все гнездо. И тут же, заорав благим матом, стремглав пустился в сторону согры вслед за убежавшим Федей. Над нами неслась стая шершней...

Испытание, какое я придумал для себя, обошлось мне дорого. Всю ночь я метался в жару, а утром не мог без стога повернуть головы и с трудом осматривался сквозь узенькие щелочки, оставшиеся вместо глаз на распухшем лице. Федя то кривился и качал головой, страдая от жалости ко мне, то, забываясь, едва сдерживал смех, видя, как я изуродован лесной тварью. Весь день я пролежал в шалаше, делая примочки, и только на следующее утро, раскрыв глаза пошире, от радости не мог налюбоваться и бором, и небом, и арбузами под солнцем.

Увидев, как я все время почесываю зудящие места, дедушка Харитон, накануне весьма озабоченный, молчаливый, весело оживился, заговорил со мной в обычном тоне:

— А-а, будь неладна, все зудит?

— Изодрать охота.

— Яд, — кратко и выразительно пояснил дедушка Харитон, словно ему только что удалось определенно установить причину моего зуда, и, поскольку у него уже отлегло на сердце, пустился в рассуждения и воспоминания: — Всякий яд, если его давать помалу, даже лечит человека от всяких болячек, вот како дело! Вон пчелки, их яд даже очень полезительный. У кого водятся пчелы, те завсегда долго живут. У шершней, знамо дело, яд пострашней, но тоже, думаю, и от него может быть польза. Раз вчера ты не помер — будешь долго жить. — И тут он, тоже едва сдерживая смех, заметил: — Вон как сразу поправился! Ряшка-то с тыкву, однако.

— С тыкву! — засмеялся Федя. — Какая вот тут, с краю!

Ту тыкву, о которой говорил Федя, одному мне, пожалуй, и не укатить было с бахчей. Стало быть, обезобразили меня шершни до большого уродства. Досадно было — хуже некуда, но, болезненно усмехаясь, я ответил Феде беззлобно:

— Ты сам-то косорылый!

Федю догнал всего один шершень и ужалил в левую щеку. Себе в утешение я считал, что быть косорылым еще хуже, чем толстомордым.

— Оба ненаглядны, — примирил нас дедушка Харитон. — Увидали бы вас сейчас отцы да матери — не признали бы...

Через какое-то время, когда солнце уже сильно припекало с высоты, я все же решился заговорить с Федей о том, что меня больше всего волновало в то утро:

— А шершни-то, поди, улетели, а? Поглядеть бы...

Мой друг даже глаза вытаращил от удивления:

— Ты чо, хошь, чтобы еще попало?

— Да ведь я их все гнездо разбил!

— Ну и чо? Куда им лететь? Небось выются у сосны.

— Вот и интересно...

Как всегда случалось со мною, опять не давало мне покоя нестерпимое, толкающее во все дыры любопытство. С детства я нередко страдал от него, но тогда еще не знал, что оно навсегда останется моей большой слабостью.

— Ладно, пойдем! — вскорости сдался-таки Федя, но, вероятно, только затем, чтобы получить возможность позубоскалить надо мною. — С тобой-то, гляди-ка, и не страшно будет. Тебя-то они седни, знамо, не узнают, а я сзади постою.

Еще издали, не дойдя до сосны, я увидел вьющихся около нее шершней. К моему удивлению, убавилось их, должно быть, совсем немного. Гудя однотонно, не очень злобно, они вились темной тучкой лишь с той стороны, где была раковина. Подойдя ближе, я так и остолбенел, не зная, верить или нет своим глазам: шершневое гнездо уже наполовину было залатано и восстановлено. Я долго стоял, не трогаясь с места, пораженный еще одним, только что открытым чудом природы. И даже не отвечал на подковырки Феде:

— Ну что, не узнают?

Федя не понимал моей странной любознательности. Как человек по-крестьянски деловой, он считал, что так долго глазеть на потревоженных шершней — пустая, зряшная трата времени, и поминутно звал меня от сосны:

— Чего таращишься на них? Пошли! Некогда!

Это верно, без конца глазеть на шершней, в самом деле, не было никакой необходимости. Но я никак не мог оторвать от них взгляда. Меня так удивляла тайна жизнестойкости шершневой общины, что в ней, этой тайне, я видел что-то поучительное и для людей.

III

Едва разгорелось повстанческое движение в трех главных очагах междуречья Оби и Иртыша, колчаковское командование предприняло широкие карательные операции. Главные силы были направлены против партизан Алейской степи, которые действовали в непосредственной близости от Барнаула. Одновременно батальон егерей полковника Окунева был направлен Касмалинским трактом — разгромить здешние партизанские отряды и достичь Солоновки.

14 августа 1919 года батальон Окунева встретился с партизанами нашей, Касмалинской волости под селом Малые Бутырки. Это был, пожалуй, самый первый большой бой со времени начала широкого повстанческого движения на Алтае и, несомненно, самый трагический. Все партизанские отряды, участвовавшие в бою, были разгромлены. Нелегко писать о наших поражениях, и только этим, должно быть, можно объяснить умолчание о нем в исторической литературе. Историки словно забывают, что война есть война. Лишь в книге В. Г. Мирзоева «Партизанское движение в Западной Сибири» я нашел такие строки: «Жестооченные бои между отрядом Окунева и повстанцами развернулись под селами Паново, Подстепное и Малые Бутырки. Последний бой был особенно тяжелым для повстанцев: один из отрядов был загнан белыми в озеро, рассеян и частично уничто-

жен. В плен попало около 300 человек. Многие из них были зверски замучены». Здесь необходимо уточнить: этот «один из отрядов» был сводным волостным отрядом (его называли даже «армией»), под общим командованием жителя Больших Бутырок Николая Иосифовича Каширова. А зверская расправа над пленными была учинена белогвардейцами в соседнем селе Букавском, которое в народе зовется просто Букавкой.

Главной причиной трагического поражения 14 августа является, несомненно, то обстоятельство, что повстанцы нашей волости, едва лишь поднявшие красные знамена над своими отрядами, еще не имели никакого опыта партизанской войны с регулярными войсками колчаковской армии. Да к тому же были очень плохо вооружены, главным образом самодельными пиками. В сводном отряде было много солдат-фронтовиков, привычных к позиционной войне. Эта многолетняя привычка, надо сказать, и подвела. Вместо того чтобы, избегая прямых, открытых встреч с противником, принять тактику внезапных, молниеносных ударов, устройства лесных засад и ловушек в озерном краю, быстрых отходов с запутыванием своих следов, ту тактику, какой давно с большим успехом пользовался Ефим Мамонтов, волостной штаб принял решение встретить батальон Окунева по правилам позиционной войны. Оседлав Касмалинский тракт, партизанские цепи растянулись в обе стороны от него: правый фланг «фронта» упирался в Большое Островное озеро, левый — вытягивался далеко в степь. Полковнику Окуневу не составило никакого труда обойти партизанские цепи со стороны степи, смять их и погнать — уже огромной толпой — в широкое озеро, у которого едва виден другой берег.

К сожалению, в этом бою не мог принять участие Ефим Мамонтов, уже пользовавшийся большой популярностью в повстанческом крае. В первые недели августа Мамонтов был чрезвычайно занят собиранием и организацией сил в обширной зоне вокруг Солоновки. Еще в своем первом приказе, изданном около 3 августа, он уведомлял население, что восстанием против Колчака охвачено около 500 сел и деревень. А в приказе № 2 от 16 августа (через день после боя под Малыми Бутырками) он сообщал: «Размах начавшегося крестьянского восстания настолько велик, что Главному штабу Славгородского района не представляется возможным установить прямую связь с вновь формируемыми отрядами восставших...» (Как видим, и приказы-то писать Мамонтову удавалось редко! Не хватало времени!) Однако связь Мамонтова с Большими Бутырками, несмотря ни на что, всегда была постоянной и надежной; это волостное село, как и Солоновка, стоит на старинном пути из Барнаула, откуда надо было ждать врага. Здесь всегда ходила почта, работали телеграфная и телефонная линии, постоянно — от села до села — неслись гонцы с донесениями сельских ревкомов и разных штабов. И в период подготовки к восстанию, и особенно в дальнейшем, в период всей гражданской войны, паца Касмалинская

волость, хотя и была не Славгородского, а Барнаульского уезда, находилась в зоне постоянного влияния штаба Мамонтова, что отмечается и на специальных картах в исторических исследованиях. Из партизан нашей волости впоследствии был создан 3-й Бутырский полк в армии Ефима Мамонтова. И не случайно, что после гибели славного главкома в 1922 году от рук кулацкой банды в память о нем именно Большие Бутырки были переименованы в село Мамонтово.

О движении батальона Окунева из Барнаула по Касмалинскому тракту, о приближении его к Большим Бутыркам Ефим Мамонтов, без сомнения, узнал своевременно. Но, догадываясь об основной задаче Окунева, он волей-неволей должен был прежде всего позаботиться о подготовке к обороне своей главной базы. Он не считал возможным встречаться с Окуневым в малоизвестных местах и готовился встретиться с ним где-нибудь поблизости от Солоновки, в родном озерно-лесном краю. (Это решение Мамонтова, как показали дальнейшие события, было очень разумным, принесшим победу.) К тому же, двигаясь с юга, из Семипалатинска, белогвардейские каратели уже нападали на его отдельные отряды, и надо было спешить расправиться с ними до встречи с Окуневым. Не исключено также, что Мамонтов, кроме всего, о чем уже сказано, еще и понадеялся на боеспособность Бутырского отряда Каширова — если судить по его численности, он действительно мог оказать серьезное сопротивление батальону Окунева во встречном бою. Но воюют, как известно, не числом, а умением да еще оружием...

IV

Всегда обуреваемые стремлением к самостоятельности, мы решили в тот раз сорвать к обеду два арбуза без подсказки дедушки Харитона. Мы их облюбовали не с первого взгляда, а после долгих поисков, и усердно общелкали в две руки со всех сторон — и по утонченной плети, и по цвету коры, и по звучанию всего арбузного нутра, — словом, по всем народным приметам арбузы показались нам вполне зрелыми. Мы тащили эти большие арбузищи, от натуги выпирая вперед животы, и наперебой хвастливо судили-рядили о том, как надивим всезнающего дедушку своей сообразительностью. Но тот, мельком взглянув на наших полосатых красавцев, уложенных на землю, заговорил со странным миролюбием, от которого веяло некоторой загадочностью.

— Ну, дак ладно, ладно, раз сорвали — ешьте. Только чтобы без всякого остатка. А у меня седни нет на них охоты, на чай потянуло.

Первый арбуз оказался лишь с легонькой розовинкой — ему нужно было калиться на жарком солнце еще не менее двух недель, чтобы достичь средней зрелости. Нам стоило немало труда и времени одолеть его вдвоем. Приниматься за второй не хо-

телось. Но дедушка Харитон, наблюдая за нашей заминкой, подвинулся, и нам показалось — совершенно искренне:

— Вы чо это седни, мужики? Неужто наелись? Одним-то арбузом? Может, стесняетесь? Да вы чо, господь с вами, валяйте, валяйте, режьте второй! Тот, однако, еще слаще будет!

К нашему несчастью, мы тогда были особенно податливы на уговоры и вскоре развалили второй арбуз на две равные половины, как делали всегда, во избежание обиды с чьей-либо стороны. И обмерли до полной немоты, ужаснувшись своей трагической оплошности. Арбуз оказался совершенно зеленым, будто ни одного дня и не лежал на солнце.

— Ну вы чо, мужики, никак, онемели? — заговорил дедушка Харитон опять же очень миролюбиво. — Небось думаете, обмшнулились? Не-ет, это такая порода. Редкая порода! А вот отпробуйте и узнаете: слаще сахара.

Отпробовав, мы брезгливо отложили свои куски.

— Да вы чо, может, заболели? — жалостливо осведомился дедушка.

— Сам попробуй, — ответил Федя.

— Нет, мужики, это не дело! — Дедушка Харитон, должно быть, решил основательно проучить нас за самовольство. — Сами рвали — сами и ешьте. Тут свиной нету, а выбрасывать добро не годится. Пока этот не доедите — рвать ишшо не дам. Так и знайте.

Он велел нам убрать обе половины арбуза в шалаш и прикрыть их, чтобы не завяли, мешковиной. Мы поплелись, как побитые собачонки, подальше от шалаша, на край бахчей, где часто любили валяться от безделья на горячем песке. Но обычной ребячьей болтовни, всегда у нас здесь оживленной, теперь не получилось: каждого из нас всерьез обеспокоила дедушкина угроза. И мы вдруг заспорили, что вообще-то случалось между нами редко.

— Это ты сорвал, — первым начал Федя. — Второй-то.

— Врешь, ты! — вскипел я мгновенно. — Ты, ты!

Конечно, от чрезмерной досады чего не бывает даже между друзьями. И потом, вдвоем, без остальных ребят из нашей ватаги, мы уже несколько дней жили по-родственному мирно, в полном согласии, что, как ни говори, совершенно противоестественно мальчишеской природе. А тут выпал такой подходящий случай сделать жизнь более содержательной, и мы вскоре так раскипятились, что волей-неволей пришлось хватать друг дружку за грудки и за чубы. И только когда, катаясь клубком, начали мять арбузные плети, вдруг разом опомнились, повскакали и, не сговариваясь, бросились с бахчей.

Солнце уже снизилось до вершин сосен, когда мы, решив все же выполнить требование дедушки, вернулись к поляне.

Дедушка Харитон ходил по бахчам и, нагибаясь, выбирал арбузы для гостей: около шалаша кружком сидели трое незна-

комых людей в самотканых холщовых рубахах, с непокрытыми взлохмаченными головами.

Подманив нас к себе, дедушка подал нам арбузы и сказал неизвестно отчего ослабшим голосом:

— Несите-ка...

— А кто там? — спросил Федя шепотом.

— Увидите, — ответил дедушка с мрачной загадочностью.

Мы направились к шалашу следом за дедушкой с охотничьей настороженностью. По озабоченному, непривычно суровому виду дедушки, его померклому взгляду и упавшему голосу мы почувствовали, что случилось какое-то большое, касающееся всех нас несчастье.

Трое пришельцев, не оглядываясь, с жадностью трудились над нашим зеленым арбузом. Мы с Федей опасно призадержались у шалаша, а дедушка Харитон, подойдя к гостям, невесело спросил:

— И не дождались?

— Во рту пересохло, — ответил один из гостей хриплым, но очень знакомым голосом. — Тяжело идти было.

— Да арбуз-то — одна зелень!

— Ничего! Мы сейчас всему рады!

По это же был голос отца! Хриплый, с насадой, но его! И во мне вдруг будто оборвалось что-то...

— Всему! Всему на свете! — повторил отец, обернувшись к дедушке Харитону, и затем продолжал, почти выкрикивая короткие, рубленные фразы, выкрикивая с такой болью, будто отрывая их одну за другой от самого сердца: — Любой кочке на земле! Любой былинке! Любой пташке! Я уж не говорю о солнышке, о небе... И все, все нам сейчас влады! Любая еда! Любая водица! Даже из лужи. Вот какие мы теперь! Все нам на свете теперь любо и дорого!

— Видать, хватили вы, — промолвил дедушка.

— Через край! Вздохло! До тошноты!

И верно, трудно было узнать отца даже с близкого расстояния. И не оттого, что он, в залатанной, заношенной крестьянской одежде, босой, не имел ничего общего с тем человеком, каким бывал дома всегда, и особенно с тем подтянутым военным, при оружии, с красным баптом и биноклем на груди, каким я три дня назад встретил его на тракте, когда он отправлялся с отрядом в бой. И даже не оттого, что зарос, чего не водилось за ним никогда, темной щетинкой, со свежим, едва засохшим рубцом на открытой шее и большой ссадиной на правой скуле. Трудно узнать отца было прежде всего по общему выражению его лица. За три дня оно так потемнело, задубело, исказилось от какой-то внутренней боли, что, казалось, ему уже никогда не быть чистым, ясным, открытым, каким было прежде. И что совсем страшно: на его чужом лице были совсем чужие глаза — не ясные, не лучистые, а глубоко запавшие, с замутью, с омутной пугающей таинственностью. Он даже не мог разглядеть меня,

когда разговаривал с дедушкой, хотя я и находился в поле его взгляда. Он ничего не видел вокруг, когда говорил дедушке, каким стал теперь, побывав в бою. И тут я всем существом своим осознал, что и с отцом, и с его отрядом случилась страшная беда. Не выдержав, я с криком бросился к отцу...

Успокаивая меня, прижимая к своей груди, он заговорил более знакомым голосом:

— Ну, как вы тут?

— Сторожат, — с похвалой отозвался за меня дедушка Харитон, но тут же и добавил не без ехидства: — Самы уже арбузы выбирают. Вот этот как раз они и выбрали.

— Ничего, научатся! — обнадеживающе ответил отец и, зажав мое лицо в ладонях, разглядел, как оно распухло. — Эх, ясно море! Миша, да что с тобой?

— Тоже воевал, — ответил дедушка Харитон.

— Больно было, а? Больно?

— Нет, — ответил я совершенно серьезно, почему-то считая теперь, что ту боль, какую мне причинили шершни, на самом деле нельзя и считать болью.

Спутниками отца оказались Иван Елисеев (не то первый, не то второй) и наш совратитель Филька, считавшийся ординарцем командира отряда. Они тоже были в чужой, сильно поношенной одежде, где-то раздобытой из милости. Сильно похудевший Иван Елисеев бесцельно держал в руках, положенных на колени, лишь слегка надкусанный ломоть арбуза, опустив над ним голову, скрывая от людей свои глаза; видно было, что он и хотел бы утолить жажду арбузной влагой, но у него нет сил донести ломоть до своего рта. А Филька, тот остался прежним, ел арбуз с жадностью, но, как это ни странно, вроде бы немного остепенился и научился придерживать язык за зубами.

— Сварить похлебки? — предложил гостям дедушка Харитон. — Оголодали небось?

— Не надо, у нас хлеб был, — ответил отец. — Вот арбузов еще давай.

— Откуда же вы сейчас-то идете?

— Из Шаравиной. К родне заходили. Там нас и приодели как могли. А то ведь мы явились туда в одних подштанниках. Прямо стыд и срам. Пришлось ночи в бору дожидаться, чтобы явиться людям на глаза.

Филька взялся хозяйничать — разрезал свежий, спелый арбуз на крупные куски, а дедушка вынес из шалаша каравай хлеба и, полагая, что уже соблюдены все правила гостеприимства, со вздохом начал расспросы:

— Значитца, мужики, побили вас?

— И вспоминать горько! — теперь очень тихо ответил отец.

— Насмерть, дядя Харитон, били, — пояснил Филька, считая, что о случившемся надо говорить более откровенно.

— Как же так вышло, мужики?

— Ефима Мефодьевича с нами не было... — Отец преклонялся

перед Мамонтовым давно, но особенно после встречи с ним в Солоновке. — С беляками надо умеючи воевать, у них вои сколько оружия! А что мы с одними шками? Случилось бы сойтись врукопашную — тогда другое дело. А белякам зачем ходить врукопашную? Они косят из пулеметов. Обошли с флангов и попали в озеро.

— После бани — купаться, — съязвил все же Филька.

— Из наших-то немногие успели добежать до озера, — продолжал отец, не одобряв взглядом неуместное Филькино зубоскальство. — Мы как раз на левом фланге стояли, дальше всех от него. Нам больше всех и досталось. Спаслись те, какие успели удариться в степь да в камыши на курье. А что толку, если кто и добежал до озера? Его не переплывешь. Кто успел найти какую-нибудь доску или бревнышко, тот спасся. А кто так бросился, со страху, тот и потонул, понятно.

— Я успел бы добежать и не утонул бы, — возразил Филька, очевидно тяготившийся своей непривычной степенностью. — Да как я мог вас бросить, дядя Семен, раз я вам ординарец? Я очень даже понимаю воинскую дисциплину! А вас не узовешь! Наши уже все пики побросали, а вы... Все кричите, кричите, вои как охрипли! А как же с беляками биться голыми-то руками?

— Да, паника была, — с горечью и неохотой признал отец. — А это в бою страшное, оказывается, дело. Солдат уже не солдат, а так, можно сказать, несчастный, больной человек. Такого хоть связывай, у него уж глаза побелели! И винить такого нельзя. Одно слово — паника. Воинская болезнь. Из-за нее много наших погибло.

Иван Елисеев, все время будто дремавший от бессилия, вдруг затрясся всем телом и выронил из рук ломоть арбуза.

— Братана убило, — сообщил отец шепотом.

— Де неужто? — воскликнул дедушка Харитон. — Вот беда-то! Вот беда! А которого же из них убило?

— Старшего!

— Стало быть, это младший, а я его за старшего принял. Ну да теперь ему за старшего и быть.

Иван второй Елисеев, который обычно звался Ваньшей, все еще тихонько плакал, и все постепенно примолкли. Дедушка Харитон молча пододвинул отцу свежий пласт арбуза, но отец на этот раз даже не дотронулся до него рукой.

— Эх, ясно море! — прошептал он немного погодя. — Золотого парня сгубили! Я его видел, как началась атака.

— Вот тогда его и поранило в грудь, — вдруг заговорил Ваньша Елисеев, впервые подняв заплаканное лицо. — Я его на себе ташшил. Ото всех отстал, а ташшу. Остановился передохнуть, гляжу, а он уж и неживой. Тут и меня сбили с ног. А если бы братку не убило, мы тоже бы уплыли за озеро.

Дедушка Харитон и перед Ваньшей положил пласт арбуза, но отец сказал:

— Не будет. Два дня ничего в рот не берет.

— Родной крови нахлебались, — словно распаясь, выговорил Филька. — После нее до еды ли?

— Опять ты! Утихни! — попросил его отец, и стало ясно, что именно он удерживал Фильку от излишней болтливости. — Дальше-то вот как было дело, если начистоту... — Он собрался-таки с силой, чтобы поведать о беде. — Пригнали нас стадом в Буканку. Набили полную школу — стены трещат. Все едва на ногах стоят, со всех ручьями пот льет, а тут дышать нечем! Под утро давай все шуметь, ломиться в двери. Ну ладно, дождались, выгнали нас на площадь, выстроили в две шеренги. Тут офицеры и давай выхватывать нас, командиров, из строя. А всех нас, как ни говори, видно, и по военному обмундированию, и по сапогам, и по ремням. Ну, тут же все содрали с нас, оставили в одних подштанниках. А заодно — кого в ухо, кого в зубы, а кого пинком ниже живота. Одним словом, видим — с нас и начнут. И начали бы, да подбегает молоденький офицерик и кричит: «Этих приказано сначала на допрос! Давай гопи!» Отогнали нас — восьмерых, кажись, если не отшибло память, — в сторону, усадили на землю, приставили часовых. А допрос-то, видать, пока некому делать. Окунев-то, видать, отсыпался после боя и выпивки. А у офицера руки чешутся, души крови просят. И вот мы сидим, как окаменели. Ни рукой, ни ногой не можешь пошевелить — нет никаких сил! А сердце так и оглушает — в голове сплошной шум. Одни глаза живы. Глядим — выводят из каждого ряда по четыре человека, начиная с правого фланга, и тоже наголо раздевают. Окружили и погнали. Я и стрельбы-то не слышал: опомнился — лежу на земле, а меня пинками катают...

Видя, что отец не может продолжать, Филька сказал:

— И опять давай выводить! Опять восемь человек!

— Я как раз на правом фланге стоял, — заговорил Ваньша Елисеев негромко и печально. — И все молил бога: «Пускай выведут меня, пускай тоже убьют!» Не дошла моя молитва...

— Да ты чо? В уме ли был? — поразился дедушка Харитон.

— В уме. Я не хотел живым оставаться. Без братки.

— Миновало, стало быть, слава богу!

— Гляжу я, по расчету выходит, что попадет под расстрел мой сосед, — продолжал Ваньша Елисеев. — С бородой уж дядя, в годах. Гляжу, а он весь трясется, шепчет: «Господи, детишки у меня, детишки!» Хотел я встать на его место, да унтер оттолкнул меня, сказал: «Дурак! Тебе повезло, ну и стой на месте! Ты по глупости попал, а он с умом!» Вот как миновало. Убивался тот дядя, даже идти своими ногами не мог...

— И сколько же раз вывели? — спросил дедушка Харитон.

— А я не помню, — ответил отец. — Сбился со счета.

— Шесть разов, — сообщил Филька.

— Господи боже! Стало быть, сорок восемь?

— Да, сорок восемь...

— Кого же из наших-то побили?

- Многих. Восьмерых, однако...
- Боже мой! Кого же?
- Моргунова Николая...
- Это Коляшу-то?
- Ланчевского Якова, Ветрякова Ивана...
- О беда-то! О беда!
- Бубенщикова Федора...
- Стой! Погоди! Не сразу...

Немного погодя, перечислив всех гуселетовцев, расстрелянных в Буканке, Филька добавил:

- И меня выводили. И уже раздели догола.
- Как же уцелел? — спросил дедушка Харитон.

— Вот меня-то воистину господь спас, хотя я и не молил его, признаться дак, — с привычной, всегда несколько развязной откровенностью ответил Филька. — А просто так, без всякой молитвы, взял да перекрестился три раза подряд. Потом гляжу, а откуда ни возьмись поп идет, кадилом машет, ладаи пускает. Машет и громогласно так, смело так говорит белым гадам: «Образумьтесь, господа офицеры! Не проливайте лишней крови! Вам это, господа, зачтется на том свете!» Я не могу, знамо дело, все его церковные слова пересказать. «Лишняя кровь, — говорит, — отзовется лишней кровью, а всевышний — он против братоубийства». Тут белые гады замялись, не знают, как быть — отталкивать попа с кадилом или нет? А он перед ними стоит, машет. Гляжу опять же, подскакивают конные... Кто-то старший, однако...

— Да сам, видать, Окунев, — сказал отец.

— О чем он говорил там с офицеришками, мне не слышать было, — продолжал Филька. — А только один вернулся к нам и орет во все горло: «Разойдись!» На том и закончилось смертоубийство. Всех отпустили по домам.

— Вот видишь, окстился, господь-то и помог! — Дедушка Харитон был доволен, что непутевый Филька, пусть и случайно, представил такое бесспорное доказательство всесильности и милости всевышнего. — А вы все ленитесь кстить свои лбы, — добавил он с укоризной.

— Хитрый он, этот Окунев, гадюка, — заговорил отец. — Да только грош цена его хитрости. Он, гадюка, сам приказал расстреливать, это уж точно, а потом, видишь ли, явился и сделал вид, будто все кровопролитие затеяно без его приказа! Увидел, что все село злобой дышит, и захотел показать себя перед народом добреньким, милостивым. Чтобы слава о нем пошла — только он, дескать, и спас людей от верной гибели. Такие гады всегда на других все сваливают. А потом и тех, кто их приказы выполнял, тоже лишают жизни.

— А вас-то допрашивал? — спросил дедушка.

— А чего ему нас допрашивать? — ответил отец. — Ему и так все известно. Все командиры — те же мужики, ну больше из солдат, только и всего. Он тут же ускакал куда-то, а офицеры

давай нас пороть шомполами. Со злости. Вот, глядите, какие отметины! — Вся спина отца была в кровавых рубцах. — А потом подвели к куче одежды и говорят: «Берите по штанам и по рубахе». Искать свое не дали. Бери что попало. А кто будет чужое брать? С убитых-то? «Ну и черт с вами, — говорят, — ступайте нагишом!» Так мы и ушли.

— А пошто за озеро-то подались, в Шаравино?

— Все бросились куда глаза глядят, — ответил отец. — Кто в Бутырки, кто в степь. А я побежал к колодцу. Глотаю из бадьи, а тут подходит ко мне один беляк, из солдат, и тихонько говорит: «Не ходите дорогами — догонять будут, и домой не ходите — всех половят и прикончат!» Вот что, думаю, все-таки мало им нашей кровушки! Я скорее к озеру, а там вот ребята лодчонку отыскивали. Вместе и ударились в Шаравино. А оттуда — бором, бором. Я с непривычки все ноги исколол и оббил о корни.

— Чего же сапогов-то не дали?

— Мне давали, а всем не было. Я и не взял.

— Надо домой, дядя Семен, — сказал Ваньша Елисеев. — Может, кто опередил нас и там уже все знают. Чего у нас в доме сейчас? И думать боязно.

— Погодите еще немного, вот солнце сядет, — посоветовал отец.

— Пока идем — сядет.

— Только осторожно, не показывайтесь никому на глаза. Я здесь заночую. Прибуду на зорьке. На кордон не заходите... — добавил он с намеком. — Да помаленьку собирайте тех, кто вернулся или только вернется. Как говорится, горе горюй, а дело делай. Может, завтра же и уйдем.

— Куда еще? — ахнул дедушка.

— На соединение с Мамонтовым. — Это решение отец и его спутники, судя по всему, приняли сразу же после того, как их миновала смерть. — Ты что же, думаешь, мы так перепугались, что теперь на попятную? Нет! Нас теперь не остановишь! Мы опять соберем отряд и опять пойдем с красным знаменем! Соединимся с Мамонтовым и еще отомстим гадам за смерть наших товарищей! Вот увидишь!

— Сейчас всех вряд ли соберешь, — усомнился дедушка Харитон. — Как ни говори, а многие теперь напуганы. Разбегутся по пашням. А тут еще самая страда.

— Пусть не всех, а соберем!

Получив от отца еще какие-то наказания, Ваньша и Филька ушли в село. В бору быстро вечерело. Отец все сидел и сидел у костра — то молча, задумавшись, то внезапно начинал говорить, но всегда с каких-то неожиданных слов — не сразу можно было понять, о чем он ведет речь. Вероятно, он больше говорил во время дремоты, про себя, а вслух, подчиняясь какому-то внутреннему толчку, произносил лишь отдельные фразы, которые трудно связывались воедино. Дед несколько раз уговаривал

его уйти в шалаш, но он отказывался и в подтверждение того, что еще способен бодрствовать, рассуждал вслух иногда в течение нескольких минут, но потом его опять одолевала дремота.

Из его бессвязного, полудремотного разговора я все же понял, что ему тоже очень хотелось бы поскорее попасть в село, но он, к своему стыду и огорчению, совершенно выбился из сил: он не спал ночь перед боем да и ночь в Шаравине не сомкнул глаз. А как ему хочется в Гуселетово! Надо повидаться с теми партизанами, какие возвращаются в село, чтобы ободрить и обнадежить их, надо поговорить с теми семьями, которые лишились дорогих людей, и убедить их, что кровь родных, погибших за великое дело, не пропадет даром... Да мало ли сколько дел сейчас в селе, вбудораженном, опечаленном и папуганном разгромом отряда в первом же бою! Из отцовских отрывочных фраз я понял также, что, как ни страшна случившаяся трагедия, она не сломит народную волю к борьбе. Народ, несмотря ни на что, не будет мириться с колчаковской властью. Он вновь возьмется за оружие. Война-то началась не шутейная, не на жизнь, а на смерть. И здесь в словах отца я опять почувствовал яростное горение той удивительной отцовской веры, поразившей меня еще весной, веры, которая породила и поддерживала в нем острое предчувствие пензбегских, скорых и счастливых перемен в жизни.

Но наступала ночь, и я решил помочь дедушке — начал осторожно трогать дремлющего отца за плечи:

— Пойдем в шалаш! Пойдем! Ты упадешь в огонь!

— В огонь? — отозвался отец удивленно, но, опомнясь, увидев себя у затухающего костра, где остывала, покрываясь пеплом, горюшка углей, вдруг зачем-то спросил меня: — Признайся, ты не боляк, когда разбивал шершневое гнездо?

— Нет, — ответил я твердо.

— А еще бы пошел разбивать?

— Да хоть завтра!

— Так и надо! — проговорил он раздумчиво. — Подумаешь, искусали! Велика беда! Заживет!

Он уснул быстро и тихо.

В первое время я с тревогой прислушивался к его почти беззвучному дыханию. Да уж не помирает ли? Говорят, многие умирают во сне. И в эти минуты я с особенной остротой чувствовал, что в глубине моего существа все более дает себя знать, накапливаясь и разрастаясь, нехорошая, неудержимая дрожь. Она зародилась во мне — я это сразу же почувствовал — еще тогда, когда отец начал рассказывать о бое и особенно о расстреле партизан в Буканке. Она мучила меня, эта дрожь, все время, пока мы сидели у костра. Мне стоило немалых трудов сдерживать ее на глазах людей. А вот теперь, когда все спали, я уже был бессилен перед нею. Меня знобило от страшной мысли как в лихорадке. Ведь у меня, как у других ребят в селе, уже могло и не быть отца! Да разве я мог подумать об этом, когда встретил его

с отрядом на тракте? И нельзя сказать, чтобы я совершенно не понимал, куда отправляется отец с отрядом и какие опасности его там ожидают. Ведь я уже знал, что война есть война — на ней убивают и калечат многих людей. И все же, проводив отца в бой, я ни разу за два дня не подумал о том, что он может погибнуть... Что это? Неосознанная вера в его бессмертие? В тот день, когда меня отсылали на бахчи, я понял, что к той родственной, или, как говорят, кровной, связи, существовавшей в моих отношениях с отцом, прибавилась какая-то ниточка связи, пусть и тонкая, но необычайно крепкая, надежная, — ее можно назвать, если не бояться высокого слова, общечеловеческой, что ли... Да и не только это тогда случилось. Между нами, если опять-таки не бояться высоких слов, зародилась, как мне кажется, мужская дружба, которая бывает зачастую крепче той связи, которая побуждается родной кровью. Мог ли я при таких обстоятельствах, которые делали меня счастливейшим человеком, думать о возможности гибели отца? Между тем, как теперь оказалось, его уже могло и не быть. И всем отношениям, какие так удачно сложились между нами, мог настать конец... А что же было бы? Да ничего! Одно сплошное сиротское горе, темное, как осенняя ночь! Тихонько рыдая, я старался поплотнее прикрывать рот дерюжкой.

ВОЗМЕЗДИЕ

I

Утром, когда я проснулся, отца уже не было на бахчах.

— На зорьке ушел, — ответил дедушка Харитон, подвешивая на тагане задымленный чайник. — Велел и тебе к полудню дома быть. Вот приедет за арбузами Алешка — с ним и уедешь. С Фейдой? Ну, вайлите, вместе дак...

— А чего нам Алешку ждать? — не умея сдерживаться, возразил я немедленно. — У нас свои ноги есть. Дойдем.

Дедушка взглянул на меня искоса:

— Ну, коли не терпится, ступайте.

А мне и на самом деле не терпелось. Я считал, что надо как можно скорее попасть домой и хотя бы еще немного побыть с отцом, пока он не отправился в Солоновку. Теперь-то я хорошо понимал: пока не кончится война, отцу всегда будет грозить смерть, и надо дорожить каждой минутой, проведенной рядом с ним, рука об руку, с глазу на глаз. Ну а я был убежден, послушав его вчера, что он не остановится ни перед какой угрозой и более одного дня не будет задерживаться в Гуселетове. Да и зачем ему было задерживаться? Ждать, когда схватят беляки? Они ведь могут нагрянуть тут же, следом...

После завтрака мы помогли дедушке по его выбору натаскать с бахчей к шалашу арбузов и дынь, чтобы не задерживать здесь Алешку, когда он приедет, и налегке отправились в село.

Выйдя из бора к тракту, я сразу же вспомнил, как четыре дня назад мы неожиданно повстречались здесь с гуселетовским отрядом. До самых малейших подробностей запомнилась эта встреча. И отец, и все партизаны, вооруженные в большинстве пиками, не могли, конечно, не понимать, как им трудно будет сражаться с беляками, у которых полно всякого оружия, но все равно — мы это хорошо видели — отправлялись в бой с необычайной верой в свою победу, с блестящими от ее счастливого ожидания глазами. И хотя мы лишь на полчаса, случайно и касательно, приобщились к походной жизни партизан, мы все же успели почувствовать ее откровенное и удивительное горение, горение высочайшего накала, по той страстности, с какой они выплескивали из своих душ знаменитую песню революции.

Теперь же я знал, что даже такое обнаженное и бесстрашное счастье, с каким гуселетовцы отправлялись в бой, не весильно. Я хорошо видел, что стало с моим отцом и его спутниками после недавней трагедии. Но вот ведь чудо из чудес: не успев еще опомниться от беды, они, несмотря ни на что, снова собирались взяться за оружие, да не по чужой, а по своей воле. Стало быть, в их душах, все еще содрогавшихся от пережитого ужаса, не исчезло до конца то разительное чувство, с каким они отправлялись в бой.

Это были как весьма смутные, так и сложные, нелегкие раздумья для незрелого, мальчишеского ума. Медленно, с трудом, но я начинал более ярко осмысливать то, что происходило в родном краю, почему одни люди — «за красных», а другие — «за белых» и почему между ними неизбежна война. Нет, я совсем не собираюсь преувеличивать свои тогдашние ребяческие познания общественных событий (как известно, и взрослые-то не все разбирались в них отчетливо), но они по воле судьбы не однажды вызвали такие потрясения всего моего существа, какие даже малому человеку помогают понять, пусть с некоторой долей наивности, где правда, а где кривда.

Вчера, услышав о поражении в Буканке, мы с Федей внезапно так присмирели, что до ночи лишь испуганно и молча переглядывались. И даже утром нас не потянуло, как обычно, на бесконечную болтовню.

— Вы чо нахохлились-то, как воробушки? — подивился дедущка Харитон.

И только вот теперь, выйдя на тракт, нам захотелось поговорить о случившейся беде. Оглянувшись в сторону Больших Бутырок, я начал как-то неопределенно:

— Никого...

— А кого тебе надо? — спросил Федя.

— Гляжу, нет ли беляков.

— Они сейчас вокруг Буканки рыщут!

— Может, и сюда уже скачут?

— Увидим, если чо, дак...

— А если попадемся в плен?

— Да не попадемся, что ты! Как увидим — сиганем в подсолнухи! Поймай-ка нас!

— Спрятаться-то, знамо, спрячемся, — охотно согласился я с Федей. — Ну а если все-таки попались бы? Что тогда? Вот спросили бы тебя: «Ты за кого?» Что ты сказал бы?

— Я? — Федя даже опешил. — За красных, знамо!

— Я тоже бы... А если бы стали бить?

— Ну и чо? Пускай бьют!

— А если бы повели на расстрел?

— Пускай! Трусить будем, чо ли?

— Этот Окунев, погляди, какой гад! — продолжал я, незаметно уклоняясь от продолжения мною же затеянного разговора. — И какой хитрюга! Добрым захотел себя показать!

— Белый палач! Кровопийца! — разошелся и Федя. — Этому гаду, знамо, не житье без диктатуры Колчака! — добавил он, употребив непонятное слово, недавно подхваченное на крестьянской сходке.

— Погоди, Мамонтов ему задаст!

Говоря так, мы и не подозревали, конечно, что окажемся маленькими пророками...

Случайно взглянув на ближайший телеграфный столб, я спросил Федю, как человека здешних мест:

— А куда эти столбы идут?

— Далеко, однако, — неуверенно ответил Федя. — До Славгорода, а то и до Омска.

— Значит, до самого Колчака?

— Выходит, до него.

— Давай послушаем, а? Может, что-нибудь услышим?

— Лезь! — сказал мне Федя.

— Может, этот гад Окунев откуда-нибудь сейчас с самим Колчаком разговаривает! — высказал я предположение. — Небось хвастается, гад, сколь партизан побил в Буканке да сколь еще поймал по другим селам! А Колчак ему...

— Да лезь ты скорее!

Гудение проводов мне показалось напряженным, временами даже с волчьим завываньем, — это как раз и могло служить доказательством того, что разговор шел зловредный и, песомненно, между Окуневым и Колчаком. Оглянувшись на Федю — он неотрывно следил за мной с земли, — я крикнул ему:

— Разговаривают, гады! Злобствуют!

— Ты слушай, слушай! — прикрикнул на меня Федя.

Я подставлял ухо к разным проводам — везде шло непрерывное, напряженное гудение, но в этом гудении, сколь я ни напрягал слух, мне не удавалось уловить ни одного слова. А Федя торопил:

— Ну чо они там, о чем?

— Ничего не разберу!

— Да ты оглох, чо ли? А ну слезай!

Но и Феде не повезло. Через несколько минут он слез со столба в большом смущении, пожал плечами:

— Разговаривают, а ничего не слышать! Я все провода слушал, все чашечки...

О назначении фарфоровых изоляторов мы не знали. Нам думалось так: хотя разговор ведется, конечно же, по проводам, но именно в чашечках и заключается главная тайна телефонной связи. Не будь их — и все пропало.

— Я им сейчас поговорю! — выкрикнул я, взрываясь и потрясая кулаком. — Где бы палку? Ищи!

С палкой в зубах я вновь поднялся к вершине столба и, оберегая лицо, принялся изо всей силы крошить изоляторы. По проводам, оглушая, пошел гул...

— Ага, взвыли, гады!

Но тут, хотя и в горячке, я догадался оглядеться по сторонам. На дороге со стороны села пылила телега. Я с досадой соскользнул со столба, загнав в оголенный живот несколько заноз.

— Едет кто-то, — сообщил я Феде.

— Это Алешка, — догадался Федя.

— Вот язви его! Помешал!

Выйдя к дороге, мы вскоре повстречались с Алешкой.

— Вот и вас бы забрали в плен, — сказал он нам невесело. — И вас бы расстреляли.

— Отвяжись! — осерчал на него Федя. — Васятку не видел?

— Ехал мимо — он выглядывал в окно. Ревет. У них в доме сплошной вой. Да нынче все село ревет. Зайдите к дружку-то...

Но нам не нужна была его подсказка. Еще не сговариваясь, мы знали, что в селе прежде всего зайдём попроведовать своего несчастного дружка. Мы понимали, что ничем не сможем ему помочь, но тем более хотелось хоть немного ободрить его своей дружбой.

Войдя в калитку к Елисеевым, мы увидели, что могучий, рукастый Лукьян Силантьевич, впрягшись в оглобли, выкатывает телегу-рыдвап из-под навеса. Он остановился посреди двора и не выпустил, а выронил из рук оглобли. Потом обернулся к жене, Дарье Степановне, и заговорил с удивившей меня, впервые услышанной в его голосе требовательностью:

— Да перестань ты, мать! Не бреди душу! Собери-ка лучше чего-нибудь в дорогу, слышишь?

— Не ездил бы ты седни, отец, погодил бы, — слабо, безнадежно попросила Дарья Степановна, убирая с лица пряди растрепанных, не прибранных с утра волос и смотря на мужа сквозь невысыхающие слезы.

— Как же не ехать? — обиженно переспросил Лукьян Силантьевич. — Да ты чо? Одумайся-ка!

— Их тама, поди-ка, уже похоронили.

— Так хоть узнаю где!

— Отец, да разве я тебе перечила бы? — попыталась оправдаться Дарья Степановна, приблизившись к мужу шага на два. —

Разве мне самой не хочется знать, где он, мой соколик, мой бедный, лежит сейчас? Я сама пешком бы туда побегла! Сил терпеть нету, мочепьки нету! Да ведь я боюсь, отец, боюсь! Все во мне дрожит, вот как перед богом говорю! Беляки-то, поди, еще там! Явишься — и тебя под пули!

— А меня пошто?

— Скажут, ты отец, зачем пускал?

— Сам ушел, поперек моей воли! Вот и весь сказ!

— Так они тебе и поверили! Да если еще дознаются, что тебя уже пороли...

— Мало пороли! Плохо учили! — вдруг возвысил голос Лукьян Силантьевич, не боясь, что его могут услышать с улицы. — Вот теперь выучили, да! Кровавой наукой!

Мне припомнилось, каким я видел Лукьяна Силантьевича весной, на пашне. Все мужики и кони к вечеру уставали, а он готов был, пусть на себе, таскать плуг всю ночь. Но при своей недюжинной силище, как это чаще всего и бывает, он отличался редкостной стеснительностью. Когда приезжал из волости мордастый милиционер требовать, чтобы его сыновья явились на призыв, он удивил меня своей покорностью. «Как же с пашней-то? — спрашивал он милиционера озадаченно. — Отпахались бы, тогда...» Он не послушался друзей-соседей и отказался скрыться, когда его потребовали в сборню. Но видно, порка в волости не прошла даром, а гибель сына и вовсе совершила перелом в его душе.

— Допрежь бы поумнеть-то мне надо было! Допрежь! — пожалел он со вздохом во всю грудь и досадливо отмахнулся рукой, словно отбрасывая от себя навсегда свою неученость, от которой пострадал так жестоко. — Когда уходил отряд, вот когда! Пошел бы я с ними вместе, может, и уберег бы...

Потеряв надежду уговорить мужа, Дарья Степановна решила призвать на помощь дочерей. Выталкивая их обеими руками вперед, она потребовала:

— Отговаривайте отца-то, отговаривайте! Языки у вас отнялись, чо ли? Пускай повременит денек. Может, беляки-то уйдут из Буканки.

Но Васяткины сестры не нашли никаких слов, способных остановить отца, а просто заревели в голос на весь двор, что у девочек всегда считается неотразимой силой. Дочерний рев хотя и смутил Лукьяна Силантьевича, но ненадолго.

— Не ревите, — сказал он дочерям мягко, но властно. — Знаю свое.

Тогда Дарья Степановна вспомнила о свекре. Силантий Егорыч, глуховатый и почти слепой старик, сидел на ступеньке крыльца, держась обеими руками за клюку, поставленную между худеньких ног, обутых в изношенные и подшитые кожей пимы. Он плохо понимал, куда собирается меньшой сын Лукьян, с которым доживал век, и Дарья Степановна, подступив к нему совсем близко, удивленно заговорила:

— Да вы чо, папаня, аль уж позабыли, куда он собрался? В Буканку! — выкрикнула она, пагнувшись к самому уху старика. — Первенького Ивана искать!

— А пошто он тама? — спросил дед.

— Да вы чо, папаня? — Дарья Степановна даже всплеснула руками. — Чо с вами? Все уж позабыли? Да он же убитый, первенький-то, Ванюшка-то... — И она зарыдала.

— А-а!.. — протянул дед. — Убитый? А кто его?

— Да белые, белые! О господи!

— А за што они его?

— Да ни за што! Беда с вами, батя! — Дарья Степановна опять нагнулась над стариком. — Упростили бы Лукьяна-то. Он ведь туда собрался! В Буканку! Могилу искать!

— Так с утра бы надо, — ответил дед вполне резонно.

— О господи! Вот и толкуй с ним!

— С утра-то мы сами себя не помнили, — заговорил Лукьян Силантьевич негромко, не отходя от телеги, и, стало быть, не для глухого отца. — Все как очумели от горя-то. Вот только сейчас я опомнился, одыбел немного.

Оглянувшись на ворота, он увидел нас у калитки.

— Убили нашего Ивана-то первого... Слыхали? — заговорил он с нами, подходя к воротам. — Да еще опосля безоружных сколько побили! Во, ребята, какие есть на свете душегубы! Ну и им того не миновать! У нас еще один Иван есть. Он и за себя отвоюет, и за брата. А нужна будет подмога — меня крикнет, я помогу. Возьму вилы да пойду!

— Ты чо, отец, разошелся-то? — стесняясь перед нами за мужа, заговорила Дарья Степановна. — Чо про тебя люди скажут? Зашумел, ишь ты...

На улице послышался конский топот. Через минуту в калитке появился Васятка, ведя в поводу коня. Увидев нас, он потупил взгляд и, достойно выдержав трудные секунды встречи, хотя его губы и вздрагивали, сказал извиняющимся голосом, упавшим почти до шепота:

— Мне седни неколи...

Передавая повод отцу, Васятка сказал:

— Я с тобой, батя. — И сказал таким тоном, словно решение о поездке в Буканку зависело прежде всего от него самого, а не от отца.

— Господи, и ты! — чуть не заголосила Дарья Степановна.

— Успокойся, мать, — сказал ей Лукьян Силантьевич своим обычным, мирным голосом, запомнившимся мне с весны. — Ежели чо, так он хоть коня домой приведет. И знать будете... Да где же Иван-то, второй-то?

— Они с Филькой на пашни ускакали, — ответил Васятка. — Собирать партизан.

— Ты вот чо, мать. — Лукьян Силантьевич обернулся к подошедшей жене: — Ты не плачь. Господь, он милостив, да... Соберется Ваньша уходить, так ты не держи его. Благослови честь

честью — п пускай идет. Ему тяжелее будет уходить, ежели против твоей воли. А уходить ему все одно надо, ты пойми это.

Нам давно пора было уйти, а наши ноги будто приросли к земле. Как-то неловко было, не сказав ни слова, оставлять Елисеевых в эти минуты. А слов утешения мы не знали, да их, кажется, и никто не знает...

II

Хотя я и не видел панического смятения на елисеевском дворе, не слышал там ни воплей, ни причитаний, какие обычно слышатся у свежих могил, все равно я почувствовал, что делало горе с семьей моего товарища. Теперь мне стало еще понятнее, какое большое несчастье обрушилось на село. Я вспомнил, как ночью меня знобило от одной мысли о возможной гибели отца в Буканке, и постарался представить себе, как другие ребята восприняли весть о гибели своих отцов и братьев. И не мог представить! Сколько же надо было иметь сил и мужества, чтобы не только продолжать жить, но еще и действовать, как Лукьян Силантьевич? Впервые я увидел и познал, какие неистощимые силы духа таятся в русском человеке.

Тем обиднее мне было увидеть после этого свою мать. Всегда легко поддающаяся панике, склонная к мрачному видению жизни, а тем более будущего, она была напугана, как говорится, до смерти. Это я понял сразу, как только переступил порог дома.

Она сидела на кухне за столом, на котором были разложены карты. Меня поразил ее вид: лицо осунулось, посерело, глаза западали в глубокие, затененные ямины. Вероятно, она все последние дни страдала от тяжелых предчувствий. (Кстати, понять ее можно: в случае беды на ее руках оставалось четверо детей, мал мала меньше, и жила она с ними в казенном доме, в пезнакомой стороне.) Так что сегодня утром — я это представил ярко, — когда отец вернулся домой в чужой одежде, босой, избитый, она все поняла с первого взгляда и обомлела от ужаса. Ну а узнав о том, что отец, несмотря ни на что, опять собирается партизанить, она и совсем пала духом. Если раньше она только боялась, что его убьют, то теперь, под впечатлением случившегося, совершенно уверилась, что гибель его неизбежна и близка. Тем более что это предсказывали и карты.

Признаться, я ждал, что мать, встретив меня, сейчас же заведет речь о сундуке. Но сегодня она, должно быть, даже позабыла о своем драгоценном сокровище. Не отрывая взгляда от карт, она глуховато позвала:

— Иди сюда.

Мать гадала на трефового короля — я давно знал, что это и есть отец, она часто гадала на него в годы войны. Ткнув пальцем в трефовую шестерку, лежавшую «в ногах короля», она заговорила странным, несвойственным ей монотонным голосом, кажется совсем и не готовясь перейти на крик:

— Видишь? Это его дорога. Опять уходит. Говорил, что уйдет?

— Говорил, — подтвердил я, сдерживая вздох.

— Ну а вот что его ожидает... — И мать разложила по краю стола несколько карт, которые до этого держала веером в руках, и среди них я прежде всего заметил пикового туза.

— Убьют его, — сказала она тихо, убежденно, со странным блеском в глубине запавших глаз, от которого мне даже вздрогнулось; несколько секунд у нее страдальчески передергивались высохшие губы. — Один раз ушел от смерти, а во второй раз не уйти.

И даже теперь она не кричала...

Я глубоко верил в ее гадание — ведь когда-то она совершенно точно предсказала, что скоро отец вернется домой здоровым и невредимым. Да и многим соседкам она гадала, и, как мне помнилось, все ее предсказания сбывались полностью. Я привык верить картам. Сейчас их грозное предсказание ошеломило.

— А где он? — спросил я почти без голоса.

— Баню топят.

Я бросился на огород.

Хотя вчера я и понял, что война грозит отцу постоянной смертельной опасностью, но всерьез я совершенно не мог себе представить, что где-то и когда-то белогвардейская пуля свалит его насмерть. Не думалось об этом, да и все тут! Но гадание матери поколебало мои мысли.

Около бани на веревке висело, просушиваясь на солнце, поношенное отцовское обмундирование, уже приготовленное им для нового похода. Но отца нигде не было видно. Зайдя в предбанник, я вдруг услышал мужские голоса за глухой стеной бани, обращенной к бору, и присел на лавочку, боясь оказаться лишним при встрече отца — возможно, тайной встрече — с какими-то людьми, скорее всего с партизанами. И верно, это были партизаны.

— Мне теперь никакого покоя нет! И никогда не будет! — говорил отец, стараясь сдерживать свой голос, дрожащий от боли. — Три дня и три ночи одно перед глазами: вот их вытаскивают из шеренг, вот раздевают, вот гонят. Ночью очнусь и не пойму: сон или явь? И все меня бьет и бьет как в лихорадке! Все бьет и бьет! — Судя по его захлебыванию, я догадался, что он плачет, и у меня от жалости к отцу тоже полились слезы. — Сколько жизней загублено! Да каких! Люди землю пахали, хлеб сеяли, детей растили... Не-ет, эти кровопийцы должны своими головами ответить за каждую каплю пролитой крови! И не кто-нибудь, а мы должны отомстить за погибших товарищей! Только тогда наша совесть будет чиста!

После минутной тишины послышались голоса партизан:

— Ты того, Леонтьич, не падо...

— Мы и так ничего не забудем!

— Одно плохо — остались с голыми руками.

— Руки есть — оружие добудем!
— Когда же отправляемся?
— Лучше всего утречком.
— А не нагрянут ночью? Могут!
— Тебе, Леонтьич, семью бы убрать с кордона.
— Да, от греха подальше.
— О семье я думаю, — ответил отец. — Ночью же ее здесь не будет. Увезут на пашню.

Мне была ясна и понятна святая правота отца. Ничто и никогда, кажется, не пронзало меня так, как его восхищение перед погибшими товарищами и его слезы. Я и до этого не думал удерживать его дома, а теперь понял, что надо по мере своих возможностей даже как-то облегчить ему расставание с семьей. Мне невольно вспомнился наказ Лукьяна Силантьевича своей жене — не задерживать сына, чтобы облегчить ему разлуку с домом, и невольно захотелось поступать согласно его мудрости. Но карты, карты!..

Тут я, поднимаясь с лавочки, случайно задел ногой ведро. Голоса партизан враз смолкли. В окошечко предбанника заглянул отец и, увидев меня, сказал немного удивленно, но ласково:

— Пришел? Вот и хорошо! Погляди-ка там, не прогорели ли дрова? Да еще ведерко бы свежей водицы...

Он хотел еще что-то сказать своим друзьям.

Когда я вернулся с ведром воды, партизан уже не было. Под каменной, между углей, все еще легонько поигрывали, заметно слабая, язычки огня. Можно было начинать наводить порядок в бане и мыться, но отец сказал:

— Обождем немного, еще угарно.

Мы присели на землю у стены, в тени. Вот и выдались минуты, когда можно было с глазу на глаз поговорить с отцом о том, что тревожило. Но у меня не поворачивался язык, чтобы сказать ему о предсказании матери. Я прижался к нему и зарыдал.

— Миша, что с тобой? — заволновался отец.

— Боюсь, — ответил я, всхлипывая.

— Эх, ясно море, и тебе сказала? — догадался отец. — Глупая она, наша мать. Сжечь бы у нее эти карты. — Он долго приглаживал мои выцветшие на солнце вихры. — Врут они, сынок! Не верь им! Мне верь! Меня не убьют, я это твердо знаю. Я видел, как расстреливали моих товарищей, и знал, что скоро мой черед, а все равно не верил, что пришла моя смерть. И на расстрел повели бы — все одно не поверил бы... Может, так и упал бы, не поверив, что умираю! Я даже и сам не пойму, отчего так думаю. Не верю — и все тут! Не верю! Я жить хочу, жить! Так хочу, что, может быть, и сама смерть подступит ко мне боится! Нет ее около меня поблизости! Ее ведь люди чувствуют...

Я уже знал, что у отца во всем своя, особая вера, удивлявшая меня еще весной. Если он во что-либо верил, то уж верил до

такой степени самозабвенно, истово, безоглядно, что готов был, кажется, весь вспыхнуть пламенем от этой своей чудодейственной веры. Это была самая сильная черта его натуры. Он был человеком глубочайших, неиссякаемых и светлых убеждений. Кто наделил его такой редчайшей способностью — не знаю, но, должно быть, не одна природа.

Его вера была, конечно, сильнее карт...

— До зимы мы разобьем Колчака, и я вернусь домой живым-здоровым, — продолжал отец уже совершенно спокойно. — Вот это я, сынок, без всяких карт знаю. Не могу я умереть, когда так много думаю. И не только о том, что завтра будет, но и через год, и через десять лет, и через двадцать! У меня мысли, как пчелы, работают. Я вот собираюсь идти воевать, а сам уж не только о боях думаю, но и о том, что буду делать потом, когда вернусь. Все разные планы составляю. Все о повой жизни мечтаю... Вот прошлой весной, еще при Советской власти, приехали к нам на Алтай рабочие из Петрограда. Поселились они около бывшего Локтевского завода. Это педалеко от Почкалки. И решили жить не по старинке, деревушкой, а коммуной. Я побывал там у них ради интереса. Все у них было общее: земля, машины, скот, телеги, сбруя. Все равны. Никаких различий и привилегий. Нелегко им было разжиться на голом месте: нищеты через край, во всем нехватка, многие на них поглядывают косо, всякую брехню пускают по миру, а они знай работают до седьмого пота! С большой мечтой люди жили! Красиво начинали новую жизнь! Теперь, поди, все от беляков погибли... И вот мне запала в голову мысль: как только покончим с Колчаком, установим по всей Сибири Советскую власть, я тоже начну стоваривать наших партизан, какие победнее, начать жить коммуной. Выберем хорошее место у бора, обстроимся, начнем работать дружно и покажем всем людям, какая это жизнь, когда во всем полное равенство! Я буду столярничать, сделаю мебель для всей коммуны с инкрустацией, какая была только у богатей, чтобы все завидовали нашей жизни, нашей красоте! Чтобы народ шел к нам, как идет сейчас в храмы. А ты... — Он всмотрелся в мое лицо. Боясь ошибиться со своим пожеланием, спросил: — Кем ты хочешь быть?

— Не знаю, — ответил я откровенно.

— Будь учителем! Всех, всех учить надо! Народ не может стать счастливым, если останется жить в темноте и невежестве. Учить народ — это все одно что на всю жизнь оделять его счастьем! Лучше и нет, пожалуй, занятия на земле. Я так понимаю...

Вскоре после бани, когда мы наслаждались арбузами, привезенными с бахчей Алешкой Зыряновым, на кордон прискакал Филька. Он сообщил отцу, что с пашен приехало семеро партизан. Все уже готовятся в поход.

— Выходит, человек до двадцати соберется? — переспросил отец. — Что же, и это хорошо. Когда немного успокоятся — и дру-

гие подойдут. Сейчас, знамо, многих оторопь берет. Но это ненадолго. Садись, отпробуй арбуза-то.

— Да неколи, товарищ командир Семен Леонтыч, — с видом большой озабоченности ответил Филька, но тут же присел к столу и взял в руки ломоть арбуза. — Выступать надоть!

— Я думал, может, на зорьке?

— Не выйдет, товарищ командир, — возразил Филька серьезно. — Придется сейчас же. Вас зовут в сборню. Туда из Бутырок подошел отряд товарища Каширова.

— Отряд? Каширова? Большой?

— Подвод много...

— Эх, ясно море! — Отец быстро поднялся из-за стола. — И чудной же ты парень, Филипп! Что ж ты тянул? Что ж ты сразу-то не доложил? Разве так можно в военном деле?

— Арбуза захотелось, — просто сознался Филька, выкусывая мякоть из ломтя. — Слюнка потекла.

— Ладно уж, доедай! Да живо скачи, собирай людей.

— Там Ваньша Елисеев уже всех скликает!

— Вот и опять живет наше дело! — пордовался отец, торопливо собирая свое поношенное, но уже выглаженное матерью обмупдирование. — Пусть и немного нас сейчас... Ничего! Со временем будет еще больше, чем было!

Отец решил отправиться в поход на Зайчике. Я тут же бросился из дома. Когда отец в сопровождении почерневшей от горя матери вышел на крыльцо, конь уже был под седлом. Проверив, как затянута подпруга, отец наклонился ко мне и сказал, как под большим секретом:

— Спасибо, сынок.

И я понял, что отец благодарил меня совсем не за то, что я оседлал коня, — как известно, за такие услуги в крестьянских семьях не принято расточать благодарности.

III

Бутырский отряд в числе сорока шести человек под командованием Каширова 17 августа отправился по Касмалинскому тракту в сторону Солоновки. В нашем селе к нему присоединились еще восемнадцать партизан. Этот небольшой отряд, собранный Кашировым после несчастного первого боя с батальоном егерей Окунева, постепенно пополняясь на своем пути, пришел в Солоновку и стал частью отряда Ефима Мамонтова, а позднее — ядром 3-го Бутырского полка в его быстро разрастающейся армии.

Разгромив касмалинцев и учинив над ними зверскую расправу в Буканке, батальон Окунева, прежде чем двинуться на Солоновку, решил помочь другим белогвардейским отрядам (Хмелевского, Полякова, Харченко), выступившим одновременно с ним для подавления большого очага восстания, пачавшегося в Зимине и уже охватившего большой район по Алею, в Алей-

ской степи. Партизанские отряды здесь тоже возникли во многих селах, но, как и везде, они еще не имели опыта борьбы, были плохо вооружены и разрознены. Во главе восстания, правда, стоял единый штаб, именовавший себя Главным военно-революционным штабом Алтайского округа. Он пытался распространить свое влияние далеко за пределы Алейской степи — за ленточные боры, граничащие с нею на севере, и на Заобье. Но у него не хватило сил объять необъятное. Хотя Главный штаб регулярно печатал воззвания, приказы и сводки, что, к сожалению, гораздо в меньшей степени делали другие штабы на Алтае, он не был в состоянии, да еще при тогдашней связи, овладеть сложной, постоянно меняющейся военной ситуацией на огромной территории. К тому же среди руководителей здешнего повстанческого очага не оказалось такой яркой фигуры, как Мамонтов. Главный военно-революционный штаб здесь возглавлял большевик Федор Архипов, бывший учитель и прапорщик, человек принципиальный, но излишне прямолинейный, резковатый, не наделенный природной простотой и добротой, склонный чаще указывать перстом из штаба, чем вести партизан в бой, заражая их своей личной храбростью. Все это, вместе взятое, и явилось причиной быстрого поражения восстания в Алейской степи.

За неделю регулярные белогвардейские части, имеющие большое преимущество в силе и оружии, рассеяли здесь многие отряды, сожгли многие бунтующие села. Партизаны, продолжавшие сопротивление под водительством Главного штаба, попытались было уйти в лесистое Заобье. Не удалось — белогвардейцы помешали переправе. И тогда у отряда остался один выход — идти на соединение с отрядами Мамонтова, действовавшими в южной губернии.

25 августа отряд алейцев благополучно пересек Алтайскую железную дорогу и направился степью к Барнаульскому бору, в село Боровское, где действовал еще сохранившийся местный отряд под командованием Захарова, тоже входивший в состав алейской армии. Отходя кромкой бора на юг, алейцам пришлось дважды встретиться с батальоном егерей полковника Окунева — под селами Урлапово и Зеркалы. Обе стороны понесли в боях большие потери. Пока Окунев приводил свои силы в порядок, алейцы за одну ночь оторвались от него и рано утром 28 августа наконец-то прибыли в село Мельниково, что недалеко от Солоновки, в зоне, находящейся под постоянным контролем отрядов Мамонтова.

Здесь и состоялась встреча алейцев с широко прославленным вожаком повстанческого движения на Алтае. На заседании командного состава, состоявшемся в тот же день, была создана крестьянская Красная Армия Алтайского округа, ее главнокомандующим единогласно избран Ефим Мамонтов, а начальником Главного штаба — Федор Архипов. Главный штаб, извещая армию о вступлении в исполнение своих обязанностей, с особен-

ной силой подчеркнул, что «во имя будущих благ социализма» в рядах армии должна поддерживаться строжайшая воинская дисциплина. В штабе, конечно, хорошо понимали, что в ближайшее время повстанческим войскам предстоит еще более трудные сражения с белогвардейщиной.

И действительно, уже 4 сентября главком армии Мамонов лично руководил большим встречным боем у села Ново-Егорьевка с белогвардейским отрядом, пытавшимся прорваться с юга, от Семипалатинска, к партизанской солоновской зоне. Но только он успел разгромить здесь белых, было получено сообщение, что полковник Окунев, пополнив свой батальон, двинулся по следам алейцев в главный район партизанских лесных владений. 7 сентября каратели Окунева вступили в Мельниково. Но Мамонов уже успел вернуться в Солоновку и подготовиться к бою.

Не буду описывать этот бой, в котором с блеском проявилось замечательное искусство алтайских партизан добиваться большой победы малой кровью. Он хорошо описан в оперативной сводке Главного штаба за 8 сентября 1919 года.

Вот она:

«Бой у села Мельникова. Около 4 часов утра 8 сего сентября наши силы двинуты были из села Малышев Лог к селению Мельникову. Несмотря на то что дороги из Малышева на Мельниково были заняты противником и по всем направлениям были выставлены для встречи нас 6 пулеметов, к 5 часам утра, благодаря талантливой распорядительности главнокомандующего армии тов. Мамонова, наши войска обходом отряда тов. Жарикова с запада на северо-восток, в направлении к Горькому озеру, и другими отрядами с юго-западной стороны атаковали неприятеля с трех сторон. Был оставлен лишь небольшой проход для неприятеля с северо-востока за озером, на котором была поставлена наша пулеметная команда под руководством тов. Тебекина. По окончании такой быстрой и разумной расстановки войск наши силы повели наступление с юго-западной стороны. Вначале противник сражался с крайним упорством за занимаемую позицию, но под напором наших доблестных войск был вынужден оставить окопы и, продолжая отстреливаться, начал отступать в село. Приблизившись к селу, наши храбрцы с пиками в руках молниеносным движением настигли неприятеля и с криками «ура!» бросились в рукопашную схватку. Растерявшись окончательно, противник бросился в паническое бегство. Некоторые прятались по огородам села Мельникова, а другие бежали по оставленному заранее перешейку. Распрятавшихся наши пикари разыскали и брали в плен голыми руками, отбирали у них винтовки и продолжали погоню за убежавшими; бежавших на перешейке встретил тов. Тебекин со своей командой и при неторопливом тарыхтении пулемета любезно отправлял их в вечность.

В настоящее время карательного отряда белых уже не су-

ществует. От всех четырех рот, имевших с нами сражение, осталась лишь самая малая часть офицеров и добровольцев. Мобилизованные солдаты, оставшиеся в живых, все взяты в плен, раненые их также подобраны и размещены по нашим лазаретам для излечения.

По уничтожении отряда нам достались трофеи: 6 пулеметов с большим запасом лент, 10 тысяч штук винтовочных патронов, 200 штук винтовок, много бомб и вещевого довольствия».

К сожалению, полковнику Окуневу с небольшой группой все же удалось увести ноги из партизанских владений.

Весть о победном бое у Мельникова необычайно быстро и широко разнеслась по алтайским просторам. Вот тогда-то слава Мамонтова и расправила свои крылья!

IV

Той же ночью, когда отец ушел с отрядом Каширова к Солонке, наша семья покинула кордон. Дядя Павел Гулько, усадив всех нас на телегу и погрузив самый необходимый скраб, окольным путем, минуя село, отвез на пашню, где мы и поселились в его землянке у маленького березового колка. Знаменитый сундук матери с ободранной задней стенкой, где хранилась вся наша лучшая одежда, а также кое-какая посуда и разное барахло, был припрятан на дворе дедушки Харитона. Там же нашлось место и для нашей бедняцкой живности — поросенка, кур и цыплят, а корова Буренка, верная кормилица всей нашей семьи, через день тоже оказалась на пашне. Если бы не частые вздохи и всхлипы матери, то ночное таинственное бегство из села для меня осталось бы в памяти как одна из любопытнейших историй того лета.

Поневоле занятая хлопотами, к полудню мать стала гораздо реже вздыхать и проклипать все на свете, а мы, детвора, с превеликим удовольствием обживались в полевых условиях, где было куда больше развлечений, чем на кордоне, особенно в колке с густыми зарослями созревшей костяники. Только позднее я узнал, что в селе был пущен слух: боясь жить без отца на кордоне, мать внезапно укатила со всеми ребятишками в Почкалку, под крышу родного дома. Этому все легко поверили.

В дни горячей страды к нашему колочку — в стороне от дороги на Романово — никто чужой не заглядывал, и наша семья оказалась здесь в полной безопасности.

Надо сказать, что тогда на пашнях скрывалось немало партизанских семей, особенно семей командного состава, которые могли быть выданы белогвардейским карателям. В частности, семья самого Ефима Мамонтова все лето скиталась по пашням, зачастую прячась даже в скирдах хлеба.

Урожай в тот год выдался просто сказочный, и самая большая крестьянская забота — забота о хлебе — на несколько недель заслонила или почти заслонила все тревоги, вызванные идущим

щей вокруг войной. Перед этой заботой как бы отступили в тень даже тревоги нашей матери.

Работающий, необычайно выносливый, терпеливый и непогословный дядя Павел Гулько, как говорится, с утра до ночи вытягивал из себя все жилы, скашивая с помощью Андрейки и свои и наши хлеба, помогая женщинам вязать снопы, а потом стаскивая и складывая их в суслоны. У меня не хватало сил связывать снопы, и я помогал дяде Павлу подтаскивать их к местам, где ставили суслоны, гонял лошадей на водопой, отводил их пастись в ближней ложбинке, кашеварил, а заодно присматривал за братьями и сестренкой. Словом, хлопот и мне хватало.

Раз в неделю, в субботу после полудня, все семьи — Гулько, Зыряновых, Черепановых, — кроме нашей, отправлялись в село помыться в банях. Утром в воскресенье все они возвращались на пашню: дорог был каждый час страды, все знали — сухая погода здесь стоит недолго. Наша же семья за всю страду ни разу не отлучалась с пашни. Когда около колка становилось безлюдно, мать нагревала в большом артельном котле воды, мыла нас поочередно в корыте, надевала чистые штанишки и рубашонки. Воскресными утрами мы отдыхали, с нетерпением поджидая, когда привезут из села свежего хлеба, арбузов, дынь, огурцов, луку и всякой другой крестьянской снеди, какая водится летней порой.

В обычные дни из села на займки не поступало никаких вестей. Да и по воскресеньям их привозили очень мало: белые не появлялись в Гуселетове, партизаны, по слухам, встречали их то за борами, когда они шли от железной дороги, то в глубине Кулундинской степи. Пробриться белым к Гуселетову, одному из близких сел к Солоновке, партизанской столице, было не так-то легко. Мать стала понемногу успокаиваться и радоваться небывалому урожаю — наша семья, по ее словам, будет обеспечена хлебом надолго, не на один год.

Но однажды Федя Зырянов вернулся из села раньше всех, да еще без отца и матери. Сначала он пошептался наедине с Алешкой, который оставался присматривать за лошадьми, а потом появился и около нашей землянки.

— Ты что же один? — сразу встревожилась мать, увидев, что лицо моего дружка припухло от слез.

— Тятю побили, — ответил Федя, глядя себе под ноги.

— Кто? За что?

— Беляки...

— Господи, пришли, да? Когда?

— Вчерась, — ответил Федя. — Пришли к нам под вечер за самосидкой. «У тебя, Зырянов, — говорят, — завсегда есть, потому да любитель выпить». Самосидки у тяти не было, а он возьми да ляпни им: «Есть, да не про вашу честь!» Ну и пошло. «П, — кричит им тятя, — егорьевский кавалер, меня не трожь-те!» Тут они и вовсе взъярились. «А-а, — говорят, — ты егорьев-

ский, ну так вот получай!» И давай его дубасить, и давай плетями! А потом паловили кур, поотрубали им головы и заставили мамку варить в чугунках. Обожрались, однако...

— Что же с отцом-то?

— Лежит....

— И много их, беляков? — потеряв с испугу голос, спросила мать.

— У нас четверо было, — ответил Федя. — А сколько всего — не знаю. Говорят, целый взвод. Да они уже с утра пораньше ускакали куда-то. — Тут Федя обратился ко мне: — И знаешь, кто с ними уехал? Степка Барсуков, Ванькин брательник, какой нас плетью хлестал! Прибавил себе год и записался добровольцем в беляки! Да с ним еще двое мордастых пошли. А Степка еще вчерась весь вечер с беляками якшался и водил их по селу. Все искали кого-то. И на кордоне, говорят, были.

Этого оказалось достаточно, чтобы мать вновь потеряла с трудом обретенный покой. Всю ночь напролет она не спала, сидела около избушки и прислушивалась: не послышится ли на дороге конский топот? А утром увела нас на пашню, где дядя Павел по ее указанию выложил из снопов пшеницы что-то вроде большого суслона, но с просторной пещерой — там, как в поре, могла укрыться вся наша семья. Вторую ночь все мы, сбившись в клубок, там и ночевали.

Потом на пашню приехал Филипп Федотович Зырянов, с большим синяком под глазом, но не только спокойный, а даже, пожалуй, отчего-то озорной и задорный. О том, как его били за непокорность и длинный язык, он рассказал без открытой злобы, с усмешечкой, с прибаутками, будто ему здорово удалось обвести беляков вокруг пальца. По его убеждению, небольшая группа карателей случайно и ненадолго заскочила в Гуселетово, возможно с целью разведки, и только когда Степка Барсуков прибежал в сборню и напел им про всех, кто поднимал восстание в селе, они пошли по дворам, но никого из ревкомовцев не схватили — те успели попрятаться или были на пашнях. Каратели спешили куда-то и даже не помышляли устраивать облавы в селе, а тем более в степи.

После встречи с Филиппом Федотовичем мать переселила нас обратно в избушку, где на ночь уже протапливалась железная печурка, но успокоиться окончательно так и не смогла.

У всех, кто имел пашню у нашего колка, не хватало сил для уборки высоких густых хлебов, все до упаду спешили с уборкой, боясь рано наступавших дождей. Но погода, к счастью, оставалась устойчиво ведренной, благостной, хотя ночами уже холодило. С большим трудом, но хлеба были вовремя скошены и сложены в суслоны. Надо было их срочно заскирдовать — тогда не страшны и дожди. Но скирдование — особенно тяжелое дело, требующее мужицкого труда. Поневоле пришлось всем, кто жил на займках, вести его сообща, артелью.

Как раз в тот день на дороге, ведущей к нашему колку, показалась чья-то телега. Случилось это в обеденное время, когда все были около своих избушек. Но первой заметила чужую телегу, конечно, наша мать — она с той дороги почти не сводила глаз. И она же своими острыми глазами разглядела, что на телеге вместе с каким-то гуселетовским мужиком сидели два человека в шинелях — вне всякого сомнения, белогвардейцы. Мать заметалась без памяти, сгребая в кучу своих младших и собиравшись бежать с ними в колок. Но Филипп Федотович прикрикнул на нее по-свойски:

— Да не мельтеши ты! Не подавай виду! Ступай в избушку и замри. Куда теперь бежать? Увидят же! И потом, с двумя-то мы управимся. Мишка, сбегай к загону, принеси вилы. Павел, где у тебя топор? Положь поближе к руке.

К нашей избушке быстро сошлись все мужики.

Когда чужая телега приблизилась, в вознице был опознан увечный солдат-фронтвик с плохо действующей правой рукой. На телеге, свесив ноги по обе стороны, сидели два молодых солдата, но, как оказалось, без погон на шинелях. Не понять было, кто они такие: вроде и белые солдаты, но не при полной форме, да к тому же, кажется, и без виштовок.

Не успев слезть с телеги и поздороваться, косорукий солдат Рыбаков весело сообщил:

— Подмога вам, мужики, прибыла!

Почти целую минуту наши мужики молчали.

— Какая подмога? — наконец с угрюмой недоверчивостью осведомился Филипп Федотович, по привычке считавший себя, как человека военного, везде за старшего.

— Беляки, — пояснил Рыбаков, соскочив с телеги. — Бывшие, понятно. Не узнаешь? Случайно, не они тебя, егорьевский кавалер, лупили?

— Не они, — буркнул Зырянов, досадуя на болтливую сельчанина, неуместно напомнившего о незажившей обиде.

— Ну, тогда поладите.

— А пошто нам с ними ладить, хотя они и бывшие беляки? — заговорил Филипп Федотович, бросая сердитые взгляды то на одного, то на другого солдата. — Они пленные, что ли?

— Пленные мы, дядя, — словоохотливо подтвердил один из солдат, белообрый, курносый, самого что ни на есть простецкого, добродушного вида.

— Правду сказать — перебежчики, — уточнил второй, суховато-чернявый, должно быть более сдержанный, берегущий слова.

— Ишь ты! — не то искренне подивился, не то усомнился Филипп Федотович. — А родом откудава?

— Расейские мы, — улыбочиво пояснил словоохотливый.

— Расея большал...

— Из-под Самары мы,

— Водохлебы?

— Так точно, — обрадовался шутке белобрысый, надеясь, должно быть, что после шутки, как водится, разговор пойдет на лад. — Мы в госпитале в Барнауле находились, на излечении. Легкие ранения получили под Челябой. Ну а потом нас в запасной полк, а оттуда на Мамонтова. А у нас уже давно было задумано бежать. Только куда же побежишь с фронта? Домой нельзя: там везде белые. Вот мы и смекнули — махнем к партизанам, свои люди, поймут...

— И поняли?

— Так точно!

— Оставались бы тогда у партизан, искупали бы свою вину.

— Эх, дядя, да у нас и выпы-то никакой нету!

— Есть! Стреляли же в своих-то!

— А мы не стреляли, — ответил второй, не бойкий на язык, но, судя по всему, серьезный парень, не пустобай. — Если хочешь знать, дядя, мы в воздух палили. Ни одна наша пуля никого из красных не задела! Ручаюсь!

— Точно! Вот как перед богом! — подхватил белобрысый.

— Что же вас товарищ Мамонтов у себя не оставил? — все еще недоверчиво полюбопытствовал Зырянов. — По какой такой причине? Все-таки меня удивление берет!

— А вот, дядя, нашлась причина, — хотя и не без смущения, но и без особой робости ответил разговорчивый. — Нас там, в Солонвке, велено было докторам осмотреть. А потом Мамонтов и говорит: «Рано вас, солдатики, выпишали из лазарета. Воевать вы пока не способны. Идите-ка помогайте по силе возможности нашим партизанским семьям, у которых сейчас хозяева воюют или у которых погибли поильцы-кормильцы. Это тоже военное дело — убирать хлеб». Из Солонвки многих вот таких, как мы, отправили по селам. Вот как, дядя, вышло-то!

— К нам десять человек прибыло, — сообщил посыльный из ревкома. — Одному велено поработать на пашне Семена Леоптьевича. Это в помощь тебе, Павел. На тебе ведь его пашня? А другого — к Лукьяну Силантьевичу, как он остался без сынов-помощников: один убитый, а другой воюет.

— Моих сынов никто мне не заменит, — тихо и гордо выговорил, весь выпрямляясь, Лукьян Силантьевич. — Потому мне никого и не надо. Обойдусь.

— Мы хорошо будем работать, дядя, — торопливо заговорил тот, что побойчее, явно озадаченный отказом Елисеева. — Мы ко всякой работе привычные. Мы деревенские. И не объедем. Дашь кусок хлеба — и ладно.

— Даром хлеб есть не будем, — кратко подтвердил второй.

— Может, вы думаете, что мы как еще не совсем излечились, то и слабосильные? — продолжал первый, не жалея слов на то, чтобы все же как-то уладить дело. — Доктора, они все по-своему судят. Вот у меня пулей бок задело... Так ведь все уже зажило! Хотите покажу? Да мы что угодно можем делать, верное слово!

— И даже скирдовать?

— А чего же?

— Нет, ребята, все одно не подходите, — твердо ответил Лукьян Силантьевич. — Не обижайтесь, не привык я, чтобы на моем дворе или на моей пашне чужие люди робили. Такой у меня закон.

Дяде Павлу Гулько было трудно одному справляться с двумя пашнями — своей и нашей. Но и он, глядя на Елисеева, категорически отказался от помощи пленных.

— Вези-ка ты их к вдовам, у которых остались одни малые дети, — предложил Зырянов Рыбакову. — Самое верное дело. Или к себе: тоже пострадавший от золотопогонников, хоша и на той еще войне.

— Пусть ревком решает, — махнул рукой Рыбаков. — Поехали!

— Не обедали, чать?

— Да когда же?

— Тогда идите сюда, чем-нибудь покормим.

...Скирдование артелью шло слаженно, быстро и даже весело. Женщины и мы, мальчишки, возглавляемые Алсшккой Зыряновым и Андрейкой Гулько, разбирали суслопы, загружали снопами телеги и подвозили их к местам, где обычно ставились зароды и устраивались тока. Мужики выкладывали зароды с особой тщательностью, пряча колосья внутрь, а вершили так, чтобы их не пролили любые осенние дожди, — обмолотить все хлеба засухо не было никакой надежды. От тяжелой работы вечером все так и валялись с ног, но на зорьке, как ни ныли кости, все поднимались дружно, без всякой команды. Да еще радовались, что выдался такой урожай, что можно надорваться, пока уберешь его в закрома. Даже мы, мальчишки, увлеченные всеобщим азартом в работе, совершенно позабыли про все свои зававы. Иной раз за ужином, бывало, ложка вываливалась из рук...

В начале сентября начали обмолот, подбирая еще не убраные суслопы. Барабан небольшой молотилочки с конным приводом то сыпал дробью, то захлебывался соломой, то был впустую, совсем по-волчьи. Мужики толклись около молотилочки, подвозили к ней снопы, женщины отгребали полову, а мы, мальчишки, гоняли лошадей на приводе и нагребали в пудовки зерно.

Как только поднялась первая скирда свежей соломы, все мальчишки сделали в ней большие норы, похожие на логова. В одном из них поселились я, Федя и Васятка. На ночь мы заделывали лаз в свое логово соломой, и нам было в нем очень тепло. Мы радовались, что теперь чаще могли быть вместе, и, пока не морил нас сон, успевали обсудить разные дневные впечатления, неотложные дела. Утром кто-нибудь из мужчин подходил к нашим лазам и будил нас:

— Эй вы, засони, робить пора!

Но однажды просонья я услышал голос отца. На секунду я усомнился, думая, что мне почудилось, но отец еще раз спросил:

— Где вы тут, ребята? Эх, ясно море, вот упрятались!

Изо всех сил рванулся я из нашего логова. И вот радость-то: у скирды отец, живой, здоровый, ясноглазый, только странная зеленоватая шинель, не виденная мною никогда, делала его немножко чужим.

— Маскировка у вас что надо, — похвалил отец.

— Ты совсем-совсем? — Я схватил его за руки.

— Да нет, сынок, ненадолго, — ответил отец, понимая, что огорчает меня. — Бегал по делам в Бутырки, от штаба. Ну и забежал на часок. Да ты не тужи, не тужи! Вот видишь — я живой... — Он решил напомнить мне о нашем прощальном разговоре у бани. — Я как заколдованный. И вообще все наши целы, хотя и здорово воевали. Одного Фильку немного поранили. Да вот Зайчика не стало.

— А где он? — вырвалось у меня с испугом.

— Его далеко видать было — вот беда, — с сожалением ответил отец. — Не годился он, сынок, для войны.

У меня навернулись слезы.

— Убили его?

— Мне тоже его жалко, да что поделаешь? Ладно хоть не мучился. Как упал, так и замер...

За завтраком, у костра, где собрались все соседи, отец рассказал о том, как был разбит батальон егерей Окунева в Мельникове. Он рассказывал о бое с такой живостью, с такой радостью и гордостью, что ему было совсем не до еды, хотя перед ним лежала его любимейшая молодая картошка. Он был даже возбужденнее, чем после первой встречи с Мамонтовым в начале восстания, и мне невольно подумалось, что всякой загадочности у отца, несмотря на его открытое лицо и открытое сердце, хоть отбавляй.

— Говорят, егеря вошли в Мельниково с песней, — рассказывал он, и лицо его становилось все более ясноглазым, все более молодым. — С песней и до Солоновки, должно быть, думали дойти. Не тут-то было! Весь день партизаны да мельниковские мужики собирали и стаскивали этих песельников в ямы. За каждого нашего, убитого в Буканке, мы, считай, десятерых отправили на тот свет. Чуть не целый батальон! Ну и разжились хорошо: и винтовок добыли, и пулеметов, и патронов, и разного военного добра.

— Шинелью-то не там ли разжился? — спросил Зырянов.

— Там! Целый обоз всякого имущества взяли!

— Шинель-то не наша. Тонковата. Продувать будет.

— У них ничего нашего нету. Все английское!

— Неужто все из-за морей доставлено?

— Все оттуда! Даже клозетная бумага!

— Это... какая же? Погоди-ка, это...

Отец расхохотался так заразительно, что и унялся-то с трудом. Утирая слезы, пояснил:

— Ну да, та самая...

— Тьфу, поганцы! Может, ты, Семен, шутишь?

— Да нет же, истинная правда!

— Ну дела-а! — заключил Зырянов. — Тьфу!

И только тут мужики, окончательно поверив, что беляки пользуются для самой обычной нужды дорогой ныне бумагой, да еще привезенной из-за морей, давай высмеивать их на все лады. Даже мать вдруг усмехнулась смущенно, махнула на отца рукой и, не выдержав мужицкого зубоскальства, отошла от костра.

Еще вчера мне казалось, что все люди на заимке жили лишь одной большой заботой о хлебе. Но оказывается, у них была еще одна забота, не менее значительная, но только тайная, надежно припрятанная от чужого глаза: их всегда заботило, как идут дела у партизан, смогут ли они, почти безоружные, выстоять против карателей, добьются ли они желанной свободы до зимы. Приезд отца, его веселый вид, его рассказ о бое у Мельникова, да еще эта уморительная история с бумагой сняли у мужиков то внутреннее напряжение, какое не оставляло их все страдные дни. И будто особой живинки, особой лукавинки прибавилось в выражении их загорелых морщинистых лиц, в их просветлевших, как от легкого хмелька, взглядах.

— Ну, а самого-то Окунева поймали? — спросил Зырянов.

— Ума не приложим, куда делся!

— Стало быть, сбежал, гад...

— Все одно не уйдет!

И верно, не ушел. Летом 1927 года бывший полковник Окунев был разоблачен и арестован в Одессе. Его привезли в Барнаул, где над ним и состоялся суд.

В то самое лето, закончив школу-девятилетку с педагогическим уклоном в Веселом Яру близ Рубцовки, я семнадцатилетним пареньком приехал в большое село Сорокино на Чумыше. В ожидании осени, когда мне предстояло заняться учительской деятельностью, я из любопытства много ездил с отцом по Заобью. Отец ведал тогда лесными делами в обширном заобском районе, часто бывал в разъездах и всегда брал меня с собой. Всюду, где мы бывали, я интересовался тем, как в постоянном борении с тьмой старины проникает советская новь в самые глухие сибирские места. И очень часто я интересовался небольшими зарисовками деревенского быта и посылал их в губернскую газету «Красный Алтай», где начал печататься еще ранней весной, живя в Веселом Яру. Словом, я был в то лето добровольным разъездным корреспондентом губернской газеты в Заобье.

Естественно, что заметка в «Красном Алтае» о предстоящем суде над Окуневым живо напомнила мне тот вечер на бахчах близ Гуселетова, когда туда, случайно избежав смерти, пришел на ночь отец с двумя партизанами. Минуло уже почти восемь

лет после трагедии в Буканке, а я хорошо помнил все, что услышал от отца на бахчах. И мне подумалось, что о зверской расправе Окунева над пленными партизанами надо рассказать в газете. Жаль, не оказалось дома отца, чтобы освежить в памяти подробности трагической гибели партизан, но суть событий в Буканке была изложена мною, безусловно, правдиво, и мне всегда верилось, что мой первый большой рассказ был замечен людьми, которые судили Окунева, и, может быть, даже приобщен к делу наравне с показаниями свидетелей.

Белый каратель Окунев по приговору суда был расстрелян в Барнауле.

ТРЕВОГИ НАШЕЙ СЕМЬИ

I

Наша семья жила на пашне, в дерновой избушке, пока не обмолотили хлеба. С четырех десятин нам досталось баснословное богатство. Мать просто ошалела от счастья и на какое-то время позабыла о своих тревогах. Но по мере того как заканчивался обмолот и зерно увозилось в село, она становилась все беспокойнее и ворчливее.

— Как ни думай, а пора перебираться в село, — сказал ей однажды дядя Павел. — Да и чего бояться? Бои идут далеко, беляков сюда не допускают.

— Опять на кордон? — загорюнилась мать.

— В селе найдем место. Вон у наших стариков, у Евсеича да Никитишны, весь верх пустой. Я уже говорил в ними. Они с радостью примут.

— А когда ехать? — спросила мать.

— Да хоть завтра.

И на другой день, погрузившись в телегу, мы уехали с пашни. Я шел позади и погонял нашу Буренку, привязанную за рога к задку телеги. Старики, должно быть, знали о нашем приезде и загодя приготовили нам баню.

В селе можно было жить спокойно. К нам частенько забегал председатель сельского ревкома Максим Афанасьевич Зеленский и всячески успокаивал мать. По его словам, о приближении белых ревком будет знать заранее: со всеми ближними селами, а особенно с волостным, постоянно поддерживается надежная связь, всюду на дорогах, откуда можно ждать врага, стоят посты. В случае чего наша семья будет своевременно предупреждена и надежно укрыта.

А тут началось тягучее осеннее ненастье. Дожди лили целыми днями, без летней напористости, без буйства, но густо, как сквозь сито. Ненастная погода быстро испортила дороги, особенно на солонцах, где словно разверзлись бездонные хляби. Лишь по тракту, несмотря на слякоть, ходила почта, скакали разные гонцы, иногда проходили небольшие отряды, двигались

заляпанные грязью подводы: в Солоновку для партизанской армии везли зерно, муку, мясо, кожи, шерсть, а из Солоновки в Большие Бутырки — легкораненых на лечение в одном из главных партизанский госпиталей.

Для разных слухов распутица, конечно, не могла быть серьезной помехой. Они шли отовсюду, хотя и действовала единственная для того времени степная связь — «длинное ухо». Она часто доносила, что и за борами, и в глубине степи, несмотря на непогоду, продолжаются бои. Но до Гуселетова, судя по всему, война так и не могла прорваться ни с какой стороны.

Все это время мать не проявляла беспокойства. Часто лишь жаловалась, что нет никаких вестей от отца. Но когда кончилось ненастье и ночами стало сильно подмораживать, когда заметно оживился тракт, она вновь заволновалась, тем более что «длинное ухо» стало гораздо чаще сообщать о боях по ближней округе.

А мне было любо-дорого жить на бойком месте. День-деньской мы, мальчишки, вертелись около сборни, где часто останавливались партизаны и обозы. Наслушавшись там разных разговоров, мы затем разносили их по всему селу. Пас веселило, что с наступлением заморозков события в степи разгораются с новой силой. Но мать стала все чаще и чаще поговаривать об отъезде в Почкалку — ей казалось, что под крышей родного дома семья будет в полной безопасности. Неведомо ей было, что Почкалка ближе к Алтайской железной дороге, откуда чаще всего и появляются белогвардейцы, да и стоит-то как раз на их пути к Солоновке.

— Подморозит получше, и надо ехать, — твердила мать и, стараясь как-то оправдать себя, лукавила: — Надо Фадика туда отвести, пускай доучится в одной школе.

Но мне уже не хотелось уезжать, хотя и на время, из Гуселетова, от новых друзей. Школа здесь была закрыта, все ребята бездельничали и табунились на улицах. И как-то само собой получилось, что все уличные мальчишеские ватаги превратились в «партизанские отряды». За один или два дня все мы вооружились винтовками, наганами, пиками, саблями собственной выделки из дерева. И начались у нас боевые действия. Хотя они были «местного значения», но не обходились без крови и разных увечий.

Однажды отряд с Тюкалы и Подборной встретился у церкви с отрядом Тобольского края. Наш командир Алешка Зырянов, слегка выступив вперед, объявил тоболякам:

— Мы за красных! — Он явно старался упредить всякие иные предложения. — А вы?

— И мы за красных, — весело ответил главарь тобольского отряда, тоже мальчишка лет двенадцати, по виду отчаюга и пройдоха.

Алешка Зырянов был озадачен.

— Врете!

— А ты чо, ослеп? — И тобольский вожак показал на маленькую красную ленточку на своей груди. — Может, сами врете?

— Тогда давайте так... — Алешка мучительно искал выход из затруднительного положения. — Седни мы за красных, а вы за белых. Завтра мы за белых, вы за красных. А то у нас никакой войны не выйдет.

— Это пошто же вы седни за красных? — рассмеялся тобольский пройдоха. — Ишь удумал! Да у тебя даже и ленточки красной нету! Вот и будь ты седни белым!

Что было делать? Пришлось на время разойтись, чтобы обдумать и обсудить непредвиденное обстоятельство. Начался митинг, как и полагалось в настоящих партизанских отрядах. Ребята долго галдели, будто стая галок при отлете. Но выхода не находили. И совсем было выдохся митинг, как один из наших рядовых пикарей заявил:

— А они, товарищ командир, совсем и не красные! Они беляки! Только они переоделись под красных, чтобы взять нас обманом!

— Верна-а! — заорал отряд.

— Совершенно верно, товарищи солдаты! — обрадованно подтвердил Алешка Зырянов. — А я смотрю, смотрю — что такое? Хотя и с ленточками, а на красных совсем непохожи! Ну хитряки! Мы им сейчас зададим! По ко-оням!

Начался бой. Защищаясь, тоболяки продолжали кричать, что они за красных, но мы, не останавливаясь, действовали огнем и мечом. Мы атаковали дружно, с боевым русским кличем и быстро рассеяли тобольский отряд по дворам и закоулкам. Трое пленных после короткого допроса были признаны виновными в грабежах и порках мирных жителей, а потому приговорены к расстрелу. Когда их поставили у церковной ограды, чтобы привести в исполнение суровый, но справедливый приговор, они трусливо канючили, даже плакали, твердя, что умирают безвинно. Но мы остались неумолимы. Погромел залп, потом второй и третий. Мы не жалели патронов на извергов и грабителей. Ну а потом они стыдливо поплелись в свой край.

На другой день, опередив нас, тоболяки дерзко объявили, что считают нас беляками, а потому будут сражаться с нами до полной победы. У них даже появилось небольшое красное знамя, сделанное из какого-то вылинявшего лоскута. Со знаменем они стали, конечно, куда храбрее. Нам пришлось защищаться, не щадя своей жизни. Убитых в нашем отряде, правда, не было, но многие тогда умылись юшкой.

II

Всю осень продолжалось объединение разрозненных повстанческих сил в единую армию. Вслед за алейцами, соединившимися с отрядами Мамонтова, с ним установили связь повстанцы,

действующие в глубине степи под командованием Игнатия Громова. Надо отдать должное Ефиму Мамонтову: несмотря на происки деятелей эсеровского толка, которые вились около него, как таежный гнус, он сразу же осознал важность процесса, подсказанного самой жизнью, и смело шел на собрание под одно знамя всех партизанских сил в междуречье Оби и Иртыша.

7 октября была создана Западно-Сибирская Красная Армия в составе двух дивизий. Из отрядов Мамонтова было сформировано пять полков: 1-й Алейский, 2-й Славгородский, 3-й Бутырский, 4-й Семипалатинский и 5-й Степной. Они составили первую дивизию. Из отрядов Громова — четыре полка: 6-й Кулундинский, 7-й Красных орлов, 8-й Бурлинский и 9-й Каргатский, составившие вторую дивизию. Главкомом армии был единодушно избран Ефим Мамонтов, а командиром корпуса Игнатий Громов. Начальником штаба стал Яков Жигалин, бывший учитель из забайкальской станицы, избранный когда-то казаками командиром 2-го Читинского полка, боровшийся вместе с Лазо против Семенова, а потом скрывшийся в Рубцовке — там он и вступил в отряд Мамонтова. Постоянным местопребыванием штаба армии была избрана Солоновка.

Повстанцы степного Алтая, собранные в единую армию, с гораздо большим успехом повели боевые действия против белогвардейских карательных частей. Отражая удары карателей, полки бросались то в один, то в другой край степи. Фронта как такового не было. Все кипело, как в огромном котле. Многие села без конца переходили из рук в руки. Весь колчаковский тыл был в огне.

В конце октября через наше село, в сторону Солоновки, прошел 7-й полк Красных орлов под командованием двадцатитрехлетнего, но уже широко прославленного командира Федора Колядо. Сам Федор Колядо с небольшой конной группой на часок задержался в Гуселетове, чтобы перековать коней. Конечно, все гуселетовские мальчишки, живущие вблизи тракта, прервав очередную бой, восторженно встречали и провожали партизан, а заметив, что несколько конников задержались у сборни, немедленно бросились туда.

На крыльце сборни вышел молодой дядя в длинной шинели и папахе, богатырского вида — высокий, широкоплечий, белокурый и голубоглазый, — совсем как добрый молодец из былины. Мы так и ахнули! И гадать было нечего — перед нами был сам легендарный Колядо! Но больше, чем его внешний вид, нас поразила широкая алая лента на его груди. Кстати, об этой ленте. С той поры прошли десятилетия, и я на всякий случай решил проверить: а действительно ли я видел тогда, в Гуселетове, Федора Колядо, да еще с алой лентой на груди? Оказалось, память меня не подвела. Да, я видел тогда именно Колядо. Но откуда у него была эта лента? А вот откуда. В октябре полк

Красных орлов двое суток вел жестокий бой за село Павловское на Касмале, где раньше был сереброплавильный завод, — это недалеко от Барнаула. И вот в благодарность за освобождение от белых жители Павловского наградили храброго партизанского командира алой шелковой лентой. Федор Колядо принял награду с большой благодарностью и очень гордился ею.

— Ну шо, хлопчики? — весело заговорил с нами Федор Колядо, видя нас при оружии и, конечно, понимая, с кем имеет дело. — Звыняюсь, товарищи солдаты Красной Армии, — поправился он вполне серьезно, что было оценено по достоинству всеми мальчишками. — Як идуть у вас туточки боевые дела? Мабуть, лихо бьете белякив?

— Лихо! — ответили мы дружно.

— Це добре! Гонить их, растреклятых, покуда не захрипять и не начнут харкать кровью! А затим — добивайте! И мы вот пидемо добивать их, злодией! Ще зовсим немного — и тут поганных не будэ! Очистим усю степ!

Наш командир Алешка Зырянов зачем-то все же спросил:

— А правда, что вы — Колядо?

Дядя-богатырь застеснялся и порозовел, как девушка.

— Так точно, я Хвёдор Колядо, командир седьмого полка Красных орлов, — ответил он после большой паузы. — А шо?

— А у Мамонтова есть такая лента?

— Будэ.

Только тут Федор Колядо сошел с крыльца и оказался в нашей мальчишеской толпе. Мы беззастенчиво рассматривали его красную ленту, его саблю. Дружески похлопав нескольких мальчишек по плечу, он вдруг спросил:

— А у кого, товарищи солдаты, есть дома кавуны? Чи уси доилы?

Но многие ребята закричали:

— У нас есть! У нас!

— Тоди угощайте, — попросил Колядо. — Покуда подкуют коня, я кавун одолею. Люблю кавуны.

Многие, кто жил поблизости, бросились на свои дворы. Побежал и я, рассчитывая, что могу принести арбуз первым — жили-то мы напротив сборни. Так и вышло. Беря мой арбуз, Федор Колядо поблагодарил:

— Спасибичко, хлопчик!

Тут подлетели другие ребята:

— У меня возьми! У меня!

Но Колядо, к моей великой радости, отказался:

— Ни, хлопчики, мне и одного хватэ.

Однако друзья мои не остались в обиде. Колядо позвал от кузицы своих солдат, и они, рассевшись на лавке у крыльца, с удовольствием принялись за арбузы. Мы во все глаза наблюдали за партизанами и ловили каждое их слово.

Мой арбуз оказался с плотной, сахаристой мякотью. Коля-

до надкусывал сочные арбузные пласты осторожно, боясь обронить на ленту капли сока.

— Бачите, хлопчики, вот семъячки... — заговорил он, стараясь скрыть свое смущение. — Они тоже як солдаты. Уси в строю. Держать полное равнение. И уси, побачьте, яки красны! — Ему действительно достался арбуз с красными семенами. — А от кого они пийшли? От земли. По ее команде вони и стали в строй. — Все более вдохновляясь, он продолжал развивать свое сравнение, оглядывая нас весело и озорно. — Так, хлопчики, и з нами. Откуда мы пийшли? От народу. Народ нас и поставил в строй. И мы воюем, шоб ему жилось щастливо... Скильки ж туточки семянок будэ? Две роты? Чи, мабуть, батальон? Чи полк?

Все партизаны ели арбузы горопливо, отплеывая семечки в разные стороны. Колядо же ел не спеша, аккуратно, а семечки складывал около себя в кучку, как заботливый хозяин, задумавший оставить их для весенней посадки.

Алешка Зырянов опять набрался смелости:

— А правда, товарищ Колядо, что вы в тюрьме сидели?

— Сидел, у городе Камне, — охотно подтвердил Колядо. — Був я тоди приговоренный к расстрелу, тильки трошки не поспили, гады, поставить меня под пули. Сбежав я, товарищи хлопцы... звывняюсь, товарищи солдаты.

Федор Колядо действительно чудом спасся от расстрела, бежав ночью из Каменской тюрьмы и бросившись в холодные воды Оби. Хлопчиком и парубком он батрачил, потом был на войне, в восемнадцатом году вступил в большевистскую партию. После мятежа в Сибири за создание подпольной организации его приговорили к расстрелу, а когда спасся, стал одним из организаторов восстания в Усть-Мосихе. В партизанской армии вначале командовал полковой конной разведкой и быстро прославился своей исключительной храбростью. В сентябре он уже командир 7-го полка Красных орлов, одного из лучших в армии. Ни один из командиров полков не пользовался такой славой, какая гремела о Федоре Коляде. Мы, мальчишки, давно и хорошо знали его по слухам. Теперь мы радовались, что посчастливилось увидеть его своими глазами.

— А наши не убежали, — после небольшой паузы произнес, будто сам себе, Алешка Зырянов. — Наших постреляли.

— Иде? — встрепенулся Федор Колядо.

— В Буканке.

— А-а, знаю... — Колядо на минуту свесил голову в черной папахе. — Вечная им память! Кто погиб за народно дело, того не забудуть. Не должны забувать... — Он помолчал, потом взглянул на нас и спросил: — А у кого отцы и теперь воюють?

Оказалось, у многих.

— Бойтесь, побьють?

— Знамо дело, — ответили из нашей толпы.

— Войны без крови не бувае, — заметил Колядо грустно. —

Но теперь у нас оружия богато. И восвать мы навчились. Теперь билиякив бильш, чем нас, гибнэ!

— А скоро Колчака разобьете?

— К зиме, — ответил Колядо уверенно. — Вот тоди ваши батьки прийдуть с победой, як герон. Може, и им усим дадуть вот таки красны ленты. Если матерьялу хватэ.

Мысль Колядо о том, что наши отцы скоро вернутся домой, очень обрадовала всех, у кого они воевали в партизанской армии. Мы зашумели, заговорили наперебой, но в это время от кузницы скорым шагом подошел молодой партизан и обратился к Федору Колядо:

— Товарищ командир полка, поглядите на копыто своего коня.

— А шо? — забеспокоился Колядо.

— Да треснуло немного.

— Шо-о? Це дило плохо.

— Возьмете другого.

— Примета погана, — нахмурился Колядо.

Собираясь уходить, он поправил на себе португею и ленту, но вдруг вспомнил об оставленных на скамейке арбузных семечках. Собрав их в горсть, он протянул вестовому.

— Сховай. Весной посадим. Гарны будуть кавуны!

Когда Федор Колядо ускакал из села, я вернулся домой, чтобы обрадовать мать — передать ей слова храброго командира о скором окончании войны. Мать выслушала меня терпеливо, что случалось редко, но тут же будто окатила холодной водой:

— До зимы всякое может быть!

— Сам же Колядо сказал!

— Много знает твой Колядо!

Она была чем-то очень расстроена. Мимоходом обронила:

— Завтра едем...

Вероятно, ей нелегко было добиться, чтобы родные отвезли нас в Почкалку, — все они отговаривали мать от этой поездки.

III

И вот я вновь в Почкалке...

Здесь все было родным, прикипевшим к сердцу с дней младенчества. И все, что едва помнилось, занимало в глубине моего существа свое место. Стоило мне переступить порог дома, и прошлое опахнуло душу тем особенным дуновением, какое можно, да и то лишь отчасти, сравнить с неожиданно налетевшим дуновением скрытого в травах родника, какой случается иной раз повстречать на горной тропе. Затем хлынул поток воспоминаний о жизни в доме деда. Все несло, мелькало, искрилось, всплескивало с одинаковой силой, все радовало мысленный взгляд. В то же время я уже чувствовал, что все увиденное мною было дорого мне только как чудесное прошлое, которое при всем желании не могло быть моим настоящим. Навсегда оставаясь

во мне, это прошлое вскоре так или иначе должно было вновь улечься на покой в моей душе. Невольно вспомнилось, как отмирают со временем нижние, уже ненужные сучья у сосенок...

Очень растрогала меня и встреча с бабушкой — в тот час она оказалась в доме одна. В отличие от дедушкиной любви ко мне, открытой, шумной и немного озорной, бабушкина любовь в полном соответствии с ее характером была тихой, смиренной, боящейся чужого глаза.

Бабушка Софья Филипповна, маленькая, всегда в поношенной темной одежде, всем своим поведением напоминала старательную, вечно копающуюся на дворе курочку, терпеливо, без всякой суматохи добывающую себе пропитание — не в пример другим, без конца мечущимся по всем закоулкам в поисках легкой добычи. Она редко выходила даже за ворота своего двора. Все она делала на первый взгляд неторопливо, но с той неуловимой легкостью, какая немногим дается от природы, а потом долгими годами оттачивается в труде. Невозможно представить себе, сколько эта великая труженица переделала за свою жизнь мелких и мельчайших дел, и все без малейшего ропота, не ожидая за свою работу ни единого доброго слова.

Мало сказать, что она обрадовалась неожиданному появлению младшей дочери с детьми — для нее наш приезд, пусть только в гости, означал возвращение на какое-то время всего, чем жил ее дом прежде. Впрочем, с матерью она перекинулась всего несколькими словами, должно быть отложив свои подробные расспросы на ночные часы, а вот со своими внуками была непривычно оживлена и словоохотлива. Каждого из нас так и сяк вертела перед собой, даже ощупывала, стараясь исподтишка определить, как исхудали на стороне ее дорогие чада. Несколько минут она даже посидела с нами на кухне, что позволяла себе, пожалуй, только по большим праздникам. Собравшись с какими-то своими мыслями, сказала мне:

— Вытянулся ты за лето. Большой стал, с меня. А худущий — страсть. Бегаешь много?

— Носится как угорелый, — доложила мать.

— Пускай! — защитила меня бабушка. — Он быстрый на ногу, в деда... — И улыбнулась мне одобрительно. — Вот и сбегай-ка поймай молодого петушка, как бывалоча. Я щей сварю, а то вы небось оголодали. — Но после минутной заминки, боясь, что мать будет обижена, уточнила: — С дороги-то.

Она души во мне не чаяла, но с малых лет настойчиво приучала к сильной работе. Делала она это так осторожно и ласково, что всегда было приятно выполнять ее поручения и просьбы. Я за все брался с большой охотой, но особенно любил ловить молодых петушков — и набегаешься вволю, и отведаешь бабушкиных щей с курятиной.

Но теперь, поздней осенью, молодые петухи почти не отличались от серебристо-серого, с подмороженным гребнем старого петуха, который уже года три возглавлял куриное семейство.

Гонясь за молодняком, я не один раз обежал весь двор, все его закоулки, облазил сараи и хлевушки. Оглядев все места, памятные с детства, я еще более, чем в доме, ощутил дуновение недалекого прошлого. И мне даже показалось, что оно, вспоминаясь, может незаметно вернуться и стать моим настоящим.

С большим трудом, весь взопрев от суматошной беготни, я прижал к земле единственного среди молодняка черного петуха. Увидев его у моей груди, царапающего воздух лапами, бабушка странно примолкла, и я догадался:

— Не того поймал, да?

— Да ладно уж! — Она махнула сухонькой ручкой. — Оставить его хотела. Черные, да с золотом, красивые петухи бывают. Как епералы в эполетах.

— Бабушка, да я другого поймаю!

— Ладно, ладно! Раз поддался — в чугуи его. Только кто же его зарежет? Я сроду не резала. Боюсь. Деда надо, а он куда-то уплелся и глаз не кажет. Вот уж кто и вправду как угорелый носится по всей деревне. И старость его не берет...

Но тут скрипнула калитка.

— О, кажись, чалдоны понаехали? — крикливо, обрадованно заговорил дедушка, быстро входя во двор. — Они, они! Ну, чалдонё, живы?

За лето его странная разномастность стала еще более контрастной: черные волосы густо посеребрило сединой, а борода, выгорев на солнце, стала светло-рыжей. Во всем остальном он остался прежним — подвижным, шумным, любящим острое словцо и всякие озорные прибаутки.

— Дай его сюда, это по моей части! — Он взял у меня петуха за ноги. — А что одного поймал? Лови еще!

— Ужо, дед, ужо, — сказала бабушка. — Он и так взмок.

— Ну, рубить? Это я люблю! Только давай!

— Тебе чего, ты не боишься крови.

— А чего ее бояться! Не своя. Сейчас люди друг дружке головы рубят — и хоть бы што! Кто срубит поболее — даже хвастается: вот я какой молодец!

Он сходил в угол двора, где была поленница, тюкнул там разок топором и вернулся, зачем-то разглядывая голову петуха с затаянными пленкой глазами. С удивлением сообщил:

— Живуч! Без головы хотел убежать!

— Куда ему, он и с головой-то не убег, — заметила бабушка, все еще, должно быть, жалея, что у нее не будет черного, ярко раззолоченного вожака куриного семейства.

Из дома вышла мать. Дед встретил ее более сдержанно, чем меня, — в какой-то мере он считал ее виновницей того, что ему грозило одиночество в глубокой старости. Оделив ее одним лишь взглядом, спросил:

— В гости? Или от войны сбежали?

— Войны там близко нету, — обиженно ответила мать.

— Ну а у нас тут — за поскотиной.

Его слова огорошили мать. Она упавшим голосом переспросила:

— Где? За поскотиной?

— Да кругом, — с невольной жесткостью уточнил дед. — Того и гляди, ворвется в ворота. Я каждый божий день хожу к ревкому на разведку. Там с утра до вечера гудят. Мужиков загоняли в подводах. То туда, то сюда возят пикарей. А домой со всех сторон коробами везут новости. Голову разламывает от новостей! Ну, на самом деле, скажи-ка, что это за война? Ни фронту, ни позиций. Не поймешь, кто наступает, кто отступает, кто с победой, у кого штаны в дерьме. Сколь годов воевал — не видал такой войны!

Но мать не интересовала рассуждения деда о непривычных для него особенностях партизанской войны. Для нее важнее было узнать лишь то, что в Почкалку война может нагрянуть гораздо скорее, чем в Гуселетово. Этого она по своей наивности никак не ожидала. Сам того не сознавая, дед так омрачил ей возвращение в родной дом, что она сразу же примолкла и приуныла. За ужином, когда дед приступил к расспросам о нашей жизни на чужой стороне, она отвечала неохотно, с явной досадой, что было верным признаком нарастающего в ней раздражения.

А утром дед, не говоря никому ни слова, запряг коня в рыдван и сказал мне:

— Поедем-ка, Мишенька, в гости.

— А к кому?

— Да ко всей родне.

— А зачем?

— Тебя показать охота.

Я думал, что дедушка, как всегда, шутит, но он повез меня сначала к крестному и крестной, которые жили на нашей улице, а потом в центр села, к тетке Анне. То у одних, то у других ворот, иногда даже поднимаясь в телеге на ноги, он кричал:

— Встречайте, внука привез!

Мне было стыдно, что дедушка показывает меня на селе, как медвежонка. Тем более что все родные и знакомые, скорее всего вынужденно, чтобы потрафить его причуде, отмечали во мне разные зримые и незримые достоинства.

— Вот доживу, оженю его, и тогда мы заживем! — говорил дедушка на прощание почти всем, у кого мы побывали в тот день.

У него было несколько внуков — ото всех дочерей. Но меня, как выросшего в его доме, он выделял среди всех, совершенно не желая скрывать своей привязанности. Только со мной — я это точно знал — он действительно связывал свои планы на будущее.

Когда мы вернулись домой, мать была в полном расстройстве. Затея деда ее совсем доконала. Не подозревая этого, дед начал было хвастаться тем, какое впечатление произвело на все село появление его любимейшего внука, но мать его оборвала:

— И хватило у тебя ума ездить с ним по всему селу? Теперь все село знает, что мы здесь! Как придут белые, так кто-нибудь и доносит! Попали мы из огня да в полымя!..

Она уже раскаивалась, что уехала из Гуселетова.

IV

Однажды дедушка вернулся из своей разведки гораздо раньше обычного, чем-то встревоженный и взерошенный, как воробей перед непогодой. Это удивило всю семью. Дедушка молчком сходил в кладовку и явился оттуда с запыленным портретом генерала Скобелева. Обтерев его тряпицей, начал пристраивать на прежнем месте в горнице.

— Ты что молчишь, дед? — встревожилась и бабушка.

— Не мешай. Чего тут говорить?

— Неужто белые пришли?

— Припожаловали, черти б их взяли!

Только когда генерал Скобелев после длительного изгнания вновь победно осматривал горницу, дедушка с облегчением присел у стола и рассказал:

— Своими глазами видел. Не успел дойти до сборни, гляжу — там их полно, а со степи еще идут подводы. Со станции, с Пospelихи.

Едва услышав о белых, мать онемела и побледнела. Она беспомощно стояла среди горницы, боясь сделать шаг или сказать слово. Каждую секунду я ждал ее крика. Но она и крикнуть не смогла, а лишь тихонько заплакала:

— Побьют же нас...

— Защитит! — уверенно ответил дед, кивая на портрет генерала.

— Где уж тут...

— А вот слез чтоб не было! — построжел дед. — Я всем соседям накажу — нехай сказывают, что зять на войне сгиб без всякой вести. Там многие сгибли. Поверят. А вот слезам они не поверят.

— Да ты сядь, сядь, — захлопотала бабушка около моей матери. — Народ у нас тут хороший, никто зря не брякнет.

— Может, они еще и не дойдут до нашей улицы, — сказал дед. — Чего им сюда, под бор, забираться? Им в селе хватит места.

— Там кто-нибудь и докажет. Все видели.

— А я вот сейчас схожу в село да и пушу слух, что вы обратно подались в свои Собачьи Ямки, — ответил дед. — А заодно и разведую, много ли их пришло. Если немного — на наши улицы че будут ставить на постой.

Но и мать, и бабушка решительно запротестовали против того, чтобы дед уходил из дома. Он пошумел, поносился по горнице, но вынужден был смириться и, возвратясь на свое место, вдруг заявил:

— Придется барапа зарезать.

— Петухи еще есть, — напомнила бабушка.

— На всякий случай. Они прожорливы.

— Сам же сказал, что к нам, может, и не придут!

— А если все ж таки заявятся? Им сразу жаратву подавай! Ублажай! И ничего не поделаешь — будешь ублажать. Да что тут зря толковать! Где нож?

Едва дед успел освежевать баранью тушку, как Найда, вертевшаяся около него в ожидании свежатины, с залиvistым лаем бросилась к дворовым воротам. Невзрачная рыжая собачонка, она была невероятно заботливой, сторожкой, ласковой с хозяевами и очеь злой с чужими людьми, особенно на хозяйском дворе.

— Пришли, — догадался дедушка. — Чуяло мое сердце.

Надо было идти к воротам или по крайней мере отозвать Найду, но дедушка, будто оглохнув, лишь торопливее заработал ножом: бессознательно оттягивал встречу с беляками. Спихватился он, но поздно.

В калитку вошел усатый белогвардейский офицер и, пинком сапога отбросив Найду, дал дорогу двум другим, — вероятно, это был квартирьер, разводивший офицеров на постой. Но Найда, озлобившись до хрипоты, не слыша дедушкина зова, вновь бросилась на усача. Тогда он выхватил наган и выстрелил.

Собачонка завертелась на земле с пронзительным плачущим лаем, потом вскочила на ноги и, жалобно скуля, из последних сил бросилась к предамбарью, под которым жила. Но заползти туда уже не смогла.

— Что ж это получается, господа офицеры? — заговорил дед сумрачно, остановившись в смятении посреди двора. — Зачем же собачку мою порешили? Нехорошо. Она тоже на службе.

— Убери нож! — крикнул ему усач.

— Я не разбойник, — резонно заметил дед.

— А ну, поговори!

— Я бы ее привязал...

— Брось нож и показывай дом!

— Бойтесь, — заключил дед.

— Я тебе, дед, заткну горло, слышишь?

— Да оставьте вы его, — заступился за деда один из офицеров, приведенных на постой. — Вы что, хозяин, кажется, барана зарезали? — заговорил он с дедом, стараясь установить с ним добрые отношения с первой встречи.

— Да вот, стало быть... — Дедушка замаялся от стыда за свое вранье. — Хотел, как людям, угодить. Да-а...

Только теперь усатый офицер, худощавый, с висячим носом, вприщурку, быстро оглядел двор и увидел у сарайчика освежеванную тушку барана. С неожиданной ухмылкой оглядел и деда.

— Врешь, но ловко.

— Нам никто не верит, — потупясь, сказал дед.

— Ну ладно, ладно, хозяин! — Горбоносый усач, вероятно,

все же почувствовал неловкость за свой поступок. — За собачонку я заплачу, а раз собрался угождать — угождай. Поглядим. Самосидка, конечно, есть?

— Я не гоню, — соврал дед.

— А почему? Сейчас все гонят.

— Здоровье не позволяет выпивать, вот и не гоню.

— Тогда найди! Какое угощение без самосидки? К вечеру чтобы была. Слышишь, служивый? Я вот приду поглядеть, как ты потчуешь верных сынов России! В самом деле, господа, зайти?

— Окажите честь! — ответили офицеры.

Все пошли в дом, а я побежал взглянуть на Найду, надеясь на чудо. Но напрасно, конечно. С минуту, обливаясь слезами, я гладил холодящую собачку, заглядывая в ее стекленеющие глаза. Но вдруг вспомнил о матери...

На кухне была только бабушка. Мать укрылась с ребятами в боковушке. Дверь в горницу была распахнута. Там у стола сидели офицеры и смотрели на портрет генерала Скобелева, а дедушка оживленно рассказывал им про старые войны.

— Все брешет, — шепнула мне бабушка, отвсдя в куть. Но тут же и оправдала деда: — А пусть побрешет, не беда! Этим и сбрехать не грех. Ты вот тоже, если спросят про отца, хитри: без всяких вестей, дескать, пропавший, только и всего! А то ты простота.

Офицерам понравился дом. Отдав деду разные наказания, они ушли, сказав, что возвратятся вечером. Самый главный наказ касался самосидки.

В дальнем углу огорода, среди зарослей бурьяна, дедушка выкопал ямку. В ней мы и похоронили Найду. Дедушка задержался немного и, опираясь на черенок лопаты, погоревал:

— Да-а, были бы такими все люди. Где там! Ну не реви, не реви, заведем другую... — Он никак не мог уйти от собачьей могилы. — Те двое, какие встали на постой, вроде ничего, обходительные, а усач все косится, все с подковырками лезет. Задира! Боюсь, налакается вечером самосидки и учинит разбой. Сказать, что не достал? Еще хуже будет. Да-а, надоть идти...

Дедушка вернулся с полуведерным лагунком самосидки лишь в сумерки. Бабушка уже приготовила стол в горнице, заставила его разными солениями. Из русской печи, которую пришлось испечь к ночи, сидьно пахло тушеной бараниной. Вот-вот должны были появиться колчаковцы.

— Всю улицу обошел, — рассерженно поведал дедушка. — Никто не дает. У всех стоят. Везде уже взаклеб лакают! — Он не утерпел, чтобы не блеснуть перед бабушкой своей военной смекалкой. — Сорок шестой Томский полк. На Солонувку пойдет. Ну не знаю, дойдет ли... Солдаты-новобранцы, видать, с горя пьют: восвать неохота. По всему видно. У меня глаз наметан.

— Где же достал-то? — спросила бабушка.

— Пришлось на самый край, к Лобачихе, идти.

— К шинкарке? Сколь же она содрала за этот лагунок?
— Куль ячменя на солод пообещал.
— О батюшки, да ить ограбила!
— Зато самосидка особая, с ног сшибает! — Дедушка хохотнул, и стало ясно, что и тут он не удержался от какого-то озорства. — С табачком настояпа, — сообщил он, понизив голос. — Мне эта Лобачиха не велела пить. Сильное, сказывала, зелье!

— Господи, да ты что, дед, очумел? — испугалась бабушка. — А ну как они обошьются?

— Пускай! Скорейча свалятся. Того и надо.

— Да ить беды бы какой не было!

— Какая тут беда? Ну покорчит немного...

Мать и братишки, загодя поужинав, вновь скрылись в боковушке. Я начинал кашлять от простуды и потому с удовольствием забрался на горячую русскую печь — мне велено было зря не показываться на чужие глаза.

Офицеры ввалились в дом шумной компанией. Их было пятеро, все молодые, в новеньких шинелях с золотыми погонами. Несмотря на запрет, я их оглядел, пока они, не раздеваясь, продолжая о чем-то спорить, проходили в горницу. Странно, но гости не вызвали у меня никаких неприятных чувств: у всех свежее, оживленные лица, и, будь они в обычной одежде, я никогда не подумал бы, что они белогвардейцы, которые всех грабят и казнят. Только усач с носом, похожим на орлиный клюв, вошедший в дом последним, был человеком, по моим понятиям, явно варначьей породы. Я не успел скрыться от его быстрого и цепкого взгляда. Сдвинув брови, он приблизился к печке и спросил:

— Что зверенышем глядишь?

Я быстренько отполз подальше от края печи.

— Погляди у меня! Я тебе их огнем выжгу!

— Большой он, большой, — заметалась бабушка.

— Большой, а глядит волчонком.

Долго пили и шумели офицеры. Едва я засыпал, меня будили их пьяные выкрики. Дедушка и бабушка настороже сидели у кухонного стола. В горницу заходил один дедушка, да и то когда звали. Я слышал, что ему предлагали самосидки, но он, хотя и не прочь был выпить, твердо держался созданной легенды. И вообще он, должно быть, побаивался разных неожиданностей, все время держался непривычно сдержанно. Рассказывая по просьбе офицеров о своих походах с генералом Скобелевым, он и тогда не оживлялся, как обычно, и не сыпал солдатскими побасенками да прибаутками. Словом, дед — на удивление — был скучным в ту ночь, совсем непохожим на себя, и офицеры, потеряв к нему интерес, вскоре совсем оставили его в покое. Он сидел в задумчивости, прислушивался к разноголосице в горнице и переглядывался с бабушкой, покачивая головой.

Около полупочи самосидка совсем развязала офицерам языки. В горнице начали завязываться не только споры, но и пере-

бранки. Чаще всего меня будил резкий голос усача варначьей породы. Из всех гуляк он был самым раздражительным и горластым. «Вот окаянный, орет, как ворона! — дивился я спрочносья. — Подавиться бы тебе затычкой от лагунка!» Но однажды я проснулся в большом испуге: в горнице уже оралли во все глотки, слышался треск дерева и звон разбиваемой посуды.

Вскоре два офицера, ругаясь и покачиваясь, направились из дома. Дедушка, опережая их, бросился открывать все двери. После этого в горнице громко, раздраженно выкрикивал только усатый, а его старались успокоить наши постояльцы. Я опять незаметно уснул, а проснулся оттого, что неприятный голос усача раздался у самой печи.

— Господа, я сию минуту, я подышу воздухом! Что-то сдавило грудь! Невыносимо!

Ему осторожно намекнули:

— А не пора ли нам спать?

— Вы что, господа, гоните?

— Ради бога!

— Хорошо, я вернусь!

На усатого натянули шинель, и он вышел из дома, широко распахивая и оставляя открытыми все двери. Дедушка не пытался опередить его, а шел за ним следом...

— Совершенно пьян, — сказал один из наших постояльцев.

— Досадно будет, если вернется, — откровенно заметил другой. — На всякий случай я ему подал шинель. Может, раздумает.

— Но придется все же обождать!

Еще раз я проснулся, вновь услышав голоса постояльцев у печи.

— Вы везде, хозяин, поглядели?

— Весь двор обошел, — ответил дедушка. — Нигде его нету.

— А за воротами?

— И там глядел.

Постояльцы отвернулись от дедушки.

— Вероятно, ушел все же...

— Идем спать. Я едва держусь на ногах.

А утром пришли те два офицера, что, рассорившись с усатым, первыми покинули наш дом. Закрыв двери горницы, они недолго и негромко поговорили с постояльцами, которые только что поднялись с постелей. Потом офицеры позвали к себе дедушку, и он досадливо поморщился — решил, что опять будут посылать за самосидкой для опохмелки.

— Да нет его на дворе, господа офицеры! — говорил он шумливо, возвращаясь через минуту на кухню. — Я утресь еще везде поглядел. Ушел он куда-то...

Но офицеры, выходя за ним следом, попросили:

— Пойдемте все же, хозяин, поищем...

— Вот беда-то! Да теперь он уж вскочил бы: за ночь-то небось выбило хмель из головы. Сегодня морозно было.

Дедушка и офицеры осмотрели весь двор, все закоулки, все сараи и хлевушки. Заглянули даже в колодец, что был среди двора. Потом взволнованные офицеры, не завтракая, куда-то ушли. И больше не вернулись. А в полдень все беляки покинули паш край.

— Так и не нашелся горластый, — сказал дедушка.

— Но куда ж он все ж таки подевался? Не провалился же сквозь землю!

Вторую ночь я спал на печи — лечился от простуды. Спал очень крепко, но, кажется, мгновенно почувствовал, что меня касается чья-то рука. Ее осторожное, ласковое касание было мне чем-то очень знакомым, памятным, и, еще не успев открыть глаза, я с изумлением догадался, что меня будит отец. Откуда он взялся? Да и он ли? Но меня действительно будил отец. Стоя на голбце, он тянулся ко мне рукой и говорил:

— Проснись, сынок, встань.

— Измучился вчера, — пояснил дедушка. — Всю ночь тут шумели.

— Оставь ты его, — слышался слезный голос матери.

— И правда, зятюшка, оставил бы, — подхватила бабушка.

Все они в растерянности стояли среди плохо освещенной кухни, и я понял, что, до того как дотронуться до меня рукой, отец разговаривал со всей семьей о чем-то важном, касающемся меня, но, не получив согласия, теперь действовал наперекор семье.

— Я уже сказал, что не оставлю, — обернувшись ко всем, ответил отец тихо и твердо. — Вы еще не знаете, что они делают с партизанскими семьями, а я знаю. Не милуют и грудных детей.

— Да ведь они ушли, — сказала мать.

— Эти ушли, другие могут прийти, — не повышая голоса, ответил отец. — Тут, в Почкалке, всего жди. Всем надо отсюда бежать.

— И не думай, — отрезала мать. — Куда я с малыми?

— Ну хоть старшего, да я спасу.

Он взял меня на руки, собираясь спустить на пол. Только тут я заметил на его плечах офицерские погоны. Это меня сильно озадачило, и я спросил:

— А зачем у тебя погоны?

— Да так, сынок, под беляка вырядился, чтобы при случае за своего принял. — Отец коротко посмеялся, что было не ко времени, и, смутившись, пояснил серьезно: — Мы часто так делаем, когда надо.

— И с тремя звездочками, как у горластого.

— Был у нас вчера такой, — пояснил дедушка.

— А они его и есть!

— Да что ты, Семен? Неужто?

— Так вышло, — словно извиняясь, ответил отец и опустил меня на пол. — Собирайся, сынок. Поседем отсюда.

— Как же вышло-то? — не терпелось дедушке.

— Верь не верь, а вот как было дело, — начал рассказывать отец. — Я от здешних подводчиков узнал, что мать с детьми сюда приехала. Вот начудила так начудила! Ну да ладно об этом... И только я это узнал — беляки заняли село. Меня так и обожгло! Тут как раз приезжает в полк главнокомандующий и приказывает послать за бор разведку, в три места. Я сразу же и направился в Почкалку. Думаю, и разведу, и хотя бы Мишу заберу с собой. Ну, пробрались мы с товарищем ко двору, а Найда молчит. Что такое? Должно быть, думаю, хозяина послали с подводой, с ним и убежала. Заходим во двор. Смотрим, ставни закрыты, в доме свет и пьяные голоса, крики. Стало быть, беляки гуляют.

— До полуночи лакали и грызлись! — с негодованием воскликнул дед.

— Ну, думаю, все пропало, — продолжал отец, но с веселым видом, что заставило меня еще более наострить уши. — Про беляков-то мы успели кое-что разузнать, а вот как, соображаю, с Мишей быть? Тут вдруг выходит этот самый поручик. Мы за угол дома, поближе к воротам. Ждем. Вот он увидел нас и спрашивает: «Это вы, господа?» За кого-то принял нас, думаю...

— До него двое из дома вышли, — пояснил дед.

— И нас двое, он и принял за своих. — Воспоминание развеселило отца, он весь сиял, что заметно было даже при слабом свете коптилки. — Ну, мы пока молчим. «Что ж вы молчите, господа?» — кричит он нам и идет к воротам. Что делать? Я возьми и пробурчи вот так: «Ну мы...» — «А что вы стоите тут?» — «Тебя поджидаем». — «Ага, осознали, что болтали ересь? Пан-нимаю, господа, пан-нимаю...» У нас и в мыслях не было брать его, но он уже валится мне на грудь! Как быть? Пришлось подхватить его да в калитку. «А куда, господа?» — «Домой». И мы повели его прямо улицы. Тут он и разошелся, и давай во все горло. «Вы, господа, — кричит, — сами еще не понимаете, что заражены большевистской заразой. Где ваша вера в Россию? В успех нашей борьбы?» И пошел, и пошел! Говорун! И только уж на кромке бора спохватился, почувствовал что-то и спрашивает: «Куда же вы меня ведете, господа?» — «В гости, — отвечаю. — К Мамонтову». Рванулся было, а пистолета уже нет. Ну маленько поспорил, а пришлось идти. Теперь он далеко, в Малышевском Логу.

— Вот так история! — восхитился дед. — Там его опохмелят!

— Или там, или на том свете. Зловредный, видать, гад, от такого не жди пощады. Думаю, если таких здесь много, не миновать беды. И еще больше заняло сердце. Вот и решил еще раз пробраться сюда.

— А тут с ног сбились, — сказал дедушка. — Как сквозь землю! Мне и в башку не стукнуло...

— Тебе не стукнуло, а им стукнуло, — сказал отец. — Они поняли, кто его уволок. Вот у них и поднялась паника. А мы,

Когда отпраплялись сюда, были уверены, что так и будет. Но на всякий случай зашли к одним на Подборной. Там и узнали, что их уже нет в здешнем краю. Да, вот еще что, в подводы не назначали?

— На послезавтра, — ответил дедушка.

— Значит, только послезавтра думают двигаться?

— Выходит, так. Велели брать побольше овса.

— На Солоповку собрались. Только я так скажу: сколько ни возьмут овса, туда не дойти. Пусть не думают.

— Разговорился ты, — заметил дедушка. — Не боишься?

— На дворе мои ребята. Ну, как ты, Миша?

Я уже был в незалатанных штанах и лучшей рубахе, какую носил лишь по праздникам, — отпраплялся-то в чужие люди. Осталось обуться в сапоги. И тут мать, словно опомнясь, жалобно заговорила:

— Как же он поедет? Скоро зима. Да он и простужен, уже кашляет!

Мои старые пимы остались в Гуселетове. Дня три назад дедушка отнес пимокатам мешок шерсти, но те обещались обуть меня лишь через неделю.

— Да, того и гляди закрутит, — осторожно поддерживая мать, сказал дедушка.

Отец молча, хмурясь, осмотрел мои сапоги, шерстяные носки и онучи. Все это пока, при бесснежье, вполне годилось для беготни близ дома, но для дальней дороги было уже ненадежно. На несколько секунд отец сник в тягостном раздумье, но, передохнув, обвел потемневшим взглядом всю семью и неожиданно погладил меня по голове.

— Обувайся, Миша!

— Ты его загубишь! — выкрикнула мать. — Креста на тебе негу!

— И никогда не будет! — ответил отец тихо и мрачно, но, тут же смягчаясь, пояснил с привычной терпеливостью: — Ты пойми, не могу я его здесь оставить. Я с ума сойду. За бором найдем пимишки. Вылечим от простуды. И будет жить!

Я обувался охотно, но со сна не спеша и молча. Это до некоторой степени насторожило отца. Ему хотелось, чтобы я в открытую, как полагается взрослому человеку, перед всей семьей выразил свою волю, и потому спросил:

— Ну что, Миша, поедем?

Не раздумывая, я кивнул головой.

— Ясно, все в порядке, — обрадовался отец. — А ноги, сынок, не озябнут? А зябли в последние дни? Отчего же простудился? Вон что, напился из бадьи! А не боишься ехать со мною?

— Не-е...

— Ну все, одевайся!

Шубенка у меня была замызганная, но теплая, а шапка, подаренная дедушкой, — из заячьего меха, с длинными ушами, как у башлыка. Ехать можно было...

Когда я был в полном сборе, мать вскочила с лавки, схватила меня и, заплакав, стала прижимать к своей груди.

— Сынок! Родной мой! Сынок! — выкрикивала она, обливаясь слезами. — Куда же ты собрался? Не увижу я тебя больше! Чует мое сердце...

— Да не каркай ты! — не вытерпев, оборвал ее дедушка.

Мне вдруг всхлипнулось и стало душно. Смотря на раскрасневшееся, искаженное болью лицо матери, ее заплаканные, мчущиеся глаза, я понял, какую обиду я наношу ей сейчас, покидая ее в такой тревоге. И тогда во мне что-то дрогнуло, прорвалось, обжигая мое сердчишко болью. Я сам, по своей душевной потребности, стал прижиматься к ее груди и целовать ее руки.

От радости, что у меня пробудилось ответное доброе чувство, мать бурно зарыдала. Ее силой оторвали от меня, усадили на лавку, дали воды. Кое-как успокоясь, она подняла голову с растрепанными волосами и, поглядев на меня долгим взглядом, с большой надеждой спросила:

— Ты не уедешь, сынок?

Но я промолчал, и она опять зарыдала...

— Пора уходить, — сказал отец.

Я вытащил из печурки свои варежки.

У крыльца нас поджидали два партизана в шинелях, с винтовками. Все мы следом за дедушкой прошли на огород, спустились в его дальний конец, а там перелезли через прясло и оказались на чужом подворье. Хозяин того подворья, встретив нас, вывел на соседнюю небольшую улочку и повел в бор.

В бору было особенно темно и глухо. Отец вел меня за руку, как маленького мальчишку, чего я прежде терпеть не мог. Но теперь почему-то терпел и шел молча, все еще не в силах успокоиться после разлуки с матерью. От мысли, что сегодня я ее горько обидел, мне изредка всхлипывалось, хотя и без слез. Я мысленно казнил себя за то, что довел ее почти до обморока. Однако я не чувствовал ни малейшего раскаяния в своем решении. Да почему так было со мною? Почему я, хорошо сознавая свою вину перед матерью, не вырывал руку из руки отца и не бросался назад, хотя еще и не поздно было? Что меня удерживало и заставляло шагать в погу с отцом? Нет, совсем не радость, вызванная неожиданным исполнением давнишней мальчишеской мечты. Как ни странно, но никакой радости я не испытывал в те минуты. В руке отца, сжимающего мою руку, я чувствовал силу, какая дается, должно быть, только большой правотой. Мне было приятно ощущать ее и верить ей. Именно поэтому меня и не оскорбляло, что отец обходится со мной как с мальчишкой. Даже при той сумятице, какая творилась тогда в моей душе, пусть и смутно, но я сознавал, что он был прав, забирая меня из дедушкиного дома, и его риск, напугавший мать, несомненно, был наивысшим проявлением его отцовской любви и заботы.

Но вот наш проводник заговорил с кем-то впереди. Под соснами у дороги еще один партизан караулил верховых коней. Пока все закуривали, переговариваясь, отец усадил меня в седло и подвязал по моей ноге стремяна. Подавая поводья, сказал: — Не бойся, мерин смиренный.

Я невольно обратил внимание на то, что для меня был приведен особый конь. Значит, решение отца забрать меня из Почкалки было заранее обдуманым и твердым, а не случайным порывом, какой мог быть вызван встречей со мной.

— И от меня не отставай, — наказал отец.

Мы направились знакомой дорогой, ведущей через бор, но темнота мешала скакать крупной рысью. Тот, кто был головным в цепочке, зачастую переводил своего коня на шаг. У проливчика между двух озер все партизаны собрались в круг, о чем-то тихонько заговорили. Мне не однажды приходилось проезжать здесь на телеге: глубина в проливчике была лишь по брюхо коню. Но сейчас на нем был слабый лед.

— Вечером трещал, — сказал мне отец. — Ехать надо поодиночке, шагом.

Лед и теперь потрескивал под верховыми, но все перебрались благополучно. А мне не повезло. На самой середине проливчика меня вдруг прямо-таки оглушило звоном лопающегося льда. Не испугайся мой конь, на мелководе не могло быть никакой беды. Но он испугался и давай со всей силой вымахивать из воды, иступленно крошить подковами льдины. За несколько минут, пробивая себе путь на другой берег, конь раз сто всего меня облил ледяной водой.

ТЕМНОЕ ПРЕДЗИМЬЕ

I

С первых дней ноября 1919 года колчаковское командование предприняло новое большое наступление против партизан лесостепного Алтая, намереваясь разгромить их до наступления зимы. Надо было спешно готовиться к обороне. Всеми работами по подготовке оборонительных позиций вокруг Солоновки, партизанской столицы, руководил начальник штаба корпуса (а впоследствии — армии) Яков Жигалин, находившийся здесь неотлучно. Человек образованный, хорошо знавший военное дело, энергичный, неутомимый, он многое сделал для того, чтобы Солоновка выстояла под любым напором врага. Десятки раз обходил он траншеи и окопы вокруг села, добываясь, чтобы они отвечали твердым уставным требованиям и служили надежной защитой для обороняющихся войск.

Главком Ефим Мамонтов, прискакав однажды на часок в Солоновку, остался очень доволен тем, как готовились здесь пози-

ции, и со спокойной душой отправился обратно в Малышев Лог, что в десяти верстах от Солоновки, за Касмалинским бором, на самой главной для здешних мест Соляной дороге.

Сюда, в Малышев Лог, Мамонтов спешно стягивал некоторые партизанские полки, действовавшие в последнее время на широких просторах междуречья Оби и Иртыша. Первым прибыл 2-й Славгородский полк, основное ядро которого состояло из его отрядов, возникших в начале августа. Мамонтов приказал командиру полка Орленко немедленно приступить к исправлению всех окопов, нарытых за лето близ села, по обе стороны Соляной дороги, — пока готовились оборонительные позиции вокруг Солоновки, он собирался задержать здесь противника на несколько дней.

7 ноября под вечер Ефим Мамонтов в сопровождении небольшой охраны прискакал в следующее село на Соляной дороге — Мельниково, где когда-то наголову разгромил батальон карателей полковника Окунева. Здесь стоял 3-й Бутырский полк, накануне подошедший из Алейской степи. Все в полку знали, что за перспейком между озерами, за Барнаульским бором, уже сосредоточиваются высадившиеся на станции Поспелиха два белогвардейских полка, все понимали, что приближаются решительные бои, и, естественно, в ожидании их не могли быть спокойными. Но у некоторых, должно быть, уже начинали подрагивать поджилки. Это немедленно заметил очень зоркий главком — по малейшим признакам он умел определять психологическое состояние частей («Они настроены панически», — сообщил он Жигалину о бутырцах под утро, возвратясь в Малышев Лог).

Выехав к перешейку, где в то время находилась в боевом охранении рота моего отца, Мамонтов спешился, отдал поводья коноводу, а сам, в легкой кожанке и светло-серой папахе с красной лентой, с недовольным видом порывистой походкой направился к окопам. Под его сапогами с позванивающими шпорами поскрипывал песок, а шашка с шуршанием скользила между высоких и жестких трав, побитых первыми морозами. Он молча поздоровался с отцом, вышел за линию окопов и, остановившись в одиночестве, долго вглядывался в темный бор и темное небо. «Не в духе», — понял отец. Потом Мамонтов, обернувшись к подхившему командиру полка Каширову, невесело спросил:

— Как на озерах?

— Замерзли, — неопределенно ответил Каширов.

— Знаю. А какой лед?

— Вроде уже держит...

— И этого не знает! — с горестным удивлением воскликнул Мамонтов. — Как же вы здесь живете? Разведка не послана. Ничего о противнике не знаете. А ведь он не будет зимовать за бором. Он пойдет сюда. Когда? Где? Это надо знать! Если лед держит, он и не полезет вот здесь, на перешейке, а обойдет вас по озерам и передушит, как слепых кутят. — Главком по-

сился на всех, кто стоял позади Каширова, да с такой укоризной, что те стыдливо опустили глаза.

— Виповат, товарищ главком! — отозвался Каширов.

— Ладно уж... — ответил Мамонтов по-свойски, не желая больше обижать Каширова, в общем-то неплохого командира, но отчего-то невезучего и, должно быть, втайне страдающего от своей невезучести. — Надо сегодня же, товарищ Каширов, создать три группы разведки и послать за бор — в Новичиху, Токарево и Почкалку. — Он был отходчив сердцем, Ефим Мамонтов, и говорил уже все мягче и мягче, раскаиваясь в том, что не сдержался и отчитал командира полка при людях. — Все надо разузнать, Николай Иосифович, все доподлинно. Так будет надежнее.

Вот здесь-то мой отец и попросил главкома отправить его с одной из разведывательных групп в Почкалку. Мамонтов не удивился просьбе, но поинтересовался:

— А почему именно туда?

— Так я же знаю село!

— А-а, да-да...

— И там сейчас моя семья.

— Там? В гости небось к своим уехала? — удивился Мамонтов. — Зря! Дознаются беляки — быть беде. Сколько уже семей наших товарищей погибло — не счастье! Ступай! Может, заодно как-нибудь вывезешь?

— Попытаюсь, — тихо промолвил отец.

— Ступай, ступай, — повторил Мамонтов, но тут же, все еще испытывая раскаяние за свою горячность, добавил: — Впрочем, это дело Николая Иосифовича. Но я не возражаю. Только ты смотри, дело делай, да про семью не забудь. И еще вот что: полк завтра уйдет отсюда в Малышев Лог. И ты возвращайся туда, да дуй лучше напрямки, степью, а то здесь могут беляки быть.

За три дня после поездки в Мельниково Мамонтову удалось стянуть в Малышев Лог еще три полка: 3-й Бутырский, 5-й Степной и 6-й Кулундинский. Кроме того, в соседнее село Долгово вот-вот должен был подойти 7-й полк Красных орлов, — стало быть, тоже будет под рукой. И только о 1-м Алейском поступили неприятные вести: не подчиняясь приказу, полк самовольно отправился в сторону Алейской степи. Это был первый в армии случай грубейшего нарушения воинской дисциплины.

О том, что в 1-м Алейском полку дают себя знать настроения местничества, Мамонтову было известно. Главком знал, что с наступлением холодов алейцы стали рваться в родные места. Почти ежедневно они шумно митинговали, требуя направить их на Алей. На днях по решению штаба корпуса новым командиром полка был назначен Федор Архипов — тот, что привел в августе алейцев на соединение с отрядами Мамонтова. Его послали туда в надежде, что он как бывший вожак алейского отряда, из которого вырос полк, сможет повлиять на своих зем-

ляков, смутьяпов и нарушителей дисциплины. А оказалось, что и ему не чужд дух местничества.

Федор Архипов после встречи с Мамонтовым в Мельникове только один месяц был начальником штаба его армии. Они не поладили, и очень основательно, из-за методов борьбы с пьянством. Нечего греха таить, в армии находилось немало любителей самосидки, которую совсем недавно научились гнать в сибирских селах, и, раз дело пошло на лад, постарались придать ему размах, достойный Сибири. Надо было принимать крутые меры. Тогда-то по настоянию Архипова — человека твердых большевистских убеждений, но слишком прямолинейного, жестокого, — было принято решение штаба о применении порки за пьянство, причем невзирая на лица.

Через несколько дней член штаба Сизов, горячо ратовавший за суровое решение, отправился в армию для искоренения пьянства. Но, как это нередко случается с подобными блюстителями дисциплины, сам напился в стельку и вел себя недостойно. А когда вернулся в Солоновку, Архипов избил его. В протоколе заседания штаба, где разбиралось это дело, обстоятельства самосуда изложены так: «...Его позвали в штаб, и на пути к штабу Архипов его избил кулаком, а в штабе плетью и рукоятью револьвера прошиб ему голову. Бил его Архипов с прибаутками: «Вот тебе теплая квартира!», «Вот тебе девки!». Обещался выслать его за пределы района штаба как государственного преступника. После чего он (Сизов) рассказал свою биографию, из которой видно, что он хороший политический работник».

На том заседании выяснилось, что хотя Мамонтов и за суровые меры борьбы с пьянством, но против всяких «экзекуций» как не отвечающих духу нового времени. Архипов был отстранен от должности начальника штаба, хотя Сизов, по его словам, в «интересах революции» и простил его за самосуд. Архипов стал рядовым работником штаба, но вскоре, не вынеся обиды, да и побаиваясь гнева Мамонтова, уехал работать в Облаком — так сокращенно назывался созданный в то время Западно-Сибирский исполнительный комитет Советов, осуществлявший гражданскую власть на территории, где действовали партизанские войска.

И вот Архипов, вместо того чтобы одернуть бузотеров и горлопанов, сам поддержал идею возвращения в родные места, да еще в такие тревожные дни! Большая часть 1-го Алейского полка ушла с Архиповым на Алей, покинув армию, которая готовилась к решительному сражению, и лишь меньшая часть, состоящая из неалеЙцев, направилась в сторону Малышева Лога. Оставшись верной своей армии, она с тех пор стала называться 1-м Алтайским полком.

(Правда, здесь, ради исторической истины, следует заметить, что Алейский полк во главе с Архиповым, уйдя в родные места, вскоре развернулся в Горностепную дивизию, которая еще успела принять участие в окончательном разгроме белогвардейщи-

ны на Алтае. Но это, как совершенно очевидно, не смягчает вину Алейского полка, покинувшего в тяжелый момент повстанческую армию Мамонтова.)

О том, что алейцы во главе с Архиповым ушли из армии, Мамонтов узнал в полдень 10 ноября и до самого вечера не мог успокоиться. Было немало случаев, когда он, не терпящий никакого своеволия и разгильдяйства, привыкший за восемь лет службы в армии к дисциплине, постоянному самоограничению, вспыхивал, как огонь в сушняке, но всегда ненадолго. И всегда после вспышки у него был крайне смущенный и виноватый вид. Но в тот день Мамонтов был в гневе, в яростном, неудержимом гневе...

II

Весь темный, сумеречный день мы ехали унылой, безлюдной степью. Отец и я сидели в плетеном коробе легкого ходка, запряженного парой рысистых коней. Словоохотливый возница, хорошо знавший бесчисленные переплетающиеся, едва приметные дороги, считал нужным все время пояснять, чьи заимки, пашни, колодцы и кошары мы проезжаем, как зовутся встречавшиеся на пути колочки и лога. Отец, любивший все знать, принимал эти сведения с очевидной благодарностью, но, как ни странно, не очень охотно поддерживал разговор с возницей. Он досадовал, что мы задержались дольше, чем следовало, в селе Крестьянском. Ночью я прискакал туда в заледенелой одежде. Пока ее обсушили, ушло много времени. Не сразу и отыскались для меня старенькие, с обожженными голенищами, проношенные до дыр пимы с мужской, сильно косолапавшей ноги. Отцу не хотелось являться в Малышев Лог ночью.

Сильно потягивало с севера стужей, обещавшей снег. Смирившись с неизбежностью дальней дороги, я спокойно слушал, как стучат по мерзлой, плохо укатанной целине колеса ходка, как гулко топочут позади и фыркают кони — это однополчане отца скакали в седлах. Мне не думалось о том, что меня ожидает среди партизан, хотя именно об этом прежде всего и думать-то надо было. Еще в начале пути мне вспомнилось, как я и Федя встретили в августе гуселетовский отряд на Касмалинском тракте. Даже мимолетное приобщение к походной жизни партизан, да еще в тот час, когда они отправлялись в бой, тогда мною считалось как исполнение заветной мечты. Отчего же сейчас-то, когда отец взял меня с собой, да так неожиданно, без всякой моей просьбы, когда мне предстояло жить среди партизан, может быть, очень долго, я не испытывал какой-то особенной радости? Тут бы прыгать до неба, а я сидел в ходке спокойно, молчаливо и вспоминал то о бурно рыдающей матери, то о тихонько постанывающей бабушке или без особенного любопытства глазел по сторонам. По степи, за ночь чуть припорошенной снежной крупкой, то подпрыгивая, то ненадолго задерживаясь,

словно усомнившись в верности избранного пути, летели неведь куда огромные шары перекаати-поля. Но все же я чувствовал, что и мои воспоминания, и мои наблюдения хотя отчасти и занимают мое сознание, но не мешают отдаваться какой-то бесконечно большой, глубинной думе — и совсем не о том, что меня ожидает в ближайшее время, а где-то далеко-далеко впереди, когда я буду вот такой же, как отец...

В Малышев Лог, миновав партизанские заставы, мы добрались при огнях. На главкомовском командном пункте — он находился, кажется, в большом доме кредитного товарищества, на южной стороне лога, — в тот вечерний час, час ужина, было безлюдно. На первом этаже, правда, толклись солдаты из комедантского взвода, а на втором, в прихожей комнате, куда мы поднялись, находился лишь один из адъютантов главкома. При неярком свете настольной лампы он рассматривал какие-то бумаги и что-то записывал в амбарной книге. Дверца «голландки», обитой черной жостью, была приоткрыта для большей тяги, за дверцей гудел огонь.

— Ждал, — оторвавшись от дела на секунду, сказал отцу адъютант. — Сейчас будет. Грейтесь.

С минуты на минуту должна была исполниться еще одна моя заветная мечта. Весь день я находился в состоянии странной рассеянности, и только вот теперь, в ожидании Мамонтова, увидеть которого так хотелось в течение всего лета, я впервые, словно очнувшись, вдруг почувствовал в своей душе то неизъяснимое горение, от которого всегда становился сам не свой. Ничем другим, пожалуй, не мог ободрить и обрадовать меня отец так, как этой встречей с прославленным героем нашей степи. Но признаться вначале я сильно, до потрясения, был напуган этой встречей.

Внизу сильно хлопнула дверь, раздался громкий голос, слышался быстрый топот по крутой лестнице, и адъютант, вскакивая за столом, промолвил негромко:

— Главком...

Мне по душе было, что Мамонтов не вошел, а будто влетел в штаб, звеня шпорами. Огонь! И внешне он мне показался таким, каким я ожидал его встретить, — в длинной кавалерийской шипели, весь в ремнях, с плеткой, при всяком оружии. Орел! Ему разве что не хватало бомбы у пояса. Но Мамонтов, вбежав в штаб, заговорил с адъютантом так шумливо, что мне сразу стало жутковато. «Сердит! Ох сердит!» — подумал я с испугом, притаиваясь за книжным шкафом.

— Где Колядо? — крикнул Мамонтов.

— Идет в Долгово.

— Когда будет?

— Завтра в двенадцать ноль-ноль.

— А Громов?

— Выезжает сюда.

— Что из Солонки?

— Жду нарочных.

— Да какого ж они черта?

Мамонтов распахнул створчатые двери в свой кабинет и, закрывая их, бросил на стол свою плетку, белую длинноволосую папаху с красной лентой, а потом давай срывать с себя все оружие... И только тут он вспомнил, что, вбежав в штаб, кого-то заметил краешком глаза. Не успев затянуть себя в португею, он показался в дверях кабинета в неподпоясанной гимнастерке, как в домашней рубахе. Не успел он и причесать припотевшие под папахой, измятые, как после бани, светлые волосы, что в сочетании с неподпоясанной гимнастеркой придавало ему совсем неподобающий его положению простецкий вид. Увидев отца, он заговорил другим тоном:

— Это ты? Извиняй, брат, и здравствуй.

— Что случилось? — спросил отец.

Остывая, Мамонтов не торопясь вышел из дверей, сел на табурет перед печной дверцей и, подкладывая в печь сосновые, только что наколотые дрова, ответил мрачно:

— Такое, что и говорить неохота. — Он еще помедлил, боясь растравить себя рассказом о случившемся. — Тут у нас, брат, начались хреновые дела. Срам! Стыд! Позор! Сам, поганец, с пеной у рта доказывал, что всех нарушителей дисциплины надо согнуть в бараший рог! Даже легкой людей порол! Головы проламывал! За что? За выпивку! А сам вон как напаскудил! Да я бы с него, сукиного сына, сейчас всю шкуру содрал!

— Не содрал бы, — усмехнулся отец.

— Ну в трибунал бы сдал подлеца!

— Ты об Архипове?

— А то о ком же? Сколько правильных речей наговорил! Сколько ратовал за порядок! А сам вон какую анархию развел! А мы — армия! Красная Армия! Мы не можем без строгой дисциплины.

— Да что случилось-то? — повторил отец негромко.

— Полк увел! На Алей! — Ему так и не удалось рассказать о случившемся спокойно. — Да в какой момент! Беляки вот-вот ударят!

Он был совсем белокурым, со светлыми, не то серыми, не то голубыми глазами; они сильно молодили его, отчего он, должно быть, и начал отращивать усы.

— Ты там не разузнал когда? — спросил он отца.

— Разузнал, — заулыбался отец. — Мужиков назначают в подводы на завтра. Велят брать побольше овса.

— Та-ак... — Мамонтов задумался и начал пощипывать усы. — Значит, послезавтра наверняка будут в Мельникове. Та-ак... — Он неожиданно поднялся с табурета, сходил в кабинет и надел португею с наганом в кобуре. Стоя в дверях, затягивая ремень, еще раз повторил с раздумьем: — Так, значит, послезавтра в Мельникове... — Мысль о скорой встрече с белогвардейцами безотчетно заставила его подтянуться, вызвала желанье почувство-

вать в себе ту собранность, с какой он обычно отправлялся в бой. — Овса, говоришь, велют брать побольше? Стало быть, мечтают о Солоновке. Ну поглядим, поглядим...

— Ужин готов, товарищ главком, — улучив момент, доложил адъютант. — Хозяйка прибежала, звала.

— Обождет.

— А я думал, ты на меня, Ефим Мефодьевич, осерчал, — заговорил отец, когда главком опять вышел в прихожую.

— А на тебя-то за что?

— Ну, может, не того беляка добыли...

— Что ты, он мне здорово приглянулся! — оживился Мамонтов и, подойдя к отцу, пальцем постучал его в грудь, словно стараясь этим жестом подтвердить свою дружескую приязнь к нему и полное удовлетворение его действиями в разведке. — Но где ты, скажи-ка, такого гада добыл? Ну и гад! Пулю на него жалко, а все-таки придется истратить. Офицеришки, когда попадают в плен, всегда нюни распускают: знают, что им не будет пощады. А этот как зверюга. Злоба в нем так и кипит. Даже на меня рычал! И даже обещал сквитаться за свою жизнь, пусть и на том свете. Идейный. Убежден, что правда на их стороне. Уверен, что с нами скоро будет покончено. А вот вгорячах все же проговорился: дескать, в полках много большевистской заразы...

— Но язык-то развязал? — не утерпел отец.

— Помогли развязать! — Мамонтов засмеялся заразительно, от всей души. — И у него оказался во какой язычище! Забыл и о присяге. А тут еще явились два солдата-перебежчика. Все подтвердили. Там у них действительно всюю действуют большевистские агитаторы. Идет разложение, это точно. Ну а сегодня вернулись разведчики из Новичихи, из Токарева. Так что у меня сейчас достаточно всяких сведений о противнике. Но вот когда он собирается выступать, никто не мог сказать точно. Слушай, что он медлит, а? Дает время нашим полкам собраться? Зачем? Или ждет, когда их вторая группа, которая двинулась с Рубцовки, выйдет к Волчихе, чтобы ударить на Солоновку с двух сторон?

Главком опять начал пощипывать усы, и можно было ожидать, что он после некоторого раздумья наконец-то окончательно решит, в чем заключается хитрость белогвардейского командования, начавшего самую большую операцию против его армии, и сделает какие-то выводы. Но он, вскинув светлые глаза на отца, вдруг спросил:

— Как с семьей-то?

— Забрал сына, — ответил отец. — Миша, где ты? Иди сюда.

— Большой, — оглядев меня, певуче заключил Мамонтов. — Не ровесник ли моему старшему-то, Степке?

— Нет, твой на годок постарше.

— А Костя, значит, помоложе, — без особой нужды заключил Мамонтов. — Он родился в десятом, без меня, когда я уже был на действительной. Идут годы-то, а?

— Летят!

— Да, десятый год не расстанусь с шипелью. Надоела! Сменяй бы на любой зипунишко!

Внизу, на первом этаже, зашумели мужские голоса. Адъютант метнулся за дверь, а возвратясь, доложил с порога:

— Из Солоновки, товарищ главком!

— Зови.

— Привезли патроны.

— Давай сюда и патроны, а то их там растащат.

Два молодых солдата-курьера, в крестьянских полушубках и пимах, внесли деревянный ящик и мешок, до половины наполненный чем-то тяжелым.

— И в мешке патроны? — спросил Мамонтов. — Тащите сюда. Ставьте здесь. Осторожно.

Он сам развязал мешок и, загребя в нем рукой, вытащил горсть патронов для трехлинейной винтовки. Осмотрев их на свету, приблизясь к лампе, заговорил с восторженной певучестью:

— Да вы поглядите, братцы, какие самоделки, а? Вот молодцы! Залюбуешься, как делают! — Он потрогал пули, проверяя, прочно ли они сидят в гильзах. — Мастера-а! Это из Кабаньего. Твоего отца, Семен, выделка! Гляди!

Я так и наострил уши, услышав про деда, живущего в Кабаньем. О нем сегодня не однажды заговаривал со мной отец. Оказывается, дед, всегда занимавшийся малярной работой, имел краскотерку и, когда узнал, как мучаются молодые мастера, готовя самодельный порох, явился с нею в кузницу, где была создана партизанская оружейная мастерская. «Машинку вам не доверю, дорогая штука, — сказал он мастерам. — Сам робить буду». И начал растирать своей краскотеркой селитру и уголь для изготовления самодельного пороха. Дело в мастерской быстро пошло на лад. Молодые мастера с помощью деда готовили не только тысячи винтовочных патронов, используя стреляные гильзы, которые доставляли им с полей боев, но и самодельные бомбы. Отец хотел отправить меня к деду в Кабанье, считая, что там, близ Солоновки, я буду в полной безопасности.

— Хороши, хороши! — Продолжая нахваливать патроны, Мамонтов отобрал их у отца. — Самодельные пули здорово рвут! — Вспомнив о чем-то, вдруг положил перед адъютантом один патрон. — Держи. На всякий случай проверьте. — Кивнул на отца. — На его бялке. Приговор трибунала есть? Завтра же утром и приведите в исполнение. Приготовь приказ. А где пакет из Солоновки?

Он быстро, как делал все, пробежал глазами вечернее донесение начальника штаба Якова Жигалина. С нетерпением ожидаемое сообщение не вызвало, однако, у главкома особого интереса. С заметной досадой он отодвинул его адъютанту.

— Об алейцах шипет, а я о них уже все знаю, — сказал Мамонтов. — Да-а, подвели алейцы. Этого не забыть никогда! — Он

помолчал, сдерживая сердце. — Из Кабаньего еще ждет патрулы. На три полка этого, знамо, маловато.

— Зря он обещает, товарищ главком, — заговорил один из курьеров. — Я опосля еще подводчиков из Кабаньего встретил. Они сказывали, там всех мастеров побило.

— Как побило? — чуть не вскрикнул Мамонтов.

— Делали бомбу, она и взорвалась.

— И всех насмерть?

— Говорят, еще живы.

— Всех в лазарет, — бросил Мамонтов адъютанту, а потом, взглянув на отца, опутившего голову, произнес тихо: — Да, беда, большая беда. Но ты погоди унывать-то. Он крепкий старик, насквозь пропитан олифой, может, и выдюжит. — Не умея ободрять, добавил в знак дружбы по несчастью и про свое горе: — У меня вот тоже младший брательник, Тимоша, сильно чахнет. Как только беляки его не били! Совсем изувечили парня. Ну прежде времени не будем вешать голов! Вот разобьем здесь контору и махнем с тобой в Кабанье.

— А я ведь собирался его туда отправить, — указывая на меня, сказал отец.

— Вот это зря, — возразил Мамонтов. — У твоего отца изба небольшая, а ребят своих полно. Где там жить? Мои вон живут в Солоновке — и твой пускай поживет. Солоповка — самое надежное место. Туда мы их не пустим. Костями ляжем. — Он опять обернулся к адъютанту, который сидел над чистым листом бумаги, собираясь под диктовку главкома писать ответ начальнику штаба: — Не забыть бы про листовки. Чего он их не шлет? Сейчас раздали бы мужикам в Мельникове, а те подсунут белякам, когда они придут в село. Вот бы дело было!

— Искурят их мужики, — ответил адъютант.

— Часть, знамо, искурят, а кое-что и подсунут.

— Разреши идти? — спросил отец главкома, видя, что тот уже готовится отправлять курьеров обратно.

— Может, ужинать пойдем, а?

— Мы в полк...

Здесь к месту будет сказано, что младший брат главкома Тимофей, истерзанный белогвардейцами, умер во время боя под Солоновкой. Ефиму Мамонтову не удалось даже прискакать на его похороны. А мой дед, Леонтий Захарович, получив тяжелое ранение от взрыва самодельной бомбы, умер позднее и похоронен вместе с партизанами в братской могиле.

III

Среди ночи я проснулся от мужского нешумного разговора. Хозяйский сын Илюшка, мой ровесник, ночевавший со мной рядом, свесил черноволосую кудрявую голову с полатей. При слабом свете копилки партизаны торопливо собирали с пола в кухне, застланного соломой, свои шинели, зицуны и полушуб-

ки, обувались кто в сапоги, кто в пимы, осматривали вещевые мешки и оружие. Цыганистый, черноглазый Илюшка, сорвиголо-ва, знавший доподлинно все, что делается в селе, переживший уже не один бой, услышав, что я заворчался под шубенкой, быстро обернулся ко мне и сообщил:

— Собираются на позиции.

— Воевать?

— Дежурить в обороне, — охотно пояснил мне Илюшка. — А попрут беляки — и воевать, знамо. Холодно в окопах-то, долго не просидишь, вот полки и меняются на позициях. Вчерась с утра стояли славгородцы, с обеда — степняки, а с вечера — кулундинцы. Теперь бутырцы идут. До утра. Твой отец в Бутырском? А мой в Славгородском.

— Ты чо там, атаман, все наши секреты раскрываешь? — заговорил один из партизан, снаряжавшийся в поход у самых полатей. — Военные секреты полагаются сохранять в полной тайне.

— Он не беляк, — отрезал Илюшка.

В дом вошел отец. Подтянутый, озабоченный, он быстро осмотрелся и заговорил негромко:

— Все, товарищи, в сборе? Потарапливайтесь, пора! — Оглянулся на полати, пожалел: — Разбудили... — Подошел, дотянул рукой до моего плеча: — Спи, сынок, спи. А утром жди меня, никуда не ходи.

Он уже знал, что вездесущий Илюшка, пронира и забияка, едва познакомившись со мною, весь день таскал меня по Малышеву Логу, рассказывая истории всех боев, какие произошли здесь за лето, и знакомя с теперешней военной обстановкой. Отец беспокоился за меня потому, что я все сильнее начинал кашлять, а мои ноги в пимах-опорках быстро коченели на холоде.

— Ты никуда его сегодня не води, — не утерпев, наказал он Илюшке. — Гляди, он еще расхворается, как мне тогда с ним быть? Тут вот скоро война.

— Ладно, — отворачиваясь, нехотя пообещал Илюшка.

И это утро, как все другие на неделе, было темным от низкой, сплошной, неподвижной облачной пелены, повисшей над землей. При такой унылой погоде совсем и не тянуло на двор, но Илюшка, едва его мать покормила нас запеченной в сметане картошкой, дернул меня за рукав, требуя следовать за ним. Вероятно, Илюшке в ту пору неинтересно было водиться с местными дружками, которые тоже многое знали; ему хотелось иметь дело с человеком, ничего не ведающим о том, что происходит в его родном селе, и мало смыслящим в войне. И он опять увел меня со двора.

Стоял легкий, мягкий морозец, приятно освежавший лицо, сильно пахло свежим снегом — много его, должно быть, скопилось в небесах, но он вот уже целую неделю почему-то медлил опускаться на землю. Лишь ночами, в украдку от людей, небо легонько порошило снежной пылью — ею чуть-чуть были прикрыты ямины, рытвины да места, где не совсем выбита трава. Но

в то утро в воздухе все же замельтешили крупные, нарядные снежинки — предвестники первой пороши.

— Ничо-о! — потянув носом воздух, определил Илюшка. — Не зябко. Хошь, пойдем на позиции? — Его так и подмывало в нарушение запрета моего отца опять повсюду таскать меня за собой. — Да они совсем недалеко, вон, за ветрянкой.

Я не боялся послушаться отца — не такие между нами сложились отношения за лето. Да и в отцовских словах, сказанных мне ночью, я не почувствовал запрета, а всего лишь дружеский совет старшего. Но тем труднее мне было согласиться на предложение Илюшки. Однако тот знал, чем можно пропаять таких, как я, неговорчивых людей.

— Отца боишься, да? — щуря глаз, поехидничал Илюшка.

— Да не боюсь, а так...

— Не боишься — докажи!

И мы отправились за село. Теперь, когда между нами было достигнуто полное согласие, Илюшка счел возможным милостиво ознакомиться с моей биографией.

Он спросил:

— Ты сколь зим учился? Три зимы? Ого! — воскликнул он с завистью. — А я только одну, все с малышкой нянчился. Да-а, учен ты! Небось без запинки читаешь? И басен много знаешь?

В старенькой шубенке нараспашку, с голой грудью, в треухе из собачины, сдвинутом на затылок, он шагал быстро, от зависти вертя головой. Но вдруг, круто обернувшись, спросил:

— А материться умеешь? Хошь, научу?

Поднявшись из огромного лога, в котором пряталось от ветров село, я увидел в стороне от дороги большую кучу черных головешек, слегка припорошенных снегом, а около нее какие-то ямы и бугры.

— Тут, на ветрянке, наши наблюдатели сидели, а в окопах — пулеметчики, — остановившись, разъяснил мне Илюшка. — Вот пришел сюда Окунев с егерями, захватил всех в плен, загнал в мельницу да и поджег! Мой дядя, отцов брательник, тут заживо сгорел!

На гребне высокой гривы, откуда виднелись все ближние, потемневшие к зиме боры, было ветрено. Отсюда уже недалеко было до поскотины, где как раз и находилась передовая линия обороны наших войск. Там двигались туда-сюда одинокие фигуры, стояли толпами партизаны, греясь у костров, скакали верховые...

Пока Илюшка рассказывал мне, как сельские мальчишки собирали после боев, особенно по белогвардейским окопам, стреляные гильзы, чтобы передать их в оружейные мастерские, как им за это однажды сам главком Мамонтов выдавал в награду красные банты, позади послышались шаги небольшой толпы. Я обернулся и обомлел: по дороге в одних брюках галифе и стареньких мужицких броднях, подвязанных ниже колен, в грязной казепной рубахе, с непокрытой взлохмаченной головой и пустыми, ничего

не видящими перед собой глазами шагал тот усатый офицер, какого увели из Почкалки. Офицер шел быстро, не глядя по сторонам, его небритые скулы были стиснуты, а руки заложены назад, — когда он прошел мимо, я увидел, что они были связаны в запястье бечевкой. За пленным шли двое партизан с винтовками и двое с лопатами.

Хотя я уже знал, что офицера собираются расстрелять, и без всяких колебаний желал его смерти, мне сделалось нехорошо, муторно, и я немедленно предложил Илюшке:

— Пойдем назад.

— Погоди, сейчас его в расход пустят, — ответил Илюшка. — Он три дня орал в анбаре. Всех пужал, всем грозил, а вот теперь молчит.

Партизаны подвели офицера к буграм и ямам. Я отвернулся — все во мне напряглось от неприятного ожидания. Вскоре прозвучал один-единственный выстрел, и я невольно вспомнил, как Мамонтов передавал адъютанту патрон, сделанный моим дедом...

— Уже закапывают, — сообщил Илюшка.

— Пойдем же!..

— А на позиции?

— Оттуда прогонят.

— Со мной не прогонят! — сказал Илюшка с такой уверенностью, словно был по меньшей мере помощником главкома.

Пока мы препирались, партизаны, забросав расстрелянного комьями мерзлой земли, направились обратно. Илюшка дождался партизан и, не уступая им дороги, попросил:

— Дайте докурить, товарищи солдаты!

— Рано ты, однако, — попрекнул его один из партизан.

— Я уже давно курю. И в нос пускаю.

— Отец-то не ругает?

— Он сам меня и научил.

— Заботливый, стало быть.

Получив окурок, Илюшка тут же похвастался своими успехами в курении. Солдаты от удивления покачали головами. После этого и мне протянули окурок, но Илюшка, перехватывая его, сказал:

— У него и отец не курит.

— Кержак, что ли?

— В нутре, знать, какая-то хвороба.

Партизаны собрались идти дальше, но Илюшка вновь задержал их вопросом:

— Беляк-то молился перед смертью?

— Лаялся, как собака.

— Ишло лаялся, зар-р-раза! — Тут Илюшка вдруг завернул такую сложную черную брань, что партизан даже отшатнуло. — Знамо, помирать неохота! Но все одно им смерти не миновать! А чо, не слышали, когда беляки-то придут из Мельникова?

— Ждешь? — пошутил один из партизан.

— Знаю, жду, — отклоняя всякие шуточки, серьезно ответил Илюшка. — Тут тогда опять же бой выйдет. А как отобьют беляков, я пойду гильзы собирать. Я их, может, больше тыщи насобирал в те разы. Мне сам главком красный бапт дал, да только сестренки оторвали его с лопотины и затеряли.

После всего того, что я узнал об Илюшке, мне поневоле пришлось стать более сговорчивым — нечего и говорить, его жизненный опыт заслуживал самого серьезного уважения. Мы направились к поскотине. Навстречу нам двигался обоз из десятка телег, сильно гремевших колесами по земле. На телегах, теснясь, сидели женщины и дети. Сходя на обочину, Илюшка сразу же определил:

— Беженцы.

Когда с нами поравнялась первая телега, он крикнул старику вознице:

— Вы из Мельникова, чо ли? А пошто бежите?

— Побежишь, — скучно ответил старик. — Утресь беляки к нам пришли.

— Надо домой, — забеспокоился теперь Илюшка. — Там мамка одна. Может, здесь скоро бой будет. Вон, видишь, забегали что-то на позициях, гляди, гляди! — Он даже слегка нахмурил брови. — Если наши не удержатся, и нам бежать надо. А то всех перебьют. У нас уже многих побили, даже двух мальчишек. Если чо, дак в Солоновку побегим. Давай вместе, а?

Возвратясь в село, мы оказались — скорее всего не случайно, а опять-таки по Илюшкиной задумке — у знакомого мне дома, где находился командный пункт главкома. Перед домом толпилось много партизан, всюду шныряли деревенские мальчишки. У коновязи стояло несколько коней под седлами, а у крыльца все продолжали спешиваться верховые. Передавая поводья коноводам, они быстро бежали в дом.

— Командиры, — шепнул мне Илюшка. — Съезжаются за чем-то...

Разговаривая со мною, Илюшка все время так и стриг черными глазами по сторонам, боясь пропустить что-либо заслуживающее внимания. Увидев, что у самого крыльца вновь остановилось несколько верховых, среди которых один возвышался на копе особенно высоко, он даже всплеснул руками:

— Гляди, да это же Громов!

Едва командир корпуса в сопровождении двух или трех товарищей скрылся в сенях дома, а коноводы отвели в сторону коней, у крыльца осадили скакунов еще два всадника.

— Орленко! — закричал Илюшка. — Командир Славгородского!

Илюшка знал многих партизанских командиров в лицо. Все они десятки раз бывали в Малышевом Логу, многие здесь воевали, выступали на солдатских митингах и крестьянских сходках, на похоронах погибших в боях, и как же их не знать было вездесущему парнишке, который день-деньской вертелся среди

партизан, среди народа? Всех командиров он встречал восторженно, хотя иногда по необъяснимой причине свой восторг и выражал весьма странно, пользуясь для этого мужской бранью. Но когда у крыльца сдержал своего разгоряченного неблизкой дорогой коня молодой всадник богатырского вида в распахнутом полушубке и черной папахе, Илюшка, не утерпев, с визгом сорвался с места:

— Колядо! Колядо!

И верно, это был Федор Колядо; на его груди виднелась яркая алая лента, с какой я видел его недавно в Гуселетове. Он прискакал из Долгова. Встречать Колядо бросились все ребята. Самый молодой командир полка был любимцем Мамонтова, всей повстанческой армии и особенно мальчишеских орав тех сел, где ему пришлось бывать за лето и осень, а бывал он везде и всюду — его полк был очень мобилен, он постоянно совершал далекие и быстрые марши по всему степному Алтаю.

— Здравствуйте, товарищи хлопчики! — приветливо обратился он к мальчишкам. — Як вы туточки воюете?

— Оборону держим! — заорали в ответ мальчишки.

— Молодцы! А сдержите белякив чи ни?

— Сдержим!

Он был очень и очень молод, Федор Колядо, и с мальчишками чувствовал себя гораздо свободнее, естественнее, чем с людьми старше себя по годам, — с ними он был необычайно стеснителен, ровно красная девица.

Собирая полки в Малышев Лог, главком Ефим Мамонтов хотел задержать здесь противника лишь на несколько дней, пока не будет завершена подготовка надежной обороны под Солонювкой. Он думал лишь об оборонительных боях на подступах к партизанской столице. Командир корпуса Игнатий Громов, находившийся в Волчихе, где он занимался организацией отпора второй группе белогвардейских войск, пытавшейся прорваться к Солонювке с запада, также был против всяких наступательных боев в те дни. К тому же отпала острая необходимость в неблагоприятных условиях задерживать противника у Малышева Лога — ведь оборона у Солонювки, очень выгодная во всех отношениях, к тому времени была полностью подготовлена. Надо было, не теряя зря силы на малышевских позициях, заблаговременно отойти в Солонювку. Тем более не было никакой нужды бросать несколько полков во встречный бой, да еще темной ноябрьской ночью. Такие действия не соответствовали привычному духу повстанческой борьбы.

И все же, как это ни странно, на совещании командного состава днем 12 ноября, состоявшемся в Малышевском Логу, было принято решение провести встречный бой. Кто выдвинул эту ошибочную идею, неизвестно. Почему она восторжествовала, непонятно. Возможно, странная медлительность двух полков противника, имевших десятки пулеметов и даже две батареи, была

расценена как признак трусости белогвардейцев перед грозной партизанской армией, и грех было не воспользоваться этим обстоятельством. Но скорее всего, кто-то на совещании вспомнил об удачном сентябрьском бое у Мельникова, когда был разгромлен батальон егерей Окунева, и доказал вопреки всем законам, что история может повториться — белые не ожидают сейчас нападения, да и полки их не в обороне, а в движении. Эта наша догадка отчасти подтверждается и диспозицией на 13 и 14 ноября. (Схема предстоящего встречного боя, подробно изложенная в ней, во многом схожа со схемой сентябрьского боя под Мельниковом.) Руководство боем, как особо отмечалось в диспозиции, осуществлял командир корпуса Игнатий Громов. Впрочем, это не означало, что главком Мамонтов оставался в стороне — он любил быть всегда среди солдат и бесстрашно лезть в любое пекло.

На следующее утро, 13 ноября, 6-й Кулундинский кавалерийский полк и эскадрон 2-го Славгородского полка под общим командованием Шевченко, прозванного за внешнее сходство с героем гоголевской повести Тарасом Бульбой, выступил из Малышева Лога, направляясь в тыл врага. Путь этой кавгруппы был расписан в диспозиции до мельчайших подробностей: где сделать остановку и выкормить лошадей, как двигаться с наступлением темноты — сначала кромкой бора, а затем степными логами, — за сколько верст вперед выслать разведку, где выставить разные посты и устроить засады. (С такой точностью описать путь группе Шевченко мог только главком Мамонтов; он один хорошо знал эти места.) Короче говоря, начинался типичный партизанский рейд, каких за лето совершалось немало, подготовленный со всей тщательностью и продуманностью. И он, этот рейд, не мог не увенчаться успехом.

Кавгруппа Шевченко, в точности следуя диспозиции, пересекла бор у села Точкарева, а ночью, углубившись логами в степь, зашла в тыл Новичихе, где стояли белогвардейские резервы. В четыре часа утра кавалеристы Тараса Бульбы ворвались в Новичиху и полностью разгромили захваченного врасплох врага. Было уничтожено и взято в плен около четырех сотен солдат и офицеров, захвачено шесть пулеметов, много винтовок и боеприпасов, в которых у повстанцев была крайняя нужда. Блестящая, истинно партизанская победа! Кстати, она сыграла большую роль в надвигающемся сражении под Солоновкой.

Одновременно с налетом кавгруппы Шевченко (минута в минуту!) на Мельниково должны были ударить четыре партизанских полка. Из Малышева Лога они выступили в восемь часов вечера и двигались всю ночь — в кромешной темноте, на холоде, хотя у многих солдат не было зимней одежды и обуви. В центре шел 5-й Степной. Из-за нераспорядительности и недисциплинированности он с опозданием прибыл в колок, где ему следовало развернуть боевой порядок, и не установил связи ни со 2-м Славгородским, который двигался справа, ни с 3-м Бутырским слева. Никакого взаимодействия между полками, естественно, не

было. К тому же на левый фланг не подошел из Долгова 7-й полк Красных орлов, который должен был, установив локтевую связь с бутырцами, замкнуть полукольцо вокруг Мельникова и отрезать белым путь вдоль озера Горького.

А у Колядо произошло вот что...

Вечером, за полтора часа до выступления, весь кавэскадрон, состоявший из алейцев, снялся и, несмотря на уговоры и протесты командира полка, ушел из Долгова в сторону родных мест. Накануне от Архипова, который увел большую часть 1-го Алейского полка на Алей, в эскадрон заявился его посланец — он и подбил эскадрон тоже уйти в родные места, не считаясь с тем, что нужно было срочно отправляться в бой. Так Архипов, по существу, обескровил и второй полк армии Мамонтова, надолго задержал его выход в Мельниково, что явилось одной из причин срыва ночной операции.

Не имея между собой связи, три партизанских полка подошли к Мельникову в разное время, почти под утро. Внезапного нападения, о котором всем мечталось, не получилось, да и не могло получиться: пятитысячное, плохо управляемое войско, бредущее в кромешной тьме, с нарушенными боевыми порядками, неспособно было на едином дыхании ворваться в село и захватить врага врасплох. В данном случае в отличие от рейда Шевченко партизанские вожаки отступили от давно испытанных методов борьбы, и это стало главной причиной неудачи встречного боя. Противник, как выяснилось, был настроже, более того — уже готовился к выступлению на Малышев Лог. Он заранее обнаружил двигающиеся в темноте партизанские полки, встретил их пулеметным огнем и контратакой.

К полудню со степи в Малышев Лог хлынул поток отступающих партизан. С горечью убедившись в том, что затея со встречным боем была напрасной, Мамонтов и Громов вначале собирались остановить полки на малышевских позициях и здесь встретить противника. Но вскоре стало известно, что белые, воодушевленные удачей, двинулись не только по Соляной дороге, но и в обход Малышева Лога, на Селиверстово, соседнее с Солоновкой село, тоже стоящее на опушке Касмалинского бора. Замысел противника был ясен: подойти к партизанской столице с двух сторон. И поэтому Мамонтов и Громов решили, не задерживая войска на малышевских позициях, отвести их в Соловку.

Полки отступали в пешем строю. Огромная колонна солдат-партизан, одетых наполовину в шинели и сапоги, наполовину в крестьянские полубубки и пимы, с винтовками, берданами и пиками, спускалась со степи в широкий лог, переходила деревянный мостик, под которым струился ручей, питающийся из родника, поднималась на противоположный склон и через версту втягивалась в густой и высокий сосновый бор. Колонна двигалась угрюмо и молча. Над ней не звучали, как обычно на партизанских маршах, походные и революционные песни. В Малыше-

вом Логу в колонну втискивались полковые обозы, санитарные повозки, крестьянские телеги с беженцами. Я впервые видел так много людей...

Забегал домой на минутку отец Илюшки. Он велел семье немедленно отправляться в Солоновку и надавал ей разные наказания. Но ему некогда было даже запрячь коня. Впрочем, с этим легко справился сам Илюшка, лишь с небольшой моей подмогой.

— Поедешь с нами, — сказал мне Илюшка.

Но тут появился и мой отец. Он заехал с каким-то дедом в зипуне, вероятно на ротной повозке, загруженной разной поклажей — военным имуществом. Подведя меня к возчику с благообразно расчесанной по всей груди седой бородой, отец сказал ему:

— Вот, Кузьмич, мой старший. Береги его.

Белобородый быстро оглядел меня с ног до головы, стараясь прежде всего определить, годен ли я для теперешней, почти зимней дороги. Заметил неодобрительно:

— Пимишки у его худые. Озябнет.

— И эти достали по милости, — ответил отец смущенно. — Тут недалеко, если и озябнет — соскочит с телеги да пробежится. Только ты, Миша, гляди не отставай от телеги.

— Я ему чем-нибудь прикрою ноги, — пообещал дед.

— Вот и хорошо! — обрадовался отец. — А у Солоновки всех встречать будут. Там скажут, где займет позиции наш полк. Постарайся, Кузьмич, отыскать наши тылы. С ними где-нибудь и поселитесь, а я вас потом найду.

Подшел Илюшка, сказал отцу:

— Мы вместе поедем.

— Что ж, поезжайте, — не очень обрадованно согласился отец. — Только не задерживайтесь, а то беляки идут.

На телеге были раздвинуты ящики и мешки. Между ними и нашлось мне уютное место. Прикрывая мои ноги дерюгой, дед Кузьмич, не успев до этого поговорить с отцом, поинтересовался боем под Мельниковом.

— Что там рассказывать, Кузьмич! — ответил отец в большом огорчении. — Была одна суматоха, а не бой. Наш полк никого не мог пойти ни справа, ни слева. Мы даже думали, что заблудились: ночью-то глаз коли! Сами не ожидали, как оказались на окраине села. Ну а беляки не дремали. Ударили из пулеметов — мы и на попятную. Многих потеряли. На свет, Кузьмич, глядеть неохота! Наш-то полк хотя и понес потери, но отошел все же без паники. А вот в Степном — там совсем плохо вышло. Сам главком бросился туда, а удержать не мог. Там, сказывали, под ним опять коня убило. Уже третьего! Он снял узду и давай махать ею — останавливать солдат. Но разве уздой остановишь полк? Он даже пистолет на своих не выхватил! И страдать не стал...

— Понимал — сам виноват, — заметил Кузьмич. — Пошто же на людях-то зло срывать?

— Так и пошел с уздой последним за полком, — продолжал отец. — Не знаю, как он сдержался при такой беде, не пустил горяча себе пулю. Ведь он, Кузьмич, не привык отступать! Ни одного боя за лето не проиграл! Ни одного! А тут вот как вышло...

— Начальства много, — поморщась, заметил Кузьмич. — Только мешают Ефиму. Где он сейчас-то?

— Ускакал в Солоновку.

— Ничо-о, раз пережил, стало быть, есть у него надежда отыграться под Солоновкой...

Наконец обе наши подводы выехали со двора и вскоре влились в поток отступающих партизанских полков, их обозов, беженских телег и даже саней. Верховые, обгоняя по обочинам шумно топочущие колонны пехоты, изредка что-то кричали солдатам и скакали вперед. Колонны прибавляли шаг, возчики поторапливали коней. А недвижимые тучи все темнели и темнели под небосводом, и в свежем воздухе, обжигающем грудь, все неистовее, все гуще мельтешил несметный белый рой — не было сомнений, что за ночь все будет укрыто первой обильной поросью.

ФЛАГИ НАД СОЛОНОВКОЙ

I

Допоздна в Солоновке было шумно и тревожно. В селе не считывалось и пятисот дворов, а собралось три полка с обозами, да еще привалили беженцы. Такого многолюдья здесь не видели за все лето. В каждый дом, исключая совсем небольшие халупы, где и хозяевам-то мало места, набилось полным-полно беспокойного военного и певоеенного люда. Особенно скученно, как на ярмарке, было в центре села, вокруг церкви.

Возчик Кузьмич, выполняя наказ отца, попытался было отыскать тылы Бутырского полка, но в несусветной суматохе, при ноябрьской темноте это оказалось невозможным делом. Тогда он по предложению тети Груши, матери Илюшки, согласился заехать к ее родной сестре, где нам наверняка мог найтись приют и ночлег.

Радуясь, что нас не разлучили, Илюшка сказал:

— Там у меня двоюродный брательник, Петрованом звать. Вот будет здорово! У него карты есть, в «очко» играть будем!

Нас в самом деле встретили очень приветливо, хотя в доме и было полно солдат. Правда, большинство из них вскоре ушли на позиции.

Вступая в Солоновку, партизанские полки незамедлительно занимали отведенные им участки обороны. 2-й Славгородский, как наиболее многочисленный, боеспособный и надежный, встал на южной окраине села, оседлав Соляную дорогу, по которой, как уже было известно, следом двигался колчаковский 43-й Омский полк. Отсюда, с гребня невысокой гривы, до бора, где должен

был сосредоточиться противник, рукой подать, но лишь через два голых соленых озера, разделенных сушей до двухсот шагов, покрытой лишь приземистой красноватой травкой, живущей обычно на солонцах. Ожидая, что противник, скорее всего, будет атаковать на сухом месте, а не по озерам, командование партизанской армии в помощь славгородцам поставило здесь еще особую интернациональную роту под командой венгра Макса Ламберга. Эта рота, всегда находившаяся в резерве главкома, состояла из бывших военнопленных, главным образом мадьяр, отличалась дисциплинированностью и прославилась во многих боях. Она была хорошо вооружена не только разным оружием, но и высоким духом беспредельной преданности революции.

На восточной окраине Солоновки занял оборону 3-й Бутырский полк. Его правый фланг врезался в бор, вдоль которого лежит тракт на Селиверстово, занятое белогвардейским 46-м Томским полком, а левый прикрыв часть села со стороны степи. Здесь противник, как ожидалось, мог атаковать по обе стороны тракта.

На западной окраине встал 5-й Степной, сильно провинившийся в последнем бою. Но с запада противнику наступать было труднее всего: здесь к селу вплотную подходит Большое Пресное озеро, которое в дни перволедья являлось надежной преградой.

Таким образом, партизанская оборона вокруг Солоновки напоминала подкову — она оставалась незамкнутой лишь с северной стороны, где лежала неоглядная равнинная степь. Подступы ко многим участкам обороны были защищены озерами с тонким льдом, лишь слегка припорошенным первым снежком.

Хозяйка небольшого пятистенного дома, где мы нашли приют, была солдатской вдовой — муж ее погиб где-то в болотах на Западном фронте. Оставшись с тремя детьми — сыном и двумя дочками, — она хотя и защемила в себе горе, но не смирилась с ним, как и все солдатские вдовы. Это заметно было и по ее глухой замкнутости, раннему — не по годам — старению и ввалившимся глазам, часто и надолго остававшимся на чем-либо, зачастую не стоящем и секундного взгляда. Даже то, что в доме шумно толпились чужие люди, ее, казалось, совершенно не занимало. Она разговаривала лишь с тетей Грушей да иногда шепотком что-то говорила своим дочушкам, белоголовым, с косичками, одетым, как одевались взрослые женщины, — в ситцевые кофточки и длинные, до пят, юбочки с оборками на подолах.

— Тетя Марья, а где же Петрован? — спросил ее Илюшка, едва мы вошли в дом.

— Да он, поди-ка, в штабе, — невесело ответила хозяйка.

— А чего он там почью?

— Он завсегда крутится там допоздна.

Мы едва дождались Петрована. Когда он переступил порог, я сначала принял его за партизана, потому что вошел он с настоящей пикой. Хотя Петровану шел всего тринадцатый год, он был рослым мальчишкой, да к тому же в высокой шапке, вроде малахая, отделанной рыжей собачиной. Увидев, что чуть не вся кухня занята чужими похрапывающими людьми, он прежде всего спрятал свою драгоценную пикку на полатах — мало ли что, любой может позариться на такое оружие. Потом не спеша разделся, стряхнул снежок с шубенки и шапки, повесил их на гвоздь и, пройдя в куть, поздоровался со своей теткой. Илюшку в знак приятельства он слегка потрепал за ухо, а на меня взглянул коротко и полупрезрительно, недоумевая, на каком основании я затесался в его семью. Он не торопился говорить о причине позднего возвращения домой и, присев у стола, по-хозяйски оглядел кухню.

— Ты чо так долго? — все же спросила его мать.

— Делá-а, — ответил Петрован, как любят отвечать мужики.

— Какие еще ночью у тебя дела?

— Всякие...

После гибели отца Петрован, как это случилось со многими сиротевшими за войну мальчишками, быстро распрощался с детством и теперь чувствовал себя хозяином в доме, человеком серьезным и степенным, ответчиком за всю семью. Он спокойно дождался, когда мать вытащит из заветки заветный чугунок, нальет ему в глиняную миску щей, и, только отведав их, псяснил:

— Флаги делали и развешивали.

— А для чо? — подхватил разговор уже Илюшка.

— Праздник завтра.

— Праздник? Какой же?

— Большой, Илюха, праздник, большой, — милостиво заговорил с еще малым двоюродным брательником Петрован. — Только не церковный, а наш, советский. Завтра сполняется два года Советской власти. Из облакома пришла депеша: везде, по всем селам, устроить маньфистации с красными флагами и митинги, а потом петь революционные песни и читать полезные книги. Понял? Нам-то, знамо, завтра не до митинга. После уж, когда беляков отгоним, будем митинговать, а флаги должны висеть. Приказ самого главкома.

Один из партизан, спящих на полу, заворочался и, не поднимая головы, проговорил:

— Что-то загибаешь ты, парень.

— А ты, дядя, спи знай, — ответил ему Петрован. — Тебе воевать утром. Тогда и увидишь. — Продолжая хлебать, он опять начал говорить лишь для своей семьи: — Кумача мало, вот беда. Главком велел из-под земли достать, а где его найдешь под землей? Развесили по всем улицам, особо поближе к позициям, но маловато, знамо...

— А зачем ближе к позициям? — спросил Илюшка.

— Чтобы белякам видно было, как мы празднуем.

— Слушай, парень, обожди-ка, — не стерпел проспавшийся партизан и, приподнявшись на локте, уставился на Петрована удивленным взглядом. — Видать, ты грамотей. А знаешь ты, грамотей, когда Советская власть на свет явилась?

— После Октябрьской революции, — ответил Петрован без малейшей заминки.

— То-то! Стало быть, в октябре. Помню, двадцать пятого числа. Был я тогда в Петрограде...

— Это по старому стилю, в октябре-то...

— Верно, по старому, — согласился партизан с ехидной усмешкой. — Стало быть, надо прибавить тринадцать дней? Прибавим. Какой же месяц будет? Какое число? Седьмое ноября! А завтра какое? Пятнадцатое! Прошел уже праздничек-то, товарищ грамотей, не знаю, как по имени и батюшке. Опять не отметили, как и в прошлом году, не до того было...

— А вот и не прошел! — продолжал упорствовать Петрован. — Завтра будет, товарищ солдат, увидишь утречком.

— Да почему именно завтра?

— А я почему знаю? Лучше поздно, чем никогда.

— Кто так сказал?

— Главком.

— Ты что, в ординарцах у него состоишь?

— При мне было сказано.

Партизану ничего не оставалось, как опять улечься, но сообщение Петрована, судя по всему, не было мальчишеской выдумкой. И партизан задумчиво почесывал щеку, обросшую колючей щетинкой.

На крыльце послышались шаги. Звякнула щеколда входной двери. Заскрипели половицы в сенях. В дом ввалилось несколько солдат, припорошенных снежком, — должно быть, пришли с позиций. Раздевались они у порога не спеша и молча.

Одного из них я хорошо заметил еще с вечера. Это был красивый белокурый юноша с длинными, волнистыми волосами, в несколько просторной, мешковатой гимнастерке с красным бантиком у нагрудного кармашка. Он был совсем юный, почти парнишка, хотя и рослой породы, живой, разговорчивый и улыбочивый. Он умел заливаться искристым ребяческим смехом, но всегда внезапно обрывал свой смех, вспоминая, что он не дома, а в армии, что он солдат и готовится к бою, а военная обстановка нынче сложна и тревожна. Он был из «образованных», но со своей душевной открытостью, общительностью и отзывчивостью хорошо прижился в среде взрослых крестьян и пользовался их отеческим расположением и заботой. Может быть, армия стала его новой семьей. Он был счастлив своей судьбой, счастлив тем, что связал ее с судьбой восставшего народа, носит звание красного солдата и сражается за революцию. Однополчане называли его товарищем Сергеем, и это ему очень нра-

вилось — ведь называть только по имени было принято у известных революционеров, боровшихся против паризма.

Раздевшись быстрее всех, товарищ Сергей вышел к середине кухни с винтовкой в руках, взглянул в куть, где мы сидели у стола с коптилкой, и, приложив руку к груди, обратился к тете Марье:

— Извините, хозяйшка. Опять мы вас побеспокоили.

Хозяйка даже растерялась от его вежливости.

— Ничо-о! Нынче не до сна...

— Это верно, нынче никому не до сна, — заговорил товарищ Сергей, заботливо обтирая припасенной тряпичкой влажный ствол своей винтовки. — Беспокойных ночей, правда, у нас уже много было, но эта... эта особая, она, я думаю, запомнится нам навсегда. Правильно я говорю, товарищи? — Он выпрямился во весь рост и вдруг воскликнул, весь зажигаясь от внутреннего порыва. — Ночь перед решительной схваткой! И перед большой победой!

Однополчане хотя и согласились с товарищем Сергеем, но почему-то весьма сдержанно. А он, юный романтик революции, взволнованный одним тем, что побывал на боевой позиции, не мог сейчас оставаться спокойным, в нем все горело...

— Здесь их ждет полный разгром! — добавил он с большой силой.

— А что, товарищ Сергей, они уже пришли? — спросил тот партизан, который спорил с Петрованом, догадавшись, отчего так взвихрены чувства юного однополчанина.

— Да, товарищ Гордеев, они уже пришли!

— Разведка донесла?

— Они жгут в бору костры!

— Пришли все же... — раздумчиво проговорил Гордеев, будто до этого еще сомневался, что белые доберутся до Солоновки.

— Представляете, товарищи, что будет с ними завтра утром, когда они выйдут к опушке бора? — с необычайной живостью продолжал товарищ Сергей. — Да они, честное слово, вытаращат глаза! Все село сверкает снежной белизной, и на этом прекрасном фоне — красные флаги! Потрясающе! Ручаюсь, у них не выдержат нервы!

— Ну а я чо сказывал? — подал голос Петрован. — Не верили?

— Товарищ Сергей, тут вот хозяйкин сын толковал... — озабоченно заговорил Гордеев. — На самом деле, чо ли, завтра праздник?

— Совершенно верно, — подтвердил товарищ Сергей и весело, одобрительно взглянул на Петрована. — Завтра мы будем праздновать двухлетие нашей революции. Повсюду уже развешаны флаги. Жаль, конечно, мало кумача. Вывесить бы над каждым домом!

— Да ведь с запозданием...

— Я сам не пойму, почему двухлетие отмечается с запоз-

данием, — ответил товарищ Сергей. — И товарищ комиссар не знает. Так, говорит, вышло. Митинг, говорит, сосгоится после боя, а сейчас читайте листовки.

— Есть?

— Вот она!

Гордеев тут же пачал будить однополчан:

— Просыпайтесь, мужики, смсна пришла. Да и дело есть.

Стол из кути переставили на прежнее место — в передний угол. Перед товарищем Сергеем, занявшим место под образами, поставили коптилку, на нее боязно было дышать — того и гляди, язычок огня, качнувшись посильнее, оторвется и улетит. Разгладив лист серой бумаги, слегка помятый в кармане, товарищ Сергей песколько секунд напряженно всматривался в печатный текст, словно проверяя, сможет ли прочесть его при слабом свете. Потом оглядел всех, кто собрался вокруг стола на лавках, и начал читать. Он читал медленно, явно в угоду слушателям, еще непривычным к восприятию политических воззваний. Только в одном месте, где упоминалось об университетах, он что-то запнулся, должно быть, не мог разобрать, что дальше, и хозяйка немедленно бросилась к коптилке, стала хвататься пальцами за фитилек, совсем не боясь огня.

— Спасибо, — поблагодарил ее товарищ Сергей.

— Здорово прописано! — улучив момент, восхитился листовкой Гордеев. — Все как есть правда. Читай далее...

Вот оно, то воззвание к армии:

«Товарищи солдаты!

Сегодня, 15 ноября, сравнялось два года со дня освобождения трудового крестьянства из-под ига угнетателей — царей, министров и губернаторов, которые целые века ездили на нашем брате. В 1917 году это вековое иго вампиров и буржуазии было сброшено самим народом, были порваны железные кандалы и разрушены каменные стены николаевских тюрем. Народ зажил свободно и пачал было уже забывать о казнях кровавого Николая, но жалко своей власти стало приспешникам царя: министрам, патриархам и ихней главной помощнице — буржуазии. Им стало завидно, что крестьяне стали жить и без них, избрали из своей среды надежных, умных, добросовестных людей на все посты и должности, на которых ранее сидели сыновья генералов и попов с большими золотыми медалями. Но наши товарищи стали управлять нисколько не хуже, как они, с образованием из каких-то университетов... Тогда тираны и варвары стали искать нового исхода, чтобы опять потихоньку подъехать под мужика и сесть по старой привычке ему на шею. Они подкупили хорошего плута — старого кровопийцу — морского адмирала Колчака и поручили ему это дело, который пообещал бывшим министрам и губернаторам снова поработить крестьянина. Он назвался каким-то правителем, свил в Омске свое паучье гнездо и стал восстанавливать пропавшую монархию. И пошли на мужика вновь — то недоимки старых

лет, то подати за землю, то за скот, то за постройку, подоходный налог с посеянного хлеба. Понемногу стали появляться и губернаторы в овечьих шкурах, которые, когда вступают на должность, называют себя «мы, мол, демократы». Появились податные инспекторы и крестьянские начальники и опять взяли бедняка в свои ежовые руки, и опять слышались стоны и плач трудового народа. Но нет, крестьяне не стали больше выносить обид, оскорблений и эшафотов. Они поднялись с пиками, топорами, вилами и косами в руках и дружной волной двинулись против насильников белого самозванца, несмотря на его злодейские пушки и пулеметы. Колчак и его войско смеялись над нами, крестьянами, в своих варварских газетах, мол, «куда вы лезете с граблями на нас? Вы безумны!». Но все это, товарищи, ложь и обман белых бандитов. Маленько-помаленьку армия красных борцов все росла и росла. Теперь она повсюду громит белогвардейские банды, а из России на них напирает Советская Красная Армия. Скоро придет конец самовластию изверга Колчака! Племя монархии, буржуазии еще сильно, но мы будем бороться до последнего, а свое возьмем! Монархия зарыта глубоко-глубоко в землю, и она не воскреснет! Мы добьемся свободной, светлой жизни для всего трудового народа! «Никто не даст нам избавленья, ни царь, ни бог и ни герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!»

Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная республика! Да здравствует Красная народная Армия! Да здравствуют наши полководцы — герои-борцы, товарищи Мамонтов, Громов и Колядо! Ура! Ура! Ура!»

II

И верно, в ту ночь никому не спалось. После того как товарищ Сергей прочитал обращение к армии, солдаты так разговорились, что совсем забыли и про отдых, хотя вечером едва держались на ногах после тяжелого марша. Они стали просить товарища Сергея еще раз прочитать листовку, но тут юный доброволец вспомнил, что ему надо побывать с нею в соседних домах, где тоже отдыхали наиболее пожилые и уставшие солдаты.

В проводники к Сергею попросился Петрован. Он заверил, что знает собак по всей улице, в каждом дворе, и только он может уберечь от них пропагандиста с праздничной листовкой.

— Да, я очень боюсь собак, — смущенно признался товарищ Сергей. — Они здесь ужасно злые.

— Волкодавы, — пояснил Петрован, оправдывая свирепость собак особенностями их редкой породы.

Одни солдаты тут же отправились на позиции, другие заняли их место для отдыха. И только после этого женщины, перед тем как уйти в горенку, загнали Илюшку и меня на полати. Но мы еще долго не спали: партизаны поочередно выходили на двор, много курили — под потолком скапливался едкий, деру-

щий горло дым самосада. Да и не могли мы, несмотря на свое мальчишество, не думать о том, что ожидает всех нас завтра. Мы чутко улавливали то тревожное волнение, какое царило в доме, и молчаливо, таясь, тревожились не меньше взрослых. Особенно взволновались мы после того, как узнали про костры. До этого невольно думалось, что все как-то обойдется, закончится одной суматохой. Утром, когда проспимся, вдруг окажется, что совсем и нет никакой войны. Но теперь мы поняли: война будет, непременно будет, раз уж белые подошли к самой Солоновке. Мне было особенно тревожно и сиротливо — я впервые оказался в чужом месте, среди чужих людей. По правде говоря, было очень боязно. Какой тут сон? Я забылся уже под утро, а очнулся от оглушительных взрывов над селом.

— Белые из пушек палят! — кричала нам хозяйка. — Слезайте! И лезьте скорейча в подпол!

В избе не было ни одного солдата, даже белобородого возчика Кузьмича — увидев, что я попал в хорошую семью, он с вечера перестал беспокоиться обо мне и, должно быть, на рассвете ушел разыскивать свой взвод. С краю на полатах, рядом с нами, спал Петрован — не раздевшись, даже в пимах. Соскочив с полатей, он живо открыл лаз в голбе и заставил спуститься в подпол сначала женщин с коптилкой, потом своих сестренок, а потом уж и меня с Илюшкой.

— А сам? — крикнула ему мать.

— Сидите тут, не бойтесь, — распорядился он по-хозяйски. — Я вам картошки сварю.

— Лезь и ты! — потребовала мать. — До еды ли тут?

— Мне там неча делать!

Взрывы гремели над всем селом, но Петрован некоторое время не спеша топтался в кути, стучал разной посудой, потом под легкий стон матери хлопнул дверью. Примолкнув, мы с нетерпением и тревогой ожидали его возвращения со двора. Возвратясь, он у порога обмахнул веничком пимы и, заглянув в подпол, сообщил со смешком:

— В небо палят, дураки!

— В небо? — не поверила тетя Марья. — Зачем?

— А я почем знаю? Палят впустую, как с ума спятили! Своими глазами, поди, видел: в небе рвутся снаряды. Вспыхнет облачко — вот и все!

Белые били шрапнелью...

За ночь первая пороша все преобразила. Большая впадина между бором и Солоновкой стала совершенно однообразной — не понять, где земная твердь, где озера. Бугор над впадиной, по бровке которого были нарыты траншеи и окопы, все ближние дома южной солоновской окраины, густо запорошенные свежим, липким снегом, из бора были плохо различимы. И только на фоне еще непривычной для глаза снежной белизны, сверкав-

шей даже без солнца, на фоне белесого небосклона, словно избирательно подсвеченные особым светом, густо алели, развеваясь от легких дуновений, небольшие кумачовые флаги. Они алели по всей Солоновке, чаще всего на длинных шестах, поверх домов, — совершенно очевидно, что тем, кто их развешивал, хотелось, чтобы они были видны издалека. Это действительно несколько смутило наблюдателей белогвардейского полка, которые никак не могли понять, отчего партизаны украсили свою столицу красными флагами перед боем. В этом они усмотрели прежде всего дерзкий вызов, горделивое желание показать свое бесстрашие. Такая дерзость, можно сказать, даже насмешка над противником не могла не вызвать ответного бурного раздражения у офицеров белогвардейского полка. И они начали бой с остервенением, со стиснутыми зубами...

Еще совсем не развиднелось, а белые сняли орудия с тех случайных мест, где они остановились ночью, и выдвинули их на позиции поближе к опушке. Следом за ними ушли двуколки со снарядными ящиками. Вскоре поднялась и пехота. Хотя ночь и не была морозной, но пехотинцы в легких английских шинелях сильно продрогли и, отряхивая с себя снег, угрюмо строились в колонны для атаки.

За это время облачность, висевшая под небом, разредилась в нескольких местах, ударило солнце. Чистейший снежок, укутавший землю, заискрился ослепительной белизной, красные флаги над партизанской столицей заполыхали обжигающе ярко — их свет в одно мгновение разлился над бором и степью. И казалось, будто сама природа, ободря дерзость партизан, подстроила такой случай, да еще как раз в те минуты, когда белые собрались открыть огонь.

Вначале белые били осколочными, но по бровке, где проходила линия партизанской обороны, стрелять было почти бесполезно: снаряды рвались или у подножия бугра, или уходили в село. Перешли на шрапнель. Но и она не причиняла партизанам в укрытиях большого вреда. Да у белых, видимо, и не было большой надежды на батарею. Они рассчитывали главным образом запугать партизан пальбой из орудий — многие из них ведь и не слышали ее прежде. А пока действовала батарея, к самой опушке, под прикрытием густого мелкоколосья, вышла одна из колонн пехоты, построенная для модной в те времена психической атаки. Над селом еще гремели последние взрывы, а колонна двинулась вперед, причем через ближнее к дороге озеро. Но когда она под дробь барабана, в мрачном порыве достигла середины озера, случилось то, что и должно было случиться, но чего белые по неосведомленности не ожидали: припорошенный снежком лед звонко и зловеще затрещал под ногами солдат, и трещины, как молнии, ударились в разные стороны. Спасаясь, передние шеренги бросились врассыпную, а задние, еще не поняв, что случилось, продолжали идти вперед. И вот тут-то ударили упрямно молчавшие до той поры партизанские пулеметы.

За несколько минут озеро, полузалитое выступившей водой, было завалено мертвыми и тяжело ранеными солдатами противника.

Смотря на безумно мечущихся белогвардейцев, уносящих ноги под укрытие мелколесья на опушке бора, главком Мамонтов, находившийся в траншее, выкрикнул озорно:

— Ну что, психи? Кусается Советская власть? А ей ведь всего-то два годика! Погодите, не то будет! Ключья полетят!

Обернувшись к Орлепко, он сказал:

— Теперь они пойдут сушью. Я туда! — и направился к центру обороны участка, где стояла интернациональная рота Макса Ламберга.

И верно, после небольшой передышки белые начали вторую атаку, но уже на узкой полосе перешейка. Стараясь сберечь дорогие патроны, тем более что за действиями пулеметчиков следил сам главком, не терпевший излишней траты боеприпасов в бою, интернационалисты Макса Ламберга подпустили белых совсем близко, почти до подножия бугра, и только потом открыли кинжальный огонь. Над перешейком поднялся сплошной истошный вой.

В этот момент над Солоновкой опять стали рваться шрапнельные снаряды. Это открыла огонь батарея 46-го Томского полка, который только что, с некоторым запозданием, подошел с востока, из Селиверстова.

У главкома Мамонтова было строгое правило: всегда быть на самом важном, самом опасном участке атаки или обороны. И поэтому он, опуская бинокль, сказал Ламбергу и адъютантам:

— Я к бутылкам. Коня!

Сразу же, как только отгрохотала первая белогвардейская батарея в бору, отгремели над селом взрывы, Петрован, возвращаясь со двора, опять заглянул в подпол:

— Одумались все же, дураки! Теперь пулеметы бьют.

— Доходишься, — пострадала его мать. — Попадешь под пулю.

Но Петрован, часто вертевшийся около штаба, оказывается, уже кое-что понимал в военном деле. Стараясь успокоить мать, он снисходительно пояснил:

— Не пужайся! Они из низины бьют, а мы за бугром. Но возмут нас пули. Верхом пойдут, над домами.

— Тоже главком сказал? — невольно съязвила мать.

— Не главком, а штабисты, — терпеливо пояснил Петрован и, немного смущаясь, осведомился: — Может, кому до ветру надо? Да и картонка готова. Вылезайте.

Не ожидая решения женщин, Илюшка и я выскочили из подпола. За нами, устыдившись своей боязни, поднялись и жепщины. И все, надо сказать, очень быстро освоились с отдаленной пулеметной и ружейной пальбой. Совсем осмелев, хозяйка

сходила даже в погреб за солеными огурцами и груздями. Правда, выходя из избы, она надела на голову деревянную шайку для защиты от пуль...

Во время завтрака вновь начали бить орудия, но уже с восточной стороны. Однако теперь уже никто не полез в подпол, и Петрован закрыл люк голбца.

— Может, и правда незачем лезть, раз они, дураки, палят в небо? — раздумчиво заговорила хозяйка. — Да и скотина голодная.

— Я сбросил сена, — сказал Петрован.

— Корову подоить надо.

У самых окон иногда торопливо проходили солдаты — мелькали головы в шапках, дула винтовок и пики. Изредка улицей скакали верховые — то к штабу, то на позиции. Однажды пронеслась даже небольшая конная группа, и среди верховых Петрован мгновенно узрел главкома в кожанке и папахе с лентой.

— Поскакал! — одобрительно воскликнул Петрован.

Движение по улице подействовало на хозяйку успокаивающе, и она окончательно решила:

— Да, схожу-ка подою.

Не прошло и пяти минут — один из снарядов с оглушительным треском разорвался над самым двором. Побледнев, Петрован в одной неподпоясанной посконной рубахе, с непокрытой головой выбежал на крыльцо и услышал крик матери в низеньком сарайчике с плоской соломенной крышей. Петрован стремглав бросился к сарайчику, но мать уже показалась в воротах.

— Зорька! Зорька! — выкрикивала она. — Зорька упала! Кровь из горла хлещет!

Корова была ранена шрапнелью.

— Прирезать надо, — сказал Петрован, возвращаясь с матерью в дом, и страдальческое выражение исказило его круглое лицо. — Да не умею я, вот чо!

Но он все же нашел в шкафчике нужный нож и начал торопливо оттачивать на оселке. Петрован страдал не столько от досады, что семья осталась без дойной коровы-кормилицы, сколько оттого, что ему выпало заняться трудным, непривычным делом.

— Ты сам? — слабо спросила мать.

— Ладно уж...

На счастье Петрована, в этот момент появился исчезнувший спозаранок седобородый возчик Кузьмич. Оказывается, он ходил разыскивать свой хоззвод, который нашелся в конце улицы, и даже побывал у отца на позициях. У Кузьмича было много новостей о бое, но хозяйка перебила его:

— А у нас беда...

— Дайте нож, — без раздумий потребовал Кузьмич. — Опосля добегу до хоззвода. Приведу подмогу. Мясо мы заберем для полка, а тебе, хозяйка, я самолично приведу после боя корову —

из конфискованных у богачей для снабжения армии. Нам уже дан приказ — взять скот на убой. Не горюй, хозяйка!

Женщины и девчонки, папуганные рассказом Кузьмича о шрапнели, летящей с неба, опять надолго забились в подпол, а мы, мальчишки, хотя тоже побаивались, но, несмотря на это, все время вертелись на дворе, где партизаны свеживали прирезанную корову. Должно быть, это было признано партизанами как наше соучастие в деле, и потому нам отвалили большой кусок грудины и отдали сбой.

К полудню, впервые после многих сумеречных дней предзимья, весь небосвод очистился от рваной облачной пелены и засиял лазурью бабьего лета. Но в воздухе, посвежевшем от первого большого снега, все сильнее стали чувствоваться дуновения со степи. Пробовал силы сиверко.

Илюшка и я, не утерпев, выскочили со двора — захотелось взглянуть на флаги. Их было в самом деле немало, особенно на южной окраине села, и все они, развернувшись во всю ширь, под треск пулеметной и ружейной стрельбы реяли в сияющей голубизне над перевозданной белизной, укрывшей село и землю.

— И правда, праздник! — с улыбкой воскликнул Илюшка.

А мне невольно вспомнился один-единственный красный флаг, поднятый гуселстовским большевиком-подпольщиком Иваном Гончаренко перед крестьянской сходкой. И почему-то впервые по странной склонности к мечтаньям подумалось, что ведь тогда, в начале августа, красные флаги взвились во многих, очень многих селах, по всему родному краю. Обладая над людьми какой-то чудодейственной силой, они подняли на ноги весь народ, наделив его бесстрашием и неукротимостью. Их могучий и таинственный цвет, исстари странно волнующий людские души, отразился тогда на всем: на лицах людей, на земле, на небе. От него, жаркого и неугасимого, было красным все лето. Теперь же наступила зима, а он, красный цвет, не только не угас, как угасла зелень, а разгорелся на снежной белизне еще ярче — от земли до неба, над всей степью.

За ворота, потеряв нас, выскочил Петрован. Он начал заговялять нас во двор, но мы заспорили с упрямым хозяином, а в это время из ближнего переулка два партизана вывели, должно быть, тяжелораненого, в пакинутой на плечи, распахнутой шинели. Свесив голову, раненый едва передвигал ноги.

Это был товарищ Сергей.

— Сильно поранило, в грудь, — заговорил Гордеев, увидев Петрована. — Сгоряча-то пошел, а вот теперь совсем ослаб. Должно, много крови потерял. Не знаешь, где лазарет?

— За церковью, — ответил Петрован.

— Далекое, без носилок не донести.

— Давайте я сбегаю, а его пока в дом.

— Беги. Зови фельдшера. Да поскорей,

Солдаты осторожно внесли своего юного однополчанина в дом и уложили на голбце, где хозяйка быстренько расстелила дедушку. Товарищ Сергей не открывал глаз, дышал часто, с хрипотцой, иногда в груди его будто закипало что-то...

— Где его? — шепотом спросил Кузьмич.

— В атаку ринулся, — ответил Гордеев негромко, присаживаясь у ног раненого на уголок голбца. — Да и зря, пожалуй, ринулся-то: пускай бы сами лезли — ловчее бить. Ну, дак молодой, задорный, не утерпел. В горячке. Его первого и скосили.

— А где его?

— Да у Соляной дороги... — Гордеев оторвал было клочок бумаги на закрутку, но тут же поспешно спрятал ее в карман шинели. — У нас там, батя, жарко! Чересчур жарко! Скажи, как озверели нынче беляки. Не солдатики, знамо, а золотопогонники. Гонят и гонят подневольных на наши пулеметы. Там уж их полегло — не счесть. А их все гонят.

— Удержитесь? — тихонько спросил Кузьмич.

— Что ты, батя! Да все ляжем, а не пустим!

В груди товарища Сергея что-то забулькало, и он забился в кашле. Гордеев слегка повернул его на бок — и тогда из уголка его губ вытекла алая струйка крови. Осторожно обтерев губы раненого своей ладонью, Гордеев заглянул в щелочки его чуть приоткрытых глаз, сказал ласково:

— Потерпи, сынок...

Только через полчаса Петрован привел военного фельдшера и двух санитаров с посылками. Пожилой фельдшер, едва отдышавшись у порога, сказал в свое оправдание:

— Раненых много...

Присев на край голбца, он начал осматривать товарища Сергея. Позади фельдшера столпились санитары и солдаты. Нас, мальчишек, не подпускали и близко. Оказалось, что в спешке у боевой позиции раненый был перевязан паспех; его надо было прежде всего перевязать заново, а потом уж и нести в лазарет. Фельдшер снял с раненого все бинты, разорвал на нем рубаху и, скомкав кучу окровавленного материала, не зная, куда его деть, обернулся назад. Солдаты растерялись, а тем временем Петрован, подскочив со стороны, бесстрашно принял из рук фельдшера все тряпье, насквозь пропитанное кровью.

Раненый все время был в забытьи, а когда его расшевелили — очнулся и приоткрыл глаза. Обессиленно разжав губы, проговорил протяжно:

— ...ла-а...

Он силился произнести какое-то слово...

— ...ла-а...

— Что он говорит? — недоумевал Гордеев.

— Просит что-то, — предположительно ответил фельдшер.

Но тут Петрован, еще не успевший отойти в сторону, высказал свое мнение:

— Он говорит: «Флаг». — Подняв в руках окровавленное

тряпье, пояснил: — Он просит повесить... вместо флага. Он вчера говорил, что их мало вывесили.

— Это правда, говорил, — подтвердил Гордеев. — Только навряд ли он просит это вывешивать...

— А вот и просит! — совсем по-мальчишески уперся Петрован.

— ...ла-а... — еще раз протянул раненый.

— Ну, слышите? — спросил Петрован.

— Его сейчас понять трудно...

— Как хотите, а он просит, — сказал Петрован. — И надо выполнить его волю. Я вот выберу побольше кусок из рубахи, высушу и повешу у дома.

Слово, какое несколько раз пытался выговорить товарищ Сергей, оказалось последним в его жизни. Через несколько минут солдаты начали креститься, а потом, прикрыв ему лицо марлей, унесли на носилках. Только мы, мальчишки, были убеждены, что Петрован точно разгадал его последнее слово, и всячески помогали ему выполнить последнюю волю юного красного солдата. Совсем небольшой кусок от его рубахи, темно окрашенный кровью, вскоре вместе с другими флагами полоскался под степным ветром над Солоновкой.

III

Сиверко так и не разгулялся над степью, словно решил поберечь первый снежок, не оголять нарядно приукрашенную им землю. К вечеру он и совсем улегся на покой в степных логах, но между тем всю стала крепчать принесенная им пастоящая сибирская, захватывающая дыхание стужа. Едва стемнело — мгновенно вызвездило, да так густо, будто за темные дни предзимья на небосводе расплодилось звезд вдвое больше, чем было прежде, и все крупной, огнистой породы. И стояли они над селом так низко, что до иных можно было, казалось, дотянуться рукой, а за селом, куда ни взгляни, они и вовсе опустились до самой земли.

Хозяйка тетя Марья и ее сестра тетя Груша еще засветло, хотя кое-где и слышалась стрельба, занялись со скотиной на дворе и домашними делами. Они сварили два больших чугуна жирных щей из свежей говядины и накормили нас, ребятню, впервые за день до отвала.

Вскоре пришла на обогрев и отдых первая смена наиболее пожилых партизан. Лица у всех были обожжены стужей, а выбившиеся из-под шапок волосы, брови, усы и бороды густо закружавели — хоть веником обметай. Раздеваясь, они с кряхтением топтались в затверделых пимах и сапогах у порога, шумно потирали оковеневшие руки и наперебой поругивали лютый мороз, неожиданный для начала зимы. А уж потом, выходя на середину кухни, возвращались к прерванным разговорам о бое. За короткое время, пока женщины собирали на стол, мы успели наслушаться немало боевых историй. Выходило, что беляки хотя

и неоднократно бросались в атаки, но так и не смогли за день ворваться в партизанские траншеи и окопы. Убитых было немного, а раненых порядочно. Из тех, кто ночевал накануне боя в доме тети Марьи, кроме товарища Сергея, был ранен еще один партизан, но не смертельно.

— Из одного дома двое выбыли из строя, один — навсегда, — говорил Гордеев, до этого не проронивший ни слова. — Вот и считай...

О товарище Сергее все говорили с раздумьем и болью:

— Смышленный был парнишка.

— Студент. Сказывал, учился в Томске.

— А чей он? Откуль?

— Учителев сын, не знаешь рази? Из-под Барнаула.

— Земля ему пухом!

— И помянуть-то, как на грех, нечем!

— Лучше всего поминать добрым словом, — поучающе сказал Гордеев. — Оно всегда сыщется, если заслужил того человек.

Партизаны вспоминали, каким был товарищ Сергей — сердечным, общительным, веселым, а в бою — горячим и бесстрашным. Но я и теперь, как и в течение всего дня, не мог поверить в его смерть. Мне почему-то казалось, что он, потеряв много крови, просто впал в глубокое забытие, а все ошибочно подумали, что он умер, — мне уже не однажды приходилось слышать разные страшные истории о таких роковых ошибках людей. Как ни странно, но мое неверие в смерть товарища Сергея почему-то особенно поддерживало во мне его невыговоренное слово. Обрывок из этого слова звучал в моих ушах весь день: «...ла-а... ла-а...» Я был убежден, что Петровап разгадал таинственное слово правильно. Не однажды я выбегал во двор, чтобы взглянуть на маленький флажок товарища Сергея, и мне — хоть убей меня! — не верилось, что юного партизана уже нет в живых.

А потом партизаны заговорили еще об одной беде: как ни берегли они патроны, а их осталось совсем мало. Что будет завтра? Все стреляные гильзы немедленно отправлялись в оружейные мастерские, но сколько они могут выдать вновь заряженных патронов за ночь? Как ни гадай, а завтра, скорее всего, дело дойдет до рукопашной.

— Ну и ладно, пуцай дойдет! Тада и мы повоюем! — сказал один из пикарей, судя по всему, бедный мужичишко, во всем домотканом и худых пимах; из их задников торчали обтрепанные при ходьбе пучки соломы. — А то сидишь, сидишь, зазря коченеешь в окопе. Даже злость на вас, которые с винтовками, берет — за весь день не подпустили поближе. Погреться бы!..

— Вот завтра и тебе, друг Никиша, будет жарко, — сказал Гордеев.

— А пуцай, мне того и надо! — залихватски ответил Никиша; все его круглое и розовое, как яблочко, лицо, обросшее легонькой

светлой бородкой, освещалось живой, беспечной улыбкой и широко распахнутыми ребячьими глазами.

— А не боязно тебе, с пикой-то?

— Чудак человек! Да пошто я пужаться буду? — искренне удивился Никиша и даже не удержался от заливистого, тоже ребячьего смеха. — Самим Суворовым сказано: пуля — дура, а штык — молодец. А пика ишшо получше любого штыка! У меня она как шило — каждый день вострю! Сижу в окопе и вострю! Набежит, а я его как пырну, так и наскрозь! И еще через себя кину!

Тут засмеялись все партизаны: Никиша был небольшого, можно сказать, мальчишеского росточка, да и не очець-то коренаст и дюж...

— А если беляк опередит? — спросили его ради забавы.

— Кто? Беляк? — возмутился таким перазумным предположением Никиша. — Да мяня ишшо пикто не опережал! Как он может? Я сижу в окопе, жду, а беляку сколь до меня бечь надо? Да он задохнется, покуль добсжит! Храпом изойдет! У него и силов-то не хватит сразиться со мною! А покуль он хватается за грудь, я выпрыгну да и приколю его насмерть! Да ты ишшо и так, слышь-ка, соображай: чем колоть ловчее — штыком или пикой? Знамо, пикой. Она легше, сподручнее, уколестее. Нет, ежели меня издали пульей не возьмет, то уж штыком и подавно! Я изворотлив как бес! Побожусь! Так што пушчай и не будет завтра патронов!

— Типун тебе на язык, Никиша!

— Ничо-о, и мы, пикари, себя покажем!

— А не страшно будет колоть-то? Все ж таки человек...

— Вгорячах можно и человека заколоть, — просто ответил Никиша, для которого, знать, были открыты многие сложные истины. — Война ведь, а не игрище на масленке.

Храбрый и мудрый Никиша был явно с чудишкой, какой нередко наделяются даровитые русские люди.

...После ужина стол из переднего угла вновь перенесли в куть. Партизаны расстелили вязанку свежей соломы, заранее принесенную молодым заботливым хозяином, и начали укладываться на недолгий покой: около полуночи им опять предстояло отправляться на позиции. И только Гордеев и Никиша не спешили улечься: первый, как мне казалось, никак не мог избавиться от воспоминаний о товарище Сергее, а второй не иначе как всерьез размышлял о своих завтрашних успехах в рукопашной.

Тут Илюшка, считая, что лучшего времени больше не будет, стал приставать к Петровану со своей докукой:

— Давай в карты, а? Братка, давай!

— Какие тебе карты? Ты чо, очумел? — попытался было отбиться Петрован, еще более повзрослевший за день, серьезный и озабоченный. — Тут такая война, а ему карты подавай! — Он, должно быть, еще и стыдился заниматься сегодня карточной забавой. — Ты картсжником стал, чо ли?

— Братка, один банк! — настаивал Илюшка.

— А деньги у тебя есть? Тогда какая же игра?

— У тебя ссть, надо быть...

— У меня-то, знамо, денег полно! — нечаянно похвастался Петрован. — Однева в штаб привезли несколько мешков: где-то партизаны захватили казну у белых. Сказывали, напечатаны в Англии, а то и в самой Америке. Для Колчака. Ну, тама-ка многие брали — кто для интересу, кто на курево. И я взял.

— Много? — весь вспыхнул Илюшка.

— Да полные карманы набил.

— Покажи!

— Тыфу ты, вот прилипа!

— А пошто ты их прячешь? Покажи! — заговорил, вдруг опомнясь от раздумий, Никиша. — И мы поглядим. Я ишшо и не видывал колчаковских денег. Тама-ка чей патрет-то? Колчака?

— Они без патрета. Одни слова.

— Ну, все одно, кажи...

Петрован слазил на полати, где хранил вместе с пикой все свое добро, и вытащил большую пачку колчаковских денежных купюр пятидесятирублевого достоинства. Они действительно были напечатаны где-то в заморье, о чем свидетельствовали мелкие строчки по их краям, набранные латинскими буквами, да и бумага, какой не было тогда в России, а тем более — в Сибири.

— Хрустят! — подивился Никиша, которому редко доводилось слышать, как хрустят новые денежные знаки. — Тут у тебя, паря, большие деньги. Не считал, сколь?

— Чего их считать? — усмехнулся Петрован. — На што они мне? Зряшная бумага. Даже на курево не годится. Как жечь. Правду сказать, я и взял-то их, чтобы в карты играть. Все вроде деньги.

— Вот тогда и давай! — обрадовался Илюшка.

— Отвяжись! И людям, и нам пора спать.

— А ничо, давай сыграем, — подхватил Никиша. — Все одно не спится. Какой тут сон?

— Давай, раз такое дело, — поддержал и Гордеев.

Все мы живо расселись на коротких лавочках вокруг стола. Петрован еще раз слазил на полати и достал сильно истрепанные карты. Потом каждому из нас, не глядя, отделил от своей пачки столько зеленоватых бумажек, сколько случайно захватила рука. Пользуясь правом хозяина, объявил:

— Банкую.

Я еще не умел играть в «очко» — каждый раз за меня играл Илюшка, а я только держал карты и пытался выикнуть в суть игры. Заглянув в мою карту, он всегда весело улыбался, делая вид, что выигрыш мне обеспечен, и выкрикивал, будто бросался вплавать:

— Давай!

Вскоре я убедился, что Илюшка каждый раз старается обма-

путь брата своей показной веселостью, но это редко помогало. В какой-то мере он, конечно, уже научился владеть собой в игре, но всех ее тонкостей не знал. Однако, надо признать, на своих каргах Илюшка почему-то играл более успешно. Выигрывая, он визжал на весь дом, хотя его и шлепал по голове Петрован, и быстро, словно воруя, схватывал с кона денежные билеты. Играл он обычно на две «бумажки» и каждый раз переспрашивал меня:

— Сто?

Он всегда боялся допустить ошибку в счете.

Еще более азартно играл Никиша. Несмотря на то что колачковские знаки, по его же словам, были «пустыми бумажками», он никогда не пускал в игру более одной купюры и каждый раз досадовал:

— Чересчур большая сумма!

Ожидая своей очереди, он вытаскивал свою карту из-под стола, где прятал ее от людей, и с напряжением, морща лоб, вematривался в нее, как в икону, гадая, обещает ли она ему счастье. Едва он начинал набирать карты, с него тут же градом катился пот. Карты со стола он поднимал не сразу, а будто после короткой, но страстной молитвы, с выражением величайшего упования, и потом то радостно вспыхивал, тараща ребячьи глаза, то жмурился, как от солнышка. Он радовался не меньше Илюшки, если фартило, и тяжело кряхтел при проигрыше.

Гордеев же играл молча и равнодушно: он просто убивал время, старался забыться в игре и избавиться от своих печальных мыслей. Он всегда «бил» на большие суммы, вызывая аханье Никиши, и почти всегда проигрывал, чем приводил своего однополчанина в отчаяние.

— Рисково играешь! — не однажды остерегал его Никиша.

Петрован играл серьезно, как привык делать все дела, вел себя по-хозяйски, с достоинством, и только когда понял, что ему пет равных за столом, в нем заговорило мальчишество: начал подшучивать и над Илюшкой, и над Никишей.

— Азарт, да не фарт!

Усталость хотя и свалила партизан, но ни один из них пока еще не мог уснуть. Слишком много было увидено и пережито за день, чтобы можно было быстро обмякнуть душой. Да и всех, кажется, чем-то затронула наша игра. Как ни говори, а случай-то был необычный: сидят вокруг коптилки два крестьянина-партизана да трое мальчишек и запросто пускают из рук в руки сотни и тысячи. Это невольно подбивало на раздумья. Партизаны по очереди поднимались будто по острой необходимости подымить на сон грядущий, а сами между тем тянулись в куть, смотрели на горюшку зеленоватых бумажек на столе, иногда брали их с кона, чтобы подержать и рассмотреть на свет. Убеждаясь, что игра идет на настоящие деньги, удивленно пожимали плечами и вновь укладывались на свои места.

— А чо, мужики, — заговорил наконец хрипловатый голос, —

небось не даром же Колчаку печатались эти деньги? Золотом небось платил?

— Там задарма только в зубы дают, — ответил ему Гордеев. — Там все на золото.

— И снаряжение для армии?

— Ишшо бы!

— Много золота надо...

— А он загреб все наши банки.

— Вот воруя! Ну а если золота ему не хватит?

— Нашей землей рассчитываться будет!

— Ну не-ет!

Не выдержав, один партизан сказал:

— Зря он потратился на эти деньги!

За шумным разговором — он затеялся сам собой — никто и не расслышал шаги на крыльце и в сенях. Только когда скрипнула входная дверь и на кухню ворвались клубы холодного воздуха, все оглянулись и примолкли: на пороге оказался сам главком Мамонтов, надевший, по случаю стужи, черненный полушубок, отороченный серой мерлушкой, и пимы. Все узнали его, скорее всего, по знакомой папахе с красной лентой. Сорвав ее с головы у порога, как полагается всякому гостю, уважающему хозяев, Мамонтов вышел на середину кухни, навстречу дружно вскочившим с пола партизанам, и заговорил оживленно:

— С праздником вас, товарищи солдаты! С праздником и большой победой! Да вы не вставали бы, так поговорим...

Ему ответили:

— Нет уж, товарищ главком...

— Ну как вы тут, товарищи, наш советский праздник справляти? — спросил Мамонтов. — Праздничек-то знатный! Дорогой! Кровью завоеванный!

— А ничо, хорошо справляли, — ответил один из партизан, худой, жердястый дядька. — Только вот без митинга...

— Митинг после будет, — пообещал Мамонтов. — Всегда сначала дело сделай, а потом уже и митингуй. Тогда и речи хороши.

— И революционные песни не пели, — пожаловался жердястый.

— А почему?

— Позабыли што-то...

— Может, споем?

— Бабы уже спят.

— Жаль. Ну садитесь, садитесь!

Партизаны расселись по лавкам в переднем углу, а трое командиров, спутники главкома, — на голбце. Тут Никиша оказался расторопнее всех — выскочил из кути с табуретом и поставил его для главкома среди кухни.

— Спасибо, хозяин, — поблагодарил его Мамонтов.

— Товарищ главком, да вы... — собираясь возразить, заговорил Никиша.

— Ничего-ничего, хозяин! — Мамоптов шумно потер руки, озябшие без перчаток. — Ну и стужа, товарищи, а?

— Жжет, — подтвердили из переднего угла.

— Даже и не помню, когда так круто начиналась зима, — продолжал Мамоптов. — У вас никто не поморозился? Да-а, поморозиться могут ребята.

— Пойдем скоро, сменим.

— Я о тех, какие в бору сидят.

— Беляков пожалел! — загоготал один из главкомовской свиты, давая понять, что главком любит разные шутки.

— А я без шуток, — ответил ему Мамоптов. — Наши же они, те ребята. Сибирилки. Мобилизованные. Сидят сейчас под сосенками, бедняги.

— Скорее за ум возьмутся!

— Да они и так все понимают! — с досадой сказал Мамоптов; ему не нравилось, когда люди с легкомысленной простотой брались судить о сложных делах. — Сыновья же крестьян, вчера из-под родных крыш. Как им не понимать, против кого их гонят? Да и агитация у них там, в полках, ведется, это нам доподлинно известно. По всему видать — готовятся к восстанию. Ну, пока робкие еще ребята... Но теперь осмелеют! Вот увидят, сколько погибло, да поморозятся за ночь — и завтра навряд ли пойдут в атаки. Я уверен, что не пойдут: и сил меньше, и дух не тот! Для нас важно было устоять сегодня — мы устояли! Значит, бой уже выигран! Вот почему я и поздравляю вас с победой.

Партизаны потлядывали на Мамоптова смущенно: они не могли не верить главкому, но и верить было трудно.

— Неужели правда, товарищ главком?

— А когда я вас обманывал? — Мамоптов пошарил по карманам полушубка. — Все в кожанке забыл. У кого найдется закурить? С утра не курил.

Ему протянули кisetы с разных сторон. Он взял один, особенно нарядный, внимательно осмотрел на нем шитво и, улыбаясь, подмигнул хозяину — дескать, та, что дарила, любит, раз столько вложила труда!

— Вот скажите мне, на рассвете, когда еще спите, вы чувствуете, как едва-едва начинается зорька? — закурился, заговорил Мамоптов. — Ее чувствуют даже зверушки, даже птицы. Вот так же, как зорьку, надо уметь чувствовать и приближение победы. А уж заметить-то ее надо той же секундой, как только она сверкнет! Не проморгать той секунды! Победа может обозначиться, когда еще далеко не кончен бой, когда вокруг еще темно. А заметил ее вовремя, поверил в нее — она твоя! Только не выпускай из рук!

— Глазастым надо быть, — сказал хозяин кisetа.

— А мы разве слепошарые?

— И у нас потерь много, вот беда...

— Да, и нам нынче нелегко досталось, — согласился Мамоп-

тов. — Но мы не выдохлись. Силы у нас еще есть. Так ведь? Стало быть, завтра полегче будет. Да и подмога подойдет.

— Откуда ишшо?

— А про Колядо забыли? А про Шевченко? — поглядывая на партизан с веселинкой, спросил Мамонтов. — Ну а я про них весь день думаю. Это хорошие, храбрые командиры. Умные головы. Они остались в тылу у белых: один в Долгове, другой в Новичихе. Так что же вы думаете, они сидеть там будут и ждать, когда нас перебьют в Солоновке? Да не поверю этому никогда! Нет, сегодня днем они — я уверен — двигались к Солоновке и где-то близко. Они вот-вот подойдут! Да еще и от Волчихи должен подойти Четвертый Семипалатинский полк. Теперь помозгуйте: что будет тут завтра?

Партизаны оживились:

— Вот бы в самом деле подошли!

— Тогда, знамо, они с тыла, а мы отсель...

— Ну, тогда белякам туго будет!

— Товарищ главком, а у нас тут один завтра собирался врукопашную воевать, — сказал тот, что тосковал о митингах. — Патронов, говорит, мало, как пойдут беляки — придется орудовать пикой. Руки, жалуетса, чешутся, сойтись бы...

— Это у кого они чешутся? — заинтересовался Мамонтов.

— Да вон, у Никиши...

Мамонтов обернулся в сторону кути и увидел перед собой вытянувшегося скорее из желания прибавить в росте, с округлившимися ребячьими глазами Никишу, которого он принял за хозяина дома.

— У меня, товарищ главком! — бодро доложил Никиша.

— Ты, стало быть, солдат?

— Так точно, солдат Второго Славгородского полка, первого батальона, третьей роты, товарищ Пермяков!

— Хм, чудной ты солдат, — усмехнулся Мамонтов и покачал головой. — Почему солдатского обмундирования не имеешь? Ваш полк хорошо обмундирован, знаю...

— Не досталось, товарищ главком, когда выдавали!

— Кру-уго-ом!

Хотя команда была внезапной, но Никита Пермяков не растерялся и исполнил ее хорошо. И тогда Мамонтов уставился на его изношенные пины — из дыр, что зияли на их задниках, торчали пучки соломы.

— Кру-уго-ом!

Встретясь взглядом с Никишей, Мамонтов заговорил с укоризной:

— Какой же ты, товарищ Пермяков, солдат Красной Армии в таких дырявых пимах?

— Так неколи же подшить, товарищ главком! — смело пояснил Никиша. — Все война и война.

— Тут недолгое дело. Видать, недотеха ты. А какая у тебя лопотина?

— Да ты не сумлевайся, товарищ главком, писколь не сумлевайся! — быстро и весело заговорил Никиша. — Ну, у меня, знамо, зипунишко, чо ишшо? Но он хоть и старенький, а ладно греет, в ём ишшо можно воевать!

— Надеть!

Осмотрев Никишу в его зипунишке, перехваченном в поясе цветной домотканой опояской, Мамонтов даже поморщился:

— Снимай! Срам глядеть на тебя...

— Товарищ главком! — испугался Никиша, заподозрив, должно быть, что Мамонтов вгордчах отчислит его из полка. — Да его ишшо совсем не продувает! И в ём легко! Надень на меня шинель — я в сй запутаюсь, упаду. А в своем-то зипунишке я как бес. Я так и сяк развернусь, ежели доведется колоть. Нет, товарищ главком, лучше этой лопотины для бою мне не найти. Побожусь!

— Снимай, — тише повторил Мамонтов.

Выполнив приказ, Никиша совсем пал духом:

— Товарищ главком!..

— Ты что же, воевать не хочешь? Заболеть хочешь?

— Побойся бога, товарищ главком!

— Ты давно в армии?

— Да я недавно...

— Оно и видно.

— Собирался, вишь ли, второпях...

— Скоро Красная Армия подойдет, встречать будем, ты понял? — спросил Мамонтов. — Ну и ты, выходит, встанешь в строй в своем зипунишке и в дырявых ппмах, из которых торчит солома? Не стыдно будет? Да что люди о нас скажут? Что подумают? Какие же это, скажут, солдаты крестьянской Западно-Сибирской Красной Армии? Стыд и позор!

— Не увольняй, товарищ главком! — взмолился Никиша.

— Не увольняю, — ответил Мамонтов. — Может, и на самом деле второпях пришлось собираться, и здесь не повезло, когда шинели и обувь выдавали. — Он обернулся к своей свите: — Подобрать ему полушубок и пимы.

— Есть! — ответил один из свиты.

— У кого еще плохие пимы? — заговорил Мамонтов, вновь оборачиваясь к партизанам. — Сознавайтесь.

Все партизаны молчали. И тут Илюшка, привстав за столом, вдруг указал на меня:

— Вот у него. Тоже торчит солома.

— Не лезь не в свое дело, — осадил его Гордеев, прижимая ручищей к скамье. — Товарищ главком про партизан спрашивает, а ты лезешь тут...

Но Мамонтов уже стоял у нашего стола.

— У тебя?

Я поднялся перед главкомом и от большого волнения так начал кашлять, что у меня брызнули слезы.

— Ну и бухаешь ты! — заметил Мамонтов, всматриваясь

в меня с какой-то мыслью. — Как из пушки. — Очевидно было, что он так и не опознал во мне того мальчишку, какого видел с отцом недавно в Малышевом Логу. — Кстати, товарищи, Красная Армия заботится прежде всего о народе. Заказать ему пимы.

Тут один дядька поднялся с голбца.

— Товарищ главком, разрешите доложить? — заговорил он, с неудовольствием косясь вороненым глазом в куть. — У нас и пимокатня-то закрыта. Ни одного пимоката.

— А где же они? — сердито спросил Мамонтов.

— Все сбежали. В окопы. Говорят, тут такой бой, а мы пимы катать будем? Отобьемся — тогда уж...

— Вот дуры головы! И вы тоже: распустили людей... — От пегодования Мамонтов прожег глазами интенданта насквозь и потребовал: — Сейчас же собрать всех пимокатов! И чтоб с утра пимокатня работала. Сам проверю. Через день-другой мы погоним беляков, а у нас многие еще в сапогах или в опорках, как у этого вот вояки. А уже зима. Они об этом подумали, дуры головы?

— Есть! — ответил, вытягиваясь, интендант.

И тут Мамонтов, взглянув на Петрована, который давно сидел, затаившись и прикрыв свой кон ладонями, спросил его, как старого знакомого:

— А ты, ополченец, чего тут прячешь? А ну покажи.

Потупясь, Петрован убрал руки со стола. Увидев кучу колчаковских денежных знаков, Мамонтов так засмеялся, что, казалось, едва не опрокинулся от смеха навзничь.

— Да тут вон что! Игра! — Он быстро расстегнул полы полушубка и подсел к столу. — А ну сдай! Давно не баловался! Ну, поте-еха-а...

— Ты фартовый, товарищ главком, — сказал Никиша. — С тобой какая игра? Ты всех обставишь и очистишь догола.

— И ты хитри. И тебе повезет.

Вдобавок к карте, какая у него была, Мамонтов взял у Петрована еще одну и, вновь засмеявшись, снял весь кон, на создание которого молодым хозяином было затрачено немало усилий. Партизаны, успевшие собраться у стола, заговорили шумно и восхищенно: и верно, дескать, с первого раза — и так пофартило. Мамонтов сгреб кучу зеленоватых билетов и сдвинул ее на край стола, словно от большой радости намереваясь прижать к своей груди, но неожиданно смахнул себе под ноги.

— А ну кончай! — поднимаясь, scomандовал обычным голосом. — Разыгрались тут! Вы для чего отпущены с позиций? Обогреться в тепле, поужинать горячим да и соснуть какой часок, а вы чем зацялись? В карты затеяли! А ну всем спать!

В это время скрипнула входная дверь — и на кухню опять ворвались клубы холодного воздуха. И кто-то обрадованно воскликнул:

— Здесь? А мы ищем, ищем по всем улицам!

— А что там случилось? — выходя на середину избы, обеспокоенно спросил Мамонтов. — Это ты, Иван?

— Наши прорвались, товарищ главком! — счастливым голосом выкрикнул некий Иван, вероятно гонец из штаба. — От Колядо и Шевченко!

— Когда?

— Да вот сейчас. Они у штаба. Конники и двуколки с патронами. Они бором, глушью прошли.

— Где их полки?

— Шевченко — в Малышевом Логу, а Колядо — в Селиверстове. Утром ударят по белякам с тыла.

Быстро застегивая полушубок, Мамонтов сказал:

— Вот так-то, товарищи...

IV

С утра вся церковная площадь Солоновки была запружена тысячами партизан, жителями партизанской столицы и соседних селений, прискакавшими сюда по первопутку, едва отгремел бой. Над двухэтажным домом штаба, слегка поврежденным белогвардейским снарядам, развевался большой флаг из нового кумача; флаги поменьше плескались у многих ближних домов и ворот. А в центре площади, вокруг наскоро сколоченной из досок невысокой трибуны, украшенной сосновыми ветками, рослые молодые солдаты, стоявшие во главе воинских колонн, держали слегка склоненные, густо алеющие, испещренные надписями полковые знамена. Сельские мальчишки раньше всех взяли трибуну в кольцо и, как их ни оттирали назад, не сдавали своих выгодных позиций: так и стояли от начала до конца митинга впереди стены партизан — будущие герои тогда еще далекой большой войны.

У самой трибуны, пока еще пустующей, стоял на табуретках большой гроб, обитый красным материалом, а в нем лежал под охраной почетного караула Федор Колядо — в гимнастерке, с красной широкой лентой на груди: тогда еще у мертвых не отбирали награды. До пояса он был укрыт знаменем с большой черной полосой, по обе стороны его груди и головы лежали пучки ковыля с нашей целинной степи. Тончайшие шелковистые остьки ковыля все время шевелились от ветерка, и это, вопреки очевидной истине, наводило на мысль, что среди живой степи жив и Колядо. Но всем уже было известно, что после митинга, когда с ним попрощаются армия и народ, его увезут в родные места, под город Камень-на-Оби, и там похоронят.

Смотря на застывшее, сильно изменившееся лицо Федора Колядо, я все время вспоминал, как он наслаждался арбузом, принесенным мною из дома. И мне думалось: «Сберег ли он семечки? Может, они у него в кармане?» Я не утерпел и, обернувшись к отцу, шепотом рассказал ему про семечки. Отец почему-то долго не мог понять, про какие арбузные семечки я толкую,—

в то утро он был каким-то очень странным, будто зачумленным тяжкими раздумьями, да и внешне был нсузнаваем — заметно постарел, осунулся, оброс щетиной. Меня даже пугала мысль, что таким некрасивым он может остаться навсегда.

С трудом поняв, в чем дело, отец успокоил меня:

— Сберег. Теперь вестовой сбережет и посееет.

— Ты знаешь, где его убили? Покажешь?

— Покажу, — пообещал отец. — Мне дали отпуск на три дня — отвезти тебя в Гуселетово. Как поедем, завернем на то место. К нам на подмогу шел — его и убило.

— Я знаю.

Мне невольно вспомнилось, как Мамонтов хвалил Колядо и был уверен, что тот непременно придет на помощь защитникам Солоновки. Он не ошибся тогда, главком, говоря партизанам, что победа завоевана уже в первый день боя и надо только удержать ее и закрепить. Как он говорил в тот вечер, так все и вышло...

Наутро два белогвардейских полка, изгнанные Колядо и Шевченко из Селиверстова и Малышева Лога, ночевавшие в бору на морозе, попытались было вновь атаковать партизанские позиции под Солоновкой, но вскоре им пришлось защищаться от партизанских полков, ударивших с тыла. Бой шел весь второй день, но только однажды, когда белогвардейская конница решила ворваться в Солоновку со стороны степи, где не было обороны, партизаны пережили тревожные минуты. Сам главком Мамонтов, всегда бросавшийся на опаснейшие участки обороны, прискакав сюда, лег за пулемет — у малоопытных пулеметчиков вышла какая-то заминка. Атака белогвардейской конницы оказалась наивысшей точкой боя, а после этого он быстро пошел на спад. Ночью белогвардейские полки, пользуясь тем, что партизаны, наседавшие с тыла, не могли создать плотного кольца, снялись со своих стоянок-ночевок и отправились не солоно хлебавши в обратный путь Соляной дорогой.

После двухдневного боя у всех было много хлопот. Из бора все время выходили, чтобы сдаться в плен, сильно обмороженные белогвардейские солдаты — всего их сдалось около трехсот. Там, где стояли полки противника, где он бросался в атаки, оказалось более пятисот погибших в бою — всех их надо было подобрать и предать земле. Всюду перед партизанской оборонной белогвардейцы растеряли разное оружие — трофеи надо было учесть и сдать на склады. Не только партизаны, но и многие сельчане выезжали очищать поле боя. Даже наш молодой хозяин Петрован, усадив в сани Илюшку и меня, повез нас в бор собирать патроны и гильзы. Мы вилами и граблями разрывали утоптаный снег и мелкой, но дорогой добычей загружали корзины. В той поездке меня особенно поразило, что небольшие сосенки на опушке бора были будто выкошены литовской. Мне навсегда запомнились те сосенки, снесенные пулеметным огнем, — может быть, ими и была украшена трибуна.

Я сказал отцу и про сосенки.

— Наши пулеметы косили, — ответил отец на сей раз без задержки. — И сосенок, и бялков много полегло.

— А наших?

— Да тоже немало. Говорят, больше сотни убито да несколько сот пораженных: все дома вокруг заняты под лазареты. Страшное, сынок, это дело — война. Никогда бы мои глаза ее не видели. И сказать невозможно, как больно, когда около тебя умирают товарищи.

После долгого и трудного молчания, должно быть, в какой-то связи с его неприятием войны, он вдруг сообщил:

— Я ведь, сынок, в партию вступаю.

...Даже никто из штаба, вероятно, не смог бы ответить, по какому же случаю прежде всего созывался митинг в Солоновке. Он был посвящен и двухлетню Советской власти, своевременно отметить которое помешал бой, и только что одержанной большой победе — все чувствовали, что ей, этой победе, суждено иметь огромное значение в борьбе с белогвардейщиной в Сибири. Но митинг, несомненно, посвящался и прощанию с погибшими воинами народной армии, в частности с Федором Колядо, которого даже вынесли на площадь. И поэтому чувства радости и облегченности, вызванные ощущением успеха в только что законченном бою, у всех, кто пришел на митинг, соединялись с чувством горечи, с душевной болью. Тем более что все знали: сейчас, когда все радуются, в ближних домах люди льют слезы над телами погибших, собираясь везти их в родные села, а в лазаретах многие умирают или мучаются от тяжелых ранений. Оттого люди, собравшиеся на площадь, в ожидании начала митинга терпеливо молчали, а если и разговаривали, то негромко. Даже мальчишки были сдержанны. Пожалуй, горечь-то у всех была сильнее радости.

— Ты уж большой, — сказал мне отец. — Через день тебе исполнится десять лет. Запомнишь все, что видел в эти дни?

— Запомню...

Тут все стали оглядываться в сторону штаба, где стояла пара главкомовских коней, запряженная в ямщицкую кошеву, и группа конников, не слезавших с седел. Из штаба наконец-то вышли старшие командиры армии — толпа, теснясь, стала быстро наступаться, образуя проход к трибуне. Все командиры были с красными бантами на шинелях. Первым я, конечно, ожидал увидеть главкома Мамонтова, а увидел коренастого человека с темными густыми усами, на вид сурового и упрямого.

— Кто это? — спросил я отца.

— Жигалин. Начальник штаба.

Мамонтов оказался позади всех. Одет он был, как мне показалось, не для парада, а для дальней дороги: в тот же виденный мною черненый полушубок, отороченный серой мерлушкой, довольно нарядный, правда, для тогдашней поры, но туго затянутый в ремни, с револьверной кобурой у пояса. Походка у него

была легкой — под его мягкими пимами даже не поскрипывал снег.

Первых командиров партизаны встретили в глубоком молчании, будто чем-то разочарованные, но, когда увидели любимого главкома, враз оживились, завертелись, заговорили: шумок прошел над шеренгами и толпами.

Яков Жигалин поднялся на небольшую трибуну. Оттянув левый рукав полушубка, он взглянул на большие часы у запястья, засекая время, но показалось — безотчетно похвастался ими перед людьми. Потом, ожидая тишины, Жигалин нахмуренным взглядом начал всматриваться в близкие и далекие лица на площади.

Тем временем все остальные командиры встали между трибуной и гробом Колядо, ненадолго сняли свои папахи и шапки — долго стоять на морозе с открытыми головами было рискованно. Один Мамонтов, не надевая папахи, обернулся к трибуне, отломил небольшую сосновую ветку и положил ее в гроб у скрещенных рук Колядо. Мне невольно подумалось, что главком был недоволен тем, что погибшему герою положили пучки ковыля, вроде от родной степи. Вот он и решил преподнести ему подарок и от степных боров, в которых герой тоже повоевал немало, да к тому же и погиб на лесной поляне.

А начальник штаба Жигалин, открыв митинг, уже говорил что-то, но людское море на площади, чем-то недовольное, не слушало его, волновалось — вот-вот могла хлестнуть волной разногласица.

Жигалин понял, чего требуют от него армия и народ, замолк и широко развел руки — дескать, казните, а я не в силах исполнить вашу волю. Тогда над площадью враз взлетело несколько голосов:

— Главко-ома-а! Главко-ома-а!

Зная, что сейчас может произойти, Жигалин взмахнул рукой и простуженным голосом начал выкрикивать, разделяя слова, чтобы они не сливались вдали:

— С речью... выступает... главком... крестьянской Красной Армии... Западной Сибири... товарищ Мамонтов!

Главком обернулся и поднял недовольный взгляд на Жигалина. Мамонтов не собирался выступать на митинге, о чем сказал еще в штабе, и подсадовал, что обычно сообразительный Жигалин растерялся и не смог избавить его от нелюбимого дела. Но отнекиваться теперь было неразумно. Обидишь армию и народ. И Мамонтов, сунув кому-то свою папаху, взбежал на трибуну, встал на место Жигалина, ухватился за пельца.

Из края в край площади загремело:

— Ур-ра-а-а! Ур-ра-а-а!

Сердито нахмурясь, Мамонтов резко замахал рукой из стороны в сторону, требуя немедленно прекратить крик, а затем указал вниз, на гроб Колядо, — дескать, не забывайте, что здесь

спит вечным сном герой. И на площади быстро установилась тишина.

— Товарищи солдаты и командиры нашей доблестной армии! Товарищи крестьяне Солоновки и приезжие из других селений! — начал Мамонтов высоким, чистым, певучим голосом. — Я тоже поздравляю всех с днем рождения родной Советской власти. Ей исполнилось уже два года. Теперь она — сами видите! — крепко стоит на земле. И с каждым днем все больше набирается силенок и ума. Теперь ее уже никому не удастся поставить на колени. Жаль только, что мы с опозданием отмечаем этот день, но лучше поздно, чем никогда! Зато уж отмечаем хорошо, большой победой! Мы устояли и обратили противника в бегство!

Из ближних рядов вдруг раздались голоса:

— Папаху! Папаху!

Мамонтов отмахнулся, но из толпы потребовали:

— Па-па-ху!..

Жигалину подали папаху главкома. Подозревая, что Мамонтов может заупрямиться, он подошел к нему сзади и сам нахлобучил ему папаху, да второпях до самых бровей. Мамонтов заулыбался и сдвинул ее со лба.

— И вообще, товарищи, близка, совсем близка наша полная победа над черными бандами белогвардейщины! — продолжал Мамонтов. — Я вас сейчас здорово обрадую, товарищи. Сегодня штабом получено очень важное сообщение. Оказывается, еще четыре дня назад, когда мы отходили к Солоновке, кровавый адмирал Колчак бежал из Омска! — Он опять резко замахал рукой, вовремя упреждая ликование армии и народа. — Все его грабительское войско разваливается под ударами Красной Армии, ведущей стремительное наступление, и бежит на восток! Самое время, товарищи, добивать белогвардейские бабды!

Но тут ему уже не удалось сдержать армию и народ. Мамонтов был доволен, что обрадовал их важной вестью, и решил потерпеть, пока они шумят. Понимал: без шума тоже нельзя в такие минуты...

— Вот и все, товарищи! — выкрикнул затем Мамонтов. — Извиняйте, но митинговать мне недосуг. У меня вон стоят наготове запряженные копы. Все вы знаете, что Славгородский полк уже выступил вдогонку за беляками. Я тоже должен немедленно выехать вперед. Нельзя терять ни одной минуты. А вы тут митингуйте, если есть желание, хоть весь день. Начальник нашего штаба товарищ Жигалин не хуже меня знает, как шел наш бой, какое положение на всех фронтах в Сибири. Он все вам расскажет. Помяните добрым словом тех, кто погиб, кто пролил кровь, кто проявил героизм. И попрощайтесь с нашим дорогим храбрецом товарищем Колядо, а также и со всеми другими храбрецами, павшими в бою. И вот еще что! Чуть не забыл! Споете «Интернационал», а потом спойте и нашу новую песню. Ее только что сочинил партизан товарищ Семенов —

вон он стоит! Он скажет, на какой мотив ее петь. Правдивая песня! За душу берет! — Он вытащил из кармана гимнастерки лист бумаги, развернул его и сказал: — Вот какие в ней слова:

Вблизи у села Солоновки,
Среди касмалинских боров,
Есть место, облитое кровью
Героев, лихих молодцов...
На этом на месте кровавом
Кипел ожесточенный бой,
Широкое поле покрыли
Лихие герои собой...

Когда Мамонтов читал последние строки, по его щекам потекли слезы. Не закончив чтения, он сунул бумажку в карман полушубка, быстро обтер папачкой лицо, а потом потряс ею над головой:

— До полной победы!

Сбежав с трибуны, он подошел к гробу и поцеловал Колядо в лоб. После этого, ни на кого не глядя, направился в сторону штаба. Перед ним быстро расступалась толпа. Вскоре пара сыгых коней в сбруе с бляхами, запряженная в ямщицкую кошеву, а за ней и группа верховых медленно двинулись сквозь людскую запруду к Соляной дороге. В кошеве вместе с Мамонтовыми сидели два его сына — взял прокатить до бора.

Митинг продолжался долго. Но сколько я ни слушал горячих, взволнованных речей, мне казалось: все, что надо было здесь сказать, уже сказано Ефимом Мамонтовым, и никому, несмотря на старания и красноречие, не удастся прибавить ничего более трогательного и возвышающего людские души.

Все говорили о близкой победе. Но никто, конечно, не знал, что ровно через десять дней два белогвардейских полка, воевавшие под Солоновкой, восстанут и сложат перед Мамонтовым оружие на станции Посмелихе. Что после солоновского боя партизанская армия, быстро разрастаясь, создавая новые полки, дивизии и корпуса, развернет стремительные боевые действия на огромной территории государственного масштаба — от Оби до Иртыша, от Великой Сибирской магистрали до гор Алтая. Что вскоре будет установлена связь с наступающей из России советской 5-й армией, а 10 декабря полк имени Колядо вступит в Барнаул...

Никто не знал и того, как отразятся в судьбах земляков события красного алтайского лета. А они ни для кого не могли пройти бесследно. Я был только случайным свидетелем тех событий, да еще в годы детства, но и то всю жизнь ощущаю освежающее дыхание далекого грозного времени.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

...Давно отбушевало, отшумело море. У берега, на отмели, море отлиывает легчайшей прозеленью, совершенно не затеняющей отлого уходящее вглубь ровное песчаное дно; подалее оно

изумрудно, а вдаль, на просторе, встает до неба густой синевою.

— Да, морские волны бывают самого разного цвета, — с раздумьем говорит недавно отыскавшийся после долгой разлуки Федя Зырянов, теперь — седовласый Федор Филиппович. — Однажды я видел их даже черными, как деготь.

На его плотном теле, жестоко израненном горячим железом войны, несколько больших шрамов — всякий, кто увидит их, легко поймет, как дорого стоит ему жизнь. Правая его рука укорочена по локоть.

Я уже знаю почти всю его историю.

Стоит лето 1968 года. Мы живем в небольшой фанерной хибарке у самого пляжа, недалеко от устья Днестра, в лагере для отдыха рабочих Белгород-Днестровского мясокомбината. Федор Филиппович работает директором этого комбината уже полтора десятка лет. Каждое утро на рассвете мы поднимаемся и идем к морю. В этот час оно особенно похоже на жизнь: сколько ни всматривайся в него — не пагодишься. Будто подчиняясь его велению, мы начинаем без конца спрашивать друг друга:

— А помнишь? А помнишь?

Мы расстались почти пятьдесят лет назад. По воле отца, сдержавшего свое слово, наша семья оказалась тогда в коммуна «Новый мир» — навсегда запомнилась мне первая коммунарская весна на берегу прекрасного озера Молоково, у опушки Касмалинского бора, и то, как крестьяне, бывшие партизаны, впервые работали сообща на общей земле. Федя Зырянов остался в Гуселетове. Со временем по воле судьбы еще больше разошлись наши пути-дороги.

Войну он встретил в Кировограде. Через три дня Федор Зырянов, зоотехник по специальности, уже был в действующей армии под Одессой. Ветеринарная часть, обслуживающая армейский лазарет 9-й армии, вывозила с поля боя раненых лошадей, лечила их и возвращала в строй — тогда за недостатком машин все в армии передвигалось главным образом с помощью конной тяги. Вскоре началось тяжелое отступление. За лето часть была сильно потрепана. Мой друг, тяжело контуженный, очнулся однажды в походном госпитале...

Потом Федор Зырянов оказался в пехоте. Восвал на юге, на Кубани и Северном Кавказе. Участвовал в героическом десанте в Новороссийске. Был тяжело ранен: осколок снаряда, перебив два ребра, врезался в живот, занеся с собой кусок шинели, клочья шерсти от безрукавки и землю. Положение моего друга считалось безнадежным. Но сильный организм совершил чудо. Зырянов вернулся в свою 55-ю гвардейскую дивизию, которая стояла тогда на Тамани, готовясь к броску на крымскую землю. Через несколько дней лейтенант Зырянов с песчаной косы Чушка уже высадился со своей ротой близ Керчи. Начались тяжелые бои на огненном плацдарме.

А вот о последнем ранении, после которого он уже не мог

держат оружие, Федор Филиппович не торопился рассказывать. Но теперь я чувствую, что он, собравшись с силами, готов повседать о своем последнем бое.

— У меня была сильная и ловкая правая рука, — начинает Федор Филиппович даже без моей просьбы. — Помню, вылез однажды утречком из блиндажика — и глазам своим не верю: все вокруг перерыто снарядами, вся земля перемешана с осколками и гарью, а он сидит себе как миленький и уши наострил! Заяц! Красавец! Жалко было. Не хотелось, очень не хотелось губить смелую душу, но пойми меня — голодно было. Не выдержал. Выхватил пистолет и выстрелил. А когда нажимал спусковой крючок, все же подумал: ладно, пусть дрогнет! Но она не дрогнула.

Он грустно глядит на свою култышку.

— А случилось это в начале января, — продолжал затем Федор Филиппович. — Вдруг узнаем: опять идем в десант. Какой? Куда? Оказывается, здесь же, на Керченском полуострове, в тыл противника. Вышли к морю. И тут командир дивизии, увидев меня, сообщил, что Кировоград, где осталась моя семья, освобожден нашими войсками. И даже дал мне открытку: «Напиши!» Я написал второпях несколько слов. Последний раз — правой рукой. Кстати, та открытка дошла до семьи... — Федор Филиппович на минуту опускает голову. — Всю ночь шла подготовка десанта. В нашем штурмовом отряде было сто двадцать человек: автоматчики, пулеметчики, подрывники, саперы. Нам приказано было захватить высоту сто пятнадцать и закрепиться на ней до подхода подкреплений. В полночь мы вышли на небольших весельных судах, но неожиданно подул ветер, разыгрался шторм, и мы опоздали с высадкой. Стало светать, нас заметили в море, открыли огонь. Много лодок с людьми погребло. Но тут появились наши штурмовики. Они выручили. Человек восемьдесят из нашего отряда — все мокрые, обледенелые — с большим трудом, но все же добрались до берега. Он был, конечно, заминирован, и мы опять потеряли много людей. И все-таки каким-то чудом зацепились за землю, зарылись под высоким обрывом! Сидели там целый день. Немцы били нас и гранатами, и минами. Мы оглохли от свиста и грохота, но выдержали. Дождались ночи. Шумел ветер, шумел прибой. Немцы не могли, конечно, и подумать, что мы осмелимся полезть на ту высоту, до которой было еще метров двести. Но мы полезли! Что и говорить, это похоже на безумство. Но мы действовали расчетливо и осмотрительно. В полночь отправили левее обрыва, под которым скрывались, небольшую группу, а за нею двинулись и все, кто держался на ногах. И ворвались-таки на высоту! Заскочили в траншею, бросились по дзотам, по блиндажам... Не пойму, как я уцелел там. Один немец почти в упор выпустил в меня очередь из автомата. На высотке нам тоже нелегко было. До рассвета почти непрерывно атаковали немецкие автоматчики, а утром началось такое, что не видели и света

белого! Бой шел целый день и еще ночь. И только тогда подошло подкрепление — матросы из нового десанта. Вместе держались еще сутки. Ну а потом и случилась со мною беда. Шли три танка. Я приготовился уже бросить гранату, да вдруг подумал, что рановато, и опять полез вперед. Но тут меня и ударило. Сильно ударило, даже в глазах потемнело. Потом вижу — лежат рядом моя рука и граната. Не вставь я иглу обратно — взорвалась бы... Мой ординарец — он полз следом — все-таки подбил и зажег тот танк, а потом занялся и мной. Весь я был в крови, но еще часа три оставался на поле боя. Руку оторвало или перерезавшимся снарядом, или бронебойным... Наконец подошли наши пехотинцы. Какой-то майор обнял меня, расцеловал, и вот тогда море закачалось, закачалось перед глазами, будто сго опрокидывал кто-то... Я едва держался на ногах, но мысль работала ясно: «Устояли! Удержали высотку!» Ординарец и еще один солдат повели меня куда-то берегом. И поверишь, только уж в пути хватились, что на мне все еще висят автомат, пистолет, две гранаты, а за голенищем сапога — обоймы. Все сняли с меня, но идти было трудно. Шли долго. Мне все время черпали котелком из моря, и я пил, пил с невероятной жадностью! Говорят, морская вода по своему составу близка к физиологическому раствору. Если так, то, может, море меня и спасло? Ну а на другой день, на рассвете, меня отправили с плацдарма на Большую землю. И вот, когда самолет накренился, я увидел море. По нему катились большие волны, и они мне тогда показались совершенно черного цвета.

Мы поднимаемся, идем к морю, ненадолго задерживаемся на влажном песочке. Потом с озорным ухањем бросаемся вперед, на глубь, плывем и кричим друг другу:

— А помнишь наше Горькое?

— Еще бы!

И опять сидим на сухом прохладном песке.

— Да, теперь все чаще и чаще вспоминается детство, — говорит Федор Филиппович. — А тебе? Ну, значит, пора писать о детстве. Вернее, напиши-ка ты о том далеком времени, с каким слилось наше детство. От которого мы пошли в люди. Которое всегда носим в сердцах и будем нести, пока живы.

Долго не отвечаю.

— Боишься, многое позабыто?

— Побаиваюсь...

— Все может забыться, а детство никогда, — убежденно говорит Федор Филиппович. — Разве ты мог забыть, чем жило наше село в то лето? Как поднималось восстание? Как собирався партизанский отряд? Разве мог забыть своего отца? Или Колядо? Или Мамонтова?

Я не выдерживаю и рассказываю о случае, какой произошел в бывших Больших Бутырьках, а ныне в Мамонтове. Поставили там памятник вожаку партизанского движения на Алтае. И что же? Бывшие партизаны подняли невероятный шум: непо-

хож Мамонтов, высеченный из красного гранита, на того, живого, какой водил в бои партизанские полки! Не его голова, да и только! Снимайте! И пришлось переделывать памятник.

— У каждого из нас своя, особая память, свой взгляд на прошлое, — возражает Федор Филиппович. — Сотни людей об одном событии расскажут сотни историй. Одно человека изобразяг в ста лицах. Так что, если кому-нибудь не понравится кто-то из героев твоей книги, — не беда. Голову ему не меняй. Кстати, когда ты видел Мамонтова в последний раз?

— За день до его гибели.

— Где?

— В Больших Бутырках, — отвечаю. — Это было в феврале двадцать второго года. На масленице. Он ехал из родного села в Барнаул и остановился ненадолго в Больших Бутырках, чтобы повидаться с друзьями. Отец был тогда начальником волостной милиции. Человек десять, если не больше, собрались в нашем доме. Все обрадовались встрече с главкомом, шумно вспоминали о походах, даже спели песню о солоновском бое. Мамонтов ее очень любил. А через день — двадцать пятого февраля — он уже был во Власихе, совсем недалеко от Барнаула. Там его и убила пьяная кулацкая банда. Опознала...

— В Сибири Мамонтова хорошо помнят и чтут, — говорит Федор Филиппович. — А вот в других местах, к сожалению, его совершенно не знают. И заметь, отчасти по твоей вине. О всех выдающихся полководцах гражданской войны написаны книги, созданы фильмы, а о нашем сибирском герое ничего нет. А ведь он был вождем сибирских повстанцев в борьбе против Колчака. Обидно!

Кивком головы соглашаюсь: да, обидно, несправедливо.

— Что сейчас в Солоновке? — спрашивает Федор Филиппович.

— В доме, где был штаб Мамонтова, создан музей.

— А где его старшие сыновья? Ведь они наши ровесники. Значит, тоже воевали?

— Воевали и погибли.

— Не сомневаюсь, воевали, как отец, и погибли смертью храбрых, — заключает Федор Филиппович. — Немало погибло и наших гуселетовских друзей. Что ж, стало быть, не зря детство нашего поколения освещалось огнем гражданской войны, а? Не зря над ним развевались красные флаги?

Федор Филиппович откупоривает бутылку розоватого вина и, как бывало на фронте, наливает в стаканы. Медленно показывается солнце. Мы завороженно ждем, когда оно оторвется от далекой черты морского горизонта. Вино в наших стаканах горит алым пламенем...

— За красный цвет!

— За жизнь!

*Алтай — Москва,
1970—1978 гг.*

Бессмертие

ПОВЕСТЬ



Отгремел ледоход. Могучая Кама шла властно и грозно по тихой весенней земле. С горячей решимостью она очищала свой извечный путь: где надо, подмывала и обрушивала берега, пизвергала деревья, спосила постройки... Но люди с восхищением следили за буйством освобожденной реки: было что-то сираведливое и мудрое в ее разрушительной силе. А потом Кама разлилась, да так широко, что всем показалось, будто раздвинулся горизонт, — и с того дня стало светлее и просторнее в мире. От правого берега, гористого и окутанного лесами, ее воды ушли за много верст до неясно очерченных грив. В пойме остались небольшие острова, и на них, захваченные врасплох, суматошно толпились нагие перелески. По отмелям бродили осоко́ри¹ и ветлы, бережнонося десятки черных гнезд; вокруг, крича, билась встревоженная грачи.

С трудом смиряя свой буйный нрав, Кама медленно, неохотно ложилась в русло, а когда улеглась, уютно и спокойно стало на ней. Повсюду легко скользили остропосые рыбацьи лодки. Неугомонные чайки-хохотуны, переключаясь, азартно охотились за мелкой рыбой. С верховьев неторопливо шли плоты; на них задумчиво курились дымки. Вечерами, когда под небосводом яркой блесной качался месяц, по искристым заплескам шумно играли судаки и сомята... А на берегах Камы началось великое жизневторение. Ожили леса: от щедро выброшенной деревьями листвы, от густо поднявшихся ядреных трав там стало так тесно, что лоси с трудом пробирались на водопой. В пойме дружно, как поговору, зацвели травы, засверкал лютик, точно осыпанный брызгами солнца, всюду замелькали ярко-красные метелки кукушкина цвета, высоко поднялся гордый иван-чай, весь в розовых кистях. Над цветущими лугами дни пролетали быстро и бесшумно. Изредка, гулко гремя и встряхивая землю, прокатывалась гроза, а потом над Камой долго висела многоцветная арка радуги.

Так радостно началось лето восемнадцатого года в Прикамье. Но внезапно сюда налетели белогвардейские отряды. Они скакали к верховью Камы, вытаптывая травы и хлеба, грабя и разрушая деревни. Вслед за ними на Каме появилась баржа с виселицей. Двигалась она зловеще медленно. Там, где проходила она, поднималось смятение: разбегался народ от пристаней, рыбаки прятались в протоки, заросшие тальником, девушки стремглав бежали в глубь поймы, бросая корзины с ежевикой и хмелем. На почь

¹ Осоко́рь — черный тополь.

баржа останавливалась в глухих местах, вдали от селений, и тогда над ней раздавались сухие выстрелы, крики и стоны. Утром баржа снималась с якоря и шла дальше, а оттуда, где стояла она, река уносила убитых и выбрасывала их на песчаные отмели... Жители прибрежных селений находили убитых и, хмураясь, торопливо предавали их земле. Там и сям на берегах Камы выростали бугорки свежих могил: на одних, рыдая, метались жепщины и дети, на других — в солнечные полдни — грелись и дремали утомленные охотой седые ястребы.

II

Август был на исходе. Баржа с виселицей остановилась неподалеку от устья Камы. Маленький буксир, задыхаясь, дал несколько хриплых гудков и ушел в Богородск¹ за нефтью, а со всей ближней округи по проселкам белые каратели погнали к реке новые партии приговоренных к смерти — оборванных, избитых шомполами и нагайками. Их принимали на барже и бросали в трюм.

Буксир вернулся утром, когда еще дымилась река и в лугах жалобно покрикивали недавно поднявшиеся на крыло журавли. Из Богородска на буксире привезли Мишку Мамай — высокого, плечистого парня в грязной солдатской шинели, с завязанными назад руками. Пока с буксира принимали чалки, Мишка Мамай, встряхивая головой, откидывал рыжеватые кудри и угрюмо осматривал «баржу смерти» — так ее звали в Прикамье. На барже было тихо. По палубе, уныло опустив хвост, бродила черная собака-дворняжка. На огромной виселице едва заметно покачивались двое повешенных. Один из них — пожилой, с небольшой лысиной, в полосатой рубахе и портах из домотканого холста, в разбитых лаптях; петля захлестнула его так, что он склонил голову и искоса смотрел в чистое небо. Другой повешенный, молодой паренек, без рубахи, босой, висел, опустив пышный чуб.

Бросили трап. Белогвардеец-конвоир подошел к Мамаю, взял за плечо:

— Ну, пошли, сокол!

— Не хватай! — вырвался Мамай. — Сам пойду.

На барже Мамай встретили солдаты. Молча оцепив, привели в каюту, у двери которой лежали ящики с пахучими яблоками. В каюте за столом, покрытым белой скатертью, сидел поручик Бологов — начальник конвойной команды. Оправив в стеклянном кувшинчике букет луговых цветов, он разорвал конверт с сургучной печатью и коротко приказал солдатам:

— Развяжите его!

Читал Бологов медленно, нахмутив брови. В бумаге коротко излагалась история Михаила Черемхова по прозвищу Мамай. Он из деревни Еловки, что на Каме, близ Елабуги, недавно мобили-

¹ Богородск — теперь Камское Устье.

зован в армию. Полк, в котором находился он, действует на правом берегу Волги. Два дня назад разведка белых поймала матроса-большевика, по некоторым данным — видного командира или комиссара. Михаилу Черемхову было поручено доставить пленного в штаб. Но он, сочувствуя большевикам, совершил тягчайшее преступление: матроса отпустил, а сам убежал с фронта. Его поймали, когда он, украв у рыбаков лодку, переплывал Волгу.

Растирая опемевшие руки, Мамай осматривал начальника козвойной команды. Бологову было лет за тридцать, лицо у него красивое, с тонкой, холеной кожей, чисто выбритое; волосы светлые, мягкие; казалось, легонько дунь — и они слетят с головы, точно пух одуванчика. Сам поручик очень сухощавый, как хвощ, голова его слабо держится на тонкой шее, а в правом ухе — клочок ваты. «Золотушный...» — подумал Мамай. Будто только для того, чтобы поддержать свое хилое тело, поручик туго затянулся в желтые ремни портупен.

Прочитав бумагу, Бологов откинулся на спинку стула, и Мамаю почему-то подумалось, что не только портупеня его заскрипела, но и плохо слаженные кости.

— Садись.

Глаза поручика, большие и туманные, тускло светились на бледном, болезненном лице. В них было столько усталости и равнодушия, что Мамай подумал: «Неподходящая у него должность. Ему бы на пасеке сидеть...»

Осмелев, Мишка дерзко сказал:

— Курить хочу. Давно без курева.

— Кури, — разрешил Бологов, — я окно открою.

Увидев у Мамаю синий шелковый кисет, обшитый кружевами, Бологов с улыбкой спросил:

— Подаренный?

— Подарила одна...

— Любит?

— Вроде любит.

Бологов придвинул к себе кувшинчик с букетом п, нюхая цветы, бросил на Мамаю короткий взгляд:

— Большевик?

— И не собирался в большевики.

— Что так?

— Не очень-то правятся.

Бологов спрятал неясные глаза.

— А сам большевика отпустил.

— Он не большевик. Из матросов.

— За что же отпустил?

— За что? За песни.

— Только не врать, — предупредил Бологов.

— Не веришь — не спрашивай.

— Я предупреждаю.

— И так знаю! Сказал: за песни!

Мишка Мамай так тянул сигарку, что она трещала. Табачный

дым действовал на него, измученного бессонной ночью, возбуждающе: поглядывал он колюче, отвечал резко, отрывисто. Бологов сразу определил: горячий, дикий парень, еще не объезженный жизнью. С такими людьми Бологов особенно любил иметь дело на барже: ему, от природы слабому, нравилось уничтожать этих сильных людей.

Он приказал:

— Расскажи подробнее.

— Могу, — согласился Мамай и затушил сигарку о подошву сапога. — Шли мы дорогой, степью. Он начал петь. Одну песню, другую. Я крикнул ему: «Замолчи!» А он и ухом не ведет, поет. Э, как пел! Я сам петь не умею, а песни люблю. Тут я задумался что-то, да и начал подпевать. У матроса этого голос чистый, льется, как ручей...

— Дальше что же?

— А дальше... — Мамай помедлил и досказал спокойнее: — Матрос этот, значит, запел: «Смело, товарищи, в погу...» Запел так... Что там! Я и не помню, как начал подпевать. Только потом смотрю: идем мы рядом, обнялись и поем...

— Повятно. Но как ты его отпустил? Точнее.

— Он сам ушел. Оборвал песню, посмотрел на меня, назвал дураком и пошел в лесок.

— Стрелял бы!

— Вот, значит, не стрелял...

— И сам побежал?

Мамай глазами указал на пакет:

— Там ведь написано! — Он вспомнил, как шел с матросом увалистой приволжской степью, как пел песни, и, внезапно опять нахмураясь, повторил, нажимая на каждое слово: — Там все написано...

Спрятав пакет за кувшинчик с цветами, Бологов сказал:

— Мне пужно точнее знать. От тебя знать, почему задумал убежать с фронта.

— Фронт! — Мамай ядовито усмехнулся. — Много там дыму, да мало пыли. Канитель там, а не фронт!

— Погоди ты...

— Вались к черту! — Мамай вскочил. — Надоело!

Бологов спокойно обернулся к солдатам, шевельнул кустиками бровей:

— Что ж, запишите на приход.

Солдаты схватили Мамай за руки, сорвали шинель, вытащили на палубу. Но здесь Мамай, разгорячась, так тряхнул плечами, что солдаты полетели в разные стороны.

— Что надо? — закричал он, сверкая глазами. — Говори, гады, а не хватайся!

Весь скрипя, подошел поручик Бологов, указал на широкую скамью:

— Ложись!

Мамай встряхнуло. Он понял: хотят пороть розгами.

— Ваше благородие, дозволейте...
— Ага, теперь ты будешь...
— Ничего не буду, — мрачно сказал Мамай. — Дозволейте, говорю, штаны снять. Иссекут их.
— Сними.

Смущенно поглядывая на поручика, подошли солдаты. Когда Мамай спустил брюки, угрюмо захохотали:

— Ого, вот это волосат!

Мамай зло сверкнул глазами, лег на лавку. Гулко стучало сердце. Это был первый случай, когда Мамай хотел бить: он не помнил, чтобы кто-нибудь его бил, даже в детстве. Он не думал о том, больно будет или нет; ему только было обидно, что вот и его, Мамай, избьют, хотя он этого никогда не ожидал. Мамаю захотелось взглянуть на того, кто будет бить его первый раз в жизни. Он взглянул и увидел: рядом, присев на корточкп, маленький рябоватый солдат старательно выбирал таловые прутья. «Такой сморчок бить будет! — негодующе подумал Мамай. — Да еще рябой!» И Мамаю стало еще горше и обиднее, и он судорожно сжался, закрыв ладонями уши.

К рябому солдату подошел Бологов:

— Опять копаешься? Ну!

— Так точно... Выбираю пожиже.

Солдат поднялся, взгляд его был далекий и пустой, на висках — бисеринки пота.

Косясь, Бологов спросил:

— Опять?

— Так точно, — жалобно ответил солдат. — Не могу...

— Почему?

— Он вон какой... Рука не возьмет такого.

— Возьмет! — крикнул Бологов. — А ну, попробуй!

У какоты кто-то рванул голосистую гармонь. Рябой солдат — Сergyа Мята — подошел к скамье. Засвистели тугие прутья. Поручик Бологов начал считать:

— Раз, два, три...

— С подергом не бей, — сказал Мамай сквозь зубы.

— Бей с подергом! — приказал Бологов. — Восемь, девять...

Сergyа Мята бил сначала редко, вяло, но через минуту, поймав злобный взгляд поручика, начал хлестать все чаще и чаще. Лицо его пожелтело, на нем резче обозначились рябинки, он глуховато стонал и хлестал, словно в отчаянии, будто не арестованного бил, а отбивался сам от кого-то. Гармонь все гремела и гремела над рекой. Мамай догадался: играют для того, чтобы заглушить его крики. «От рябого да кричать?!» — мелькнуло у него в голове, и Мамай, преодолевая боль, не кричал, не стонал. Сгиснув зубы, он лишь изредка ворочался, но будто только для того, чтобы ненавистному рябому солдату лучше было бить. Спина Мамай быстро покрылась частой решеткой горячих, набухших кровью рубцов.

Кончилась порка. Отдуваясь, Серьга Мята отошел, выбросил за борт прутья и быстро скрылся за каютами. Мамай еще немного полежал на лавке и, только когда начал подниматься, тяжело застонал. Поднялся весь потный, бледный. Кусая губы, с удивлением и тоской осмотрелся вокруг. День распахнулся уже широко. Над рекой струилось солнце.

Бологов поторопил:

— Ну, живо, живо!

— Сборы недолгие, — устало ответил Мишка Мамай, натягивая брюки, и вдруг опять ядовито усмехнулся, как в каюте, и голос его зазвучал сильнее: — Только вы, ваше благородие, сейчас просчитались. Как я сказал: не бейте, мол, с подергом, вы тут заговорили да и сбились со счета. На один меньше дали.

Бологов рванулся с места:

— В трюм! Живо!

В каюте, встав у стола, Бологов поглядел в окно — на сверкающую Каму, на безмолвное взгорье. Порывисто дыша, он правой рукой, не замечая того, несколько секунд судорожно мял букет полевых цветов. Увидев у окна ефрейтора Ягукова, приказал:

— Мяту — под арест. На сутки. Без хлеба.

III

В трюме «баржи смерти» находилось больше двухсот смертников. Из разных мест свела их судьба и породнила крепко. Говорили на трех языках: русском, татарском, чувашском. Разные были люди: бывшие солдаты-фронтовики, члены сельских Советов и комитетов бедноты, красногвардейцы и партизаны, рабочие из Казани и Бондюга, две учительницы и несколько крестьянок.

Все они были избиты нагайками и розгами, все исхудалые, грязные, длинноволосые, бородастые. Одеты были как попало: в оборванные армяки и зипуны, в дерюги и рогожи, в какие-то лохмотья, едва прикрывающие наготу. Валялись на шершавых голых досках, под которыми лепиво хлюпала вода. В трюме всегда было холодно и сыро. Воздух был насыщен запахом гнили, плесени, тлена: в трюме лежало два трупа, но конвойная команда не разрешала выносить их. Заключение знали, что все они обречены на смерть, но не понимали, почему многих из них так долго возили по Каме.

Сидели смертники группами — «деревнями». Месяц назад из Еловки в баржу с виселицей было посажено тринадцать человек — больше, чем из какой-либо другой деревни на Каме. Это произошло не случайно. Еловка издавна слыла деревней, где постоянно бил мужицкий гнев. Было известно, что еловцы дружно помогали еще Емельяну Пугачеву, не раз бунтовали в голодные годы, в 1905 году первыми в Прикамье зажгли барское поместье. Еловцы, всегда голодные и обездоленные, ненавидели своего помещика — злого, ехидного вдовца, и, когда осенью 1917 года он

поскожиданно (раньше бывал только летом) заявился в деревню, они встретили его у ворот усадьбы и сурово сказали:

— Нет, барин, не пустим!

— Как смеете! — крикнул барин.

— Хо-хо! Как смеем! — захохотал один мужик. — Видали такого? Да мы все, что надо, посмеем сделать! А ну, гражданин барин, поворачивай оглобли!

С легкой руки словцев по всему Прикамью мужики начали захватывать барские имения, делить их земли и богатства. Одни из первых по округе еловцы создали Совет. Когда нагрянули белогвардейцы, они мужественно защищались с оружием в руках. Захватив деревню, белогвардейцы с помощью местных богачей устроили облаву на членов Совета и бойцов вооруженной дружины. Целый день каратели обшаривали деревню, носились по лесу, по полям. К вечеру дом сельского Совета был заполнен арестованными. Пришел офицер, просмотрел список.

— Все? — спросил он, хмуря брови.

— Все.

— Отобрать самых ретивых!

Отобрали. Оказалось, что в Еловке только «самых ретивых» тридцать шесть человек — третья часть всех мужиков. Под вой и стоны всей деревни их погнали на Каму и по дороге, в сосновом лесу, многих расстреляли. Говорили, что тогда случайно убежали и спаслись только Смолов и Камышлов, члены Еловского Совета. Тринадцать человек были посажены в баржу с виселицей.

К тому дню, когда привезли Мишку Мамай, в барже из его односельчан осталось двое: бывший председатель Совета Степан Долин и член Совета молодая солдатская вдова Наташа Глухарева. Сидели еловцы всегда на одном месте — в корме баржи.

Степан Долин был в годах, сложен угловато, с низко посаженной головой. В свое время Долин обладал недюжинной силой, но на войне ему пришлось хлебнуть немецких газов, и он вернулся в деревню калеккой: лицо безжизненное, точно вылеплено из светлой глины, широкую грудь рвал кашель. На первом же сельском собрании, задыхаясь, Долин объявил, что стал на фронте большевиком, и сельчане охотно избрали его председателем Совета. На работе в Совете, тревожной и бурной, он растерял последние силы и, когда пришли белогвардейцы, лежал дома на кровати, окруженный ребятишками. Его подняли и под руки увели в Совет, а потом и на баржу. Здесь окончательно подорвалось его здоровье. Закутавшись в рогожу, он большую часть времени лежал и очень часто безудержно кашлял, отплевывая кровь.

Наташа Глухарева понимала, что дни Степана Долина сочтены, и неотступно следила за ним — одевала потеплее, приносила воды, ободряла как могла. Это было ее единственным занятием на барже; все остальное время заполняла безбрежная, сжимающая сердце пустота или тягучие, ей самой непопятные раздумья. Каждую ночь она ждала смерти, и это ожидание, точно знойный сухой, выжигало душу.

Гудки буксира, возвратившегося из Богородска, в трюме услышал только Иван Бельский. Он всегда просыпался раньше всех. Подняв голову, он прислушался. Ночью Бологов расстрелял более двадцати человек, и смертники, измученные страхом, крепко спали. Рядом с Бельским хрипло дышал Степан Долин. По одну сторону от них — дружинники из Токмашки: Андреев, Самарцев, Потапов и Лошманов. Они лежали, плотно прижавшись друг к другу, и один из них тихонько бредил во сне: всхлипывая, вспоминал, какие вокруг родной Токмашки леса, а в них — малина и орехи. По другую сторону — татары. Один из них (Бельский знал: это Шангарей) стонал и без конца чесал тело. А дальше — по всему трюму — глуховатый храп и свист простуженных и ослабевших людей. В затхлую, стоячую пучину трюма спускались из щелей в палубе искусного плетения солнечные сети. Они висели неподвижно.

Иван Бельский начал было искать в темноте ведро с водой, чтобы умыться. Вдруг на палубе послышались возбужденные голоса. Потом заиграла гармонь, и тогда разом всколыхнулся, ожил трюм.

— Бьют?

— Кого бьют?

— Господи, опять!

— Это так они... — сказал Иван Бельский. — Просто играют...

— Просто! Ты послушай!

— Да, опять бьют, — звучно сказала Наташа.

— А ты молчи, — тихо и строго попросил ее Бельский. — Не тебя бьют. Ну и молчи, не бреди душу.

Гармонь замолкла. Быстро открылась крышка люка. Не успели смертники разглядеть, какое небо, — Мишка Мамай с грохотом полетел вниз по лестнице. Крышка люка тут же захлопнулась.

Из темноты послышались голоса:

— Кто такой?

— Эй, друг, откуда?

Мишка Мамай не отвечал.

— Кончен!

— Убили, гады!

Смертники бросились к лестнице. Иван Бельский протолкнулся вперед, ощущал Мамай, прижался ухом к груди. Тихо приказал:

— Воды.

Намочив подол рубахи, Бельский обтер Мамаю лицо, и тот очнулся, сам поднялся на колени. Услышав над собой теплое дыхание людей, прерывающимся голосом сказал:

— А утро... какое... хорошее...

— Сам-то откуда? — спросил Бельский.

— Еловский... Да-а, и тихо как!

— Вставай, пошли. Тут есть ваши.

— Кто? — встрепенулся Мамай.

- Степан Долин.
- Долин? А-а, знаю!
- Долин и Глухарева...
- Наташа? — крикнул Мамай. — Здесь?

Через минуту он лежал у ног Наташи и в беспредельной ярости скреб ногтями доски...

V

Мишка Мамай был известен в деревне как гордый, горячий и бесшабашный парень. Последней весной, когда на Каме шумело половодье, с ним произошло что-то совсем непонятное. Был он работающий, прилежный, а тут совсем начал отбиваться от дома. Каждую ночь напивался, буйствовал, бил у сельчан окна, раскидывал плетни, затевал драки... За это буйство, за горячий характер ему и дали прозвище — Мамай. Но утром, когда Мишка, поборов похмелю, появлялся на улице, многие, забывая обиды, с завистью посматривали на него из окон. Во всей его крепкой фигуре было столько силы, удали и веселой лихости, что на него нельзя было обижаться, как и на весну, которая в эти дни подчас излишне буйствовала на земле. Ходил Мамай обычно в косоротке табачного цвета, подпоясанной шелковым поясом с кистями, в шароварах почти цыганского покроя, пышно спадавших на голенища остроносых сапог. Высокий и складный, ходил он зверино — легкой, слегка порывистой походкой, заложив руки за спину и гордо неся свою красивую голову. Встречая знакомого, он останавливался внезапно, смотрел прямо в глаза и, сдерживая усмешку, говорил отрывисто, резко, словно забивал гвозди.

Мужики толковали о нем:

— Ухарь! Огонь парень!

— Этот не пропадет!

Зимой Мишка Мамай как-то вдруг полюбил солдатку-вдовушку Наташу Глухареву.

Получив известие о смерти мужа на фронте и его гимнастерку, пробитую пулей, Наташа больше года жила одиноко в своей избушке у пруда, жила точно в забвении.

На первых выборах представитель из уезда настоял избрать в Совет несколько женщин. В числе других избранной оказалась и Наташа Глухарева. К удивлению многих, она точно стряхнула забытие и с увлечением занялась мирскими делами. Подоит корову, истопит печь, приберется в избе — и живо в Совет. Бежит улицей в синем саке, туго обтянувшем талию, а щеки горят, и длинные ресницы подернуты изморозью; по сугробам, черпая валенками снег, пробирается к избам, стучит в зеркала проталин на стеклах:

— Бабочки, заходите, дело есть! Нас касается! Заходите, я ждать буду!

Такой живой да задористой и приметил ее Мишка Мамай. Стал заглядываться на нее, а разглядев получше, потерял покой.

Мишка хотел видеть Наташу каждый день, как привык видеть солнце, но Наташа избегала встреч, а если, бывало, и встретится, бросит несколько слов, засмеется, запрокинув черноволосую голову, и быстро скроется. Это оскорбляло Мамаю, но, смиряя свою гордость, он делал все, чтобы встречаться с ней каждый день.

Однажды Наташа промолчала, когда Мишка пошел проводить ее, а у своих ворот неожиданно просто сказала:

— Погрей мне руки.

Мамай втянул холодные руки Наташи в рукава своего овчинного полушубка. Чувствуя, что голова у него идет кругом, Мишка говорил о чем-то горячо и бессвязно, а Наташа, откидывая голову, хохотала. Потом попросила:

— Сдунь иней с ресниц.

Но в ту же секунду вырвала руки и, не успев Мишка вымолвить слово, скрылась в воротах.

Встречаться после этого стали чаще, но Мишка Мамай не мог понять, как относится к нему Наташа: казалось, ее чувства меняются, как погода осенью. Встречала она обычно Мишку приветливо и, попадая в сильные руки его, становилась непривычно ласковой, а иногда, уступая, видно, тайной тоске по мужской силе, любовно перебирала его кудри и чуть внятно шептала:

— А ну, сожми меня! Силен ли? — Но сразу вырывалась: — Медведь! Ты легопько!

Проходило несколько минут, и Наташа, будто вспомнив что-то, становилась задумчиво-строгой и гнала Мамаю:

— Уходи! И больше не являйся!

Мишка отшучивался:

— Так я и послушался, жди!

— А я говорю, чтоб ноги твоей не было!

— Наташа, да ты что? У, дикая!

— Сгинь!

А приходил новый вечер — и они опять встречались. Мишка чувствовал, что с каждым днем Наташа, внешне оставаясь неизменной, все больше и больше тянется к нему, все больше начинает нуждаться в нем, и это радовало и окрыляло его... О, как жил в эти дни Мишка! От Наташи точно веяло свежим, бодрящим ветром, а из-под ресниц ее струился такой теплый, согревающий сердце свет, что Мишка, побыв с нею часок наедине, уходил, не чуя под ногами земли.

Наступила ранняя весна. Случилось как-то так, что Наташа особенно сильно обидела Мамаю. Не выдержав, он загоревал, долго не приходил к ней и буянил по деревням. А потом Наташа сама назначила свидание.

Они встретились в воскресенье за деревней, на опушке леса. В лесу было глухо, дремотно; на опушке, широко раскинув листья, влажно дышал орляк, а под ним теплились фиолетовые цветы сонной травы.

Мишка и Наташа сидели на сухом пригорке. Разговор не ладился: говорили больше о мелочах, о том, что мало интересовало. Опираясь руками о землю и немного откинув голову назад, Наташа сказала:

— Сонная трава зацвела. Как рано! Ты знаешь: она от порчи. Надо будет парвать...

— Ты что, порченная?

— Ага... — Наташа задумчиво засмеялась, оттолкнулась от земли, нагнула голову. — Порченная, да! Муторно что-то, Мишенька, у меня в душе.

— Плюнь!

— Нет, себе в душу не плюнешь!

По опушке косо удрил лунный ливень. Ярко осветилось лицо Наташи, тускло замерцали ее черные волосы, почему-то заплетенные сегодня, после долгого перерыва, в девичьи косы. Пряча лицо от лунного света, Наташа строго спросила:

— А ты что буянишь?

— Так... — уклончиво ответил Мамай.

— Не падо, Мишенька. Ишь разбушевался! А зачем? Не надо. Я не люблю. Не будешь, а?

— Полюбишь — не буду.

Не ответив, Наташа сунула руку под белую, в горошек, кофточку, спросила тихонько:

— Хочешь, я тебе подарю что-то?

— Покажи.

Наташа вытащила из-под кофты шелковый, обшитый кружевами кисет: сегодня она делала все, как девушка.

— На! Только люби...

— Наташа! Ух ты!..

Мамаю показалось, что внутри у него что-то зазвенело. Он схватил Наташу и начал целовать в губы. Она задыхалась и отбрасывала его кудри.

— Родная моя... — шептал Мамай.

— Уйди!

— Наташенька!

— Уйди! — Наташа вырвалась из рук Мишки и поднялась. — Господи, что я наделала! Ты мне всю жизнь перевернул!

Отряхнув юбку, она быстро пошла к деревне.

— Наташа! — закричал Мамай. — Обожди! — Он догнал Наташу, обнял за плечи: — Наташенька, дорогая, я сватов завтра пришлю.

— Не присылай! Откажу!

Мамай остановился и осмотрелся непонимающе, как хмельной. А ночью он снова буянил в деревне.

В эту ночь отец Мишки — Василий Тихоныч — долго не мог уснуть. Прислушиваясь к гомону молодежи у пруда, строго говорил жене:

— Мишка-то... вон что делает! Слыхала? Что сопишь, слышишь, что сказываю?

— Слышу, слышу...

— Ты толком говори: как образумить?

— Толком и говорю: женить пора, что уж...

А утром Мишка сам неожиданно заговорил о женитьбе. Улучив момент, когда отец остался в горнице один, он сел у стола и твердо сказал:

— Ищи сватов, тять!

Отец обрадовался:

— Дело, сынок, дело! — Он тоже подсел к столу. — Мы уж с матерью толковали. Сватов мы живо найдем. Сосватать — не лошадь променять. А кого сватать?

— Наташу Глухареву.

Василий Тихоныч встал:

— Иди опохмелись лучше! Или девок мало?

— Как хошь. Могу в отдел уйти.

— Мишка! — Василий Тихоныч побледнел. — Хозяйство рушить? Не позволю!

— Ты не ругайся, тять... — спокойно и властно сказал Мишка. — Раз я задумал — сделаю.

Через три дня Мишка добился согласия отца. Василий Тихоныч боялся, что упрямый Мишка, единственный сын, действительно уйдет из дому. К Наташе отправилась известная сваха Манефа. Вернулась она скоро и, только переступив порог, ехидно пропела:

— Пожалуйте, женишок... отказ.

— Что? — вскочил Мамай.

— А то... От ворот — поворот... — издевалась Манефа. — Позор на всю деревню! Спасибо, этого со мной не бывало! Толку нет уговорить бабу, а туда же — жениться.

— Нет, ты погоди... — перебил Мамай, двигая бровями.

— Погожу. Годить — не родить. Ну?

— Что же она?

— А то, что не идет, вот и все!

Не слушая, Мамай вырвался в сени. «Так...» — сказал он, сжимая челюсти. Забежал в чулан, отыскал спрятанную в мочале бутылку с самогом. Не отрываясь, опорожнил из горлышка. Ядовитое зелье быстро ударило в голову. Мамай устало опустился было на ларь, но сразу поднялся, потряс кулаками.

— Так, значит! — И вылетел на улицу.

Где-то за околицей тихонько всхлипывала гармонь. Стадо гусей, заночевавшее на улице, с гогом поднялось с земли. Гуси путались под ногами Мамай, взлетали, хлопали крыльями, а он бежал и раскидывал их руками. Выхватив из ограды соседа березовую жердь, Мамай кинулся на окраину деревни. Подлетев к избушке, стоявшей на отшибе, он начал хлестать жердью по окнам:

— А-а, ведьма! На, па, получай!

В избушке заголосила женщина.

— Обманула?! — гремел Мамай. — На, получай!

— Грабют! Караул! — доносилось из избышки.

— Не кричи, ведьма, не кричи! — Мамай откинул жердь, подошел к разбитому окну, погрозил: — Смотри, а то возьму и столкну твою хибару в овраг, тогда будешь знать! Ты мне что наворожила? Пойдет! За что я тебе муки таскал? Обманула, ведьма старая!

Расправясь со старухой ворожеей, Мамай вернулся в деревню и направился к пруду, где жила Наташа Глухарева. У ее избы он остановился и сказал вслух:

— Так... Что же делать? — И вдруг быстро решил: — Опозорю!

Дома под навесом отыскал лагун с дегтем, вернулся к избе Наташи. Хотел вымазать ворота. Но когда вытащил помазок и начал вертеть его в руке, удерживая стекающий деготь, стало жалко Наташу. И он, шатаясь от хмеля и горя, пошел домой, чуть сдерживая рыдания...

Василий Тихоныч был обрадован отказом Наташи. Его ничуть не тревожило, что это, по словам Манефы, было позором для его двора. Он надеялся, что Мишка скоро образумится и они возьмут в дом девушку. Но Мишка не образумился. Василий Тихоныч распускал о Наташе нехорошие слухи, стараясь опозорить ее, но и это не помогло. В сердце Мишки все так же, не угасая, горела любовь. Все свободное время Мишка стал просиживать под навесом на чурбане. Он заметно похудел, а глаза его постоянно были налиты горячим зноем.

Однажды Василий Тихоныч присел рядом и ласково заговорил:

— И чего горюешь, ну? Такую ли еще свадьбу справим! Девки, слава богу, не перевелись!

— А такой не найдешь.

— Чего мелешь? Не клином на ней свет сошелся! Вон, скажем, у Архипа...

— Уйди, тять, — попросил Мишка. — Не досаждай.

— Но-но! Супротивный какой!

Когда белогвардейцы заняли деревню и объявили мобилизацию в свою армию, Мишка Мамай еще сильнее загоревал: ему предстояло идти в солдаты. Он относился равнодушно к любой власти. У него была одна забота: как бы добиться любви Наташи. Он не терял надежды и ждал, что вот-вот Наташа попросит прощения и станет его женой. Отъезд из Еловки в далекие края, да еще на войну, где могут и убить, — нет, это не входило в жизненные планы Мишки Мамай. «Уедешь, а тут ее и приберет кто-нибудь, — со страхом думал он. — На нее охотники найдутся!» И Мамай твердо решил не ходить в солдаты. О своем решении он сказал отцу.

— С ума спятил?! — испугался Василий Тихоныч. — Как не пойдешь, если забреют?

— Велика беда — забреют!

Накануне отправки в волость Мишка выпил чашку густого

табачного настоя — слышал, что раньше так освобождались от солдатчины. Но здоровое сердце Мишки недолго стучало с переборами. Надо было сделать такое, чтобы наверняка забраковали на призыве. Тогда Мишка затащил под навес соседского мальчишку и заговорил ласково:

— Петюша, слушай-ка, хочешь получить рубанок?

— Еще как!

— Вот тогда бы ты начал мастерить!

— Тогда что!

Мамай достал тонкий плотничий топор, обтер его о штанину, подал Петюшке и положил правую руку на чурбан:

— Руби палец!

Петюшка изумленно отступил:

— За рубанок?

— Ага! Только, смотри, один! Да сразу, смотри!

В глазах Петюшки засверкали слезы:

— Дядя Миша, мне жалко! Зачем рубить? Я и так рубанок возьму.

— Руби, знай! Да, смотри, молчок!

— Дядя Миша!

— Дурак! — сердито крикнул Мамай. — Руби!

Но Петюшка швырнул топор и бросился из-под навеса. Мамай долго сидел на чурбане, теребя кудри, а вечером, когда нужно было отправляться в волость, скрылся из дому.

...После полуночи Наташа проснулась. Все тело была мелкая дрожь. Она вышла в сенцы и отчетливо услышала, как под полом что-то зашуршало. Выглянула в слуховое окошечко на двор. Вокруг светлые сумерки, безмолвие. С листьев тополя стекает лунный свет. Подавать голос побоялась. С чувством необъяснимой тоски вернулась в избу и только было решила раздеться, на крыльце послышались шаги. «Не Мишка ли?» — пронеслась мысль. Настойчиво постучали. Наташа приоткрыла дверь в сенцы, спросила:

— Кто?

— Отворяй, нужнейшее дело.

Отворила. Торопясь, зажгла лампу. В избу вошли староста Комлев, за ним Василий Тихоныч и два солдата с серыми, помятыми лицами. Староста огляделся, подернул заячьей губой.

— Ну, сказывай: Мишка у тебя? А?

— Мишка? Мамай? Нет, не бывал!

Перехватив взгляды солдат, Наташа засуетилась, стала надевать кофту.

— Нет-нет, не видала.

— Ты скажи, если что... — скорбно промолвил Василий Тихоныч. — Надо в волость отправляться, а он пропал. Мысленное ли дело! Видно, загулял где, что ли...

Не поверив Наташе, староста и солдаты заглянули на полати, под кровать, в подполье, а затем пошли осматривать с фонарем

амбарушку, хлев, сеновал. Наташа ходила за ними, босая, с растрепанными волосами, и не знала, куда спрятать дрожащие руки.

Осмотрели весь двор. Покачав кудлатой головой, староста поднял фонарь, чтобы затушить.

— Хм, сбежал, рыжий дьявол!

— Обожди, не туши, — попросил Василий Тихонич.

— Что еще?

— Да ведь под крыльцо не заглянули!

Слабей, Наташа прижалась горячим плечом к стене. Один солдат залез под крыльцо и вскоре сообщил оттуда:

— Тут пусто...

— Тьфу, сгубил, стервец!

Проводив всех, едва сдерживая дрожь, Наташа вернулась в избу и, не раздеваясь, залезла под одеяло. Сон разметало, в голове путались, мешая друг дружке, какие-то черные непонятные мысли. Пахло теплой геранью. Застряв в ветвях тополей у пруда, месяц заглядывал в окно и ласково ощупывал бедное убранство избы.

С полатей вдруг послышался голос:

— Наташа, не бойся, это я!

— Господи, Мишенька!

— Я, не бойся...

Мамай прыгнул с полатей. Наташа схватила его за руки, несколько секунд смотрела в лицо и уже в каком-то необычном иступлении прижалась к нему грудью.

— Золото мое!.. — сказала со стоном. — Ищут ведь тебя, дорогой мой. Сам отец, видать, привел сюда...

— Знаю.

— Мишенька, как же ты...

— К тебе-то? — беззаботно шептал Мишка, глядя тяжелой рукой Наташину голову. — Просто! Заметил я их да под крыльцо! А когда ушли к сараю, думаю: надо в избу. Туда, думаю, не пойдут больше, а под крыльцо заглянуть могут.

— Мишенька, как же ты...

— Вот проститься зашел. А потом — в лес, на Каму. А на войну не пойду.

Присели на кровать.

— Одно хотел узнать, — сказал Мамай тихо и грустно. — Долго ли будешь ты... так, а? Эх, Наташа! Знаешь ведь, люблю тебя...

Крепко прижал покорную Наташу.

— Веришь?

— Верю, — сказала чуть слышно.

— Ну а что же еще?

— Мишенька, дорогой, — заговорила, волпуясь, Наташа, — не сердись только. Я знаю, ты добрый, не будешь сердиться. И я тебя люблю, верь мне. Сегодня я вичему гимнастерку отдала — мужнину, простреленную... Теперь я скорее забуду его. Ми-

шенька, не сердись, я еще вспоминала его. Ведь это же не сразу... Ведь грешно, когда еще не забудешь...

Внезапно распахнулась дверь: Наташа забыла закрыть ее на задвижку. В избу опять ввалились староста с солдатами. Наташа отшатнулась, сказала, задыхаясь:

— Мишенька!

— Ага, попался! — крикнул староста.

Стиснув кулаки, Мишка встал, чувствуя, как в нем закипает та бесшабашная ярость, которую знала вся деревня, но вовремя сдержался, сказал ехидно-спокойно:

— Кто попался?

— Ты! Ты сбежал!

— Я сбежал? От тебя первый раз слышу.

Староста озадаченно замаялся:

— Хм... Не сбежал, говоришь? А?

— Нашел бы ты меня, если бы я сбежал!

— А что на призыв не идешь? А?

— Видишь, прощаюсь...

— Ну гусь!

На крыльце, когда Мамай уже за воротами махнул на прощание рукой, Наташа вдруг вцепилась в приотставшего солдата, гневно закричала:

— За что? За что, поганые твари?

Ругаясь, солдат схватил Наташу за волосы и бросил с крыльца. Ее тут же арестовали и отправили на «баржу смерти».

VI

Иван Бельский — рабочий из Бондюга, большевик. В барже он сидел давно и был приметным человеком. Смартники любили его за ровный и, казалось, беспечный нрав. «Баржа смерти» не могла отучить Ивана Бельского даже от простых житейских привычек. Каждое утро он умывался, что делали в трюме немногие, причесывал деревянным гребешком волосы, а полый пиджака вытирал сапоги. Все это он делал степенно, аккуратно, будто собирался в гости. И, бывало, вздыхал:

— Эх, бритвешку бы...

Низкий голос его расстилался по трюму, как дым по траве. Некоторые смартники угрюмо спрашивали его из темноты:

— А зеркала не надо?

— Может, и духи требуются, а?

У Ивана Бельского не было определенного места в трюме. Он переходил от одной группы смартников к другой, и везде его принимали охотно. Говорил он всегда спокойно и серьезно, рассказывал обычно побасенки об умном и хитром солдате, родом откуда-то с Камы. Бельский рассказывал о его приключениях так живо и ярко, что многие смартники пачали думать о солдате, как о живом, восторгались его житейской сметкой, способностью выходить победителем из самых невероятных историй.

Перед глазами смертников в полутьме трюма часто мелькал этот солдат, и они нетерпеливо спрашивали:

— Ну а дальше-то что?

И Бельский начинал новую побасенку о солдате.

Никто не знал, что Иван Бельский, подбадривая других, стараясь всеми мерами поддержать у смертников надежду на спасение, чувствовал себя плохо. Когда засыпали смертники, он садился где-нибудь в сторонке, сжимал колени, клал на них черную бороду и думал, думал торопливо, жадно, думал о том, как выручить друзей-товарищей из неволи, как спасти им жизнь. Он придумывал самые различные планы освобождения из баржи и все обычно отвергал. Но он не знал разочарования и усталости в своих тайных исканиях: ему почему-то казалось, что можно все же найти какой-нибудь выход. Засыпал Бельский крепко, но ненадолго. Уснет, точно свистнет, и опять встает, кладет на колени бороду, обдумывает свои планы.

...Мишка Мамай, большой и сильный, подбитый горем, долго стонал, яростно скреб ногтями доски, тихонько спрашивал:

— За что они тебя? Что они сделали с тобой?

Наташа сидела молча...

В трюме часто происходили встречи знакомых, и обычно они вносили оживление в жизнь смертников: так врывается в тишину ветер — и от головешек, почти задохнувшихся в тишине, опять летят искры. А эта встреча на всех подействовала удручающе. Все смертники поняли: Мишка Мамай и Наташа любят друг друга. Может быть, совсем недавно зацвела их любовь, ей бы цвести да цвести на воле, радуя всех, кому дорога красота жизни, а тут вот... Нет, гибло у всех на глазах что-то большое и хорошее-хоршее...

На этот раз не выдержал и Бельский. Изменив своим правилам, он забился под лестницу и весь день молчал, ничего не слыша, думая стремительно, горячо о жизни, о воле... «Таких людей! Таких людей!.. — твердил он. — Как семена — на подбор! Нет, такие жить должны! Надо думать, думать!»

Баржа стояла. Многие солдаты уезжали на берег, на палубе было спокойно, а день был тихий, беззвучный, он не подавал о себе никаких вестей, точно обходил баржу далеко стороной. Только под вечер послышались дыхание воды, скрип уключин, голоса солдат, гудок парохода. С поймы пахнуло ароматом подопревшего сена.

Вскоре стали выводить на палубу — на расстрел. Погруженный в свои думы, Иван Бельский даже не слышал, как открыли люк на корме. Он встрепнулся только тогда, когда кто-то из смертников уже поднимался по лестнице, а по всему трюму летали обрывки каких-то плохо доходящих до слуха слов. Как всегда в такие минуты, Бельский быстро направился к кормовому люку: он знал, что там всегда нужен. Но только он подошел к лестнице, солдат нагнулся над люком, крикнул:

— Бельского! Да поскорее там!..

В трюме почему-то вдруг затихло. Иван Бельский прислонился виском к лестнице.

— Живо!

Бельский не откликался, и все смертники, удивленные его поведением, тягостно замолчали. Солдат обозлился, направил дуло винтовки в люк.

— Бельский! А, твою душу!..

Тогда Иван Бельский шагнул на лестницу, но на третьей ступеньке остановился, спокойно сказал:

— Бельского? Хм... Поглядите на этих чудаков! Да его же позавчера расстреляли!

— Позавчера?!

— Хм... Забыли!

Солдат помолчал, потом обернулся назад, подозвал кого-то:

— Слушай, его нет. Позавчера еще...

— Как нет? Он же в списках!

— В списках! — посмеялся Бельский. — Канцелярия, видите, у вас!

— Вас вон сколько! Небось запутаешься!

Озадаченные солдаты посовещались и, не долго думая, вычеркнули Ивана Бельского из списка живых.

Этот разговор смертники слушали затаив дыхание: все были поражены спокойствием Ивана Бельского. Когда он спустился с лестницы, его обступили, потащили подальше от люка.

— Иван, что же теперь?

— Подождем, — шептал Бельский, — поглядим, братцы...

А через несколько минут произошло неожиданное. Один молодой паренек из Елабуги, когда его вызвали на расстрел, по глупости сказал то же, что и Бельский. Расстрел неожиданно прекратили.

До глубокой ночи не спали в трюме. Никто не знал, что произойдет, и все попрекали молодого паренька из Елабуги:

— Что ты наделал? Что?

— Эх ты, желторотый!

Все понимали: то, что сделал Бельский, было хитростью, а то, что сделал елабужский паренек, — трусостью.

На рассвете, когда смертники еще спали, Иван Бельский обнаружил, что молодой паренек из Елабуги повесился на лестнице. Бельский разбудил Мишку Мамаю, сказал на ухо:

— Этот паренек-то... Пойдем, надо убрать.

Труп сняли, отнесли в нос баржи. Вернулись на свои места. Зябко вздрагивая, Мамай опустился на пол с таким чувством, будто сейчас отнес не чужое тело, а свое.

— Что он, а? Зачем?

— Жалко! Молодой парень.

— Сказать надо... Вынести.

— Не выносят.

Утром узнали: поручик Бологов решил устроить переключку в трюме. Проверяли всех по списку, перегоняя из одной части

трома в другую. Ивана Бельского обнаружили как лишнего. В ту минуту, когда он остался один в стороне, у всех смертников сжалась от боли сердца. Все поняли: он погиб. К Бельскому подошел поручик Бологов, прищурился:

— А ты кто?

— Чугунов я... — ответил Бельский. — Иваном звать. Иваном Евсеевичем.

— Почему в списках нет?

— Не могу знать, ваше благородие, не я их составляю.

— За что посажен?

— За глупость свою.

— Верю, — съехидничал Бологов. — Умный сюда не попадет. — Повернулся к солдатам: — Запиши, Ягуков. Черт знает какой у тебя беспорядок в списках!

И опять смертники подивились выдержке и находчивости Ивана Бельского. Растерялся он — и конец! После этого случая смертники окончательно убедились, что Иван Бельский гораздо крепче, чем другие, умеет держаться за жизнь, и за это горячо полюбили его...

Вскоре после переключки Степан Долин поздравил Бельского, откашлялся и попросил:

— Сядь, посиди рядом. — Костлявыми руками нащупал Бельского, сказал тихо: — Дай руку. Вот так... Я подержу.

— Тебе что-нибудь надо? — спросил Бельский.

— Нет... Я все лежу, не видел тебя. Ты большой, а? Ростом?

— Так себе, средний.

— Лет много?

— Под сорок катит.

— Ну, я постарше... Кха! Масти-то какой?

— Черный. Как вороп.

Помолчали. Иван Бельский укрыл Долина рогожей.

— Вот и познакомились.

Откинув голову, Долин сказал вдруг далеким и надорванным болью голосом:

— Жить тебе надо, Иван, жить! — И резко закашлял.

— Всем бы надо жить, — возразил Бельский.

— А тебе — особо...

— Почему же?

— Так. Ты в упор смотришь на жизнь. Тебе жить надо...

Степан Долин поднялся на локоть:

— Вот меня... кха!.. обломала жизнь. Знаешь, как в лесу бывает... Вылезет из земли сосенка, ей, понятно, свету надо, солнца. Она торопится расти. А солнце от нее... кха! кха!.. закрывают другие деревья, дают ее. Она и так и сяк изгибается, все хочет на солнце посмотреть. И вот, глядишь, выбилась на свет божий. Обрадовалась, позеленела. А посмотри на нее — она вся кривая, не годится в поделку. Ее только так, на дрова. Вот так и со мной случилось. Теперь, если чудом спасусь, куда я годеи?

Он опять закашлялся, стал отплевывать кровь. Иван Бель-

ский положил его голову на свои колени, стал гладить и перебирать волосы, а потом вдруг нагнулся, порывисто прижался виском к виску Долина, сказал тепло и тихо:

— Степап, друг, крепись! Мы еще поживем. И ты еще годишься в поделку, не горюй!

Так они, не видя в темноте друг друга в лицо, стали друзьями.

VII

В полдень баржа с виселицей остановилась у деревни Шураны. Смертники давно требовали соломы. Поручик Бологов неизменно отказывал, а сегодня, задумчиво бродя по палубе и осматривая просторные прикамские поля, вдруг подозвал своего любимца — ефрейтора Захара Ягукова — и сказал:

— Захар, а я думаю дать им соломы, а?

— Ладно им и так!

— Ничего ты не понимаешь, Захар!

Ягуков замигал, соображая.

— Чудак! Это получится очень забавно.

Захар Ягуков сходил в деревню с бумажкой от поручика. Вскоре мужики подвезли к берегу три воза ржаных снопов, начали перевозить их в лодках к барже и сбрасывать в трюм.

Никогда не было так легко и весело в трюме, как в эти минуты. Обрадованные смертники расхватывали снопы, разносили по трюму, устраивали постели, и трюм был полон их возбужденных голосов:

— Вот теперь заживем!

— Теперь хоть кости вздохнут!

— А поручик ничего, сговорчивый...

— Не сглазь!

— Ребята, делить по-честному!

— Ну и логово будет!

А устроились — замолкли...

Снопы были свежие, недавно обмолоченные. Рожь собрана с засоренного поля — в снопах было много васильков, ромашки, осота. Свежая солома хранила тонкие, зовущие запахи степного раздолья. Большинство смертников было из крестьян: солома пробудила у них множество воспоминаний о воле. Каждый увидел просторный, с гребнями лесков, разлив прикамских полей. Как хорошо сейчас в полях! Земля уже слышит осторожную поступь осени и начинает подчиняться ее законам. Покрытые позолотой поля уже окутывает чуть грустное осеннее безмолвие. По жнивью бродят стаи гусей. Черные тучки скворцов, собравшихся в отлет, без конца кружат в светлой вышине. Уже дозревает одинокий в полях заячий орех, начинает рдеть шиповник.

Увидев родное, смертники замерли от тоски, а солома — свежая да пахучая — все шептала и шептала о воле...

Особенно сильно страдал в эти минуты татарин Шангарей. Он попал на баржу за то, что не хотел вернуть бывшую барскую

лошадь, полученную им от сельского Совета после разгрома поместья. В первые дни заключения Шангарей сильно горевал, был сосредоточен и хмур, потом смирился и, привыкнув часто уступать судьбе, ждал конца безмолвно и покорно. В барже Шангарей простудился, его тело покрылось язвами, коростой. Ночами он стонал, чесал тело, а днем неутомимо молился. Разговаривал редко. Увидев снопы, он сразу лишился покоя: пачал развязывать и вновь связывать их, улыбаясь и роняя слезы, нюхал соломому, мял ее в руках... А когда случайно нашел несколько зерен, упал на снопы и застонал, как стонал только ночами во сне.

Он долго лежал на снопах и многое увидел. Он увидел в долине, оцепленной молодым дубняком, родную деревню: соломенные крыши изб, острый шпиль мечети с золотым рогом полумесяца. Увидел свой двор у пруда: низенькую избу с двух окнами, чахлую березку у ворот, ветхий сарай, из-за неуютности покинутый даже воробьями, рыжую собачонку у крыльца. Увидел и жену Фатыму — маленькую усталую женщину; она шла с поля с граблями на плече и тащила за собой самодельную коляску с дочкой; от двора навстречу ей бежала орава крикливых, голодных ребят...

С трудом вырвался Шангарей из этого тягостного мира видений, а когда вырвался, вновь, как и в первые дни на барже, со страхом начал думать о смерти. Сильно, крепко любил он жизнь, со всем, что окружало его с детства, он сжился надежно, и ему было жутко от мысли, что его вырвут из жизни, точно сорную траву с поля. Не сдерживая слез, раскачиваясь, Шангарей зашел о том, как хорошо сейчах в полях, на воле и как не хочется умирать...

В глухой тишине трюма эта песня зазвучала с какой-то особенной, тихой, но надрывающей душу силой. В воображении смертников еще более ожили родные прикамские поля. В песне Шангарея все отчетливо слышали затихающее, но приятное биение их предосенней жизни: отдаленный стукоток таратайки на проселке, озабоченный шумок прилетающих на кормежку птиц, посвист ветра, чуть внятный шелест гонимого невесть куда перекати-поля...

Иван Бельский подполз к Шангарею:

— Ты, друг, помолчи-ка...

Но Шангарей продолжал тянуть свою песню, будто сматывал бесконечную нить.

— Вот прорвало его! — сказал Бельский.

— Пусть поет, — сказал Мишка Мамай.

— Очень уж длинно и тошно...

А Мамаю правилась песня, и он жалел, что не может подтянуть татарину. Он сидел на снопах, прижав к себе голову Наташи, гладил ее волосы и тоже думал о воле. Думы неслись порывисто и бесположно. Изредка он что-нибудь говорил Наташе:

— На уток бы сейчас... На сидку.

— Да, хорошо, — покорно соглашалась Наташа.

— Сидишь, а тут тебе — шасть!..

А через минуту — о другом:

— А помнишь, как сидели у леса?

— Все помню.

— Кисет, вот он!..

Баржа спялась с якоря и двинулась дальше вверх по Каме. Тяжело плескалась вода, в трюм врывалась прохлада, уже вечерело. Из темноты все еще струилась песня Шангарея, и в ней все отчетливее слышались вздохи прикамских полей, их сиротские жалобы. Временами казалось, что песню поет уже не Шангарей, а кто-то другой, и не в трюме, а где-то далеко-далеко...

Песни всегда возбуждали Мамай. Неожиданно схватив Наташу за плечи, он сказал глухо, с волнением:

— Что делают, а?

Наташа испугалась:

— Мишенька, молчи!

Но Мамай уже оторвался от нее, крикнул на весь трюм:

— Эх, мужики? Что делают, а?

Его сразу поддержали:

— Сейчас на ногах, через час — в могиле.

— Не дадут и могилы!

— Как собак!..

— Лучше бы сразу, чем сохнуть!..

— Ух, тошно! — пожаловался Мамай.

Бельский крикнул:

— Ты долго будешь точить?

— А ты спи, спи!

— Да что ты плачешься?

Но как ни сдерживал Бельский смертников, они заговорили по всему трюму. Стала быстро нарастать тревога. Смертники зашевелились, зашуршали соломой, начали ползать, бродить по трюму, собираться группами... Всюду навойливо, как мошкара, летали слова о смерти.

По палубе, стуча прикладом винтовки, прошел солдат. Гул голосов в трюме мгновенно замер. Часовой остановился на корме, кашлянул, щелкнул затвором. Этот звук камнем упал в трюм. Опять он всколыхнулся, заволновался. Покрывая голоса, Мамай крикнул:

— Слыхали? Сейчас начнут!

— А тебе что — доложили? — сердито оборвал его Бельский.

— А вот увидишь!

Кто-то истерично крикнул — и началась паника, какой не случалось в барже никогда. Смертники заметались по трюму, пугаясь в соломе и падая, послышались стоны и рыдания...

Баржа шла без остановок. Ночь была тихая, с небосвода осыпались крупные звезды, низко над рекой кружились летучие мыши, а в полесье вольготно промышляло зверье.

На расстрел не выводили.

Буксир тяжело вздыхал, натягивая мокрый канат, и выбрасывал в меркнувшее небо хлопья черного дыма. Позади баржи носилась чайка. Она то замирала в воздухе, раскинув тугие крылья, то стремительно бросалась вниз, чуть касаясь лапками воды, и опять, жалобно крича, набирала высоту. Чайка летела за баржей долго, сокрушенно покрикивая, словно хотела убедить поручика Бологова в чем-то важном, сокровенном. Бологов сидел на груде березовых дров, трепал за уши черную собаку и, чувствуя, как в нем возрастают поднявшиеся с утра смутные предчувствия близкой беды, сердито шептал:

— Вот тварь! Что ей надо?

Хрипло крикнул буксир — чайка отпрыгнула, заметалась в створе от баржи. Бологов поднялся и увидел: буксир заходил в излучину, а наперерез ему, к правому гористому берегу, торопливо двигалась рыбацья лодка. Но рыбак-старик все же не успел пересечь стрежень. Буксир опять сердито крикнул, и ему пришлось остановиться: лодку понесло вниз по стремнине мимо буксира. Бологов быстро подбежал к правому борту, вскинул руку:

— Эй, старина! Греби сюда!

Защищаясь ладонью от косо скользящих по реке лучей вечернего солнца, старик молча посмотрел на баржу с виселицей. Лодка покачивалась на встревоженной реке, в волнах билась ее большая тепь.

— Эй ты, не слышишь?

— А-а? — тревожно отозвался старик.

— Давай сюда! Греби сюда, старый хрыч! — Бологов погрозил кулаком. — Оглох? Греби сюда, а то...

Лодка подошла к барже. Рыбак привязал чалку за лесенку, спущенную с баржи, разогнулся, опасно посмотрел вверх — на Бологова, на виселицу, на черную собаку. Лодка шла, и левое весло, поставленное ребром, с шумом разрывало тугое полотно воды. Рыбак был рослый и сухой в кости, в коротком брезентовом пиджаке, облепленном рыбой чешуей. Из-под выцветшего картуза с расколотым козырьком выбивались седоватые, ковыльные волосы. Но видно было, что старик еще крепок, как хороший дуб, у которого только вершину тронуло время. Это был Василий Тихонич Черемхов. У ног его, на дне лодки, лежал связанный бечевою, израненный щалами¹ осетр; он вздрагивал, выгибал спину, покрытую тускло поблескивающим панцирем, раздвигал жирные щеки, оголяя густую бахрому жабр.

Согнувшись над бортом, Бологов спросил:

— Осетра поймал?

— Вон, осетришко... — нехотя ответил старик и, чуя недоброе, сердито пошевелил усами. — Нынче хороших осетров еще не видел. А что?

¹ Щ а л ы — рыбацкие снасти.

— Давай его сюда!

— Осетра? Это как — давай? — Василий Тихоныч бросил на поручика недобрый взгляд. — Нет, служивый, чтобы рыбку есть, надо в воду лезть. Слыхал?

Бологов улыбнулся:

— Вои что! Значит, поговорить хочешь?

— И поговорю! — резко ответил старик, решаясь, видимо, на все. — Ты не пугай меня! У меня, видишь, волос седой. Нет, не пугай! Не запугаешь щуку морем! Слыхал?

— Так... — холодно заключил Бологов. — Значит, поговорить хочешь? Да? А ну, водяная крыса, лезь сюда! Лезь! Живо! Ну?

Голова Бологова вздрагивала на тонкой шее. Сухопыкий, затянутый в ремни, он стоял у борта, широко расставив ноги, и нервно хватался за кобуру нагана.

— Бери, что уж... — угрюмо проговорил Василий Тихоныч.

Подернув усами, он подпнулся по лесенке, бросил на палубу, под ноги поручику, конец бечевы, которой был связан осетр. Бологов рывком поднял осетра на воздух. Осетр забился, растопырив розовые плавники. Василий Тихоныч сел в лодку, резко оттолкнулся от баржи и, подняв весла, начал бить ими так, что лодка скачками пошла в тень гористого берега.

— Вот грабитель! Вот супостат! — ворчал старик. — Хоть бы бечеву, сукин сын, отдал! Нет, и бечеву забрал!

Старика душила обида.

Солдаты конвойной команды, увидев поручика с осетром, высыпали из кают, сгрудились около камбуза.

— Ловко!

— А хорош, шельмец! На пуд!

— Больше будет! У меня глаз наметан!

— Эх, и заварим ушицы, братцы!

Ефрейтор Захар Ягуков, толстяк с головой филипа и мутно-желтыми глазами, выхватил из-за голенища правого сапога нож, опустился на колени, хлопнул ладонью затихшего осетра:

— Руби дрова! Готовь ложки!

Ловко распоров широкое белое брюхо осетра, Ягуков начал осторожно выбирать в чашку серо-сизую икру. Облизывая измазанные клейкой икрой руки, он встряхивал головой, покрикивал:

— Подвинь чашку! Дай соли!

Любуясь работой ефрейтора, Бологов приказал:

— На ужин уху! На всех!

Взгляд Бологова в эту минуту случайно остановился на тонкой бечевке, которой был связан осетр. Она валялась на палубе.

— Да, кстати, надо сбросить эти... — Бологов указал на вислицу. — Смердят уже. Пока уха варится, надо замепить. Ветки есть?

— Все вышли, господин поручик!

— Подайте, в таком случае, эту...

— Кто будет вешать? — живо спросил Ягуков.

— Сам повешу.

Через минуту два солдата — Терентий Погорельцев и Серьга Мята — подошли к виселице. Солнце уже спряталось за взгорьями, но над землей еще текли волны света, и повешенные — пожилой в лаптях и молодой с чубом — были ярко освещены. Серьга Мята поморщился:

— Верно, воняют.

— А крепкие как камень были мужики, — вспомнил Терентий Погорельцев. — Крепкая порода! Ну, давай сбросим.

Петли обрезали, за обрывки веревок подтащили трупы к борту, сбросили в реку. Терентий Погорельцев обтер руки о штаны и пошел прочь, а Серьга Мята остановился у борта, долго задумчиво смотрел в желтоватую, мутящуюся пучину реки и грустно думал: «Вот... поплыли... Господи! Кто их похоронит?» Губы Серьги были плотно сжаты.

IX

Заглянув в список смертников, поручик Бологов вышел из каюты, вертя на пальце ключ. Следом за ним потянулись солдаты — Ягуков, Погорельцев, Серьга Мята. Открыли люк. Из трюма баржи, залитого мраком, дохнуло сыростью и резкими запахами тлена. Бологов отвернулся, передохнул, потом решительно опустил по пояс в люк. В затхлой барже, как в подземелье, забился его голос:

— Михаил Черемхов!

В трюме стояла тяжелая тишина.

— Опять старая песня? — крикнул Бологов. — А ну, выходи, не задерживайся! Живо! У каждого свои дела...

— Заработался, гад! — донеслось из глубины трюма. — Обожди, дай сапоги и рубаху снять. На, Шангарей, носи!

Баржа ожила. Замелькали силуэты людей, зашумела солома, и вдруг весь трюм всколыхнул горячий крик:

— Мишенька! Миша!

Поднялась разноголосица. Нельзя было понять, кто и что кричал. Мишка Мамай совершенно не соображал, что он делал. Кажется, целовал Наташу; рыдая, она металась на соломе. Кажется, еще кого-то целовал, что-то говорил друзьям... Его опять позвали. В состоянии полной отрешенности, без всяких чувств, он пошел к лестнице, отстраняя в темноте десятки рук. Когда Мамай был уже у лестницы, его опять горячо ожег крик Наташи. Стиснув зубы, он взглянул на клочок вечернего неба и почти выбежал из трюма.

У люка остановился, передохнул, откинул со лба кудри. Вечер мягко крался по земле, ничем не нарушая окрепшей тишины. От высокого правого берега падала па реку тень. Там, в тени, уже светились бакены. На отмелях взлетали брызги, слышался плеск — хищные судаки гонялись за стаями сорожек. На заплесках левого берега догорали осколки вечерней зари. Засыпали тальники. Далеко, близ одинокого осокоря, подширавшего широ-

кими плечами темно-синий шатер неба, уже мерцала вечерняя звезда.

Вглянув на Каму, Мишка Мамай внезапно почувствовал себя бодрее и тверже на ногах. Он торопливо, на лету, схватывал мелькавшие картины погожего вечера и звуки его — плеск рыб на отмелях, свист пролетающих уток, дремотный шепот тальников, далекий лай собак... Он быстро и отчетливо воспринимал все великие и малые проявления жизни. «Ну вечерок!» — взволнованно подумал Мамай, вдруг пошатнулся и пошел, окруженный солдатами, к виселице, пошел, неровно переставляя босые ноги.

Поручик Бологов стоял у виселицы. Он был подчеркнуто спокоен, усталые равнодушные глаза его светились тускло. Поручик держал в руках шляпу подсолнуха и неторопливо, без особого удовольствия щелкал семечки. То, что он не спеша вытаскивал из гнезд семечки и раскалывал их на зубах бесстрастно, вдруг приняло для Мишки Мамай сокровенный, тревожный смысл, и он взглянул на поручика, широко раздувая ноздри. Бологов бросил за борт шляпу подсолнуха, бросил так нарочито небрежно, словно старался дать понять, что вот так выбросит и жизнь Мишки — легко и бездумно. Указав на ящик, предложил:

— Садись, посиди...

Мамай молчал. Стоял он прямо, опустив окаменевшие руки, без рубахи, босой. Лицо у него осунулось и потеряло живой цвет, тонкие губы были плотно сжаты, а глаза темны и глухи, как ночь.

— Быстро изменился, — заметил Бологов и будто с сожалением вздохнул. — Смерти-то боишься?

— Дурак ты! — сказал Мамай спокойно. — Привязался как репей.

— А как ты...

Мамай вдруг сжал кулаки:

— Вешай, сволочь!

— Спокойно! Здесь не митинг! Сейчас повешу.

Бологов поднялся на табурет, начал привязывать тонкую бечевку за перекладину виселицы. Никто из конвойной команды не умел так вешать, как он. Все солдаты делали это с какой-то воровской торопливостью, а он спокойно, не спеша, и, пока делал петлю, некоторые падали у виселицы замертво или теряли рассудок... Он и сейчас, не изменяя своим правилам, готовил петлю неторопливо, примерял, завязывал узлы, распутывал, снова завязывал...

Мамай не вытерпел:

— Завяжи калмыцкий узел!

— Калмыцкий? Пожалуй, верно.

Но когда Бологов начал завязывать калмыцкий узел, вскрикнул Мишка Мамай дрогнули. Казалось, только теперь до его сознания дошла и обожгла, как молния, мысль, что скоро — конец... Он беспокойно огляделся вокруг. Буксир тяжело пыхтел, выбрасывая

хлопья дыма. От его кормы вился пышный павлиний хвост взбу-
дораженной воды. Кама тускло мерцала. Вечер, как и прежде,
мягко крался по земле. Все земное жило, как и прежде. Но те-
перь Мишке показалось, что мир, близкий и понятный, стал
необычайно маленьким: баржа, солдаты с винтовками, виселица,
поручик, делающий петлю, — вот и все. Мишка чувствовал, как
все задыхается и холодеет в нем...

— Ну-с, а теперь смажем, — сказал Бологов и вытащил из
кармана галифе кусок мыла.

На буксире зазвенели склянки.

Порывисто дыша, Мамай напряженно следил за движениями
рук поручика, натиравшего петлю мылом, и вдруг, как всегда
в минуты бед и опасностей, он почувствовал, что в нем бурно
поднимаются те дикие силы, которые бросали его в дерзкие, ли-
хие дела. Он не знал, что можно и нужно сейчас делать, но это
только с каждым мгновением сильнее разжигало его силы. Он
знал одно: он хотел жить долго-долго, полный век! Все его су-
щество негодовало и бешено сопротивлялось пасилию.

— Хороша петля! — сказал Бологов.

Зажав в руке мыло, он начал на себе примерять петлю. Это
был тот момент, когда обреченные, вскрикнув, падали. Надев
петлю на шею, он даже подмигнул Мамаю.

— Да, очень хороша!

Но только он поднял голову, Мамай остервенело ударил но-
гой по табурету. Бологов взмахнул руками и, сыто икнув, повис
в петле...

Мамай метнулся к борту и в ту же секунду ухнул вниз, вре-
заясь руками и головой в темные недра реки. Сколько хватило
сил в легких, он шел под водой, а когда вынырнул — быстро пе-
редохнул, оглянулся на баржу, увидел солдат, суматошно бегав-
ших около виселицы, и порывистыми бросками поплыл к темному
берегу, где низко над рекой склонились ветлы.

Повиснув в петле, Бологов крепко зажал в правой руке кусок
мыла и подтягивал поги. Глаза выскочили из орбит и наливались
кровью.

— Нож! Дай нож! — закричал Ягуков.

— Да нету, нету ножа! — ответил Мята.

— В каюту! Живо!

Лицо Бологова быстро покрывалось сине-багровыми пятнами.
Он разжал руку, выронил мыло. Только тут Ягуков и Погорель-
цев догадались схватить поручика за ноги, приподнять его и тем
ослабить петлю. С тревожными криками налетели солдаты и мат-
росы. Петлю обрезали, Бологова положили на палубу. Он с ми-
нуту лежал неподвижно, закрыв рот, потом порывисто закашлял,
брызгая пенистой слюной и содрогаясь всем телом.

Солдаты облегченно вздохнули.

— Братцы! — вдруг спохватился Ягуков. — А этого-то, этого!..

Мишка Мамай плыл наперерез течению. Мимо неслись ветки,
обрубки дерева, клочки пены. «Только успеть, только успеть!»

Напрягая все силы, Мишка далеко закидывал руки, рассекая грудью воду, фыркая, встряхивая головой, — все его тело с беснеством рвалось в тень берега.

Вокруг стонуя забубелькало. «Стреляют!» — догадался Мамай и опять, рискуя окончательно выбиться из сил, ушел под воду. Стиснув зубы, он остервенело греб руками, отталкивался ногами, но сам хорошо понимал, что очень медленно пробивается вперед. Не хватало воздуха: голова, казалось, пухла и наливалась зноем.

Ударясь обо что-то плечом, Мамай вдруг совсем лишился сил и с ужасом, боясь задохнуться, вырвался из воды. Он оказался рядом с толстой ветлой, обвалившейся в реку, стал хвататься за ее сучья, подтянулся к стволу, покрытому лохмотьями сгнившей коры. Еще раз оглянулся на реку. Баржа, обогнув голый мысок с кудрявой сосенкой на вершине, уходила в излучину. Солдаты не стреляли. Мамай навалился грудью на скользкий ствол и, вздрагивая, устало закрыл глаза...

Х

Рыбачья землянка Василия Тихоныча находилась на правом берегу Камы. Она была вырыта в обрыве. Над обрывом вздымались старые курчавые сосны.

Придя с рыбалки, Василий Тихоныч долго сидел в лодке, о чем-то думая, и, только когда начало темнеть, кое-как собрался развесить для просушки щалы. Развешивая, сердито бормотал, ругая поручика Бологова:

— Экое поганое племя! Вроде клопов. Пользы никакой, а кровь пьют. Эх ты, жизнь наша распоганая!

Жизнь Василия Тихоныча папоминала мелководную, безыменную речушку, каких множество на нашей земле. Возьмет такая речушка начало из горных расщелин и первое время беззаботно, звонко катится по камням. А потом на пути появляются преграды. Приходится блуждать по зарослям лесов, пробиваться сквозь тину болот, нагромождения камней. Такую речку запруживают на каждой версте, всюду заваливают навозом и отбросами. И много, много требуется сил, чтобы укрепить ей и завосвать уважение у тех мест, по которым приходится прокладывать путь.

Свое детство Василий Тихоныч, по его мпению, прожил хорошо. Но умер отец, и ему пришлось хлебнуть горя. С юных лет начал сам добывать кусок хлеба. Ходил на Урал, искал кому-то золото, сплавлял по Каме чей-то лес, а когда совсем состарилась мать — женился. Сколько труда он вложил в землю и хозяйство, чтобы подняться и укрепнуть! Он слыл человеком неистоцимой силы, ловкой хозяйской сноровки. Он сам делал все, что требовалось для семьи и двора. Надо что-нибудь построить — берет топор и строит. Надо печь в избе переложить — переложит. Зарезжет овец — сам овчины выделает, сам шубу сошьет. Требуются валенки — живо скатает, да еще какие! Пужны сапоги — и сапоги сошьет. Он с жадностью брался за любое дело, которое могло при-

нести хотя бы маленькую выгоду двору. Летом не только работал в поле, а урывал время, чтобы надрать лыка, собрать корья, порыбачить, зимой плел корзины, занимался извозом, охотничал...

Василий Тихоныч не без гордости говорил:

— На моем дворе чужая рука кол не забьет!

С большим трудом Василий Тихоныч укрепил свое хозяйство, стал уважаемым человеком в деревне. После революции стал мечтать уже о спокойной, зажиточной жизни. В первое время Советская власть пришлась ему по душе. Но как только власть потребовала от него поделиться с городом своим хлебом, Василий Тихоныч встал на дыбы. Веспа обещала хороший урожай, но многие в деревне толковали, что она обманчива: во время палива непременно хлеб сожжет суховей. Да и время было смутное, неустойчивое. А Василий Тихоныч был расчетливый человек, он не хотел попадать впросак и, глядя на своего богатого соседа Комлева, припрятал хлеб.

Председатель Совета Степап Долин долго уговаривал его.

— Тихоныч, — говорил он, — давай хлеб, помогай власти. Своя власть-то! Не поможешь — прогадаешь!

— Меня не учи. Не прогадывал еще.

— Добром отдай.

— А зубы куда? На полку?

— Лишнее отдай.

— В крестьянской жизни ничего лишнего не бывает.

Хлеб нашли, отобрали. Это так оскорбило Василия Тихоныча, что в нем закипела глухая злоба против большевиков. Вечером к нему в дом пришел сосед Комлев. Они долго беседовали в горнице.

— Ну как? — спросил Комлев. — Обжегся?

— Не говори! Наголо обстригли! Сто пудов! А рожь-то — как золото! Хоть на нитку нанизывай. И как в прорву... Сто пудов...

— Да-а... — протянул Комлев и подернул заячьей губой. — Срежь бела дня грабют. Вон, скажем, меня — задушили контрибуцией. А за что? Последнюю собаку со двора приходится гнать, вот как!

— В том и суть! — Василий Тихоныч сокрушенно покачал головой. — Попал и я, сусед... Ты видел, какие я ловушки делаю на волков? Нет? А вот так... Сделаю из плетня круг, а вокруг него, немного отступя, еще круг, с дверцей. В середину малого круга приманку положу. Вот волк зайдет в дверцу, идет кругом, нюхает, а приманку не достанет. Проход узкий, ему изогнуться нельзя. Вот дойдет он до дверцы, да только когда носом закроет ее, тогда пройдет дальше. И вот он все ходит и ходит, и приманку не достанет, и в дверцу обратно не попадет... Так вот и я.

— Не соображу, о чем толкуешь, — сказал Комлев.

Василий Тихоныч тяжело вздохнул:

— Вот так, говорю, и со мной...

Комлев нагнулся, заговорил тише:

— Ты не слыхал, правду ай нет говорит отец Евлогий?

— А что? Не слышал.
— Будто скоро конец, а?
— Нам? — испугался Василий Тихоныч.
— Нет, им... большевикам.
— Отец Евлогий сказывал?
— Оп. Как думаешь, правду сказал?
— Что ты, отец Евлогий — человек с понятием! Он семинарию прошел.

— А я думаю, врет.

— Ну дет, — возразил Василий Тихоныч. — Он с понятием. И старый. А старый ворон не каркнет даром.

Когда пришли белые, Василий Тихоныч вместе с Комлевым встречал их хлебом-солью. Но тут он ошибся еще горше: белые вернули барину землю, заставили платить все недоимки по налогам за последние годы, а потом давай забирать все — хлеб, скот, сыновей на войну.

...Спускалась ночь. На левом берегу, в пойме, курился костер, белый дым от него тянуло над тальниками струей. Вдалеке маячила над вечерней рекой рыбацья лодка.

.. Сварив уху, Василий Тихоныч решил поужинать у костра. Постелил дерюжку, поставил рядом дымящийся котелок, пошарил в нем ложкой. Нет, есть не хотелось. Опершись локтем о землю, взглянул на Каму, вспомнил, как иногда суматошно толкуются на ней волны, бросаясь из стороны в сторону, грустно подумал: «Так и люди: мечутся туда-сюда, а куда лучше податься — не знают. Куда ни подайся — везде разобьешься...»

С берега послышался хруст намытого рекой и высохшего за лето мусора. Василий Тихоныч приподнялся. Внизу, по песчаному закрайку, шагал полуголый человек, ярко освещенный лунным светом. Он шел порывисто, откидывая преграждавшие дорогу ветви белотыла.

Василий Тихоныч бросился к берегу.

Полуголый человек остановился, несколько секунд смотрел на рыбака с опаской, потом откинул со лба мокрые волосы.

— Господи! — вскрикнул Василий Тихоныч. — Никак, Мишка?

— А-а, это ты? — сказал Мишка. — Черту в зубы попал?

— Не грехи!

— Опять выдашь?

Василий Тихоныч схватил сына за руку, потащил на крутояр. Усадил у костра, подкинул в него сушняка.

— Сынок, да откуда ты?

— Говорить тошно. Озяб я...

— Эх, как перевернуло тебя!

Мишка был голоден, по ел рыбу медленно, неохотно и на расспросы отца отвечал коротко. Его одолевала усталость. Немного погода захотел курить, вытащил мокрый кисет, вспомнил Наташу — и слезы навернулись на глаза. Сжимая в руке кисет, сказал чуть слышно:

— Сослужил ты мне службу. Спасибо.

— Грех на мне. Богу отвечу.

— Богу?! — вдруг загорелся Мамай. — Это когда? На том свете?

В темноту полетел котелок с рыбой. Мишка схватил отца за руку, начал трясти:

— А на этом? Не хочешь?

— Сынок, прости...

— Не богу, мне отвечай! — Отбросил отца в кусты, сказал: — Половину сердца ты мне отрезал! — И быстро зашагал к реке.

— Мишка, одежду возьми! Заколеешь!

Мишка вернулся, надел запасные отцовы штаны и легкий пиджак.

Василий Тихоныч предложил кисет:

— Закури. Свежий.

Табачный дым опьянил Мамай. Он согласился отдохнуть немного в землянке, лег на нары, и землянка закачалась, как баржа. Три дня прожил Мамай в ожидании смерти, а теперь такая разительная перемена! В землянке остро пахнет сырой землей, свежей овсяной соломой, рыбой и мышами, а за дверью — сонно выдыхающие сосны, затухающий огонь костра, веселая луна... Мишка Мамай опять находился в центре быстро раскрывающегося мира. С радостным волнением он вступал в безбрежную жизнь. В ней все — от мышиного запаха до могучих стихий — было устроено чудесно и мудро. От счастья Мишка закрыл глаза, и сразу все, чему он удивлялся, пропало. Перед ним катилась угрюмая, величественная река, а на ней вдалеке маячила баржа с виселицей...

Ночью Мишка проснулся и сразу понял, что рядом, на нарах, сидит отец. Мишке стало стыдно, что вечером, не сдержав гнева, он бросился на отца. В темноте Мишка протянул руку к отцу, сказал, оправдываясь:

— Это она подарила кисет.

Василий Тихоныч вздохнул:

— Чего там вспоминать? — Ощупал сына. — Тебя били? Здорово?

— Один, рябой, бил... Здорово бил! Попадись он мне — в секунду гаду оторву башку! Ну да на аршин побои не меряют.

Помолчали, затем Мишка спросил:

— У вас тут, в деревне, как?

— Туго приходится, сынок. Под этой проклятой властью задыхается народ. Ну, скажи, как рыба подо льдом!

Первый раз Василий Тихоныч беседовал с сыном серьезно, как с равным, и старику было приятно, что сын понимает и жалеет его. Василий Тихоныч легко, без боли душевной, говорил о себе:

— Много у меня грехов, много... Все искал, где лучше, а вот... Счастье — что лиса: все обманывает. Я и повадки лисьи знаю будто хорошо, а вот — подвело...

— Отчего же оплошал?

— Не знаю. Старею, видно. Мне трудно поспевать за жизнью. А жизнь, она так катит, так катит, просто беда! Ты уж, сынок, поспевай за ней...

Наговорились вдоволь. Перед рассветом Василий Тихопыч посоветовал:

— Уходить тебе надо, сынок.

Мамай молчал.

Василий Тихоныч нагнулся:

— Знаю место. Вот тут, рядом, в Черном овраге. Один я знаю: там наши ребята живут.

— Кто?

— Смолов, Камышлов. Которые убежали тогда от расстрела. Партизаны, одно слово.

— Веди.

Утром Мамай был в Черном овраге.

XI

На мачтах баржи слабо теплились огни. По палубе, горбясь, ходил часовой с винтовкой, за ним, от большой скуки, неотвязно бродила черная собака. Миновали небольшую деревню на правом берегу. Повстречался белый пассажирский пароход. Он дал гудок и быстро прошел, отбрасывая к берегам веер гривастых певучих волн.

Услышав шум парохода, поручик Бологов открыл глаза, приподнялся на локте, растерянно спросил:

— Что такое? Где я?

— На барже вы,— ответил Ягуков.

— А-а...— понимающе протянул Бологов.— Он... убежал? Да?

— Так точно.

— Стреляли?

— Стреляли, да где уж...

— Мерзавец,— прошептал поручик тихо.— Уйди, Ягуков.

Опять лег, опустил набухшие веки. Кружилась голова, словно после угара, к горлу подступала тошнота, перед глазами неотступно стоял Михаил Черемхов... Вспомнились и другие смертники: Сергей Рябинин, который оттолкнул солдат и сам полез в петлю, рабочий-большевик Петров, которого с трудом убили, изрешетив всего пулями, учительница Суховеркова, перед смертью плюнувшая ему в лицо... Много встречалось уже таких, уходивших в небытие с каменными лицами и блистающими глазами!

Уничтожая советских людей на барже, Бологов держался спокойно и властно, всем своим видом стараясь внушать, что на его стороне сила, правда, будущее. Но те, что умирали, с некоторых пор неожиданно начали расшатывать устои его веры. Словно собственная тень, поручика Бологова неотступно стала преследовать мысль, что если много таких людей, с какими приходилось встречаться на барже, то прошлое не вернуть. Он крепился, отгонял эту мысль, всячески оживляя свои надежды, но

сомнение тихонько, незаметно точило и точило его, словно короед дерево. В последние дни он стал угрюмее и вспыльчивее. Случалось, он целые ночи бродил по палубе, борясь с непонятной тоской. Все имеет свои границы. Теперь, после случая с Черемховым, беспокойство ворвалось в душу Бологова неудержимо, как полая вода...

Полузакрыв глаза, Бологов в этот вечер много раз, словно заучивая наизусть, повторял одно и то же:

— Неужели все кончено? Неужели?

XII

Наташа хорошо слышала выстрелы — и больше ничего... Сознание вернулось к пей только на другой день. Она не поднялась, лежала молча. Ей казалось, что она лежит в темноте одна, а все остальные смертники — за толстой стеной, едва пропускающей звуки: медленно восстанавливалась в ней способность чувствовать и понимать окружающее. Казалось, все в пей омертвело. Задумай поднять руку — не поднимешь, шевельни ногой — она каменная. Да и шевелиться не хотелось. Зачем? Пусть тело лежит на соломе и гниет..

— Воды не надо?

Узнала: это Иван Бельский. Испугалась, что вот-вот из сердца хлынет боль. По щекам потекли слезы; она не трогала их — пусть катятся...

— Ты знаешь, — заговорил Бельский, приблизившись к ней, — у меня была жена... Высокая, белая. Походка важная, спокойная. Сейчас вижу. Они заporоли насмерть. Сын еще у меня был — забавный такой мальчонка, смышленный, верхом ездил здорово. Он, знаешь ли, одного офицера в капкан поймал. Поставил у крыльца, что ли... Вот какой! Его на штык подняли...

— Зачем вы это? — чуть слышно спросила Наташа.

— Успокойся, крепись!..

— Я успокоилась, — ответила Наташа. — Как в барже тихо. Они спят?

— Нет, думают...

— О чем?

— О жизни, наверное...

Шли недалеко от берега, мимо деревни. Долетал лай собак. Солнечные сети качались в глухой пучине трюма.

— А что думают о жизни?

— Разное.

— Нет, — Наташа вздохнула, — нет, они не о жизни думают, нет... О смерти.

Разговор сильно утомил. Наташа устало закрыла глаза — и почти в то же мгновение ее оглушил винтовочный залп. Несколько секунд голова гудела от тяжелого звона, а когда внезапно затихло вокруг, Наташе вдруг показалось, что Мишка Мамай рывком поднял ее на крепких руках. Она вскрикнула:

- Уйди! Сгинь!
 - Что кричишь? — сказал Бельский. — Я уйду.
 - Чтоб ноги твоей не было!
 - Наташа, что с тобой?
 - Уйди! Сгинь!
- Она быстро поднялась, сказала тише:
- Нет, они о смерти думают...
 - Ну и пусть...
 - Я знаю, ты добрый, ты согласишься мне...
 - Я и не спорю.
 - Не споришь — не бунтуй. Не люблю.
 - Наташа! — забеспокоился Бельский.
 - Сонная трава зацвела. Как рано!
- Бельский наконец понял, что Наташа бредит...

ХIII

Случилась беда и с Шангареем.

Увидев снопы, он стал бояться смерти, а когда ушел Мишка Мамай, совсем ослаб, пал духом. И странно: это произошло из-за тех сапог, что отдал ему Мамай. Сначала Шангарей несказанно обрадовался подарку: он никогда не имел сапог, всю жизнь носил собственной поделки лапти. Только один раз, когда женился, надевал сапоги. Дал их на свадьбу деревенский богач с условием, что Шангарей отработает три дня в страду на его поле. И Шангарею совсем не обидно было, что богач выговорил так много: уж очень приятно было ходить в сапогах! Идешь, а они, начищенные, так и ловят солнце! Это ощущение приятности долго не покидало Шангарея. Приезжая на базары или ярмарки, он всегда ходил по лавкам, подолгу осматривал сапоги, приценивался и был доволен тем, что торговцы, желая сбыть свой товар и не зная бедности и страсти Шангарея, давали ему время поторговаться. И вот только теперь наконец он получил сапоги, получил навсегда, и так неожиданно! Знал Мамай, что он бос да к тому же простуженный, и вот отдал... Шангарей сначала долго ощущив сапоги, поглаживал носки и голенища, стучал ногтем в подошвы и восхищенно думал: «Ай-ай, какая кожа! Если их мазать гусиным салом — им износа не будет! Мне их до старости хватит, да еще Хаким поносит!» Но тут Шангарей вдруг осекся: он первый раз, пожалуй, так отчетливо, так ясно понял, что не миновать смерти. Может быть, ему совсем недолго придется ходить в сапогах. Может быть, сегодня или завтра позовут и его... Шангарей безрадостно натянул сапоги и старался больше сидеть, чтобы не слышать их скрипа.

...Баржа остановилась у Смыловки. Всю ночь Шангарей не спал, а утро встретил особенно беспокойно. По палубе изредка проходили солдаты, стуча подковками на каблуках сапог. Шангарей пригибался, как под ударами грома. У борта баржи плескалась вода, вдалеке перекликались пароходы, поблизости вспо-

лощенно кричали гуси. Все спали, даже Бельский не проснулся, а Шангарею не терпелось, и он начал будить товарищей:

— Эй, товарищ, вставай! Ай, как долга-та спать хочешь! Вставай!

Смертники начали подниматься.

— Не выводили?

— Нет, что-то затих он.

— Затих! Перед бурей всегда затихает.

— Утро, кажись, хорошее.

— Хвали, брат, утро вечером.

Люк открывали по утрам: смертники очищали параша и запасали воды. Сегодня люк не открывали долго: солдаты ходили за провизией на берег и задержались в деревне.

Накопец люк открыли. В трюм хлынули потоки света. Смертники сгрудились у лестницы, увидели стальное с прозеленью небо. Ефрейтор Захар Ягуков заглянул в трюм:

— Выноси ведра! Бери воду!

Из трюма вырвались хриплые голоса:

— А хлеб есть?

— Давай хлеб!

— Пухнем с голодухи!

Ягуков стукнул прикладом винтовки:

— Замолчь! Какой вам хлеб?

— Ишь ты, сытый сам!

— У него рожа-то вон какая красная, хоть прикуривай!

— Замолчь, сволочь! — обозлился Ягуков. — Сейчас закрою!

— Но, ты... Сейчас идем!

По трюму полетело:

— Чья очередь?

Охотников заниматься утренней уборкой было много: всем хотелось несколько минут, хотя бы мельком, полюбоваться рекой и небом. Поэтому в трюме был заведен порядок — дежурить по очереди.

Очередных дежурных пашли не сразу. В полумраке кто-то скрипучим голосом спрашивал:

— Чья, говорю, очередь?

— Зубцова. Он убит, — ответили с кормы.

— Дальше кто? Михайлов? Здесь он?

— Нет, повешен.

— Следующий Самарцев!

— Вот я! Иду! — обрадовался Самарцев, партизан из Токмашки, и начал разыскивать ведро.

— Дальше кто?

— Бельский Ивап... Чугунов то есть.

— Не пойду я, — отозвался Бельский. — Пусть за меня кто-нибудь сходит.

Расталкивая товарищей, к лестнице кинулся Шангарей.

— Он не гулял? Зачем не гулял? Пускай меня-та! Он не гулят — я гулям.

— Ты недавно ходил!

— Ишь понравилось!

— Ай, какой твоя голова! Ай ты! Пускай, пожалуйста!—
Шангарей улыбался растерянно и просяще, в голосе его слышались надрывные, стонущие нотки.— Гулял раз — как беда? Время будет — ты гуляш, он гулят, все гулям. Я погляжу, какой река, какой погода.

— Пусть идет,— сказал Бельский.

— Ай, вот человек! — обрадованно воскликнул Шангарей.—
Больна хорош человек!

XIV

Шангарей просился поработать, чтобы развеять тоску, но, проходя по палубе и осматривая окружающее быстрыми, ищущими глазами, он загоревал еще сильнее.

День стоял холодный, блеклый. Быстро заносило непогоде. Кама, казалось, зябко вздрагивала, с поймы летели желтые прозрачные листья, гуси перекликались осенними позывными голосами.

Шангарей изредка останавливался с ведрами и, разгибая спину, горестно шептал:

— Уй, плохо! Совсем пронал!

Заключив дело, Самарцев первым спустился в трюм. Смертники окружили его и начали подробные расспросы:

— Заносит? Да, сейчас дождя нужно.

— Стоим-то где? У Смыловки?

— Народ на пристани есть?

— А на этой стороне что — лес?

— А поля как? Видно поля?

— А река здорово обмелела?

Лезли со всех сторон. Самарцев сначала терпеливо отвечал, но под конец не выдержал:

— Очумели вы! Когда мне было все разглядывать? Там ведь торпят!

— А ты все же смотрел бы!

— Да сколько я был там?

— Минут пятнадцать был!

Пока смертники разговаривали с Самарцевым, на палубе случилось неожиданное. Перед тем как спуститься в трюм, Шангарей остановился, взглянул по сторонам — на небо, на поля. Над поймой чертил большой круг ястреб. У Шангарея больно, сиротливо сжалось сердце.

В этот момент из каюты вышел поручик Бологов. Лицо у него было нахмурено, весь он подтянутый, настороженный. Шангарей хотел уже сойти в люк, но вдруг ему пришла в голову дерзкая мысль; он опустил на палубу ведро, направился к поручику и боязливо позвал:

— Господин начальник...

— А? В чем дело? — опасливо обернувшись, спросил Бологов.

— Господин-та... — Голос Шангарея рвался. — Господин начальник!..

— Говори же, в чем дело?

— Пускай, пожалуйста, — закончил Шангарей, болезненно улыбаясь.

— Что?!

— Диревню, домой-та пускай, пожалуйста.

— Тебя?!

— Правда-правда, миня...

Подобного на барже не случалось. Это первый из заключенных попросил пощады. «Забавно», — подумал Бологов и, сдвинув светлые брови, внимательно осмотрел Шангарея. Перед ним стоял небольшого роста татарин, в распахнутой мягкой поддевке, в сапогах на коротких, немного кривых ногах. Он стоял ссутулившись, пригнув голову, покрытую теплой, похожей на колпак шапкой. Лицо у татарина маленькое, высохшее, в густой сетке морщин, с кустиком чохлых волос на подбородке.

Бологов повернулся к Ягукову, указал глазами на люк:

— Закрой!

Еще раз окинув Шангарея неясным, ничего не выражающим взглядом, спросил:

— Так тебе захотелось домой?

— Диревню надо, господин начальник... — Шангарей обрадовался, что поручик оказывает ему внимание, по что-то удерживало его распахнуть душу; он заговорил стыдливо и осторожно: — Сам знаешь, работать надо — дома работать, поле работать. Баба есть — какой толк баба? Туда — баба, сюда — баба, третье место — баба... А баба — худой. С тяжелой-та работы кругом ломался баба. Да ребятишки связали рука-та, нога-та...

— Сколько их, ребятишек?

— Два парнишка, пять девчонка... — На посеревшем от голоду лице Шангарея ярко светились затравленно мечущиеся глаза. — Семь ребятишка будет. Один девчонка сосет, малай юбка держит... Вот какой! Вот! — Шангарей нарисовал в воздухе лезенку. — Сам знаешь, беда. Пускай, пожалуйста...

— За что посажен?

— За лошадка... — Шангарей загнулся и жалобно поморщился. — Совет-та лошадка давал, а белый власть пришла — обратно требовал... Мне жалко было лошадка-та... Не давал я лошадка... Миня белый власть шибко бил! Зачем бил? Не знай.

— Большевик?

— Не знам. Какой большевик?

— Врешь! Все ты знаешь!

— Правда сказал, господин начальник, правда! Сирдечный правда! Большевик не ходил, — заторопился Шангарей. — Своя диревня жил мы.

— Хорошо... Но как тебя отпустить?

— Пускай, пожалуйста, — умоляюще протянул Шангарей.

— Обожди, — остановил его Бологов. — Допустим, что я тебя отпускаю. Но тебя отпустишь на волю — ты две возьмешь. Так?

Шангарей часто-часто замигал. Он понял: начальник сейчас требует раскаяния и заверений, что он больше никогда не будет противиться новой власти. Лицо его стало еще серее и угрюмее. Ему было совестно, что придется лгать. Шангарей всем своим сердцем ненавидел белую власть, но ему так хотелось вернуться в родную деревню, к жене, к ребятишкам, что он решил перетерпеть все, на все согласиться.

— Зачем возьмешь-та? — ответил он. — Не надо! Ничего-та не надо!

— Начальство в деревне будешь слушать?

— Будим, будим... Как не будим?

— С большевиками будешь таскаться?

— Ай, господин начальник... — Шангарей устало раскинул руки. — Ни буду! Верь слову — нет. Пускай, пожалуйста, господин начальник...

«Странно... — опять подумал Бологов. — Может быть, Черемхов и другие — исключение? Очень странно. Вот пошлю этого татарию в трюм, и пусть он там скажет, что раскаялся и его отпускают... Да, пошлю! И мы еще посмотрим, что из этого выйдет! Это даже очень забавно...»

Бологов приподнял носок сапога, крикнул:

— Ну, целуй, сволочь! Отпущу!

Несколько секунд Шангарей стоял, как оглушенный, потом медленно подогнул подрагивающие ноги, оперся руками о палубу, опустил голову — она была тяжелая и горячая. Он нагнулся совсем близко над поблескивающими носками сапог. Губы Шангарея судорожно подергивались. Он медленно тянулся к сапогам поручика, словно боялся обжечься. Вот еще немного, еще немного, он прижмется к ним на одну секунду — и получит волю. Только один раз прижаться, поцеловать — и жизнь спасена! Он вырвется из «баржи смерти», он понесется с радостно бьющимся сердцем домой, к Фатыме, к ребятишкам... В глянце хорошо вычищенных сапог поручика Шангарей уже видел быстро мелькавшие картины — смутно очерченное лицо жены, ребятишек, силуэт своей избы с березой у ворот...

— Ну, целуй! — крикливо повторил Бологов. — Живо!

Глаза Шангарея стали сухи и настороженны. Он вдруг оторопело отшатнулся, взглянул на поручика, поднял голову и голосом, упавшим до холодного шепота, сказал:

— Нет, не буду... целовать-та...

— Что-о?

— Ни желам. Нет.

— А-а, вон что!

Откинув правую ногу, Бологов резко ударил Шангарея в зубы. Шангарей ахнул, опрокинулся навзничь, закрыл лицо рука-

ми. Дрожа от ярости, Бологов начал изо всех сил бить его, катая пинками по палубе, как деревянный чурбан, и кричать:

— Вот как! Вот вы какие стали! Гордые стали! Целуй сволочь!

Шангарей отрицательно вертел головой, корчился под ударами, извивался, свертывался в комок, отплевывал кровь и выбитые зубы. Но не кричал. Это еще сильнее бесило Бологова. Он бил Шангарея куда попало, бил до тех пор, пока тот не перестал защищать лицо. Тогда Бологов, отступив, вытер платком лоб, глухо бросил Ягукову:

— Приколи!

XV

Поручика Бологова глубоко взволновало происшествие на стоянке у Смыловки. Измученный тревогами, он стал болезненно остро воспринимать все, что сколько-нибудь неожиданно вторглось в его жизнь. «Так, так... — неопределенно думал он, без усталости шагая по каюте. — Вот такие-то дела. Ну-ну...» Перед вечером, успокоясь и набравшись какой-то злой решимости, он начал просматривать списки и дела заключенных.

Баржу прибывало стремниной к берегу, изрезанному оврагами. Мимо пронеслись, будто выпущенные из пращи, две утки. До слуха поручика долетел частый глухой стукоток — шла моторная лодка. Вскоре на корме баржи послышался чужой голос.

— Вот чертовщина! — проворчал Бологов, торопливо застегивая ворот гимнастерки. — Кажется, капитан Ней. Носит его по реке!

Вошел капитан Ней — низенький, полный и мягкий, как пышный колобок, в чистеньком кителе защитного цвета, с пенсне на коротком носу. Он без особого внимания выслушал рапорт, сбросил фуражку, вытер шелковым платком глубокие залысины. «Не в духе», — определил Бологов.

— Фу, сегодня что-то неважная погода, — сказал Ней, подсаживаясь к столу. — Какая-то неопределенная. Ни сумрачно, ни ясно. Не люблю!

— Вечер будет хороший, — заметил Бологов.

— Вечер? Возможно. Вполне возможно.

Медленно, но разговор завязался. Поручик Бологов несколько раз возвращался к теме, больше всего волновавшей его.

— Я не мишдальничаю, — говорил он, шевеля бровями и бросая на капитана туманный взгляд. — У меня, слава богу, твердая рука, Арнольд Юрьевич. В наши дни не должно быть наивных иллюзий. — Постучав подошвой сапога о пол, он сказал: — Когда мы бросаем их сюда, я спокоен. Но на свободе они размножаются, как бактерии!

— Вот это и опасно, поручик, — заметил Ней.

— А вы думаете, Арнольд Юрьевич, я не понимаю? Отлично понимаю! — Бологов нагнулся над столом, заговорил торопливее,

в голосе его зазвенели горячие потки.— Требуется сильное противоядие! Иначе... Меня, признаться, начинают волновать события. Если бы вы знали их! Вот скажите: почему они... ну, умирают так, знаете ли...

Ней поднялся, протянул портсигар:

— Нас не слышат?

— Благодарю. Не курю. Забыли?

— Да, да. Плохая память.

— Нет, нас не слышат.

Закурив, Ней сказал:

— Знаете что? Вы боитесь своих заключенных.

Бологов вспыхнул:

— Ерунда! Не боюсь, но...

— Боитесь! — убежденно повторил Ней. — Я вижу, Николай Валерианович, вижу... Вы боитесь той силы, которая не оставляет их даже перед виселицей. Почему? Смешной вы, Николай Валерианович...

— А все же?

Капитан Ней, как всегда, не торопился отвечать, густо дымил, поглядывал в окно.

— Нет, серьезно?

— Серьезно? — переспросил Ней и, продолжая смотреть в окно, начал осторожно бросать слова, словно отсчитывал сдачу мелкими монетами: — Они знают, за что умирают, дорогой. Знают. Если плохо знают — чувствуют. Вот в чем их сила. Она, говорите, пугает вас? О, как эта сила может еще расправить крылья!

— Вы думаете?

— Почти убежден, — ответил Ней. — Мы сделали непоправимую ошибку. Непоправимую.

— Какую?

— Надо было обойтись без лишней крови.

— Это невозможно! Утопия!

— Ну, значит, и победить нам невозможно... — невозмутимо отсчитывал слова Ней. — Народ, дорогой поручик, не потерпит этого. Поняли? Вы знаете, что такое народ? Нам нужно было обмануть его. А на это у нас не хватило ума и выдержки.

С минуту молчали. Капитан Ней начал ходить по каюте. Будто печально натываясь на препятствие, он иногда резко встряхивал круглой лысеющей головой, а потом поправлял на носу пенсне.

— Меня удивляет, Арнольд Юрьевич...

— Мои взгляды удивляют? Да? — перебил Ней. — Тогда можно оставить эту тему. Я никому не навязываю своих мыслей. Мы взрослые. Но я хорошо знаю народ и отчетливо ориентируюсь в обстановке...

«Не в духе», — опять подумал Бологов и, решив переменить разговор, спросил:

— Вы сейчас куда?

— В Казань.

— Не слышали, как дела на Волге?

— Ничего. Хотя не блестящие.— Глаза Ней осторожно поглядывали из-за стекол пенсне.— Пожалуй, даже плохие. Волга у Казани — за нами. Но около Воробьевки, по последней сводке, идут серьезные бои. Очень серьезные. Нас теснят. Ленин, говорят, отдал приказ: немедленно взять Казань. Ну а если возьмут Казань — это для нашей армии большой удар.

— Казань не возьмут,— хмуро сказал Бологов.

— Вы злы на большевиков, я знаю,— спокойно возразил Ней.— Это похвально, но вы, дорогой, многого не понимаете. Не обижайтесь, я говорю откровенно. Я прихожу в ужас от мысли, что среди нас многие смотрят на события сквозь розовые очки. В этом, может быть, одна из причин нашего поражения. Не перебивайте, Николай Валерианович. Так вот, Казань красные могут взять. Советы располагают огромными силами.

— Но они плохо вооружены! — загорячился Бологов.

— Очень хорошо.

— Да чем же?

— Верой в свои идеи, поручик! — уже сердито ответил Ней.— Именно той силой, с какой вы сталкиваетесь на своей барже. Поняли? Вы хмуритесь?

— Что же делать мне?

— Отправляйтесь до Белой. Там посадите новую партию большевиков и вернетесь обратно к устью. Все.

— А этих? — осторожно спросил Бологов.

— Сколько их?

— Около двух сотен.

— Ну, знаете ли... — смутился Ней.— Не смею ничего сказать. Приказ есть приказ...

— Так послушайте.— Бологов подошел к капитану, заговорил запальчиво: — До устья я их не повезу! Да! Всех до одного! Это мой ответ на все, о чем вы говорили!

— Ваша рука владыка.— Ней опустил глаза.

Вышли из каюты. Капитан Ней спустился в моторку, и она тут же рванулась на меркнувшее стремя реки, быстро понеслась по течению.

Моторка уже скрылась за поворотом, а Бологов все стоял у борта, врасплох захваченный множеством новых дум. Разговор с капитаном Неем еще больше усилил его тревогу. «Россия! Россия!» — шептал Бологов, тупо смотря в воду. Среди взгорий и потемневших зарослей белотала река лежала, как шкура серебряной лисы.

Ночью двадцать смертников были расстреляны.

XVI

Василий Тихоныч спустился на берег, к роднику. В камнях под косматой ветлой была сделана запруда и устроен маленький сруб с крышкой, как у колодцев. Василий Тихоныч поставил ко-

телок на камень, откинул крышку садка, сунул руку в холодную проточную воду — в садке заметались, забились большие рыбы.

— Ну, ну, не шуметь!

Вытащив туго извивающуюся стерлядь, Василий Тихоныч взялся за нож. С вечерней реки донесло шум моторной лодки. Василий Тихоныч обернулся, увидел: лодка на полном ходу поворачивала к берегу, отваливая толстый пласт тяжелой холодно-серебристой воды. На моторке — цветистый, трепещущий флажок.

— Тьфу! Житья нет на реке!

Моторка ткнулась в берег. Первым с нее соскочил небольшой кругленький офицер в пенсне, за ним трое солдат. Василий Тихоныч выронил из рук стерлядь, — получив свободу, она падела такого шума в садке, что старик прослушал, что крикнул ему офицер. В растерянности Василий Тихоныч не знал, куда спрятать нож. Офицер, видно, повторил свой вопрос:

— Рыбачишь, старина?

Голос у офицера был приятный, мягкий, и смотрел он добродушно, улыбаясь. Василий Тихоныч только теперь увидел, что все военные без оружия. От сердца отлегло: видно, сошли они на берег только затем, чтобы покушать свежей рыбы, — всем известно гостеприимство рыбаков на Каме.

— Ну, как ловля?

— Идет малость, — заговорил облегченно Василий Тихоныч. — Только ветра нынче, бури. Маста!

— Угостишь? — спросил Ней. — Заплатим.

— Милости просим...

— А хлеб есть?

— Найдется, ваше благородие. Добром люди просят — все найдется. У нас так. — Открыв крышку садка, Василий Тихоныч щедро предложил: — Может, сами желаете выбрать?

— О, одну минуту!

Капитан Ней и солдаты с радостью стали вылавливать стерлядей, а они вырывались, били хвостами, обдавали брызгами.

— Покрупнее можно?

— Лови, лови!

— Еще?

— Лови еще!

Принимая стерлядей, Василий Тихоныч быстро разрезал им брюшко, обмакивал в воду и бросал в котел. Когда котел был достаточно наполнен, сказал:

— Ну, хватит, выше благородие. Пошли.

— А чистить их? — спросил Ней.

— Я же вычистил!

— Позвольте, но ведь вы только разрезали их, а не чистили.

Кишки надо...

— Чистить нельзя.

— То есть как?

Василию Тихонычу поправилось, что офицер не знает, как рыбаки варят стерляжью уху, и он развеселился:

— Нельзя, нельзя, ваше благородие, весь жир уйдет. А как мы варим — вот уха! Уж вы послушайте меня, я ее, слава богу, варивал...

Начали подниматься к землянке.

— Уха ухе рознь. Свари ее на воле — объедаенье! — разговорился Василий Тихоньч.— У нас дед был... Бывало, достанет рыбы, так нет чтобы дома сварить, нет! Сложит в котелок, пойдет на речку, разведет костер. Сварит, стало быть, уху по всем правилам и несет домой! Вот как!

...Уха удалась чудесная — жирная, чуть припахивающая дымком и луком. Капитан Ней и солдаты были в восторге. Василий Тихоньч то и дело, прижимая к груди каравай, отрезал гостям большие ломти хлеба, перед каждым положил листья лопуха для рыбы, настойчиво упрасивал дочиста опорожнить котел. Он всячески старался угодить гостям.

— Вот пезадача! — все вздыхал он.— Перцу нет, лаврового листу нет. А надо бы.

— С перцем еще бы лучше.

— Не говори!

Совсем свечерело. В лесу было тихо, сонно. Около землянки в росистой траве прыгали лягушки. Над головешками обессиленно вздыхал огонек. Из-за поворота показался пароход, он прошел вниз, отчетливо шлепая плечами и бороздя реку острыми клинками разноцветных огней. Было слышно, как к берегу, подталкивая друг друга, покатались волны.

Василий Тихоньч встревожился:

— Лодку не сорвет?

Ней махнул рукой — дескать, не должно сорвать.

— Я взгляну,— засуетился старик.— Недолго до греха. До-едайте тут все, а я схожу. Чайник возьму, по пути воды зачерпну. Чайку-то польете? После ухи на чай здорово позывает, знаю...

Он скрылся под обрывом.

— Чудесный старик! — сказал Ней.

— Вот накормил так накормил! — отозвался один из солдат. На берегу Василий Тихоньч задержался.

Поднимаясь к землянке, сообщил:

— Закинуло на берег немного.

— Столкнули?

— Столкнул... Фу, совсем, видно, сердце попортил. Как на гору, перехватывает душу поперек, и только...

Через полчаса, напившись чаю и дружески простившись с гостеприимным рыбаком, капитан Ней и солдаты сели в моторку. Василий Тихоньч на прощание помахал им рукой, а потом кинулся к прибрежным кустам, взволнованно шепча:

— Господи, удача-то какая!

В кустах тальника было спрятано украденное с моторки оружие — офицерский наган и три винтовки с патронташами. Василий Тихоньч вытащил оружие, бросился на крутояр. У землянки остановился передохнуть, оглянулся на реку. Моторка полным

ходом заворачивала обратно. «Спохватились!» Василий Тихонич опустился на колени, щелкнул затвором впитовки. Не дойдя до берега, моторка неожиданно вильнула кормой и, рокоча, рванулась вниз.

— Ага! — обрадовался Василий Тихонич. — Раздумали? Догадались? Я бы вас встретил!

Немного погодя Василий Тихонич, забрав оружие, направился в Черный овраг. Никогда еще он не испытывал такого приятного ощущения своей значимости в жизни, давно не чувствовал себя так уверенно и бодро — годы его словно повернули вспять. Впервые он забрасывал личные дела ради нового, большого дела, которое вдруг настойчиво позвало к себе, и это наполнило его гордостью и смутной радостью.

XVII

Заложив руки под голову, Мишка Мамай лежал у землянки и задумчиво смотрел вверх. Тонкие сосны подпирали небо. Высоко-высоко сплелись их кудрявые вершины. На дне Черного оврага сумеречно, дремотно, лишь изредка тихонько шевельнется сосна, обронит засохшую ветку, или вдруг, вырвавшись из веток ивняка, радостно заговорит ручей. В западной стороне устало плотничал дятел.

— Груздей — тьма, — сказал Мамай. Рядом с ним лежал ворох сухих и сырых груздей, рыжиков, маслят. Мишка пошарил рукой, раздавил один груздь: — Так и прут из земли. Хоть лопатой гребь.

Смуглый и скуластый Смолов доплетал лапоть. Перебирая лыко, заметил:

— Зря рвешь.

— А что?

— На родном бы месте сгнили. Дожили бы век и сгнили. А тебе все надо тревожить, все тревожить. Зуд какой-то у тебя в руках, я так понимаю.

— Тошно...

— Ха, тошно! А мы как живем?

В Черном овраге уже с месяц жили члены Еловского Совета Смолов и Камышлов, чудом спасшиеся при расстреле, и два дружинника из соседней деревни — Воронцов и Змейкин. Жили они в землянке, как барсуки в норе, однообразно коротали время, упорно ждали перемены, зная, что на свои силы надеяться нельзя. Их вооруженная дружина была разгромлена, многие товарищи убиты, остальные разметаны по округе, словно ветром оборванные с одного дерева и разбросанные невзгодой где листья. Ждали, надеялись, что вот-вот нагрянут красные войска и освободят Прикамье.

Сгибаясь, Смолов затягивал ленты лыка, присматривался к дащю;

— Потерпи с наше.

— Потерпи! — Мамай со стоном перевернулся на живот. — Ух, ты-ы... Дуги бы гнуть, что ли? Или бы самогон пить!

— Вот тебе на! Утром резвился, а к вечеру взбесился.

— И взбешусь! Сидишь, как на цепи. — Мамай приподнял голову: — Брось лапоть. Спой. Я подтяну.

Сошурясь, Смолов взглянул, усмехнулся.

Мамай ударил кулаком по земле:

— Черт! И песни петь нельзя!

Немного прожил Мамай в Черном овраге, а как измучился! Он быстро оправился от потрясений на барже — так молодой дуб, сколь ни треплет его буря, выстоит, не обронив и одного листа. Мамай уже начало раздражать безделье. Ему, подвижному и охочему до кипучей жизни, было трудно сдерживать в себе вновь окрепнувшие беспокойные силы. Да и думы о Наташе не давали покоя. В живом, горячем воображении Мишки постоянно вспыхивал ее образ — родной, светлый. Он вспоминал все, что знал о ней, что успел разглядеть в ней и вокруг нее, он мысленно гладил ее черные косы, заглядывал под длинные ресницы; как и раньше, он не мог только разглядеть цвет ее глаз: они были очень уж лучистые...

Дятел замолчал. Отожвив лыко, Смолов достал кiset, стал выбивать кресалом искры из кремня.

— Зря рву, верно, — согласился Мамай.

Он вдруг поднялся — высокий, в синей рубахе и отцовском пиджаке, в солдатских брюках и лаптях. Ядовитая улыбка мелькнула в уголках упрямых губ.

— Илья, — сказал он твердо, — ничего ты не знаешь! Эх, взять бы землю на руки да грохнуть об камень! Чтоб в куски! Понимаешь?

— А за что? — спросил Смолов.

— Так... Канитель на ней, не жизнь.

В воздухе запахло тлеющим трупом и табаком.

— Ну а потом?

— А потом бы я сам сложил землю. Где горы, где что... Сколько бы мест хороших выдумал! И новые бы порядки... А? Здорово?

Мишка схватил себя за грудь так, что затрепала рубаха, помотал чубом и вдруг рванулся от землянки на берег Камы, ломая мелкий подлесок.

— Здоров, — завистливо прошептал Смолов. — А душа — как губка...

...Мамай лежал, свесив голову над обрывом.

Внизу — в хлипкой, прохладной тьме — плескалась река.

Смолов сел у ног Мамай, сказал безразлично:

— Простудишься.

— Я не знал, что это такое, я совсем не знал... — прошептал Мамай. — Илья, ты не будешь смеяться? — Он подвинулся, сел. — Только, друг, не смейся. Не будешь? Ты не знаешь, какая она...

— Кто? О ком ты?

— Да о Наташе...

— Все они такие!

— Врешь! Язык у тебя — ботало.— Мамай опустил на правый локоть, дотронулся головой до плеча Смолова.— Любить и хорошо, и страшно... А Наташа... Эх, не знаешь ты ее, Илья! Огонь с ветром!

— А ты ветер с огнем,— сказал Смолов.

Помолчав, Мамай неожиданно вновь, что случалось нередко в последние дни, заговорил о нападении на «баржу смерти».

— Попытаем, а?

— Что, опять?

— Да надо же выручать товарищей или нет? Надо! И выручим! Ей-богу, выручим!

— Одной рукой хочешь узел развязать?

— Не веришь?

— Тяжелое это дело.

В овраге раздался свист.

— Отец пришел,— сказал Мамай.— Надо идти...

XVIII

Василий Тихоныч принес оружие. Это было большой радостью. Партизаны ожили, вновь заговорили о предложении Мишки Мамай и, поспорив немного, все же приняли его план нападения на «баржу смерти». План был прост. Когда баржа с виселицей пройдет вниз по течению, надо ее догнать и ночью, на остановке, сделать налет. Конвойная команда, не ожидая налета, в панике покинет баржу, и смертники будут освобождены.

Ждать пришлось недолго.

Как только «баржа смерти» прошла мимо Черного оврага (это было вечером), партизаны собрались в путь. Василий Тихоныч решил везти их на своей лодке, сделал запас провизии, достал парус. Молча разместились в лодке. Взяв весло, Мамай еще раз — последний — попытался отговорить отца:

— Сидел бы, тятя, рыбачил тут...

— Ты мне, Мишка, не перечь. Хвост голове не указка,— сердясь, ответил Василий Тихоныч.— Заладил одно! Мне тут, сам знаешь, какое теперь житье,— как на муравьиной куче. Знаешь? Ну и помалкивай. Да и кому я лодку доверю?

Василий Тихоныч устроился на корме, уложил у ног мешки с продуктами.

— Толкаю! — крикнул Смолов с берега.

— Обожди.— Василий Тихоныч поднялся.— Праведное дело задумали, ребята. Так? Это господь увидит.— Сняв картуз, предложил: — Помолимся, а?

— Помолиться не мешает,— отозвался Змейкин.

Василий Тихоныч и Змейкин повернулись на восток, начали креститься, остальные смущенно смотрели в воду.

— Толкай!

Лодка быстро вышла на стрежень. Мишка Мамай вдруг опустил весло, крикнул:

— Ребята, в каком ухе звенит?

— В правом, — ответил Воронцов.

— Так. Угадал.

— А что задумал?

— Задумал вот... — с едва сдерживаемой радостью ответил Мишка и опять начал резко кидать веслом воду: сила была в нем ключом.

Вскоре нагнали караван барж с зерном. Партизаны привязались к одной из барж, сложили весла и спокойно поплыли вверх по Каме. На рассвете увидели баржу с виселицей: она стояла у лесистого берега. Прошли мимо...

XIX

День был пасмурный, мглистый. С полудня посыпалась мелкая водяная пыльца. Река стала угрюмой, берега потеряли четкость своих очертаний.

На одной из последних остановок большинство солдат конвойной команды ходило на берег. Вернулись они на баржу веселые, принесли всякой всячины: хлеба, битых гусей, рыбы, масла, яблок, кадочку соленых груздей. Достали и самогонки, о которой уже давно тосковали. Теперь, таясь от Бологова, потихоньку допивали ее.

Только Серьга Мята был трезв. Он лежал на койке и сосредоточенно думал. Солдаты играли в карты и посмеивались над ним. Особенно донимал Захар Ягуков. Поворачивая большую голову, вздергивал густо рдевший нос (он проигрывал — его били по носу картами); посмеиваясь, он допытывался:

— По бабе заскучал? Не тужи: бог девку даст!

— Баба не бочка: не рассыплется без меня.

— О чем же задумался?

— Вот думаю, — спокойно ответил Серьга Мята, — как бы тебе харю побить, чтобы не привязывался.

— Ого! Слыхали, ребята?

— А ну его, мочальную душу!

— Он вечно скулит.

Когда надоели карты, Терентий Погорельцев взял гармонь, сел на пол и начал играть. Он прижался ухом к гармонии, точно прислушиваясь к ее дыханию, потом мастерски пустил пальцы в пляс по перламутровым клавишам и вдруг, встряхнув черноволосой головой, запел сильным, горячим голосом:

Вот заду-умал сын жени-ваться,
Дозволе-еня стал прося-вить:
«Дозволь, батю-ушка, жени-пться,
Дозволь взя-ать, кого-о люблю...»

Солдаты подхватили песню. Она стала буйно свиваться из нескольких голосов: один поднимался густо, могуче, два других вились над первым нежно, как молодой хмель:

Отец сы-ну не пове-ерил,
Что на све-ете есть любовь...

Серьга Мята слез с койки, вышел из каюты. Дождь затих. Влажно, полной грудью дышала земля. Сумеречная река начала легонько дымиться. Осторожно шагая по скользкой палубе, Серьга Мята прошел в камбуз, закрыл дверь на крюк: ему хотелось одиночества.

...Смертники слушали песню солдат.

— Хорошо поют, гады,— сказал Бельский.

— Да, ловко выводят,— хрипя, подтвердил Долин.

В трюм врывалась сырая прохлада. Густо пахло гнилой соломой и плесенью. Сгущался сумрак.

Смертники сидели молча. В последние дни часто выводили на расстрел. Все крепко сжились с мыслью, что скоро погибнут, и теперь уже немногих пугала эта мысль. После тяжелых потерь, после многих страданий, опустошивших души, смертники готовы были на все. Даже Наташа Глухарева, лежавшая все последние дни в бреду, примолкла и уснула.

Слушая песню, Иван Бельский сидел, охватив колени руками. Как и все, он ясно сознавал, что смерти не миновать, но ему не хотелось умирать так глупо: покорно выйти на палубу, остановиться под дулами виштовок, опустив руки и закрыв глаза... Уже не рассчитывая особенно на успех, а только по привычке, он все еще пытался придумать какой-нибудь план освобождения с баржи.

Песня оборвалась.

— Иван,— позвал Долин немного погодя,— где ты? Что молчишь?

— Песню слушал.

— Иди-ка сюда.

Бельский подполз.

— Иван, нагнись ближе,— попросил Долин.— По секрету скажу. Вот так...

— Плохо?

— Плохо, брат,— с трудом выговорил Долин и бурно закашлял, с минуту вздрагивал, отплевывая кровь.— Нас не слышат? Просто невозможно, Иван. Креплюсь изо всех сил, а не могу. Точка.

— А ты крепись, крепись...

— Иван, слушай...— Долин схватил Бельского за руку, притянул к себе.— Вот перед смертью человек если... Его последняя просьба... должна... быть выполнена? Ага?

— Ну? — не понял Бельский.

— Когда почувствую, что умираю, попрошу тебя... Выполнишь?

— Чего ты городишь? Ну, вынолю, понятно... если... Вот нашел о чем говорить! Поживешь еще.

— Так... Помни, Иван, что дал слово,— твердо выговорил Долин.— А моя песенка спета. Нет, не спорь, я — большевик. Мы с тобой, как большевики, по душам можем говорить! Кха! Кха! У меня, брат, от легких одни обрывки остались! Все вот сюда выплевал. Меня сегодня не убьют, а завтра... кха!.. сам помру! Слышишь?

— Ложись на бок,— посоветовал Бельский.

— Все... равно...

— Легче на боку, тебе говорят!

— Нет, не бывает плечивому кудрявым,— продолжал Долин.— О себе я не думаю. Все передумано. Об одном я, Иван, жалею: мало я успел... сделать... Ой мало! — Он упал грудью на солому, долго кашлял. — Мало! И вот, понимаешь, хочется мне еще что-нибудь сделать... перед смертью...

— Да что ты сделаешь?

— В том-то и дело. Не могу придумать...

— Ты, Степа, брось думать. Довольно! И то, что сделал, хорошо,— тепло сказал Бельский, проникаясь к Долину каким-то особенным, родственным чувством.

Бельский отполз в сторону, пошарил в соломе, отыскал краюху хлеба. Она досталась ему неожиданно. В полдень, когда он носил воду в трюм, один рябоватый солдат (его называли Серьгой Мятгой) положил ему краюху в пустое ведро. Бельский ее спрятал, чтобы потом передать умирающему Степану Долину.

— Хлеб? — поразился Долин.— Откуда?

— Поешь, Степа, поешь немного.

— Хлеб, а? Батюшки, ржаной!..

Отдав хлеб, Бельский опять отполз на свое место, сел и, охватив колени, возвратился к прерванным мыслям. Что делать? Что придумать? Каждый день расстрелы. В трюме остается уже немного товарищей, еще две-три ночи — и все погибнут. И он погибнет...

В трюм совсем мало проникало звуков из мира. Иногда доносился, словно издалека, хохот солдат, хриплый голос буксира да чуть внятный шум дождя. Непогода все заглушала своей тяжестью и унынием.

Как и все смертники, Степан Долин не видел хлеба трое суток. Схватив краюху, он поднялся, с жадностью оторвал кусок, начал быстро, судорожно жевать. Но жевать хлеб — какое это, оказывается, трудное для него дело! В нем поднялась вся кровь! Надо глотать хлеб, а она душит, душит! Долин вдруг поперхнулся и закашлялся — резко, безудержно, захлебываясь кровью. Кашлял долго, бился в беспамьятстве на соломе, сгребал ее под себя. Успокоившись, обтер рукавом подрагивающие губы, нашел в соломе краюху хлеба и, отодвинув ее в сторону, подумал: «Зря это. Зря. Не нужно. Еще день-два...» Поднялся, пополз к соседу, потрогал за грудь.

— Возьми, дружба...— И отдал хлеб.

Сосед — это был партизан Самарцев — схватился за краюху нервно и, вдохнув хлебный запах, как-то враз обессилел. В последние дни он часто мечтал раздобыть хотя бы маленький... самый маленький кусочек хлеба! Ему все мерещилось, как мать вытаскивает из печи пышные караваи, а он, схватив лопоту, натирает его чесноком и ест, ест. А то видел, как меньшей братишка бросает куски хлеба своей любимой собаке Черне, да какие куски! В такие минуты Самарцева тошнило от голода. И вот чудо: в его руках целая краюха хлеба! Сдерживая слюну, он, почему-то крадучись, ушел со своего места ближе к борту, где не было смертников, пристроился там, раза два осторожно откусил от краюхи. И вдруг услышал тихий стон. «Кто-то хворый», — подумал Самарцев и неожиданно почувствовал себя неловко, спрятал краюху под полу пиджака, прислушался. Стон повторился. «Да, хворый», — подумал Самарцев и подполз к стоявшему.

— Это кто?

— Овражин... Кузьма.

— Что с тобой?

— Так, пустяки. В боку немного ломит.

— На вот, подкрепись, — поспешно сказал Самарцев, обрадованный тем, что может оказать услугу товарищу.

Кузьма Овражин взял хлеб, положил на грудь, ощупал. Хлеб был ржаной, хорошо пропеченный, с мягкой коркой, пахучий. Овражин не спеша, с наслаждением откусил один раз, другой, третий... И больше не мог. Откусить еще раз? Нет, нельзя... «Я ведь еще ничего, здоровый, — уверенно подумал Овражин. — А вот, скажем, Тимофей — он хуже меня». Он пополз к товарищу и тихонько предложил:

— Тимоха, поешь хлебца...

— Хлеб? Где взял?

— Кто-то подсунул, не знаю.

— А сам что же? — удивился Тимоха.

— Я ничего, потерплю.

— Потерпеть и я потерплю, — возразил Тимоха. — Не выкачать. Надо вон лучше Полозова подкормить. Он плохой...

Так и пошла краюха ржаного хлеба гулять по трюму из рук в руки. Беря хлеб, каждый почему-то начинал считать, что сосед слабее его и больше нуждается в поддержке. Краюха побывала у многих. Наконец попала к Гайману Зайнуллину, а тот, даже не отпробовав хлеба, подполз к Ивану Бельскому, потрогал за плечо.

— Ипташ!¹ — Бельский не отвечал, и Гайман потряс его за плечо сильнее. — Товарищ, спал?

— Задумался.

— Бери, ашай!²...

¹ И п т а ш — товарищ.

² А ш а й — ешь.

С минуту Иван Бельский удивленно вертел в руках кусок хлеба, а внезапно поняв все, порывисто прижал его к груди: обкусанный десятками голодных людей, хлеб был теплый и влажный...

Потерянно, словно заблудившись на вечерней реке, заревел буксир. По палубе баржи забегали солдаты. Грохоча цепью, якорь бухнул в воду, и вскоре на палубе вновь затихло. Но трюм ожил: смертники зашевелились, зашуршали соломой.

— Стоим,— сказал кто-то со вздохом.

Остановилась баржа ниже Кубаса, в глухом месте: берега здесь невысокие, сплошь затянутые густыми зарослями, селения далеко, за поймой. Плыл вечер — тяжелый, сумрачный. Смутно мерцали огни буксира. Река густо дымилась.

Вскоре к люку подошли солдаты с винтовками. Холодно брякнули ключи. Степан Долин потянулся к Бельскому:

— Опять...

— Молчи!

Захар Ягуков открыл люк, нагнулся, спросил:

— Спите?

Никто не отвечал.

— Ранепько улеглись,— насмешливо протянул Ягуков.— Пойдете, голубчики, досыпать на тот свет. Слышите? А ну, выходи по фамилиям... Гайнан Зайнуллин! Эй ты, татарчонок! Слышишь или уши заложило?

По трюму пополз шепот: смертники торопливо прощались, ободряли друг друга...

К лестнице прошел Гайнан. Остановился на первой ступеньке, простодушно спросил:

— Зачем звал?

— Пойдешь к аллаху в гости, сосунок!

— Не пойду! — отрезал Гайнан.

— Ага, испугался! — злорадно зашипел Ягуков.

— Иди, Гайнан! Иди! — раздались голоса из темноты.

— Он сейчас заплачет! — издевался Ягуков.— Большевик, солены уши! Про ле-та-рия!

— Замолчи, собака! — обозлился Гайнан.— Я не буду плакать. Ты будешь плакать. Вот я!

Вторым вызвали Евсея Лузгина, крестьянина из-под Лаишева, солдата-фронтовика. Он был слаб, плохо держался на ногах. Кто-то из смертников, схватив его под руку, помог подняться по лестнице. Выходя из люка, Лузгин твердо выговорил:

— Спасибо. Здесь сам пойду.

Лузгина и Гайнана повесили.

Опять раздались шаги, опять открылся люк.

— Самарцев, выходи! Приготовиться Зотову!

Иван Бельский сидел, стиснув до боли челюсти. Люк то открывали, то захлопывали. В суровом молчании, лишь изредка бросая прощальные слова, выходили из трюма смертники. С кормы доносились выстрелы, брань, крики. Бельский закрыл ладо-

нями уши: ему казалось, что не только на барже, но и по всей реке, по всей пойме ширится и крепнет гул выстрелов и человеческих голосов...

— Приготовиться Чугунову!

— Бельский, тебя зовут!

Точно электрическим током ударило в тело. Не вставая, Бельский зачем-то стал снимать пиджак, но вдруг Степан Долин схватил его за плечо, свалил на солому и зашипел, хрипя и задыхаясь:

— Иван, лежи тихо, лежи!

— Пусти, ты что?

— Лежи, Иван! — хрипел Долин. — Я пойду.

— С ума спятил? Да ты что?

— Молчи! — Напрягая последние силы, Долин павалился своей грудью на грудь Бельского. — Иван, ты, может, спасешься еще... Дай мне умереть хорошо! Дай мне хоть своей смертью... Это моя последняя просьба. Ты дал слово...

— Ну, долго там? — долетело из люка.

— Степан, пусти! — вырывался Бельский.

— Иван! — закричал, сдерживая голос и стон, Степан Долин. — От всей... партии... приказываю! Слышишь?

Он поднялся и быстро пошел к люку.

— Опять канитель? — заорал Ягуков.

— Иду! — крикнул Долин.

Иван Бельский бросился вслед за Долиным, но у лестницы почему-то столпилось много смертников, и он не успел вовремя протолкаться. Долин поднялся на палубу, и люк захлопнули. Все же Бельский поднялся по лестнице, начал бить кулаками в крышку люка, но солдаты уже были далеко.

...Степана Долина повели на корму. На ходу он застегнул пиджак на все пуговицы, оправил руками волосы, потуже натянул картуз. На корме к нему подошел Ягуков, заломил руки назад, связал их бечевою, и Долина оставили в покое. Солдаты толпились позади, о чем-то тихонько разговаривали. «Здорово затуманило», — подумал Долин, осматривая реку. К нему подошла черная лохматая собака, осторожно понюхала сапоги, подняла острую морду, глаза ее светились зеленым светом... Долину вспомнился случай из детства. Однажды он пошел на реку — дело было в конце марта — и видит: около проруби ползает и повизгивает маленький черный щенок. Должно быть, кто-то утопил щенят в проруби, а этот случайно спасся. Степан схватил щенка, положил себе за пазуху, принес домой, отогрел, стал пить молоком. «Себе нет молока, а он щенят собирает да поит!» — ворчала мать и шлепала щенка, а Степан утешал его и сам плакал...

Подошел кто-то с фонарем. Долин быстро всмотрелся — и ахнул от изумления: перед ним стоял Сергей Мята, дальний родственник, проживавший верст за двадцать от Еловки.

— Это ты? — тихонько спросил Долин. — Ты?

— Обожди-ка... стой...— смутился Серьга Мята.
— Служишь? Своих убиваешь?
Рядом неожиданно оказался поручик Бологов.
— Замолчать! Без разговоров!
Долина подвели к борту.
— Большевик? — спросил Бологов.
— Конечно.
— Хм, «конечно», — усмехнулся Бологов. — Пристрелить!
Путаюсь в полах шинели, подбежал Серьга Мята:
— Ваше благородие, обождите!..
— В чем дело?
— Ваше благородие, здесь ошибка...— заторопился Серьга Мята.— Это не Чугунов.
— Как не Чугунов?
— Нет... нет... Я его знаю. Это Степан Долин, из Еловки.
Бологов подошел ближе к Долину:
— Долин? Да? За друга вышел?
— Бей, тебе все равно!
— У, сволочь! — Бологов размахнулся и ударил Долина по уху. Тот откинулся, поскользнулся, сорвался за борт.— Подлец! — Поручик задыхался.— Утонет?
— Так точно. Руки связаны.
Через минуту Захар Ягуков зашел к поручику в каюту. Ошеломленный происшедшим, Бологов сидел и, стиснув зубы, перочинным ножом ковырял стол. Ягуков осторожно спросил:
— Господин поручик, вызывать?
— Стой, Захар! За кого он вышел?
— За Чугунова, ваше благородие!
— Это тот, которого не было в списках?
— Так точно.
— Ишь ты, друг... Хлопнуть его! Сейчас же!
Козырнув, Ягуков вышел из каюты.
...Иван Бельский не ушел с лестницы, и здесь — совершенно неожиданно — у него родился новый план. Правда, выполнив его, нельзя было рассчитывать на освобождение, но все же смертники могли прожить еще несколько дней. А там — что будет! И Бельский, поднявшись, негромко крикнул:
— Товарищи, сюда!
Только успел Бельский поведать смертникам свой план, к люку подошли солдаты. Бельский предупредил друзей:
— Тише! Все делаю я.
Люк открыли:
— Чугунов!
Из трюма кто-то ответил:
— Он хворый, не может идти.
— Пусть на карачках ползет, сволочь! Ну?
В трюме — тишина.
— Я сейчас,— слабым голосом отозвался Бельский.
Он стал медленно карабкаться по лестнице: часто останавли-

вался, отдышал, охал... На него кричали. Один солдат, не вытерпев, спустился в люк, переклещнул в левую руку винтовку, а правой начал нащупывать Бельского, чтобы поднять его за ворот. Но в тот же момент Бельский схватил солдата за ноги, дернул, и они вместе покатались вниз по лестнице. Со всех сторон к ним бросились с криками смертники. Они потащили солдата в глубину трюма, а Бельский, щелкнув затвором винтовки, закричал тем, что металась у люка:

— А ну, гады, кто следующий? — В азарте он кинулся на лестницу, но люк быстро захлопнули, и звонко тренькнула пружина замка. Бельский злобно тряхнул винтовкой: — Попробуйте теперь! Суньтесь, гады!

Через минуту обо всем узнал поручик Бологов. Побледнев, он вскочил, выхватил наган, но не смог даже закричать на солдат. Держа в руке наган, прошелся по каюте, остановился у стола, заговорил тихонько:

— Так. Нализались. Залили глаза.— Голова его вздрагивала.— Под суд! Всех!

Захар Ягуков поднял глаза, думая заговорить. Бологов вдруг крикнул, как хлестнул бичом:

— Молчать! — И стал прятать наган. — Что ж, пусть подыкают с голоду.

XX

Солдаты, помрачнев, разбрелись по каютам.

Серьга Мята, как совершенно трезвый, был назначен часовым. Он вышел на палубу, неторопливо обошел каюты, стараясь не смотреть на виселицу, сел на груды березовых дров, сложенных на корме, поднял воротник шинели... Туман качался над рекой, заливал мелькавшие неподалеку огни бакенов, поднимался все выше и выше. На реке становилось непривычно глухо и душно.

Серьга Мята вытащил кисет, начал было свертывать цигарку, но вдруг услышал знакомый хриловатый голос: «Служишь? Своих убиваешь?»

Испуганно оглянулся. На барже — никого. «Почудилось», — подумал Серьга Мята, встал, опять зашагал вокруг кают. Туман поднялся такой, что все окружавшее баржу потерялось из виду. Даже буксира, стоявшего совсем близко, не видно было — чуть пробивались во мгле его сигнальные огни. Казалось, все, что было твердым и прочным, по чьей-то злой воле потеряло свои формы, растворилось в душевной мгле — весь мир стал зыбким, текучим...

«Ну, затуманило!»

Серьга Мята опять сел на дрова. Закурил. И снова над ухом хриплый шепот: «Своих убиваешь?»

Серьга вскочил, пошел к борту...

Лодка отошла от берега. Небольшая избушка бакенщика, полосатый столб со свисающими квадратами и кружками, озябший куст белотала быстро померкли в тумане. Смолов и Воронцов усердно палегали на весла, за кормой хлопала потревоженная вода. Мишка Мамай сидел на носу лодки и смотрел вперед.

— Не уйдет?

— Куда она уйдет? — ответил Камышлов. — При таком-то тумане?

Отстав от каравана барж близ Гремячки, партизаны передпевали у знакомого бакенщика и вечером видели, как мимо прошла баржа с виселицей. Вскоре над рекой стал подниматься туман. Было ясно: баржа где-нибудь поблизости встанет на якорь. За дорогу партизаны вдоволь наговорились о плане налета, все обдумали до мелочей. Теперь плыли молча, осторожно. Сырой туман, сливаясь с водой, поглощал все, что было вокруг.

Плыли долго, и все продрогли. Вдруг лодка ударилась правым бортом об уступистый берег, забороздила, сшибая комья земли, накренилась, зачерпнула воды.

— Ну ночь! — проворчал Василий Тихоныч.

— Тихо! Огни! — приглушенно крикнул Мамай.

— Где? Где?

— Это она. Разувайтесь.

Гребцы закинули весла в лодку; ее медленно сносило течением. Все напряженно всматривались в туман, стараясь определить, далеко ли до баржи, над которой чуть заметно мерцал в тумане огонек. Мишка Мамай ощупал в кармане папаи, стал снимать лапти. Смолов, Воронцов и Камышлов тоже быстро сбросили лапти, осмотрели оружие. Но Змейкин все еще сидел неподвижно, поглядывая на приближающиеся огни буксира и баржи.

— Ну а ты что же? — спросил Мамай.

— Я? Я сейчас...

Но Змейкин так суматошно искал что-то в лодке и отвечал таким тоном, что Мамай понял: он ничего не ищет, а только оттягивает время.

— Что же ты? Испугался?

— Не о том разговор, — ответил Змейкин, бросив обшаривать дно. — А все же, правду сказать, мудрое дело.

— Брось! Наверняка возьмем!

— Наверняка только обухом бьют, да и то промах дают.

— Тюха ты!

— Не тюха, а...

— Ты... что же, а? — медленно, сухим голосом сказал Мамай. — Хочешь, ссадим? Хочешь? — Он так стиснул руку Змейкина выше локтя, что тот с ужасом откинулся к борту. — Понял?

Партизаны зацыкали:

— Тише вы, нашли время...

Сжимая в руке нагац, Мишка Мамай цервно подрагивал — скажи Змейкин еще слово, и он бы выбросил его за борт.

Лодка двигалась бесшумно. Сигнальные огни буксира и баржи, казалось, не приближались, а только едва заметно поднялись выше.

Туман обманул: силуэт буксира внезапно поднялся перед лодкой. Мамай вскинул руку:

— Стоп!

Время было позднее — за полночь. Буксир, окутанный туманом, спал. Лодка неслышно прошла мимо. Партизаны сидели затаив дыхание. Могло показаться, что по реке плывет не лодка с людьми, а большая суковатая коряга. Грести нельзя: часовой услышит скрип уключин и плеск воды. Остановиться тоже нельзя — течение несет. Минута приближения к смутно маячившей барже казалась бесконечной.

Василий Тихонич показал подлинное мастерство старого речника: лодка беззвучно и точно подошла к барже. Мишка Мамай ловко схватился за лесенку, висевшую у борта над самой водой. Причалили. Стали слушать. На барже было спокойно. В густом тумане медленно таял огонек сигнального фонаря, тускло освещающая виселицу с двумя повешенными.

— Иду! — шепнул Мамай.

Осторожно снял пиджак и фуражку, положил на дно лодки. Держа в руке нагац, поднялся по лесенке и, переждав минуту, выглянул на палубу.

Пустота. Тишина. Туман.

Каждое мгновение Мамай ждал шороха на барже, но он не боялся встречи и схватки с часовым. Он был уверен: сейчас именно часовой должен испугаться от неожиданности. А пока перепуганный солдат соберется выстрелить, он, Мамай, многое успеет сделать. Но часовой не показывался. Мамай легонько кашлянул. Тихо. Часовой медлил. «Вот тварь! — выругался про себя Мамай. — Спит или... Все равно надо идти». Вскочив на отсыревшую палубу, Мамай несколько секунд стоял неподвижно, потом, пригибаясь и высматривая, мягким звериным шагом направился прямо к каютам, готовый при малейшем шорохе сделать резкий прыжок вперед.

Быстро обошел каюты.

— Спят, мерзавцы! — Мамай прошептал это с таким выражением, будто и в самом деле сожалел, что на барже не оказалось часового.

Остановился у дверей одной каюты, послушал — там сонно храпели солдаты. Взмахнул рукой. Смолов, наблюдавший за Мамаем, проворно выскочил на палубу, за ним остальные партизаны. Василий Тихонич остался в лодке и, словно ожидая бури, потуже натянул картуз на взмокшие волосы.

Взяв у Смолова небольшой ломик, Мамай, пробежав на корму, нашел люк, опустился около него на колени, осмотрелся:

всюду белесая, неподвижная, непроницаемая муть. Торопливо ощупал тяжелый замок.

«Ну заковали!..»

Откинув мокрые волосы со лба, Мамай попытался поддеть ломиком накладку. Попробовал с одной стороны, с другой — нет, не подденешь. За одну минуту Мамай взмок и, устало, бесцельно глядя на туман, отложил ломик в сторону.

«Что же делать?»

На миг Мамай увидел картину ночного трюма: в темноте — тяжкие вздохи и стоны, хруст соломы, бессвязные, бредовые слова...

За бортом глухо всплеснулась вода. Мамай встрепенулся: «Белуга, будь она проклята!» И вдруг вспомнил: рядом, на стене каюты, развешаны пожарные инструменты. В Мамае все затрепетало от радости.

Топор нашел быстро. Кое-как поддел накладку и, торопясь, сильно рванул за топорнице — гвозди взвизгнули так, что Мамае будто прожгло с ног до головы.

Откуда-то с лаем вырвалась собака. Мамай вскочил, пинком подбросил ее на воздух...

Враз ожили каюты, заскрипели двери, раздались крики солдат, послышались выстрелы...

Испортил все дело Змейкин. Он струсил и, крича, шмыгнул с палубы в лодку. Из дверей каюты, у которой стоял на карауле Змейкин, вырвались солдаты. Они налетели на Смолова и сшибли его с ног. Смолову удалось все же каким-то чудом выскользнуть из груды тел и отскочить к борту. Услышав крики в лодке и решив, что друзья ждут только его, он стал спускаться по лесенке. Тем временем на палубе все еще катался храпящий и стонущий клубок: солдаты думали, что бьют Смолова, а били своего — водолива Мухина, который, в отличие от других, был не в белье, а в синей куртке.

Мишка Мамай метался по корме. Мимо шла в тумане лодка, с нее кричали:

— Мишка! Прыгай!

Внезапно выскочив из-за каюты, Захар Ягуков ударил Мамае, вышиб из его рук наган. Мамай и Ягуков схватились и, тяжело урча, стали кататься по палубе. Ягуков был необычайно ловкий и сильный, он подмял Мамае и норовил схватить за горло.

— Не души, гад! — отбивался Мамай.

— Сюда-а! Сюда! — кричали с лодки.

По бортам баржи с криками понеслись на корму солдаты. Кто-то вопил:

— Держи! Захар! Держи!

Улучив момент, Мамай ловко перебросил через себя Захара Ягукова, но тот опять вцепился, повизгивая от бешенства, и они покатались, покатались и свалились за борт. Солдаты выскочили к корме, но было поздно. Они ругались, но не стреляли — боялись убить Захара Ягукова, которого вместе с Мамаем река нес-

ла в туман, в ночь. Ягуков захлебывался, кричал. Солдаты хотели подобрать его с лодки, но лодки на барже не оказалось.

— А Мята где? — вспомнил Погорельцев.

— Убежал, видно, подлец!

— Бросай круги! Бросай, а то утонет!

В воду полетели спасательные круги.

Сильными рывками Мамай метнулся по течению. Из тумана до него донеслось:

— Ми-ишка-а!

Мамай не понял, откуда долетел крик, но ответил:

— А-о-о!

Отплыв больше сотни метров, Мамай опять услышал, что его зовут. Ему показалось, что крик долетел с левой стороны. Круто повернув, Мишка ударился наперез течению. Греб сильно, вырываясь по грудь из воды, плыл долго, думая, что вот-вот окажется у лодки, и вдруг снова услышал крик, на этот раз отчетливо, с правой стороны... «Тьфу, дьявольщина!» Мамай повернул обратно, но правую ногу внезапно начали сводить судороги...

Безмолвно стоял туман.

XXII

Едва держась на воде, Мамай поймал что-то легкое и скользкое и сразу догадался — спасательный круг. Вскоре Мишку, усталого и продрогшего, подобрали товарищи, уложили на дно лодки, закутали сухой одеждой. Стиснув челюсти, Мамай судорожно вздрагивал.

Обескураженные неудачей, партизаны спустились километра три по течению и случайно попали из реки в небольшую протоку. Остановились на острове и, собирая по кустарникам хворост, натолкнулись на стожок сена. Разгребли его, закутали Мамай. После дождей промокший стожок источал душевное тепло. Мамай быстро согрелся и крепко уснул.

Проснулся Мамай, когда было уже утро. Небо, как и вчера, было покрыто серой изволочью, но стояло выше над землей. Нельзя было понять: поднялось или нет солнце. Низовой ветер порывисто трепал мокрые тальники.

Стожок сена, где спал Мишка Мамай, был отделен от реки неширокой подосой кустарника. Поднимаясь, Мамай увидел, что мимо стожка вьется пышный хвост дыма: рядом под ветлами товарищи разложили костер. Отец, ломая пересохший за лето валежник, говорил:

— Как из прорвы несет! Как из прорвы!

— Что бы это значило? — мягким баском спросил Воронцов.

— Не придумаю.

Мамай вылез из стожка, подошел к огню. Его картуз, пиджак и лапти были облеплены былинками и сгнившей цветочной трухой.

— Жив? — спросил отец. — Садись, грейся.

Ветер стряхнул с ветел зернистую капель.

— А ребята где?

— За дровами пошли, — ответил Воронцов, растягивая над огнем штаны.

— Да, непогодит.

Костер вилял хвостом, над головами летели мертвые листья.

— О чем вы тут толковали? — спросил Мамай.

Василий Тихоныч показал на реку:

— Воц, как из прорвы!

— Кто?

— Да пароходы, баржи. Только чуток развиднело, разнесло туман, они и повалили. Все вверх идут. Да вон опять! А этой... нашей баржи... не видать что-то...

За кустами медленно двигались шпили мачт буксира и барж. Мамай подошел к берегу, присмотрелся. Мощный буксир тянул две баржи, вздыхая размеренно и тяжело, откидывая от бортов зеленовато-пепельные гребни. На палубах барж скученно сидели люди в серых шинелях, ежась от сырого ветра.

Мамай вернулся к огню.

— Что за диво? Куда это они идут?

— Дьявол их поймет!

В кустах послышался хруст. Пролетавшая над поляной ворона взмыла, растерянно захлопав крыльями. Из кустов вышли с вязанками хвороста Смолов, Камышлов и Змейкин; рядом с ними шел незнакомый человек в грязной шинели и фуражке, с винтовкой.

Смолов крикнул:

— Вот он где, часовой! Видал?

Мамай вскопил: партизаны вели рябого солдата с баржи, который порол его розгами. Раздувая ноздри, Мамай несколько секунд жег солдата горячим взглядом. Рябое лицо Серьги Мята со вздернутой верхней губой то подергивалось, то расплывалось в растерянной улыбке.

— Помнишь меня? — глухо спросил Мамай.

— Помню, помню, как же...

Шагнув навстречу, Мамай вырвал у Мята винтовку и злобно крикнул:

— Беги! Беги, гад!

Партизаны заматались вокруг.

— Мишка, стой!

— Не дури!

Схватив оцепеневшего Мята за ворот шинели, Мамай толкнул его с такой силой, что тот летел несколько метров, ломая посохшие кусты смородины. Отбросив партизан, Мамай щелкнул затвором винтовки, но, вспомнив что-то, не поднял ее.

Серьга Мята исцарапал о кусты лицо. Вытирая рукавом кровь на щеке, испуганно взглянул на подхлывшего Мамай.

— Убей... Все равно...

— Покарябался? — Мамай присел рядом на корточки. — Селба еще сотри. Вот тут.

— Все равно мне...

— Вставай, мне надо поговорить с тобой. — Взяв под руку, Мамай поднял Серьгу: — Скажи: Глухареву знаешь? Наташу?

— Глухареву? Знаю.

— Она... там еще? Жива?

— Она еще жива.

— Жива? Ты точно знаешь? — Глаза Мишки засверкали. — Пойдем к огню, пойдем. Озяб? Пойдем. Ты что же, убежал с баржи?

— Не сразу скажешь... — Серьга Мята все еще боялся расправы, говорил сбивчиво: — Сегодня ночью меня поставили, а я погодил немного, да и айда! А к реке непривычный, в тумане боязно плыть...

Подошли к костру.

— Садись к огню, грейся.

— Ну, прибился к берегу, — Мята оглянулся, — вот тут где-то. Податься не знаю куда — места чужие, туман. Утром дымок ваш увидел. Дай, думаю, пойду. Вот и паткнулся на них.

Партизаны засмеялись:

— А испугался как?

— Испугаешься... Места чужие...

— Почему же убежал?

— Чудной ты... — Мята отвернулся, по-детски шмыгнул носом. — Думаешь, когда тебя порол, — простое это дело? Ты не кричал, а я... Вот, брат... Лучше ты меня не спрашивай, не мути душу.

Из носика чайника забилась кипяток. Потревоженный, недовольно заворчал огонь. Василий Тихонич снял с тагана чайник, бросил в него щепоть листьев ежевики, rozdal партизанам кружки, каждому отрезал но большому ломтю хлеба. Потом взглянул на сына и отрезал еще ломоть.

— Эй ты... как тебя? — сказал он Мяте, который в это время сидел, нарочно отвернувшись к огню. — Чего же ты чай не садишься пить? У нас без приглашений. Бери вот хлеб, а чайку из одной кружки поъем...

— Из одной... — Мята всхлипнул.

После чая Мишка Мамай прилег у костра на охалку сена. День разгуливался. На серо-грязном небосводе появились большие голубые проталины. За седыми облаками пробивалось в вышину солнце. Посветлело и затихло. Ветлы и осокори, обмывшись в тумане, стояли бодро, ласково ощупывая воздух тонко позолоченными листьями.

На реке с небольшим промежутком пронеслось два гудка: один — низкий, бархатный, другой — с визгом. Вероятно, пассажирский пароход обгонял караван барж.

— Куда же теперь? До дому? — спросил Мамай Мяту.

— Домой не хочу. Не прогоните — с вами пойду, — тихо и раздельно ответил Серьга Мята. — Бил я тебя, здорово бил, сейчас, поди, знаки есть...

— Есть, — подтвердил Мамай.

— Так бей меня! Бей! Мне легче будет. А гнать — не гони.

— Виноват — накажут те, которые к этому делу приставлены!

— Нет, ты покажи! — настаивал Мята.

Мамай уже не чувствовал неприязни к Серьге Мяте. Погорячился, и вся обида уже рассеялась, как ветром разогнанный туман. Он опять думал о Наташе.

— Нет, не желаю! — ответил он Мяте.

Из-за облака опять выглянуло солнце. Весело вспыхнули перелески. На рибине, что стояла недалеко от стожка, пиликнула птичка — вылетела поклевать кисленьких ягод.

Серьга Мята спросил тревожно:

— А не прогоните?

— Оставайся, куда ж тебя...

— Тогда отдайте мне... винтовку мою, — попросил Мята.

— Бери.

— А она мне... винтовка, значит... — Мята взял винтовку, повертел в дрожащих руках и закончил совсем тихо: — А лучше бы ты убил меня, а?

Коротко, словно забывшись, на реке крикнул буксир.

— Не с баржей ли?

Мамай бросился к берегу, раскидывая кусты.

Вверх быстро прошел буксир с пушками на носу и корме. На берег с разлету, встряхивая седоватые чубы, начали выкатываться волны. Потом, обессилев, они поиграли на мели и мирно улеглись.

Мамай вернулся к потухшему костру.

— Все вверх идут. Где же наша-то баржа?

XXIII

Неудача смутила партизан, они готовы были вернуться в родные места, но неутомимый Мишка Мамай предложил новый план — обстрелять баржу с берега. Подходя то к одному, то к другому партизану, он настойчиво говорил:

— Сбегут! Я знаю!

Партизаны молчали.

Серьга Мята рассказал обо всем, что произошло на барже в последнюю ночь. Узнав, что Бологов собирается погубить заключенных голодной смертью, Мамай пришел в бешенство:

— Вы думаете... А они там...

Василий Тихонич рассудительно сказал:

— Вот что, ребята. В игре и то до трех раз счастье пытаются. А у нас не игра. Вот и судите сами.

И партизаны согласились.

Баржа не показывалась на реке. Мишка Мамай то и дело пытал отца:

— Ты ее утром-то не проглядел?

— Да нет, тебе говорят!

— А куда же она делась?

— Шут ее знает. Как в воду канула!

Серьга Мята уверял, что баржа по распоряжению капитана Нея обязательно должна пойти в Богородск. Почему она задержалась на остановке, непонятно было. Мамай не вытерпел — переехал на лодке протоку и прошел по берегу до той излучины, где стояла ночью баржа. Вернулся назад злой. Еще с другого берега протоки крикнул:

— Ищи-свищи! Проворонили!

Решили немедленно отправиться в путь. Чтобы избежать встречи с судами белых и сократить путь, поплыли протокой Шанталой — она выходила в Каму против Рыбной Слободы (в тот год по Шантале еще плавали; сейчас она обмелела и местами пересохла). В протоке стоял осенний покой. По берегам, собравшись в кружки, мирно шептались осоки. Иногда, словно девки в нарядных сарафанах, проходили по берегу пышные рябины. С обрывов над омутами свисали колючие плети ежевики, роняя переспевшие сине-дымчатые ягоды. Несколько раз на отмелях встречались утиные стайки. Увидев людей, они взлетали, шумно плеща, и со свистом пронеслись над поймой.

К выходу из Шанталы добрались под вечер. Здесь пришлось остановиться. К левому берегу, против Рыбной Слободы, подошло стадо коров. Навстречу шумными толпами побежали женщины и девушки, брякая подойниками. Потом начали возвращаться с молоком: от берега к селу пошли десятки лодок. Только когда очистилось и затихло плесо, партизаны выплыли из Шанталы и, миновав село, вышли на стрежень.

XXIV

Захар Ягуков утонул.

После налета на «барже смерти» потушили сигнальный огонь. До рассвета в каютах не затихали взволнованные, приглушенные голоса.

Медленно, немощно поднимался день. Тихо выступали из тумана далекие, покатые косогоры с хохолками лесков, с раскиданными по лугам шапками стогов. Встреч течению набегали небольшие, неокрепшие волны. Вверх пронеслись, вспенивая воду, пассажирские пароходы, тянулись караваны барж, с гулким рокотом пролетали зеленые, как жуки, катера. Несколько раз солдаты с баржи спрашивали в рупор:

— Куда идете?

Никто не отвечал. Суда шли торопливо и угрюмо.

Хотели было поднимать якоря — к барже с разбегу подлетел голубой катер. Накинув шинель на плечи, Бологов вышел к борту. От бессонницы его глаза светились тускло.

По лесенке на палубу взбирался, покряхтывая, маленький и пухлый человек в офицерской шинели.

— А-а, капитан Ней... Дайте руку.

— Тихо гребетесь вы, — сказал Ней, вылезая на палубу.

— С приключениями.

— Серьезные?

— Не особенно, — неохотно отвечал Бологов, отворачиваясь от ветра. — Вы откуда сейчас?

— Из Казани. Ташусь вот...

Прошли в каюту. Капитан Ней расстегнул шинель, остановился у окна и начал протирать платком стекла пюнсве. Потом не спеша посадил его на короткий нос. Лицо капитана сразу изменилось — усталость и озабоченность проступили в каждой морщинке. Как и всегда, он осторожно, словно бусы на нитку, наизывал слова:

— Из Казани. Да. Вы, конечно, пойдете теперь обратно?

— Зачем обратно? — удивился Бологов.

— Странно. Последнюю новость не знаете?

— Не осведомлен.

— Так слушайте. Мои предположения сбылись. Печально, но факт: мы отступаем.

— Не может быть! — вскрикнул Бологов.

Ней устало прищурился.

— Не может этого быть, — растерянно повторил Бологов.

— Наивный вы человек, как я погляжу. — Ней закурил, хлопнул крышкой серебряного портсигара. — Не обижайтесь. Если хотите слушать, могу поделиться новостями. Угодно? Так вот: доблестные спасители родины бегут, поджав хвосты. Красные, как оказалось, борются не только силой, но и умением. Под Казанью была чрезвычайно сложная ситуация. Посмотрите. Казань — наша... — Ней достал из кармана блокнот и начал чертить. — Верхний Услоп — важный стратегический пункт, господствующий над Казанью и Волгой, — наш. Там сильная артиллерия. На левобережье, под Казанью, — наши войска. И что же? Красные разбили нас! Да как блестяще! Вся дорога от Казани до Лаишева запружена нашими войсками.

Ней презрительно посмотрел в окно. Волны неустанно катились по реке, плескались о борт баржи.

— Не допускаю мысли, что это непоправимо, — сказал Бологов. — Наши смогут удержаться, должны удержаться!

— Советую вам, Николай Валерианович, перейти в штаб, — иронически протянул Ней. — Там нужны такие люди, особенно сейчас. Вы могли бы хорошо сочинять оперативные сводки. Да, мы можем удержаться, но, вероятно, только на рубеже Урала. И то при одном условии — если сейчас же будут приняты реше-

тельные меры. Зиму мы не должны и носа показывать из-за гор. Нужно собрать войска, обучить их, одеть и обуть, палатить снабжение, трезво разработать новый план похода — и тогда двигаться. Все остальные планы — сплошная комедия на провинциальной сцене.

Бологов нервно зашагал по каюте.

— Арпольд Юрьевич! Дорогой! Неужели эта кучка бездарной черни растерзает Россию? Неужели?

— Кучка бездарной черни? — едко усмехнулся Ней, не меняя позы. — Советую вам изменить мнение о большевиках. Уверю, это уже не модно. Не хотите? В таком случае вам, дорогой мой, трудно будет понять причины наших нынешних и, возможно, будущих поражений. Жаль. Между прочим, откуда вы взяли, что большевики хотят растерзать Россию? А?

— Все философствуете... — обиженно буркнул Бологов.

— Извините. — Ней опять посмотрел в окно, на шумный разлив тальников, о чем-то думая. — Так вот, заворачивайте обратно. И как можно скорее. У вас все в порядке? Какие были приключения?

— Пустяки, все в порядке. — Бологов решил не рассказывать о налете прошлой ночью: боялся, что Ней получит повод для новых злобных рассуждений.

— Могу дать один совет. — Ней подошел к поручику, заговорил тихо: — Сейчас на реке плавать опасно. Если будут затруднения — бросайте баржу.

— Никогда!

— Дело ваше. Итак, всего хорошего!

Голубой катер ушел.

Несколько минут Бологов сидел у стола, сокрушенно подперев голову рукой. Глаза были тупые, влажные. Отчулся он от стука в дверь. Пришел капитан буксира Сухов, толстый седоватый человек, с лицом, сложенным в грубые складки.

— Ах, да! — Бологов поднялся. — Идем, капитан, обратно. Немедленно!

— Как обратно? Надо в Богородск. Нет мазута.

— Мазута там не получите.

— Господин поручик! — скрипуче, недружелюбно сказал Сухов. — А как же без мазута? Не подмажешь — не поедешь. Давно известно.

— Заворачивайте немедленно! — отрезал Бологов. — Слышите? Больше я не намерен рассуждать. Моя команда перейдет на буксир.

— На буксир?

— Так надо.

— Хм, как же без мазута?

— Слушайте, уважаемый человеке... — заговорил Бологов. — Мне тяжелее, чем вам без мазута. В Богородске — красные.

— Красные? Да-а, вон что!

Сухов вышел, вздыхая.

Подняли якоря. Против течения маленький буксир шел очень тихо, содрогался, густо дымил. Лавина реки неслась могуче, сжимаемая его грудь и обдавая пылью брызг. Берега медленно подвигались навстречу.

Река казалась Бологову неприветливой. Тяжелый плеск воды, тоскливый шелест белотала, горестный крик отставшей от подруг чайки нагоняли тоску.

Ночью остро почувствовалось одиночество. Баржу никто уже не обгонял, и Бологов понял: они отстали и шли последними по угрюмой реке. Буксир дрожал, взрывал воду, но казалось, что он стоит на месте, не осиливая стремнины. Берега отошли и спрятались во тьме, небо было тяжелое и чужое, огни бакепов мигали зловеще. Влажный и липкий мрак, окутавший землю, приводил Бологова в трепет. Чудилось, что стоит только неудачно повернуть штурвальное колесо — и буксир с баржей окажутся среди этого дикого хаоса почти, из которого нет путей-дорог.

Бесцельно и потерянно бродил Бологов по палубе, останавливался на корме. Под колесами буксира шумела и бушевала черная, как деготь, вода. Низко над землей стояли крупные звезды.

Подошел капитан Сухов.

— Не спите?

— Не до сна.

— Да, да. Неприятно, — холодновато посочувствовал Сухов. — А наши дела, господин поручик, как хотите, никудашные. Швах дело!

— Шуруй, шуруй!

— Да как шуровать? Мазута не остается губы помазать!

— Шуруй! Смотри, несдобровать и тебе!

Безбрежна и враждебна была ночь. Одна звезда сорвалась, покатилась, оставляя во мраке горячий след. Бологов устало махнул рукой и пошел в каюту; чувство потерянности все возрастало и возрастало...

XXV

Ночью возле Мурзихи произошла неожиданная встреча. Из-за мыса вынырнуло странное, невиданное прежде на Каме судно — длинное, остроносое, быстроходное. Судно шло без огней.

— Миноносец! — ахнул Смолов.

Миноносец сразу оказался рядом с лодкой, замедлил ход, и с него закричали:

— Кто такие? Откуда?

— Рыбаки! — ответил Мамай.

На миноносце захохотали.

— Белую или красную рыбу ловите?
— Какая попадетя!
— Так. А ну, иди к борту!
— Это зачем?
— Иди без разговора!
— Вот когда зацепили, — испуганно прошептал Василий Тихонич.

Оставив в лодке оружие, партизаны поднялись на миноносец. Их провели в каюту командира.

Закинув остриженную угловатую голову, командир важно развалился в плетеном камышовом кресле. Он был в форме лейтенанта. Небрежно отряхивая папироску над пепельницей из серого мрамора, он спросил:

— Куда едете?

Смолов, стоявший впереди, ответил, смотря прямо:

— К Лаишеву.

— Большевики? Партизаны?

Смолов понимал, как теперь ни вилай — не увильнешь. В лодке будет найдено оружие и...

— Да, большевики.

Лейтенант вскочил. Он хотел что-то сказать Смолову, но вдруг увидел позади других Мишку Мамаю (тот стоял, опустив тяжелые от злобы глаза) и бросился к нему, заорал:

— Га-а, братишка! Откуда? Как?

Кровь ударила Мишке в лицо. Теперь он узнал: это был тот самый матрос-большевик, которого он отпустил за песни.

Матрос растолкал партизан, схватил Мамаю за руки:

— Откуда, а? Не узнал?

— Дурак ты! Напугал как!

От радости Мамаю так сжал руку Жилову (так звали матроса), что тот изогнулся, затопал ногой.

— Что гнешься? Что?

— Да ну тебя, черт! — крикнул Жиллов, вырывая онемевшую руку. — Пусти!

Партизаны смотрели на них, ничего не понимая.

Вырвав руку, Жиллов похвалил:

— Силенка у тебя! — Обнял Мамаю. — Песню мы тогда ведь с тобой не допели, а?

— Сам бросил. А я конца не знаю.

— Не знаешь? Ну, теперь допоем!

И они захохотали.

...Партизаны устроились в матросском кубрике и быстро познакомилась с экипажем. Матросы рассказали, как оказался миноносец на Каме. Несколько мелких судов были проведены из Балтики по Мариинской системе в Волгу. Рабочие волжских затонов и ремонтных мастерских вооружили свои суда. Так создавалась боевая красная флотилия на Волге. Она оказала большую помощь сухопутным войскам в борьбе за освобождение Казани.

Теперь флотилия вошла в Каму, чтобы преследовать отступающих белых. Минопосец идет в разведку, а командир Жилов — он хитрый царень! — на всякий случай надел форму лейтенанта.

Узнав, что партизаны гнались за баржей, Жилов сорвался с места:

— Где она? Ушла?

— Значит, повернула обратно!

Жилов выскочил из каюты.

XXVI

Белые в панике отступали.

В Чистополе поручику Бологову удалось достать немного нефти и мазута. Конвойная команда повеселела:

— Уйдем! Теперь уйдем, ребята!

— Отстали здорово...

— Все равно уйдем!

Не теряя ни минуты, вышли на Каму. Ночь прошла спокойно. На заре опять поднялся низовой ветер. Сначала он добродушно заигрывал с рекой — пролетал, бороздя воду, выскакивал на берега, барахтался в белотале, опять вылетал на реку и зачесывал ее в маленькие кудряшки волн. Но потом, наигравшись досыта, начал сердиться и поднимать зеленоватые глыбы воды. Кто-то невидимый быстро задернул небосвод мохнатой изволочью. Над чернолесьем носились большие стаи бронзовых и багряных листьев.

— Ветер может обломать бока, — сказал капитан Сухов. — Зайти бы куда в затончик, переждать.

— У тебя слабая память, — с трудом сдерживаясь, возразил Бологов. — Все забыл?

— Не забыл я...

— Ну так шуруй!

Зашли в излучину. Ветер начал бить в правый борт. Буксир стал припадать на левый бок, словно защищаясь от ударов волн. Баржа то натягивала, то ослабляла канат, грузно раскачиваясь, виляя кормой.

И вдруг налетела буря. Она начала трепать реку за белые космы, иступленно бить о берега. Река вздыбилась и заревела. Буксир то взлетал над водой, то летел в распахнутую пучину реки.

Бологов, в мокрой гимнастерке, со слившимися волосами, хватаясь за поручни у входа в матросскую каюту, падал, кричал, а что — и не понять было.

Сильно бросало и баржу. Волны с грохотом разбивались о ее борт, поднимая в воздух голубые языки. Баржа кренилась, изредка дергалась вперед, но тут же, оглушенная волной, останавливалась, вырывая из воды канат. Виселица скрипела, и на ней

туда-сюда качались трупы. По палубе бегала, скуля и поджав хвост, случайно оставшаяся на барже черная собака.

Буря все свирепела. На берегах с треском падали сухостойные сосны, старые ветлы. Над рекой летели хлопья сена, мусора, листья, колючая пыль; все вокруг померкло...

Капитан Сухов, без фуражки, в распахнутой куртке, метался у штурвала, что-то кричал матросам. Один матрос-великан, столкнув с лесенки Бологова, выскочил на корму, и через минуту Бологов увидел, что баржа с обрубленным канатом одиноко заметалась на бушующей реке.

...Баржу сильно качало. Скрипели каюты. Истошно выла собака. Трюм оглушали гулкие удары воды. Смертники испуганно ползали по трюму — в соломе, в тряпье, среди трупов. Неожиданно раздался скрежет, треск, и нос баржи подняло. В трюм со свистом ворвалась вода.

XXVII

Миноносец быстро шел вверх по Каме.

На баке стоял Мишка Мамай. У бортов бурлила, пенилась вода. Высоко взлетали брызги. Держась за поручни и тяжело дыша, Мишка устало смотрел вперед.

Подошел Жилов.

— Думаешь? О чем?

— Так, о пустяках, — смутился Мамай.

— Тогда зря думаешь, — резонно заметил Жилов. — А что дышишь так, будто воз везешь? А ну, дай лоб. — Приложил ладонь ко лбу, подержал. — Э-э, братишечка, да у тебя жар! Захворал? Простудился?

— Ерунда.

— Иди, пришвартуйся к моей койке. Иди. У тебя определенно жар!

Мамай отказался.

Река, измученная бурей, лежала спокойно, поглотив в себя отражения кудлатых берегов и взлохмаченного неба. Миноносец летел среди нагромождения теней, вилия седовато-волнистым хвостом. В стороне от фарватера ныряли рыбацкие наплава. На берегах валялись ветгери. Ветлы, нагнувшись, мыли в реке свои бело-золотистые косы. На вершине голого склона понуро, словно одинокая путница, стояла сосна.

Но все эти картины бесследно пролетали мимо сознания Мамай. Он смотрел только вперед — только туда, где маячила чуть заметная черта, отделяющая небо от реки. Он каждую минуту ожидал увидеть там баржу с виселицей. Он хотел этого так страстно, что много раз обманывался. От напряжения в глазах пестрило.

И все-таки не он первый увидел баржу.

Он спускался в каюту, чтобы напиться, когда раздался голоса:

— Вон она! Вон!

— Она, да. Эх ты-ы!

— Где? Где? — заметался Мамай.

— Да вон, у берега! Эх, гады!

На миноносце бегали, шумели. Мамай увидел баржу педалеко от песчаной косы. Баржа, не успев затонуть, была выброшена бурей на мель.

Сначала Мамай ясно увидел, что над водой баржа стоит невысоко. «Бросили... затопили...» Но с этой секунды Мамай уже не мог хорошо рассмотреть баржу, хотя миноносец подошел к ней близко. Перед глазами творилось что-то странное. Баржа то всплывала на поверхность реки высоко, выше обычного положения, то уходила под воду так, что оставалась видна только мачта.

— Скорее! Скорее! — горячился Мамай. — Она ведь потонет, потонет! Ребята, давай скорее!

— Она на мели! — слышались голоса.

— На мели? Но ведь она тонет!

Мишка Мамай не заметил, как оказался на палубе баржи. Торопливо работая локтями, пролез сквозь молчаливую и суровую толпу матросов и партизан к люку. Один матрос уже сшибал замок с люка. Из баржи доносились хриплые голоса. Когда замок был сшиблен, несколько человек бросились пинать его погами, как что-то гадкое, а Мамай рывком поднял крышку люка.

Смертники облепили лестницу. На верхней ступеньке — белокурый паренек, губы и подбородок у него в крови. Увидев людей, он откинулся назад, замахал руками:

— А-а-а!

Матросы зашумели. Двое, стоявшие у люка, схватили белокурого паренька за руки, вытащили на палубу. Остальные со стонами, со слезами начали выходить сами. Они выходили, оборванные, мокрые, костлявые, слабыми руками хватались за матросов, падали. Над рекой неслись крики, страшные мужские всхлипывания...

Последним вышел Иван Бельский.

С легкого короткого пиджака его стекала вода. В левой руке он держал винтовку. Ступив на палубу, он сразу увидел и узнал Мамай.

— Это ты? — закричал он. — Живой?

— Убежал, Бельский, убежал!

— Эх, Мишка! — Бельский хотел что-то сказать, но только сжал челюсти и потряс головой.

— Бельский, слушай-ка...

— Теперь, дружба, я не Бельский!

Мамай взглянул на него недоверчиво.

— Запомни! Я — не Бельский! — резко повторил Иван. — Теперь зовите меня Долин-Бельский! Понял? Теперь во мне два человека! Теперь я буду жить за двоих! — И он быстро пошел, потрясая винтовкой.

Мамай бросился было за Бельским, чтобы спросить о Наташе, но ему почему-то показалось, что в трюме опять всплеснулась вода. Он вернулся к люку, и то, что увидел здесь, поразило его. По лестнице, показалось ему, поднялся человек в сапогах казенного покроя, с морщинистым лицом и кустиком чалых волос на подбородке. «Да ведь это Шангарей!» — узнал Мамай и протянул руки, чтобы помочь измученному татарину выйти на палубу. Но Шангарей как-то незаметно проскользнул мимо. Вода опять всплеснулась, по трюму побежали круги. На лестнице показался Степан Долин. «Ну вот, и Степан жив!» — радостно подумал Мамай. Долин кашлянул, потом обтер мокрые усы и махнул рукой — дескать, все пройдет. Вслед за Долиным на лестнице показался третий, незнакомый человек, потом четвертый, пятый, шестой... Черная вода плескалась по всему трюму. Со всех сторон из темноты, взметывая воду, поднимались и устало брели к лестнице смертники. Мишка стоял у люка, хватал их за руки, обнимал знакомых и незнакомых, пропускал их мимо. Смертники шли и шли — нескончаемой цепочкой, торопливо и радостно, стряхивая с одежд воду и вытирая мокрые лица. «А где же Наташа?» — подумал Мамай. Он присел у люка, чтобы лучше разглядеть тех, которые только что вылезли из воды. Увидев пожилую жепщину, он ласково схватил ее за руку, спросил:

— А где Наташа? Где?

— Там она.— Женщина показала во тьму трюма.

— Наташа!

Мамай кинулся было в трюм, но кто-то схватил его сзади, вытащил на палубу, закричал над ухом старческим голосом:

— Мишка, пойдем! Пойдем, слышишь?

— Постой,— вырвался Мамай,— сейчас Наташа выйдет. Вот сейчас, скоро...

— Сынок, нету Наташи... Умерла она...

— Как нет? Она вон там, в трюме!

— Ах ты, горе-горькое! Захворал-то как!

Мамаю все еще казалось, что в трюме переливалась, шумела вода, взлетали брызги...

Матросы схватили его под руки, повели. Мамай увидел, что прежний лес начал ложиться, как трава под косой, белогрудые облака шумной стаей пронесли над рекой низко, и затем все померкло перед его глазами...

XXVIII

Крутой берег Камы. По берегу осенними огнями полыхало густое мелколесье, а над ним клубами дыма вздымались курчавые сосны. Здесь, у самого обрыва, на полянке, хорошо обогреваемой солнцем, появился бугорок свежей могилы.

У могилы сидел Мишка Мамай. Он был в шинели и грубых

сапогах, рядом валялась фуражка. Держа на коленях винтовку, он старательно вырезал что-то ножом на ее ложе.

Дни горя сильно изменили Мамаю. Лицо его построжело. Тонкие губы, любившие ехидно усмехаться, теперь были сурово сжаты. Живые, как ртуть, глаза, померкли, стали холодными. От могучей фигуры Мамаю веяло теперь какой-то новой, не слепой и бесшабашной, а строгой и сосредоточенной силой.

Недалеко от могилы плотничал Василий Тихоныч. Он сам предложил поставить вместо креста над могилой Наташи маленький памятник со звездой.

— Бог? А что он не пожалел ее? — удивляя сельчан, говорил старик, ранее славившийся своей преданностью вере.

Обтесывая столбики для ограды, Василий Тихоныч все поглядывал на согнутую дюжью спину сына, потом бросил топор, подошел, кивнул на реку:

— Не опоздаешь?

— Нет. Загудят.

И говорить Мамаю стал спокойнее. Василий Тихоныч теперь боялся ему возражать: в голосе сына звучала новая сила.

— Завтра кончу, — сказал Василий Тихоныч, присев рядом с сыном. — Подсохнет малость — покрашу. Красной?

— Да.

— А что написать?

— Что хочешь. — Мишка обернулся. — Только знаешь, напиши: «Здесь Наташа Черемхова».

— Глухарева, — боязливо поправил старик.

— Черемхова, — спокойно, веско повторил Мамаю. — Понял? Моя.

Василий Тихоныч хотел сказать, что неудобно все же называть Наташу Черемховой, раз не было свадьбы и нигде нет записи в книгах, но, взглянув искоса на сына, не решился, ниже опустил козырек картуза. Чтобы утешить сына, сказал:

— Хорошее место тут. Веселое. Рукой подать — пароходы ходят. Чайки вон... И для глаза вольготно.

Мамаю перестал вырезать:

— Весна придет, загляни сюда...

— Как же, непременно загляну.

— Могилку поправь.

— Поправлю, сынок, поправлю.

Внезапно вспомнился Мишке вечер, когда он сидел с Наташей за деревней, а в землю косо бил луный ливень и пахло цветами сочной травы... Холодные глаза Мишки скользнули вверх, выше всего, что можно было увидеть на земле. Он сказал чуть слышно:

— Сонная трава зацветет — нарви...

— Нарву, нарву.

— Сюда привнеси. Она любила ее. — Мишка опустил взгляд. — Горела она, как огонь, весело, ярко... И вот потухла...

— Потухла, сынок!
— Сволочи! — сказал Мамай. — Каждого человека они грабят. И меня вот ограбили.

Над рекой прокатился гудок.

— Зовут.

Мамай сложил нож, сунул в карман.

— Ты что это вырезал?

— Вот...

На ложе винтовки Василий Тихоныч увидел четко вырезанное слово: «Наташа». Старик удивленно вскинул брови, а Мишка поднялся, хлопнул по ложу ладонью:

— Пойдем, Наташа! Пойдем бить их!

Он повернулся к могиле, упал на колени, крепко прижался губами к бугорку свежей земли... Пестом медленно поднялся, постоял с минуту, опустив влажные глаза, и вдруг крупно зашагал тропинкой к берегу.

На полпути Василий Тихоныч, задыхаясь, догнал его, отдал фуражку:

— Забыл, сынок...

У берега стоял покрытый броней буксирный пароход, на передней палубе у него — орудие. Пароход готовился к отплытию. Полной грудью вздыхала его машина. Матросы и красноармейцы с винтовками — среди них некоторые были из прежних смертников и партизан — сгрудились на корме.

Командир отряда Долин-Бельский, затянутый в кожаную куртку, с маузером, стоял на капитанском мостике. Выйдя из баржи, он прежде всего хотел сбрить бороду, но получилось так, что для того никак не мог выбрать свободное время, и махнул рукой — ладно, дескать, как-нибудь после. Коренастый, с черной курчавой бородой на бледном лице, он был грозен.

Мамай поднялся на мостик.

— Готов?

— Гуди!

— У тебя... земля на губах, — заметил Долин-Бельский. — Вытри.

Над пароходом взвилась белая, кричащая струйка пара.

XXIX

Красная флотилия двигалась в верховья Камы. Над осенней поймой проносились зовущие и тревожные гудки. Часто завязывались бои. Тишину рвал свист и грохот. Эхо билось в лесах. Суда белых, потерянно визжа, метались по реке, охваченные пламенем и дымом. Стремнина несла оглушенных снарядами белых судов и жирных лещей. На одной из больших пристаней, пытаясь выиграть время для отступления, белые выпустили

из хранилищ бензин в Каму и подожгли; могучее пламя, играя, потекло вниз по реке, черно-багровые тучи дыма закрыли небо. Но это не помогло: суда красной флотилии прорвались сквозь огонь. И когда прорвались, одним из первых настигли маленький буксир, который водил баржу с виселицей. Иступленно взревели гудки, и над рекой прокатился орудийный грохот.

В Прикамье загоралось бабье лето. На земле было просторно и солнечно. В черных лесах шел тихий листопад. На звонких озерах в пойме табунились утки. Заботливое зверье строило зимние жилища. Воздух был насыщен крепкими запахами увядания. Но в полях уже шло обновление — поднимались пушистые озими. Как всегда, спокойно и величаво свершался мудрый закон земли.

*Казань,
1937—1940 гг.*

На Катунь
У старого тополя
Чужая земля

РАССКАЗЫ



Отряд стоял у Катуня. Вдоль правого берега реки, по мелкокалесью, густо насыщенному солнцем, дымились костры. На стоянке, как обычно, было хлопотливо. Партизаны занимались неотложными делами: чинили узды и седла, готовили древки для пик и заряжали патроны, сменяли подковы у коней, смазывали побитые у них плечи чистым березовым дегтем.

В полдень командир отряда Семен Дымов и партизан Ерохин пошли купаться. Красавица Катунь — буйная река; она мечется по Алтаю, нигде не находя покоя, и то свирепо ревет, катая по дну камни-голыши, то стонет, вырываясь из ущелий, а вот здесь, на перекате, в выложенном мелкой галькой, вся дрожит и неумолчно горюет.

Купался Дымов недолго. Нырнув раз-другой, стремительно выскочил на отмель.

— Жжет! И до чего ж холодна! Чересчур!

Потом начал стирать рубаху.

— Вот это да! — сказал он тут же, весело смеясь. — Даже Катунь помутнела!

Вскоре вылез и Ерохин. Он лег грудью на кремнистый песок, широко раскинул руки и ноги. Плотный и белотелый, он напоминал выброшенную рекой, ободранную наголо корягу. Щупая песок, он весело сказал:

— А у меня, брат, тоже рубаха того...

— Выстирай, — посоветовал Дымов.

— Выстираешь ее! Доношу так.

Солнце стояло в зените. Высушенное небо легко опиралось на синеватые горы. Под таким небом страшно нарушать тишину; думается, крики оглушительно — и оно, словно отлитое из тончайшего стекла, рухнет на землю с треском и звоном.

— Эх и денек! — заметил Ерохин.

— Денек душевный, — поддержал Дымов, выжимая рубаху. — Совсем бы хорош был, да некого бить.

С другого берега реки долетел ломкий голос:

— Эй вы, мужики!

За Катунью, в молодых порослях ивняка, стоял невысокий, плечистый паренек с длинной березовой палкой и завязанной через плечо уздой. Глаза его прятались в тени от козырька солдатской фуражки. Когда Дымов и Ерохин взглянули на пар-

нишку, он неторопливым шагом подошел к реке, приподнял козырек и крикнул:

— Партизаны, што ли?

— А тебе что? — спросил Дымов.

— Надо, вот и спрашиваю!

— А зачем?

— Так я и буду кричать тебе через реку! Глотка-то у меня не луженая!

— Погляди на него! Невелика мышка, а зубок остер, — с интересом заключил Ерохин и, подойдя к реке, крикнул дурашливо: — А ты угадай сам!

Паренек покачал головой:

— Придумал! Угадаешь вас, голых-то, без всяких отличий! Дымов и Ерохин весело захохотали.

— Партизаны, — вдруг заключил паренек.

Отбросив палку, он сел на песок и начал раздеваться.

Проворно скинув бродни¹ и засунув в них портянки, снял штаны и полосатую рубаху из домотканого холста. Всю одежду, сложившую в узел, перевязал уздой и пристроил на загорбок, затем подошел к реке, потрогал ногой воду.

Дымов всполошился:

— Ты это, малец, куда?

— Не видишь, к вам...

— Да ты очумел? Куда лезешь?

— Ничего, выберусь!

— Эй, парень! — строже крикнул Дымов, — Брось дурить! Жить надоело? Вот поги сведет — и враз закрутит!

— Не так крутило, да ничего...

Парнишка смело вошел в реку, борясь ногами со стремниной, а когда с трудом забрел по пояс — грудью метнулся вперед. Буйная Катунь подхватила паренька и быстро понесла на стрежень. Не умея хорошо плавать, паренек метался, греб суматошно, как щенок, впервые оказавшийся на воде.

Партизаны бросились вдоль берега.

— Держи круче! Унесет!

— Гребн сюда!

Ерохин уже собрался броситься в Катунь на помощь парнишке, как тот неожиданно резко повернул к берегу и через минуту, тяжело дыша, вылез на отмель. Бросая наземь мокрый узел, сказал устало:

— Фу, насилиу отыскал вас!

— Да зачем ты? Что тебе надо?

Паренек вздрагивал от озноба. Он откинул со лба длинные светлые волосы, подстриженные в кружок, обтер ладонью бронзовую шею, грудь, на которой лежал привязанный на гарусинку медный крестик. Теперь он почему-то волновался, и серые глаза его были беспокойны.

¹ Бродни — обычная легкая кожаная обувь сибиряка.

— К вам я пришел, — ответил он. — Партизанить пришел.

Дымов слегка нахмурился.

— Ага... Ну а звать тебя как?

— Ларькой.

— Ларивон, выходит, — заключил Ерохин.

— Выходит, что так.

— А откуда?

— Из самой из Топольной. Белых там...

— Белых?! Много?

— Как мошкары.

Слегка избитое оспой, но приятное полное лицо Ларьки потемнело, и он зачем-то пощупал горло рукой.

— Они, контры, чего делают? Они привязали тятку за Никодимова... пчеляк такой... привязали за его жеребца саврасого, необъезженного, за хвост, значит...

— Ну?

Ларька вдруг упал на мокрый узел; из груди его вырвался глухой стон:

— И пустили...

II

Ларька сразу понравился партизанам. Грясь у костра, просушивая одежду, он торопливо и возбужденно, но очень обстоятельно рассказал о бесчинствах белогвардейцев в Топольной.

— Бери парня, — тихонько посоветовал Ерохин командиру. — Сгодится. Лишняя копейка карман не оттянет.

Командир был уже в полной походной форме — в летней поддевке, весь опутан ремнями, а на ремнях — богатые доспехи: тяжелый, похожий на сук маузер, казацкая сабля с посеребренным эфесом, тускло поблескивающий бинокль и рубчатая, словно потрескавшаяся от солнца, граната. Сутулый, сухощекий и весь черный, как ворон, он прохаживался под березами легкой, пружинистой походкой. «Лихой», — с удовольствием и завистью отметил Ларька.

— Ложка у тебя есть? — вдруг спросил его Дымов.

— Нету, — спокойно ответил Ларька. — А что?

— Вот тебе раз! Как же ты пошел в отряд без ложки? А есть чем будешь?

— Было бы чего!

— Ловкий ты на язык, — веселея, заметил Дымов. — Это хорошо. Так вот, парень: назначаю тебя коноводом и вестовым. При мне. Оружия тебе, понятно, не будет, а коня даю. — Командир повернулся к костру: — Эй, Петрован! Подведи Карьку, что от Василия остался. Живо!

Подвели коня.

— Вот, получай! — Дымов хлопнул коня по холке. — Зверь, а не конь, скажу я тебе!

Ларька очень обрадовался, что ему дают коня. Но конь ему

не поправился. Он был вообще-то не плохой: сытый, с мускулистой грудью, низенький, лохматый. Одно плохо: уши не торчали, а расслабленно висели, придавая ему вид перасторопного, ленивого и равнодушного ко всему на свете. Между тем Дымов настойчиво хвалил коня.

— Сядешь на него — земля загудит!

— Видать его по ушам, — хмурясь, промолвил Ларька. — Будет, окаянный, считать каждую кочку, вот тогда навоюешь!

Под дружный хохот партизан он повел коня на ближайшую елань, сердито покрикивая:

— Ну, падай! Зверь лопоухий!

К вечеру Ларька уже освоился с порядками в отряде и стал чувствовать себя еще свободнее.

Партизаны поужинали заварухой и стали устраиваться на ночлег. Семен Дымов и Ларька задержались у костра.

Вершины гор, облитые багрянцем, светились в спокойном вечернем небе ярко, а в сумеречных падах все уже подчинялось законам ночи. Недалеко от костра, под обрывом, плескалась Катунь — похоже было, что она осторожно ощупывает те места, по которым ей приходится прокладывать путь в темноте. Деревья вокруг костра казались толще и лохматей, чем были на самом деле, а трава, отдохнув после дневного зноя, выпрямлялась и дышала свежестью. Совсем близко какая-то птица сорвалась с дерева, захлопав крыльями о ветки, а потом долго устраивалась поодаль.

Привалясь спиной к березе, Семен Дымов задумчиво смотрел в огонь и поучал Ларьку:

— Народ у нас в отряде, брат, страшно отчаянный. Но ты на нас не смотри. Тебе чересчур отчаянным быть нельзя. Ухо остро держи. Заварится каша — ты скорей в сторону да где-нибудь за камень спрячься, а то в яму...

— Это я все и буду бегать, как заяц? — спросил Ларька.

— Не бегать, а мас-ки-ро-вать-ся называется.

— Название! Придумал же кто-то!

— Вот и видно тебя, что ты желторотый еще, — добродушно обругал Ларьку Дымов. — Это название давным-давно придумано. Еще генералами.

Бросая в чайник листья клубники, Ларька ответил упрямо:

— Вот они и пускай бегают да маскируются!

Дымов спрятал от Ларьки улыбку и, вытащив из сумки книжку, вырвал из нее листок, стал закуривать.

Ларька подсел рядом.

— Товарищ командир, дай и мне закурить.

— Или научился уже?

— Привыкать надо, чего уж...

— Вот это зря, — сказал Дымов, отрывая парнишке клочок бумаги. — Чересчур зря! С этих пор ты как прокоптишь нутро, знаешь? Будет в нем, как в печной трубе. А его небось метелкой не вычистишь, как трубу. На, да потри ее, мягче будет.

Разглядывая клочок бумаги, Ларька вдруг попросил:

— Товарищ командир, покажи книгу!

— Разбираешься? Это хорошо.

У огня Ларька открыл книгу и радостно воскликнул:

— Пушкин! Батюшки вы мои!

— Кто? — переспросил Дымов.

— Пушкин! А ты не читал?

— Есть когда мне разной канителью заниматься. Да и как напечатана! Буквы-то — как пшено!

Порывисто прижав книгу к груди, Ларька бросился к Дымову и горячо попросил:

— Товарищ командир, дай почитать!

— Эге! Нашел дурака! Дай-ка сюда!

— Думаешь, зажиглю?

— А то и нет?

— Вот крест на мне!

— Ну занозист ты! — с усмешкой отметил Дымов. — Что ж, бери... Но предупреждаю: даю на время. Есть у меня еще книжонка, искурю ее — отберу. Так и знай.

Глаза у Ларьки блестели, и он торопливо прятал книгу за пазуху.

III

Ночью разведка донесла: белые выступили из Топольной вверх по Катуню. Семен Дымов понимал, что его отряд, маленький и плохо вооруженный, не сможет выдержать натиск сильного противника, и принял решение: растравляя белых внезапными налетами, затянуть их подальше в горы и где-нибудь в удобном месте разбить.

На рассвете партизанский отряд покинул стоянку у Катуню и с этого дня, не принимая решающего боя, постоянно накапливая силы, недели три бродил по Алтаю.

Ларьке нелегко было привыкать к тревожной походной жизни. Вскоре он похудел немного и стал казаться взрослее. Его никогда не покидала уверенность. Лишь при воспоминании об отце его серые глаза теряли ровный и спокойный блеск.

В этом походе книжка стихов Пушкина стала для Ларьки чем-то особенным. Он припадал к ней, как замученный жаждой к роднику, и великая мудрость и чудесная красота ее наполняли жизнь Ларьки радостным светом. Ларька постоянно носил книгу за пазухой и каждую свободную минуту читал — на дневных стоянках, у вечерних костров, в походе, когда приходилось ехать шагом.

Одни стихи Ларька воспринимал как очень толковое, понятное учение о жизни — они быстро закреплялись в его памяти. Другие врывались в сердце Ларьки шумной волной красивых, непонятных звуков, тревожа его детский покой. Они открывали перед Ларькой какой-то загадочный и чарующий мир, который

никак не удавалось понять: только задумаешь в нем разобраться — он становится еще непонятнее, но в то же время еще прекраснее. Такие стихи запоминать было труднее, но одно из них особенно полюбил Ларька и читал его мягким, теплым голосом, осторожно бросая каждый звук:

Ночной зефир
Струит эфир,
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир...

Однажды Дымов спросил:

— Это что такое — зефир?

— Неизвестно, — солидно ответил Ларька.

— А эфир?

— Еще неизвестнее.

Ларька был всем доволен в отряде. Против всяких ожиданий вислоухий Карька оказался действительно славным конем. Стоило только накинуть на его шею повод и ухватиться за челку — он вскидывал уши и, не дожидаясь, когда устроится седок, бросался вперед стремглав и летел, не зная преград. Это очень нравилось Ларьке. Он впивался в коня, как полевой клещ, и носился по горам, гикая и свистя. Устроился Ларька и с одеждой. Ему достали хороший зипун. Правда, зипун был с плеча взрослого и Ларьке пришлось немного подвернуть рукава, а полы, чтобы не мешали при ходьбе, всегда держать заткнутыми за пояс.

Всем партизанам Ларька старался как мог угождать. Он водил коней на водопой, следил, чтобы они не потеряли путями ног, охотнее всех собирал хворост на стоянках, кашеварил, ухаживал за больными и ранеными. Партизаны полюбили Ларьку, а Иван Ерохин не раз говорил:

— Золото парень, право слово. Вот уйди он сейчас из отряда — ровно на руке пальца не будет хватать.

Особенно заботился Ларька о командире. Днем Дымов редко слезал с коня, носился туда-сюда в заботах и хлопотах, а вечером, расставив посты, приходил устраиваться на ночлег к Ларьке. Разбитый от езды, пропыленный и усталый, он усаживался у костра молча, тяжело вздыхая. Ларька спрашивал командира:

— Что хмурый? — Не дожидаясь ответа, весело декламировал:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет!

У Ларьки всегда находилось чем-нибудь угостить командира. Он доставал из глубоких карманов своего зипуна то лепешку или пирог с красной смородиной, то кусок вареного петушка или бережно завернутый в тряпицу творог, а на худой конец — кедровые орехи. Голодный Дымов с жадностью набрасывался на

еду, а потом, закурив и повеселев, обращался к партизанам, случившимся около него, с неизменным предложением:

— Рассказать, братцы, сказку? До чего же забавная, терпенья нет!

— Про черта? — спрашивал кто-нибудь.

Дымов подпирал черную кудрявую голову рукой или приваливался к седлу и говорил:

— Про него. Вот задумал черт купить у бедного мужичка — Иваном его звали, — задумал, братцы, купить у него душу. Да-а...

Но когда нужно было рассказывать самое интересное в сказке место — о том, как мужичок обманывал черта, — Дымов ронял голову и начинал сладко всхрапывать. Так случалось часто, и Дымов никак не смог досказать своей сказки.

Иногда Дымов засыпал одетым, запутанным в ремни, с оружием. Тогда к нему подходил Ларька и укоризненно качал головой:

— Ну вот... опять так заснул! И с гранатами! Проснется как-нибудь с разорванным брюхом...

Ларька осторожно развязывал и распутывал ремни на командире, снимал оружие. Потом он садился рядом с Дымовым, и часто в эти минуты его серые глаза становились задумчивыми и холодными: он вспоминал отца... Погруженный в думы, он сидел, охватив колени руками, и шептал:

Ночной зефир
Струит эфир,
Шумит,
Бежит
Гвадалквир...

И нередко, обрывая стих, говорил:

— А убью я его, ей-богу!

Ерохин однажды услышал это и заинтересовался:

— Ты кого это убить хочешь?

— Того беляка, который тятку...

— Того следует, — согласился Ерохин. — Только чем ты его убьешь? У тебя же нет ничего. Да и стрелять к тому же не умеешь.

— Я? Я трех селезней за весну убил! Из дяди Максимовой шомполки! Не веришь?

— То селезней, — возразил Ерохин.

— А тот тоже хорош гусь!

Так шел день за днем.

IV.

В конце третьей недели Семен Дымов решил принять решающий бой. Отряд в то время пополнился до трехсот человек и занял выгодную позицию на склонах двух гор, закрытых хвойными лесами, а для белых оставался один путь на перевал — ме-

жду этими горами, по голому распадку, где вился чуть заметно проселок и путались в буйных травах мелкие ручьи.

Закончив подготовку к бою, Дымов в полдень вернулся на главную стоянку и, только соскочил с кося на чистом пригорке, увидел под ногами змею. Дымов больше всего на свете боялся змей. Он испуганно вскрикнул и начал в бешенстве хлестать плетью по траве, где ползла, шипя, серая гадюка.

На крик прибежал Ларька.

— Что такое, товарищ командир?

— Змея, дьявол ее задерп! — сердито сказал Дымов. — Да вон, вон! Ослеп, что ли?

Змея выползла из травы и, извиваясь, направилась через голую поляну в камни. Ларька прыгнул и придавил ее броднем у самой головы. Змея широко раскрыла рот и высунула розоватый язык, а темные глаза ее расширились.

— Брось! Ужалит! — крикнул Дымов.

Подбежали на шум партизаны. Увидев под ногой Ларьки змею, тоже испугались.

— Брось, говорят тебе!

— Уйди! Доиграешься!

— Я у нее, окаянной, сейчас жало вырву! Вот тогда пускай себе ползает!

Не отпуская змею, Ларька развязал правый бродень, оторвал от портянки небольшой клочок, смело захватил тряпицей между пальцами язык змеи и вырвал. Партизаны так и ахнули. Ларька отпустил змею и показал ее язык:

— Во, смотрите!

Семен Дымов был потрясен смелостью Ларьки. Он подозвал первого попавшегося на глаза партизана, спросил:

— У тебя что — бердана?

— Да, товарищ командир.

— Получишь винтовку. А бердану отдай Ларьке. С патронами.

Взволнованный, Ларька не спал всю ночь.

Крылатая утренняя заря палетела внезапно. Загорелось враз несколько горных вершин, и небольшие облака, отдышавшие на них, испуганно метнулись на запад. Разбуженные горы оделись в оранжевые и палевые наряды. В тот миг, когда солнце осторожно выглянуло из-за перевала, в туманном распадке показалась разведка белых. Она смело проскакала до самого перевала и там остановилась. Через несколько минут трое разведчиков скрылись за перевалом, а двое легкой рысью пошли обратной дорогой, и партизаны, засевшие на лесистых склонах гор, крепко сердце пропустили их в падь.

— Не ждут нас здесь, — заключил Дымов.

Через час показался белогвардейский отряд. Из пади, еще затянутой легкой дымкой, он цепочкой направлялся к перевалу.

С той секунды, когда Ларька увидел белых, у него почему-то внезапно зашумело в ушах и он стал плохо слышать, что про-

исходит вокруг. Он сдержанно дышал, старался не шевелиться, чтобы не прослушать команду открыть огонь, и все же прослушал ее — для него выстрелы загремели совершенно неожиданно. От этого Ларька загорячился, заспешил, выбирая цель, но, боясь сделать промах, зря испортить дорогой патрон, никак не мог решиться сделать выстрел. Так прошло несколько секунд, и вдруг Ларька с ужасом увидел, что и стрелять-то поздно: партизаны уже бегут по всему склону горы в распадок, атакуя белых. Ларьке стало горько и стыдно. Проклиная себя за оплошность в бою, едва сдерживая слезы, он бросился за партизанами.

На проселке валялось много убитых белогвардейцев. Одним из первых, рядом с рыжим конем, у которого еще дергались задние ноги, Ларька увидел белогвардейца с большими усами. Сердце Ларьки ударило гулко, и точно огнем опалило его лицо.

— Вот он! Вот! — в яростном восторге, плача, закричал мальчуган. — Вот он, белый гад!

Когда партизаны, разгромив белых, радостные и возбужденные, вернулись осмотреть трупы и собрать оружие, они увидели, что Ларька, ругаясь и плача, бил камнями мертвого усатого ротмистра.

V

Наступил сентябрь. Партизанский отряд вернулся на Катунь, в то место, где стоял раньше. Отсюда Дымов предполагал ударить на Топольное, где вновь появились белогвардейцы.

На рассвете конная группа партизан во главе с Ерохиным собралась в разведку. В это время к Семену Дымову явился Ларька. Он стал просить, чтобы командир пустил его хотя бы с Беркутовой горы взглянуть на родную деревню.

— С горы все видно, я знаю, — говорил он взволнованно. — И наш двор даже видать. Он на отшибе. Мне дядя Иван даст бинокль, я весь двор обшарю, всех кур пересчитаю...

— Соскучился? — улыбнулся Дымов.

— Не о том речь. А все же теперь... на мне хозяйство лежит. Сам знаешь. Ей-богу, пусть, товарищ командир!

Дымов понимал, что у парнишки большая, неумемная тоска о доме, и ему стало жаль своего любимца. Он прижал голову Ларьки к груди, сказал дружески:

— Эх, Ларька, хороший из тебя будет мужик! Знаешь что? Я ведь еще не женат. Не успел. Который год воюю! Вот когда отвоюемся, я жениться буду. Есть у меня одна на примете. Такую свадьбу завернем — горы загудят! А тебя я возьму к себе дружкой...

— Не врешь? — оживился Ларька.

— Вот увидишь!

— Дружкой? Да я тебе такую штуку отхвачу на свадьбе — ахнешь! Вот крест на мне!

— Ну, поезжай, поезжай.

По пути к Беркутовой горе разведчики заехали осмотреть Михееву заимку, что стояла на небольшом лесистом взлобке. Заимка оказалась заброшенной. Партизаны решили оставить здесь коней, а к Беркутовой горе пойти пешком. Ларька взглянул отсюда на вершину знакомой горы, заваленную огромными камнями, между которыми ютились корявые сосенки, и будто вспыхнул изнутри — усталое лицо его ожило, осветилось теплой улыбкой.

— Эх и высока! — воскликнул Ларька. — А беркутище там живет!

Лес переживал грустные дни листопада. Безжизненные листья незаметно срывались с деревьев, плавно кружились, выбирая место на земле. Сядет птица на ветку, раскачает ее — и она делается обнаженной. Непоседливый бурундук вскочит на дерево, потревожит его покой — и оно становится беднее и сиротливее. Словно стараясь подольше удержать на себе отмирающие листья, деревья стояли как оцепенелые. Лес, погруженный в не-веселые думы, был пуглив и печален.

Поставив лошадей в густом подлеске, партизаны присели закурить на дороге. Как всегда, пользуясь свободной минутой, Ларька сразу же вытащил из-за пазухи любимую книгу.

— Вот это дело, — сказал Ерохин. — Почитай-ка, пока курим... О наших местах ничего не говорит он, а?

Любовь Ларьки к стихам великого поэта была столь горяча, что давно уже свершила чудо: книга Пушкина жила в отряде, как живой человек, веселый и печальный, смелый и умный, с большой, светлой душой. Встречаясь с Ларькой, партизаны обычно спрашивали:

— Ну, как поживает Пушкин?

— Сегодня-то... послушаем Пушкина?

Командир отряда Дымов давно уже обдирал кожу с берез на сигарки и точно забыл об условии, которое ставил, отдавая книгу Ларьке в день его появления в отряде.

Раскрыв книгу, Ларька осмотрел партизан, собираясь начать чтение, но в этот момент на дороге, со стороны Беркутовой горы, появились верховые.

— Белые! — ошалело крикнул Ерохин, срываясь с места. — За мной!

Партизаны бросились врассыпную по кустам. На дороге раздалась выстрелы. Ларька схватил берданку, бросился за партизанами, но вдруг почувствовал боль в ноге; сторяча он пробежал еще немного, потом резко обернулся, скривил побледневшие губы, выронил книгу и опустился за куст шиповника.

Из леса к избушке, стреляя на ходу, бежали белогвардейцы. Один из них бежал прямо к Ларьке, сильно прыгая через кусты. Ларька поднял берданку, стал хватать его на мушку, но вдруг что-то сильно ударило в грудь, обожгло и опрокинуло навзничь. Несколько секунд Ларька судорожно сжимал правой рукой вет-

ку шиповника, обвешанную красными ягодами, похожими на бусы...

Над Ларькой остановился сухопарый поручик с наганом в руке. Разглядев юного партизана, он презрительно произнес:

— Хо, такой щенок!

Потом поручик увидел книгу, поднял ее, раскрыл в середине и быстро схватил глазами какие-то строки... Глаза поручика сверкнули зло. Поручик с омерзением отбросил книгу в сторону и пошел вслед за солдатами к займке.

*Казань,
1938 г.*

У СТАРОГО ТОПОЛЯ

Кончился бой. Отбиваясь из берданок и старинных шомполок, партизаны отступили в глухое чернолесье, оставляя на сучьях валежин клочья одежды...

Там, где шел бой, белые захватили в плен троих партизан. Одного, плечистого бородатого старика, вытащили из болота с пулеметом-трещоткой, каким пугают зайцев. Молодого парня с окровавленной щекой схватили в то время, когда он, окруженный, забился в орешник и собирался пустить в левый бок заряд картечи. А третьего партизана нашли в яме, под корнями вывороченной бурей сухостойной пихты. Когда солдаты начали раскидывать штыками корни, он вылез, чихая, — в солдатской гимнастерке, черных шароварах и сапогах из тонкой яловичной кожи. И только он встал на колени и откинул со лба пряди черных как смоль волос — солдаты враз ахнули:

— О! Баба!

— Была бабой, а теперь нет, — зло ответила партизанка, энергичным жестом стирая с подбородка землю.

Белогвардейцы жестоко избили пленных шомполами и нагайками. Потом пригнали на берег Камы, к избушке бакенщика, где отдыхал после боя штабс-капитан Лозинский.

Партизаны шатались от изнеможения, молча обтирали окровавленные лица. Они знали, что скоро конец. Торопливо, жадно осматривались они вокруг: прощались с просторным и полным жизненного биения миром. Солнце стояло в зените. Кама, еще не утратившая весеннюю силу, шла властно, чуть хмурясь. Недалеко от избушки бакенщика, по острой косе, белотал забрел по пояс в реку, словно намереваясь наискось пересечь ее стрелень. У берега из воды торчали поверженные половодьем джигие ветлы; они были облеплены, словно бабочками, бледно-зелеными листьями. По реке плыли бревна и коряги, и на них отдыхали после рыбной ловли грузные чайки-хотуньи...

У костра на берегу сидел молодой солдат и, обжигаясь, ел печеную картошку. Начальник конвоя Самохин подошел к нему, спросил:

— Господин штабс-капитан в избушке?

— Ага, уху едят.

Самохин обтер рукавом гимнастерки одутловатое лицо, сверкнул на партизан черными, как дробинки, глазами, строго наказал конвою:

— Смотреть в оба! — И пошел в избушку.

Штабс-капитан Лозинский сидел за столом, твердо облокотясь, высоко подняв острые плечи, перетянутые желтыми ремнями портупей. Он с наслаждением ел стерлядь. Не поднимая головы, заросшей светлой отавой волос, спросил:

— Ну как? Какие трофеи?

— Так что... — Самохин резко, словно в нем сорвалась пружина, вытянулся у порога. — Разрешите, господин штабс-капитан, доложить: трофеи имеются — берданка с забитым патроном и...

— Ну?

— Трещотка, господин штабс-капитан, — смутился Самохин. — Зайцев гонять. За пулемет у них служила...

— Дурак! — Лозинский обернулся. — Выбрось да помалкивай о таких трофеях... Ну а пленные?

— Так точно: прибыли в исправности.

— Били их?

— Так что... не жалуются...

— Значит, не били.

— Что прикажете, господин штабс-капитан, делать с ними?

— Хм! — дернул острыми плечами Лозинский. — Накорми их и отпусти с богом.

Самохин еще более вытянулся и, двигая бровями, окинул избушку растерянным взглядом.

— Что глазами вертишь? — криво улыбнулся штабс-капитан. — Нашел тоже о чем спрашивать! Расстрелять, конечно.

— Слушаюсь, господин штабс-капитан!

Не отрывая руки от фуражки, Самохин продолжал осторожно:

— Так что... разрешите доложить, господин штабс-капитан, один партизан оказался бабой.

— Вон что! — Лозинский поднял тусклые, туманные глаза. — Ну?

— Так что, баба при полной форме. Ничего, совсем молоденькая баба. — Самохин помял мясистыми губами. — Хоть куда бабочка. Ничего лишнего, кроме штанов.

— Партизанка, говоришь?

— Так точно. И смотрит, разрешите доложить, тигрой. Но ничего баба.

— Оставить ее... — равнодушно протянул Лозинский. — Известно ведь, что я не расстреливаю женщин. Придумаем какое-нибудь легкое наказание. Что-нибудь... этакое... забавное. Что бы такое придумать, а? Ах да, есть... приведи ее сюда, Самохин. А тех — вон туда, в ложок.

Партизаны стояли на берегу, окруженные конвоем. Самохин подошел к ним, подал старику и молодому лопаты, сказал ехидно:

— Не обессудьте. Самим придется вырыть могилку.

— А мне? — спросила партизанка.

— В избушку, — коротко приказал Самохин.

Партизанка растерянно отступила, прижалась к товарищам, начала торопливо хвататься за их рубахи. Старик сухой ладонью погладил ее левое оголенное плечо (рукав гимнастерки был разорван), тяжело опустил седоватую голову, а молодой, вспыхнув, подался грудью вперед, и глаза его — темные и сухие — сверкнули вдруг горячо:

— Это зачем?

— Раз-зговор-ры разговаривать! — И Самохин, сделав шаг, рванул партизанку за руку и отбросил в сторону.

Партизаны, горбясь, пошли вдоль берега...

С большим трудом партизанка переступила порог избушки, но, переступив его, выпрямилась, гордо подняла голову. Штабс-капитан Лозинский сидел у окна, перебирал сеть, стуча грузилами, потом неторопливо обернулся, кинул на партизанку неясный взгляд. Отметил про себя: «Со спесью...»

Лицо партизанки было смуглое, тонко очерченное, с живой, бьющей изнутри свежестью. По левому глазу ее сильно ударили плетью. Глаз, зажатый синеватой опухолью, выглядывал из прорези настороженно, словно зверек из норки, и придавал лицу ядовито-лукавое выражение. Стояла партизанка чуть подбоченясь, заложив руки за спину, — у нее было сухое и, видно, подвижное тело.

— Фамилия? Имя? — спросил Лозинский.

— Белугина Анна.

— Вы, конечно, случайно попали к партизанам, Анна Белугина? — каким-то безразличным тоном сказал Лозинский; он очень любил казаться усталым и равнодушным человеком, которому страшно надоело все на свете.

— Зачем случайно? — звучно ответила Белугина. — Нет, по своей воле пошла... За правду пошла...

— Роман-тич-но... — тихонько пропел Лозинский, откидываясь к стенке и слегка закрывая тяжелыми веками туманные, что-то таящие глаза. — Так вот, Анна Белугина, вам представился случай убедиться, что слухи о штабс-капитане Лозинском, как о безжалостном человеке, несправедливы. Понимаете?

— Не пойму что-то...

— Вы свободны.

— Как свободна? — встрепенулась Белугина.

— Совершенно свободны! — подчеркнул Лозинский, поднимаясь. — Надеюсь, в другой раз не попадетесь.

Несколько секунд Анна Белугина изумленно, в упор смотрела на штабс-капитана. Он стоял перед ней, высокий, туго затянутый в ремни, в желтых крагах, и неторопливо поправлял кобуру. Что-то неприятное ворохнулось в груди Белугиной. Она прошпугала:

— Как же так?

— Вы недовольны?

— А чем же мне довольной быть? — вдруг резко и оскорбленно заговорила Белугина, — Что вы жалеете меня? Да как с ва-

шей милостью по земле ходить буду? За что милуете? За женское мое положение? Да я больше, чем другие, вашего брата лупила!

— Нет, нет, на первый раз прощаю... — ответил Лозинский, направляясь к двери.

Вышли из избушки. Лозинский быстро зашагал вдоль берега. Белугина рванулась за штабс-капитаном, но ее схватил за плечо молоденький паренек с винтовкой, сердито прикрикнул:

— Эт-та куда? Э-э?

Белугина тяжело опустилась на дикий серый камень. От избушки хорошо было видно, как в небольшой ложбине, под старым раскидистым тополем, окруженные конвоем партизаны рыли могилу. Старик Степан Бесхлебнов, засучив рукава синей выцветшей рубахи, копал не спеша, аккуратно укладывая землю около могилы, и изредка, чтобы не осыпалась, прихлопывал ее лопатой. Коренастый Максим Луговой стоял уже по колено в могиле и, не отрываясь, яростно разбрасывал землю по мятому плющу молодой травы. Раскидистый тополь стоял над ними поникше и безмолвно. За ложбиной, в чернолесье, неустанно порхала, сердито крича, ронжа — нарядная, в легкой сизо-красной жакетке. Далеко за лесом по широкому небесному выпасу брела отара мелких каракулевых облаков...

«Господи! — потерянно подумала Анна. — Да что же это такое? Что они делают?»

Она не отрывала глаз от старого тополя. Иногда ей казалось, что тополь начинал взмахивать раскидистыми ветвями, а партизаны и белогвардейцы кружиться вокруг него, потрясая лопатами и винтовками, словно затянутые в буйный водоворот вихря. Иногда — это было реже — казалось, что тополь стоит совсем близко и она отчетливо видит потные лица своих друзей. Анне хотелось заговорить с ними, но, пока она собиралась вымолвить слово, борясь с подступившим удушьем, тополь отодвигался на свое место...

Так прошло несколько минут.

Анна не верила, что штабс-капитан, с такими мутными, таящими что-то глазами, отпустит ее на свободу. Ей невольно думалось, что милость штабс-капитана — хитрая ловушка, не иначе. С каждой секундой у Анны росло смутное предчувствие большой беды, и она вдруг крикнула:

— Дядя Степа! Максим!

— Молчать! — Солдат пристукнул винтовкой о землю.

До партизан не долетел ее приглушенный крик. Они не обернулись. И мысли Анны забились особенно мятежно, как багряные листья, подхваченные ветром. Она закрыла лицо руками и глухо зарыдала...

...От тополя долетели голоса.

Могилы были готовы. Партизаны стояли на бугорке свежей земли, смотрели на Каму; недалеко от них толпились солдаты с винтовками. Перед Белугиной все поплыло, словно высокий

берег внезапно начал сползать в желто-зеленую пучину Камы. Партизаны повернулись, что-то закричали ей негодуя, а потом даже подняли кулаки...

Когда Анна очнулась на камне, два солдата уже зарывали могилу землей. Мимо прошел штабс-капитан Лозинский. Ему подвели высокого игреневого коня. Штабс-капитан легко бросил свое тело в седло; сутулый, с маленькой опущенной головой и острыми плечами, он был похож на страдающего от жары беркута, чуть откинувшего усталые крылья. Анна порывисто поднялась, спросила:

— Что они кричали мне?

— Да-да, кричали, — равнодушно подтвердил Лозинский, смотря на чернолесье, над которым гонялись за ястребом крикливые вороны. — А вы не поняли, что они кричали? Они немного обиделись на вас перед смертью... Видите ли, я им сказал, что вас освободил потому...

— Почему? — жарко выдохнула Анна.

— Потому, что вы покались...

С лица Анны мгновенно схлынула кровь.

— Что?!

— Я немного пошутил, — ответил Лозинский и, стегнув коня, поскакал тропой на лесистое взгорье.

Вечерело. Чернолесье, утомленное дневной шумихой птиц, засыпало. Летучая мышь уже металась над ложбиной, где стоял старый тополь. Под ним на свежей могиле судорожно рыдала и билась Анна Белугина...

Вскоре штабс-капитан Лозинский был пойман и расстрелян. Но это не принесло Белугиной успокоения. Она никак не могла смириться с мыслью, что два близких товарища, обманутые штабс-капитаном, умирая, возненавидели и прокляли ее.

Да и сейчас не смирилась. Все старое зарастает быльем, забывается, а это и сейчас еще напоминает о себе, и всегда больно...

Если случается быть на Каме, Анна Белугина непременно приходит к старому тополю, где поставлен скромный памятник. Она стоит здесь долго, опустив сухие глаза. В эти минуты ничто не проникает в ее сознание; она живет одной мыслью, и полный горячего трепета мир отодвигается, не тревожа ее одиночества. Кама катится вольно, могуче, обшивая берега кружевами нежно-желтой пены. О чем-то шумно разговаривает на взгорье чернолесье. Над рекой носятся, сытно покрякивая, чайки-хохотуньи. И вдруг Анна как подкошенная падает на маленький бугорок, заросший полынькой...

Рысь дремала. После тяжелой ночной охоты она отдыхала на старой пихте, у подножия высокой, похожей на юрту сопки. Недавно прошел первый снегопад, и тайга, небрежно осыпанная серебристой трухой, коротала день в тоске и безмолвии. Над суровой и чуткой глухоманью тайги низко висело серое небо. Рысь изредка поднимала ухо — слушала, как пихта, доживающая свой век среди молодого подлеска, украдкой вздыхала и тихонько покачивала сухостойной вершиной.

Перед вечером тайга внезапно пробудилась: над сопкой посыпались сухие винтовочные хлопки. Рысь вскинула голову, прижав короткие уши с пучками остинок и прищутив зеленовато-желтые горячие глаза. Над сопкой поднялась гулкая людская разноголосица. И вдруг сук, на котором лежала рысь, отчего-то вздрогнул, отряхнув косматый иней. Рысь ошалело метнулась с пихты и порывистыми бросками пошла к устью глухого распадка, оставляя на снегу мятежный след.

Полковник Аймадов лежал за толстым, поваленным бурей кедром. Он отбивался долго и яростно. Сбросив шапку-треух, он выглядывал из-за колодины, порывисто прижимал к сухой щеке, заросшей седоватым волосом, холодную ложку карабина, стрелял быстро и, стиснув зубы, выбрасывал дымящиеся гильзы. Над его головой со стелющимся посвистом неслись пули. Но это не останавливало Аймадова. Он стрелял непрерывно, торопливо. Он стонал от радости, видя, как партизаны, бегущие по склону сопки, падают и корчатся в снегу, обнимают в предсмертных судорогах деревья, повисают на сучьях валежин...

По сопке прокатился гул голосов партизан: ближние взгорья быстро откликнулись, и раскатистое, необычайно гулкое эхо забилося над тайгой. И тогда, повинувшись толчкам какой-то дикой силы — это, верно, было отчаяние, — полковник Аймадов выскочил из-за колодины и рванулся вперед, грозно потрясая раскаленным карабином:

— Сто-ой, гады! Стой!

Партизаны стреляли часто, но их пули словно шархались в стороны от буйного и бесстрашного полковника — огромного человека в дубленой шубе-борчатке, с непокрытой головой, окутанной испариной, и тяжелыми, как свинцовая картечь, глазами.

— Сто-ой!

По карабину, поднятому над головой, резко щелкнула пуля. Аймадов отпрянул назад и тревожно оглянулся. В тихой бухте стоял большой затор белых гребней гор. Пади заливало густой мглой. Будто спасаясь от неудержимого половодья мглы, к вершине сопки брели могучие кедры в косматых шубах, бежали вагаги кудрявых сосенок. «Почему же я один?» — удивился Аймадов.

Отшвырнув разбитый карабин, он в несколько прыжков оказался у поваленного кедра, откуда стрелял, схватил треух и бросился под уклон. Он бежал, закинув косматую голову, хрипя и широко раздувая ноздри, обдирая о сучья деревьев борчатку и лицо.

У подножия сопки в редком пихтаче отдыхали трое из отряда полковника Аймадова — два солдата и штабс-капитан. Налет партизан на охотничью избушку и гибель многих товарищей — это было для всех неожиданным и тяжелым ударом. Маленький штабс-капитан Смольский сидел на колодине нахохлившись, пряча голову в поднятом воротнике бекеша. Изредка он печально и почти беззвучно шептал:

— Что же теперь? Ведь ночь, очень холодно. Право, как все получилось... Ничего, и вдруг...

Штабс-капитан сидел, отвернувшись от солдат, и по тону его голоса можно было судить, что он не ждет ответа на свой вопрос и даже, больше того, не хочет или боится получить ответ. Но все же он тихоно повторял:

— Ну что же? Странно... А как ведь холодно!

На снегу навзничь лежал солдат Оська Травин — молоденький деревенский парень, худощавый, с пухлыми губами. Бесцельно смотря в меркнувшее небо, он горько твердил:

— Кончено! Свет велик, а деться некуда...

А солдат Силла, плечистый, с рыжеватой, точно свитой из медной проволоки бородой, сидел под кудлатой пихтой, разбросав вокруг себя сумки, винтовку, топор, и молча дымил сигаркой. Когда на сопке затихла стрельба, он начал переобуваться и беззлобно, как всегда, одернул Оську:

— Брось панихиду!

— А что?

— Обуваться мешаешь.

— Все ведь кончено, Силла! — горячо повторил Оська Травин, приподнимаясь на локте. — Понимаешь, все!

— Не вижу что-то...

— Все пропало, Силла! Ей-богу!

— Не божись — кровь носом пойдет.

— Нет, все пропало. Ну куда мы сейчас? Уж лучше пойти и сдаться...

— Сходи, — спокойно ответил Силла. — С тебя там, как с белки, сдерут шкурку. Не дорожишь — сходи. А мне нет никакого резону идти. В тюрьму, братец, путь широк, а из тюрьмы — тесен. Я знаю...

Из пихтача донесся шум и треск. Солдаты, будто подброшенные толчками от земли, вскочили и схватились за винтовки. Разбрасывая ветки, на прогалину выскочил осыпанный снегом полковник Аймадов. Узнав своих, он обессиленно привалился плечом к тускло-голубой пихте. Его суровое лицо, изрытое глубокими морщинами, нервно подергивалось. С левого виска текла кровь. Над белесым помятым ковылем волос поднималась испарина. Шапкой, судорожно зажатой в правой руке, Аймадов растирал себе грудь.

— Владимир Сергеевич! — крикнул, поднявшись, Смольский.

Аймадов молча грохнулся у пихты, начал жадно хватать снег, давясь и кашляя.

— Владимир Сергеевич! Вы погубите себя! Вы простудитесь! Владимир Сергеевич, встаньте!

— Пускай остудит нутро, — сказал Силла.

— Но это опасно!

— Не бойсь! Он выдюжит.

Вскоре Аймадов, остудив грудь, привалился широкой спиной к пихте и, стягивая с воротника борчатки снег и хвойные иголки, хрипло сказал:

— Не повезло, братцы. Шапку потерял.

— Да вот она, вот! — подскочив, указал Смольский.

— Здесь? Тогда все... ничего... все ничего, братцы...

Надев шапку, Аймадов с трудом поднялся, вытер о мех борчатки руки, вытащил из-за пояса меховые рукавицы и оглянулся на сопку. Там, где было зимовье, качались хвосты бурого дыма. Небосвод обдуло предзакатным ветерком, он стал чище и просторнее. Солнце, не рассчитав, ударилось о высокий скалистый хребет и растеклось, залив багряными потоками весь запад.

— Все здесь? — спросил Аймадов.

Никто не отвечал.

— Ну, пошли, братцы, с богом!

— А куда? — осторожно осведомился Оська Травин.

— Странно! Не стоять же здесь.

— Но куда же идти?

— Только туда!.. — Аймадов неопределенно указал на север. — Дальше в тайгу. Нас, вероятно, попытаются догнать. Надо уходить. В тайге, братцы, найдется место. Что ж, так богу угодно. Только найти людей, они помогут.

— Господи! — прошептал Оська потерянно.

— Чего ты ноешь? — жестко заговорил Силла, засовывая топор за пояс. — Чего киснешь? Затянули песню, так надо вести до конца. Пошли!

Аймадов пошел первым — прямо по распадку. «Но куда, в самом деле, идти?» — подумал он, сделав несколько шагов. Вокруг глухая тайга, снега, за каждым деревом — неизведанной. Недалеко от огромной старой пихты Аймадов увидел свежий звериный след. Нагнулся, прошептал: «Кажется, рысь».

Сердце Аймадова нехорошо заняло. Он остановился, присмотрелся: мятежный след рыси уходил по распадку и терялся в мелколесье. Сгорбившись, словно взвалив на плечи непосильную ношу, полковник грузно побрел по звериному следу, и бескровные губы его вздрагивали.

II

Полковника Аймадова хорошо знали по всей области. Отец его Сергей Евсеевич имел золотой прииск. Умер он в глубокой старости в январе 1918 года. Умер необычной смертью. В тот день, когда должна была приехать комиссия губернского Совета национализировать прииск, Сергей Евсеевич выгреб из кассы золото в мешок и ушел в тайгу. В пяти верстах от прииска он разорвал связкой гранат себя и дорогой мешок — молоденький пихтач вокруг так и обдало брызгами крови и золотой крупкой.

Владимир Аймадов родился на прииске. Несмотря на богатство, Сергей Евсеевич держал сына в черном теле, приучал к труду, отвлекал от пустых забав и увлечений. Суровое воспитание только укрепило Владимира. Он выдался крепким, выносливым, с необычайной житейской сметкой. С тех пор как он ушел на войну, о нем долго не было слухов в области. Только летом 1918 года, когда сибирскую железнодорожную магистраль захватили восставший чехословацкий корпус и белогвардейцы, капитан Владимир Аймадов неожиданно объявился в областном городе.

Владимир Аймадов жестоко мстил за смерть отца и разгром прииска. На следующее лето, когда в области начали разгораться огни восстаний, он, уже в чине полковника, вышел во главе большой карательной экспедиции в глубь тайги. Два месяца умирал восставший народ: сильно потрепал несколько партизанских отрядов, сжег десятки селений, по всем дорогам и тропам для острастки расставил виселицы. Над тайгой тогда постоянно двигались тучи дыма, и ветер далеко разносил запах гари. Из опустошенных селений люди уходили в тайгу, травами лечивали раны от шомполов и нагаек, собирались в отряды, ковали пики, чинили берданки, мастерили пушки...

А осенью произошло нежданное-негаданное для Аймадова событие: его отряд оказался в кольце вновь вспыхнувших восстаний. За два дня Аймадов расставил на карте десятки красных флажков. Вскоре белые каратели в панике заметались по тайге — так мечутся обложенные волки, всюду натываясь на красные флажки.

У деревни Россошиха отряд Аймадова был окружен и разгромлен. Спаслось только девять человек. Пробраться обратно в областной город нельзя было: вся тайга находилась во власти партизан, они закрыли все дороги и тропы. Полковник Аймадов бросился на займку к знакомому богатому старожилу — промыслову Сухих.

— Выручи! Спрячь!

Сухих рассказал о Чертовой сопке.

В народе Чертова сопка пользовалась дурной славой. Лет десять назад пришли на нее три промысловика, построили с подветренной стороны, у родника, просторную избу и лабаз, расставили по речкам в ближних падах ловушки на соболей. Что потом случилось на сопке — никто не узнал. Только весной около избушки были найдены обглоданные кости двух охотников и ключья их полушубков. Третьего не успели найти. В развалинах на вершине сопки раздался такой дикий хохот, что людей будто ветром смахнуло к подножию.

С тех пор все боятся и близко подходить к Чертовой сопке. Ходят упорные слухи: только подойдешь — над сопкой прокатывается страшный, хватающий за сердце бесовский хохот.

— Веди! — загорелся Аймадов.

III

Белогвардейцы ушли на Чертову сопку. Все они верили, что найдено хорошее убежище. Вокруг, на десятки верст, дикая, безлюдная тайга. В падах, среди чернолесья, осень разложила багряные костры. Безыменные речушки и родники, пробиваясь сквозь чащу, бормочут сонно, однообразно, но слышать их голоса приятно: чувствуешь, что земля живет и творит. Над тайгой тонкое, покрытое полудой небо. У далеких гребней гор на западе стоят на причалах, как старинные челны, мастерски выточенные облака.

Первый день прошел в больших хлопотах: поднимали от подножия сопки привезенные вещи и продовольствие, наводили порядок в запустевшей, пропахшей тленом избушке, исправляли лабаз, заготовляли дрова, устраивали сруб у родника. Все сутились, торопились, держались бодро и весело.

С увлечением работал и полковник Аймадов. Он рубил и колот дрова. Работал он ловко: одним взмахом пересекал крепкие сучья, одним ударом раскалывал толстые чурбаны. Если же попадал суковатый чурбан, Аймадов, вонзив в него топор, вскидывал его над собой, расставлял ноги и, крикая, так бил о бревно, что с ближних берез осыпались листья. Он редко делал передышки, но, даже когда и прерывал работу, не садился, а продолжал стоять, опустив топор, и, раздувая широкие ноздри, с задором осматривал тайгу. Все солдаты в эти минуты любовались полковником: в серой шерстяной фуфайке, в широких деревенских штанах и грубых сапогах казенной работы, он походил на простого таежника-промысловика, стал ближе, понятнее и — могущественнее. Со всеми, кто в минуты передышки оказывался поблизости, он весело перекидывался словами.

Из избушки часто показывался Силла с охапкой сырого щепья или гнилой, заплесневелой травы.

— Как дела, Силла? — спрашивал Аймадов. — Живем?

Силла чувствовал в последние дни особенно дружеское отношение к себе полковника. Путаясь толстыми и чуть кривыми ногами в траве, он оборачивался, выглядывая из-за ноши и панибратски подмигивал хитрым карим глазом:

— Живем, господин полковник! Дай бог!

— Хорошо будет в избушке?

— Э, такое логово будет!

Штабс-капитан Смольский подносил сухой валежник. Маленький и слабосильный, он страшно мучился, если приходилось тащить хотя и тонкую, но сучковатую валежину, а она цеплялась за траву, за деревья. Он напрягал все силы, вытаскивая застрявшую валежину, и иногда, вытащив ее, сам падал, а потом смущенно отряхивался, оглядываясь по сторонам, вытирал шелковым платочком с желтыми каемками пухленький вспотевший нос и улыбался по-детски, смиренно.

— Ты бы поменьше брал! — кричал ему Аймадов. — Надсадишься, чего доброго!

— Ничего, надо запастись...

Показывался Оська Травин. Закинув голову, покрытую солдатской фуражкой, он осматривал деревья, стучал по ним топором.

— Осип, что бродишь?

— Дерево на лабаз высматриваю, господин полковник.

— Да вали любое, чего смотришь?

— Покрепче хочу выбрать.

— Ха-ха! Навек тебе? Вали вот это, ну!..

И опять, поплевав на ладони, Аймадов рубил дрова. Топор сверкал и свистел в его руках.

Но уже вечером Аймадов понял: дневное веселье — последний ясный просвет в наступившей тягостной отшельнической жизни. По старой привычке он хотел было сделать запись в дневнике, но не смог. О чем писать? Вспоминать о недавнем прошлом — больно, рассуждать о настоящем — неинтересно, мечтать о будущем — бесцельно.

Как назло, испортилась погода. Откуда-то навалилась громада литых туч; они шли, наполняя тайгу липким мраком, и при виде их все казалось хилым и шатким на земле. Ветер злобствовал. Дюжие кедровые ели и пихты металась в панике, хватались друг за друга сучьями, тяжело охали. Одна дуплистая пихта, стоявшая недалеко от избушки, гулко треснула и со стоном легла в подлесок. В этот момент Аймадов понял, что у отряда прибавился еще один серьезный враг — одиночество.

Солдаты приумолкли.

Только один Силла болтал беззаботно. Раньше он был воякой и бродягой. Он никогда не имел постоянного пристанища. В белую армию Силла пошел добровольно, спасаясь от расправы обиженных им мужиков и втайне мечтая поднажить добра. Не особенно и огорчился он, что со службой получалась неприятность, что пришлось жить в таком гиблом месте, — не все ли

равно, где жить? Он удивлял товарищей каким-то бездумным презрением к жизни. Подкладывая в печь дрова, пробуя похлебку, он издевательски весело болтал:

— Э-э, еще как заживем! Чего нам? Ешь похлебку и живи! Карты у меня есть, можно будет перекидываться. Раздобудем еще как-нибудь баб, наплодим ребят... Не жизнь будет — малина. А что, в самом деле, баб бы добыть, а? — Щуря карие лукавые глаза и поглаживая рыжеватую проволочную бороду, он поочередно оглядывал товарищей. Те молчали, и это, видно, забавляло Силлу; он облизывал широким языком ложку, клал ее рядом с собой на еловый лапник и беспечно мечтал: — Да-а, вот бы потеха была! Завести баб, наплодить ребят, и вот тебе новая деревня, пиши ее на карту!

— Деревень и так много, — заметил Оська Травин.

— То какие деревни! Сказал! Мне свою надо, чтоб душе был простор. А в тех у меня клопная жизнь: днем прячешься, ночью вылазишь. Мне солнца побольше падо! Да, все дело в бабах... — Но как ни пытался Силла, разговор не завязывался, и он, тряхнув головой, с усмешкой заключил: — Что, не нравится? Э, курьи головы!

Сели ужинать. Полковник Аймадов взглянул на солдат, окруживших котел, и ложка запрыгала в его руке. «Господи! — подумал он. — Ведь все здесь, что остались... Да что я с ними буду делать?» И тут Аймадов ощутил сильную, охватившую все тело усталость. Он отказался от ужина и лег на нары. Нет, разгром экспедиции — этот неслыханный, мучительный позор, несмотря на отчаянное сопротивление Аймадова, истощал и высушивал, как суховей, его могучие силы. «Только бы вырваться отсюда!» — думал Аймадов, стараясь сосредоточиться именно на этой мысли, но все вокруг мешало ему: солдаты смачно хлебали похлебку, за стеной шумела тайга, в окно настойчиво стучалась веткой молодая сосенка, словно просилась на ночлег.

Быстрее всех поужинав, Силла вытянулся на нарах, подложив руки под голову, и начал было опять мечтать о новой деревне, но вдруг поднялся, прислушался и серьезно спросил:

— А что же не хохочет никто?

— Где? Кто? — тоже приподнимаясь, спросил Аймадов.

— Да на сопке! Ведь сказали, что здесь кто-то прямо живот надрывает от хохота!

— В самом деле, — сказал Аймадов, — никто не слышал хохота? Хм... Ведь мы здесь целый день. Почему же не слышно?

— И тут нас надули. — Силла презрительно скривил губы. — Ну и жулик народ! А как бы весело было!

Солдаты не выдержали:

— Чудишь ты, дьявол!

— Да к чему хохот? Был бы хлеб.

— Захохочет — штаны не успеешь снять!

Аймадов не боялся суеверий. Наоборот, он решил укрыться на Чертовой сопке именно потому, что о ней ходила в народе

суеверная молва. Эта молва, и, может быть, только она, могла теперь оградить его от гибели. Аймадов перевел взгляд на штабс-капитана, который сидел у печки и рассматривал какие-то фотографии.

— Как думаете вы, штабс-капитан?

— Я мог бы жить без хохота, — ответил Смольский.

— Нет, это невозможно! Хохот должен быть!

Утром, только открыв глаза, Аймадов спросил Силлу:

— Хохота не слышно?

— Никак нет, господин полковник. Просто безобразие!

— Скверно! Ну-ка, пойдем со мной...

Поднялись на вершину сопки. Она была завалена огромными глыбами, серо-кофейными плитами и крупным щебнем. Между камнями — темные пещеры, закоулки, ямы, откуда несет сыростью.

На рассвете ударил заморозок, и камни, обмытые почью дождем, были покрыты, точно лаком, тонким слоем наледи. Озябшие корявые сосенки позванивали, как стеклянные. Даль была подернута туманной дымкой.

Аймадов осмотрелся, приказал:

— А ну захохочи, Силла.

Силла понимающе кивнул и, набрав в грудь побольше воздуха, захохотал. Произошло совершенно неожиданное. Хохот бешено заметался между камнями, начал гулко биться в пещерах и закоулках. Аймадов и Силла удивленно переглядывались, а хохот, не ослабевая, все бился и бился в каменных развалинах. Вскоре захохотали и ближние сопки.

— Вот так чертовщина! Как грохочет!

— Чудесно! Значит, будем хохотать сами.

Несколько дней солдаты добровольно ходили на сопку хохотать. Это было забавой. Но потом добровольцев не стало. Солдаты помрачнели. Удручающе действовало ненастье. Тайга постоянно шумела — неприветливо, заунывно. Рыхлые тучи шли нескончаемой вереницей и, отряхиваясь, сыпали дождь или крупку. Деревья, казалось, разбухли от сырости. На земле было сумеречно и мозгло. В такую непогодь хотелось сидеть только в избушке, у огня, но Аймадов не соглашался прекратить на сопке хохот. Когда оказалось, что никто не идет добровольно, он решил действовать решительно. Однажды утром он сказал Оське Травину:

— Сегодня пойдешь хохотать ты.

— Господин полковник!

— Без разговоров! Приказываю!

Оська не осмелился нарушить приказ. Но вечером, за ужином, пожаловался:

— Не выходит у меня с хохотом.

— Еще как выходит! Заслушаешься! — похвалил Силла.

— Да не выходит, чего ты... Богом прошу, ослобоните.

Аймадов предложил:

— Тогда, братцы, вот что: бросайте жребий. Кто вытянет, тому хохотать в течение недели. А потом другой...

Бросили жребий. И — дело случая: жребий пал на Оську Травина. Для него наступили тяжелые дни. Оська был освобожден от несения караула и всякой работы; от него требовали только, чтобы утром и вечером он поднимался на вершину сопки и хохотал по несколько минут. Но сколько эти минуты приносили Оське страданий! Он поднимался на вершину сопки, садился на камень и долго горестно осматривал тайгу. Хохотать не хотелось. До смеха ли было Оське Травину? В белую армию он попал по мобилизации. Тихий и покорный, он прослужил хорошим, исполнительным солдатом. Но воевал Оська неохотно. Спокойно жить в родной деревушке, трудиться на земле, охотиться за белкой — вот что было его призванием. Он часто мечтал о доме и совсем недавно был убежден, что осенью вернется в родную деревню. Так говорили ему и офицеры. А что получилось? Обидно и страшно было Оське. Осматривая тайгу, он всегда вспоминал о доме.

«Не знаю, — думал он, — успели нынче наши обмолотить хлеб или нет? Нет, наверное... Тятка-то совсем плохой стал, надсадился, бедняга... А что Анка с матерью сделают? Вот и дров бы надо запасти, а что они?..»

Он сокрушенно тряс головой и говорил вслух:

— Эх, Анка! Знала бы ты... Знала бы, милушка, все...

Когда вставала перед его взором Анка, он забывал обо всем, мысленно заводил с ней разговор, улыбался ей, сверкая лучистыми глазами, почему-то грозил ей пальцем. Но падала с дерева ветка или доносился от избушки звон топора, и Оська, спохватившись, становился сразу серьезным, худощавое лицо его вытягивалось и серело, глаза остывали. Проходило еще несколько минут, и только большим усилием воли Оська заставлял себя хохотать. Но хохотал он как-то странно: мелко, рассыпчато, истерично. И бывало, что он внезапно прерывал хохот, падал грудью на камень, стонал и плакал по-мальчишески, навзрыд. Потом пугливо оглядывался, торопливо вытирал глаза подолом рубахи и опять хохотал, и сердце его надрывалось от боли.

Возвращался Оська к избушке всегда усталый, бледный и какой-то весь помятый. Перешагнув порог избушки, утомленно прислонялся к косяку двери, бросал под ноги шапку:

— Тошно, ребята...

В избушке хозяйничала злая, безысходная тоска. Солдаты целыми днями молча лежали на нарах, думая каждый о своем и слушая шум тайги. Даже в карты никто не соглашался играть с Силлой. Аймадов и Смольский рассматривали свои бумаги, тихонько совещались, что-то записывали в блокнотах. Они часто говорили, что если в ближайшее время не подойдет помощь, то вырвутся отсюда сами, но солдаты плохо верили в их планы. Всех пришибла, надорвала угрюмая тайга.

Заброшенность и одиночество особенно сильно угнетали Оську Травина. Чувство омерзения к отшельнической жизни у него вскоре стало так велико, что однажды он сочинил унылый стих. Сидя у очага, Оська рассказывал его печальным, потухающим голосом:

Куда ни взгляни — тайга да тайга,
Чужая и темная, как ночь.
Шумит да бушует сердито она...
И жить здесь, ребята, невмочь!
Известно только богу
Про нашу такую берлогу.
И скучно, и грустно,
И некому руку пожать...
Товарищи милые,
Где мои кости будут лежать?

Солдаты слушали, опустив глаза.

— Тьфу, проклятый! — возмутился Силла. — Придумал же, сучий сын! Психо-творение!

— Ты бы, Осип, смешную стиху составил, — попросил один солдат, — про Силлу, к примеру, а?

Оська возразил:

— Про Силлу не могу. Разве про таких составляют стихи?

— А что он?

— Так, недостойный он...

— А я вот тебя удостою! — Силла повертел в воздухе волосатым кулаком. — Удостою, парень, если будешь точить тут, как червь! Понял?

В избушке стало еще неприятнее и тягостнее. Шли дни, и каждый новый день был похож на прошедший унынием и тоской. Оська Травин совсем отбился в сторону и жил уединенной жизнью. Стихи он стал сочинять еще чаще. Даже Аймадов не мог отучить его от этого занятия. Однажды ночью — шел первый снегопад, тайга затихла — Оська разбудил Аймадова и сообщил:

— Господин полковник, я еще сочинил стих.

— Читай, — покорно согласился Аймадов.

Оська сел поудобнее на нарах и тихонько начал читать:

Черный ворон смотрит на землю,
Клювом щелкает и бьет крылом:
— Что там?
Серый волк наострил глаза
И поднял свой острый нос:
— Что там?
Медведь косолапый встал у пихты,
Разинув большую пасть:
— Что там?

Оська помедлил и совсем тихо досказал:

— Там лежит мое тело...

— Полковник Аймадов сидел, тяжело сопя. Солдаты спали. Оська слез с нар, взял бечевку и вышел из избушки. Аймадов

зышел следом и увидел: Оська привязывает бечевку за толстый сук пихты.

— Ты что задумал? — глухо спросил Аймадов.

— Я чтоб без шума, значит...

Аймадов развернулся и резко ударил Оську в левое ухо; охнув, парень свалился в снег.

IV

От Чертовой сопки белогвардейцы шли прямо на север. Полковник Аймадов шел первым, чуть сутулясь, ворочая отвислыми плечами, с угрюмой настойчивостью и остервенением разгребая ногами рыхлый снег. Он не оглядывался; он успокоился и был исполнен непоколебимой уверенности в силе своей власти — с таким внутренним сознанием, должно быть, водят стада старые вожаки — сохатые. За полковником шли цепочкой Силла, Смольский, Травин.

Ночь улеглась. Вызвездило внезапно, похоже было, что кто-то вытряхнул из мешка звезды и враз засыпал ими весь небосвод. Мороз быстро крепчал. Лицо Силлы, заросшее густым волосом, сковала наледь. Один раз Силла плюнул — слюна мгновенно свернулась сосулькой на бороде. Штабс-капитан Смольский разгорячился от быстрой ходьбы, но чувствовал, как позадри распирает от мороза, и каждую минуту ожидал, что из носа хлынет кровь — так с ним не раз случалось в лютые стужи. Оська Травин почти бессознательно переставлял ноги. Ему казалось, что теплым у него осталось только сердце. Он иногда хватал снег и оттирал обмороженные щеки.

Остановился Аймадов на гребне невысокого лесистого взлобка. Сбросил сумку, сел на толстую колодину. Подходя к Аймадову, все его спутники, в том числе и Силла, с тревогой подумали: «Ну, что он может сейчас сказать?» А полковник, как всегда, сказал по-житейски спокойно и просто:

— Ночевать здесь.

Голос полковника всех ободрил: в нем была прежняя твердость и власть. Все начали сбрасывать на снег сумки, снимать оружие.

— Плохо, что нет топора.

— Топор есть, — ответил Силла. — Как случилось это... я, значит, топор живо за пояс. Думаю...

— Дай сюда! — Аймадов взял топор, поднялся: — Ломай сучья, Силла. Побольше. Штабс-капитан и Травин, разгребайте снег... Вот здесь.

В десяти шагах от комля колодины Аймадов облюбовал сухостойную ель, обтоптал вокруг нее снег, сбросил борчатку, и в руках полковника зазвенел топор.

Ель повалили вершиной на вершину колодины. Из угла, образованного деревьями, выгребли снег. Аймадов приказал:

— Натаскать сюда веток. Деревья поджечь.

Когда языки огня, как ласки, заматались по деревьям, меж-

ду ними сразу стало теплее. Расстилая лапник, Силла восхищенно сказал:

— Шалаш! Прямо шалаш! Господин полковник, где вы учились этому?

— Я вырос в тайге.

У Силлы нашлась краюха стылого хлеба. Отогрели ее на огне и, общипывая оттаявшие края, ели жадно, но осторожно, чтобы не ронять крохи. После пережитых волнений, тяжелого перехода в мороз и хлеб, и огонь действовали исцеляюще: у всех как-то притупилось чувство отверженности, безысходности, все молчали и думали об одном — об отдыхе, только об отдыхе...

Аймадов несколько минут изучал карту, делая на ней какие-то отметки, затем сказал:

— Мы найдем какой-нибудь поселок. Ручаюсь. А найдем — только нас и видели! Хорошие люди увезут куда надо.

Все устало и покорно согласилось.

— Увезут!

— Только добраться.

И больше — ни слова.

...После полуночи встал на дежурство Оська Травин. Ему не хотелось настороженно прислушиваться к движению ночи или о чем-нибудь думать — укачивала мягкая дремота. Очнулся Оська от какого-то внутреннего толчка. Недалеко от костра, на полянке, потерянно вскрикивал зверек и хлопала тугими крыльями сильная птица. Вскоре схватка затихла, птица улетела, но Оське все еще чудилось тугое хлопанье крыльев и жалобный плач зверька.

Оська с опаской огляделся вокруг, и — странное дело — ему показалось, что они ночуют не там, где остановились. Вечером здесь было немного деревьев, а теперь они обступили костер, плотно, словно издали пришли погреться у огня. Вокруг непроглядная, неземная тьма, а низко над костром звезды ползают, как пауки. Оська безотчетно начал сгребать вокруг себя лапник, тревожно позвал:

— Силла!

Из лесных чащоб дохнуло такой стужей, что деревья начали зябко вздрагивать, судорожно забился огонь, отовсюду поползли шорохи. Недалеко раздался гулкий треск: или дерево надломилось, или лопнула земля.

— Господи, спаси меня!

...Догорели деревья. Аймадов проснулся и, не поднимая головы, спросил:

— Что ж не будишь, Осип? — В следующую секунду Аймадов уже вскочил, осмотрелся: — Да, убежал, подлец!

V

На рассвете молча двинулись дальше. В полдень достигли седловины между двух сопок, устроили привал. С седловины хорошо был виден пройденный с утра путь — он лежал сквозь тай-

гу, которая текла повсюду чернопепистой лавой, случайно оставляя небольшие белые плешины еланей.

Не отдохнув и минуты, Силла взял топор и пошел искать сухой валежник. Полковник Аймадов сел на пихтовый лапник, сбросил сумку, бинокль, маузер; подумал немного — сбросил шапку-треух. Торопливо общипав с усов и бороды сосульки, расстегнул ворот борчатки, достал из-за пазухи кусок хлеба.

— Закусим, Смольский. Держи!

— Кушайте, кушайте... — отозвался Смольский.

Покорность, отрешенность звучали в голосе штабс-капитана. Аймадов повернулся и увидел: маленький и сухонький Смольский в зеленой бекеше разметался на лапнике, как спящий ребенок, бледное лицо его в красных пятнах, а большие открытые глаза пусты и бездонны.

— Смольский, что с тобой?

— Душно, и ноги ломит...

— Устал? Или заболел? — Аймадов положил руку на лоб штабс-капитана. — А?

— Не знаю...

— Ты понимаешь, Смольский, надо напрячь все силы.

— Я понимаю. — Смольский виновато улыбнулся.

Силла притащил сушняку, разжег огонь. Увидев, что полковник без шапки, строго сказал:

— Что рискуете зря, господин полковник? Наденьте!

— Вон штабс-капитан заболел, — сказал Аймадов.

— О! Зря угораздило его.

— Вероятно, тиф...

— Один черт! Зря. Как пойдем?

Тяжело сопя, Силла сбросил поношенные серые валенки с красными мушками, развернул портянки, снял носки.

— Сушить? — спросил Аймадов.

— Понятно, подсушить надо.

Силла надел валенки, начал развешивать портянки и носки на колышки и вдруг увидел, что недалеко от того места, где они провели ночь, поднимается в небо серая колонна дыма.

— Господин полковник! Гонятся!

Увидев дым, Аймадов опустил голову, и его тяжелые глаза холодно сверкнули.

— Они... Надо уходить, Силла!

Штабс-капитан Смольский долго не мог понять, почему его заставляют подняться, куда и зачем надо уходить. Силла подхватил его под руки, поднял на ноги, но он все еще растерянно оглядывался и бормотал:

— Это куда? Куда мы пришли?

— Догоняют нас... Партизаны гонятся, — терпеливо объяснял Силла, оправляя на штабс-капитане ремни, отряхивая с бекеша снег.

— Гонятся? Ну и что же?

— Вот, стало быть, уносить ноги надо.

Пошли торопливо и сразу же потеряли из виду дым партизанского костра, но Аймадов невольно оглядывался и, видя дымок своего костра, забываясь, вздрагивал и прибавлял шагу. Смольский шел потный, разгоряченный, как из бани. Аймадов тихо и угрюмо просил:

— Штабс-капитан, дорогой, не отставай!

День стоял холодный и ясный. Стали часто попадаться елани. Серебристо-дымчатый снег на них был замысловато расшит строчками звериных следов. Усердно плотничали дятлы. Поползни в голубых поддевках шныряли по деревьям, лущили с них кору и, останавливаясь, презрительно кричали: «Твуть!» Иногда пролетали ворчливые, как старые девы, кукши и порхали с дерева на дерево стайки малюток-корольков в огненно-желтых шапочках.

У маленького замерзшего ручья на белой березе Аймадов увидел и метким выстрелом сшиб глухаря; ощипывая его на ходу, разбрасывая перья, пошел дальше.

Догнал Силла.

— Господин полковник, штабс-капитан отстает. Фу, вот это зря!

— Обождем.

— Еще беда: портянки и носки забыл.

Аймадов сбросил сумку, достал теплые вязаные кальсоны.

— На, разорви и обуйся.

Дождались Смольского. Он настойчиво боролся с немочью и, когда сознание прояснялось, успокаивал себя, рассуждал трезво: «Это пустыки, конечно... Ведь вот я все вижу хорошо. Надо идти, идти...» Смольский ободрялся, старался шагать крупно, твердо, но неожиданно оказывалось, что перед ним сопка — требовалось много сил, чтобы одолеть крутой подъем; дышать становилось трудно, а вершины сопки не видно. Он останавливался, хватался за грудь, и внезапно сопка исчезала. Аймадов и Силла шли по ровному месту, но так далеко, что казались маленькими клубочками, и Смольский, задыхаясь, кричал:

— Эй, обождите! Обождите!

— Что кричишь? Ведь вот мы...

— Владимир Сергеевич, обождите. Право, как это трудно: идти, идти...

Подошел Аймадов с полуобщипантым глухарем за поясом.

— Дай руку, помогу.

— Это кто — глухарь? — спросил Смольский, обликая пересохшие рдеющие губы. — А почему он голый? Странно. Где же перья?

— Помолчи. Так легче идти...

Около часа Аймадов и Силла поочередно помогали двигаться штабс-капитану, но затем он так ослаб, что его пришлось вести вдвоем. Смольский, повиснув на руках Аймадова и Силлы, едва переставлял ноги, дышал хрипло, жарко. Один раз он остановился, с удивлением заметил, что его ведут, обиженно

оттолкнул локтями товарищей, сделал вперед несколько шагов — и упал навзничь. Его опять подняли, повели, с трудом перетаскивая через колодины, защищая от колючих опавших елей. Смольский начал бредить.

— Вы видите? — кричал он. — Видите? Партизаны обходят! С обоих флангов... Да-да, немедленно! Эх, черт возьми! Да воп, вон!

Аймадов и Силла понимали, что это бред, но невольно оглядывались по сторонам.

— А догонят нас, — вздохнув, сказал Силла.

— Тоже начинаешь бредить? — сердито оборвал его Аймадов.

Обтерли штабс-капитану снегом лицо. Смольский продолжал бредить. Аймадов и Силла переглянулись, опустили штабс-капитана на снег, головой на поваленное дерево. Аймадов обшарил карманы бекеши Смольского и, вытащив золотой портсигар, сказал твердо:

— Прости, штабс-капитан! Мы уходим.

— Ага, великолепно, великолепно, — бредил Смольский.

— Смольский, дорогой, ты знаешь, мы должны уйти... ради нашего дела. Ты прости, Смольский...

Аймадов и Силла пошли дальше, а штабс-капитан, ворочаясь на снегу, горячо декламировал:

Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав ее всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна...

...Через час Смольский очнулся, открыл глаза, медленным взглядом осмотрел лес. Никого. Тишина. Но штабс-капитан даже не понял, что с ним случилось, неторопливо поднялся, отряхнул с бекеши снег и, шатаясь, пошел в сторону от тропы, проложенной Аймадовым и Силлой. В его болезненном сознании все еще жила мысль: надо уходить, уходить дальше, чтобы скрыться от партизан, — и этой мысли он подчинился безотчетно.

В тайге было глухо. По тускло-синеватому снегу ползали тени. Смольский вышел к небольшой речке. Берега ее были в толстой ледяной броне, а речка катилась, бурлила и легонько дымила. Маленькая белогрудая птичка, сидевшая на ветке ивы, вдруг нырнула в речку и пошла по дну вниз по течению, раскидывая носом камешки. Смольский, пораженный невиданным чудом, торопливо зашагал вдоль берега. За поворотом речка была покрыта сплошным льдом, и Смольский подумал, что птичка здесь вынырнет, но она, все более поражая штабс-капитана, спокойно ушла под лед. «Погибла! — ахнул Смольский. — Ведь вот какая глупая, ей-богу! Ну зачем она? А какая хорошая птичка...» Но через минуту Смольский увидел, что птичка выскочила из ближайшей маленькой полыньи и, пикнув, полетела вниз по речке.

— Чудо, — прошептал Смольский. — Как все странно, право...

Когда птичка скрылась в прибрежных кустах, к Смольскому полностью вернулось сознание. Он сдвинул коротенькие пушистые брови, что-то припоминая, потом испуганно крикнул:

— Владимир... Сергеевич!

Тайга молчала.

— Владимир Сергеевич!

Смольский огляделся и вдруг почувствовал, что его тело одеревенело, и в нем, одеревеневшем и бесчувственном, жило только сердце, оно казалось непомерно большим и билось так гулко, что оглушало.

«Как же так? — растерянно подумал Смольский. — Где же они?»

Ломая кусты ветельника, Смольский бросился в сторону от речки, на взгорье. Его так поразило случившееся, что он даже не догадался вернуться обратно по своему следу и найти то место, где его оставили. Часто запинаясь за валежник, падая в снег, Смольский быстро изнемогал, но не хотел останавливаться. Страх толкал его вперед, все вперед, и он, опираясь на палку, горя и задыхаясь, брел упорно и долго неведь куда.

Подлесок затянули сумерки: было похоже, что вокруг тихая синяя пучина моря, заваленная корягами, перепутанная водорослями. Услышав пронзительный крик кукушки, Смольский остановился и, чувствуя, что ослаб, схватился за шершавый ствол пихты. В тот же миг с пихты кто-то шумно прыгнул, пролетел мимо, ободрав шею и щеку. Смольский обернулся и увидел рысь. Она перевернулась в снегу, вскочила на ноги, и глаза ее вспыхнули горячо-горячо.

— А-а! — закричал Смольский и бросил палку в рысь.

Дернув усами, рысь метнулась на Смольского и повисла на его плечах. Каким-то чудом Смольский успел схватить рысь за горло и, собрав все силы, оторвать от себя ее морду. Оскаленная морда рыси показалась штабс-капитану невероятно огромной, а глаза горели, как две луны. Несколько секунд Смольский кричал и плевал в глаза рыси, полыхающие огнем...

Тайгу окутывала ночь. Рысь фыркала и урчала, разрывая бекешу штабс-капитана Смольского...

VI

Поздним вечером Аймадов и Силла остановились у речки, под высоким и крутым берегом. С большим трудом развели огонь и стали жарить на прутьях куски глухариного мяса. Сухое, оно сильно пригорало и без соли было неприятно.

— Ах, черт! — ворчал Силла. — Соль-то я забыл!

Утомленный тяжелым переходом и беспокойными думами, полковник Аймадов долго, неохотно обгрызал жилистую глухариную ногу и вспоминал Смольского. «Зачем он спросил, почему глухарь голый? Впрочем, он уже... — Аймадов отбросил в сторону кость, придвинулся к огню. — Так вот твоя судьба, ми-

лый мой романтик! Как ты мечтал о войне, о славе!» Аймадов зябко встряхнул плечами, опустил усталые веки — перед ним навязчиво маячила небольшая таежная поляна, на которой остался маленький штабс-капитан.

Глухаря съели, но Силла остался голоден, и в поисках съедобного он начал рыться в походной сумке. Но в сумке осталась только скомканная пара белья, запасные варежки, патроны для винтовки да завернутая в тряпицу колода истрепанных игральных карт. Перебирая нищие пожитки, Силла беззлобно ругался:

— Эх, черт! И кто только придумал эту дырку во рту? Да без нее я бы жил да жил! И брюхо тоже... Известно, брюхо — злодей: старого добра, будь оно проклято, не помнит.

Развернув колоду карт, Силла взглянул на нее, как всегда бывало, с веселым лукавством — он сразу забыл о еде, вновь возвратясь к тому обычному состоянию, когда надо всем у него властвует бездумно-дурашливое отношение к жизни, и неожиданно предложил:

— Господин полковник, давайте с досады перекинемся, а? Аймадов взглянул устало, непонимающе.

— Да вот, в карты, — пояснил Силла.

— Чудишь!

— Все равно не уснем!

— Брось! До карт ли?

— Э-э, господин полковник! — с лихой беззаботностью возразил Силла. — Мешай дело с бездельем — проживешь с весельем. Что ж теперь, носы вешать? Что будет! Была не была, а поиграла. Сдаю!

— Но как играть?

— В подкидного дурака.

— Не хочу я, Силла...

Но Силла, не слушая, ловко перетасовал карты, разложил их на походные сумки и, азартно играя глазами, объявил:

— Козыри — пики!

Аймадов почему-то вздрогнул. «Пики... пики... — замелькало в его усталой голове. — Что такое — пики? Ах, да...» Он с тревогой взглянул на пиковую десятку, и черные сердечки на белом фоне карты ему показались кудлатыми пихтами, а за ними — те, что недавно нападали на его отряд с пиками. Немедленно без всякой необходимости Аймадов сбросил пиковую десятку. Играл он очень рассеянно, часто принимал карты и вскоре услышал довольный голос Силлы:

— Ага!.. Плохо ваше дело, господин полковник. Ну вот, сдавайтесь...

Из рук Аймадова падали карты. «Сдавайтесь... сдавайтесь... — звучало в ушах. — Что это такое? Ах, сдаваться надо». Аймадов решительно отложил карты, откинулся на лапник.

— Я не играю, Силла.

За последний день Аймадов заметно изменился. Лицо его, сухое и строгое, осунулось, резкие морщины на нем обмякли,

тяжелые глаза, всегда таившие большую живую силу, начали тускнеть, а седоватая борода, казалось, сильно выросла. Все это смягчило, ослабило суровость и твердость всего облика полковника.

— А вы стареете, — сочувственно заметил Силла.

— Одно золото не стареет.

— Ничего! — ободрил Силла. — Нас еще двое. Одна головня и в печи не горит, а две и в стеша курятся. Только бы до какого-нибудь поселка дойти.

Аймадов взглянул в небо:

— Пурги не будет?

— Не должно быть, не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь. Я только обрадуюсь пурге. Оии бы сразу потеряли наш след. Да, в тайге, брат, трудно спрятаться, особенно зимой. Это не в городе. Там пустышки... — Подбросил в огонь сушняку. — Ты вообще напрасно, Силла, ободряешь меня. Я немного устал, и мне жалко штабс-капитана. Но мы, конечно, скоро найдем какой-нибудь поселок, а там обогреемся, попьем чайку с морошкой и — махнем дальше. Только нас и видели! Места на земле много: поживем пока где-нибудь, а там все поправится. — Подняв воротник борчатки, Аймадов прилег у костра. — Я усну. Покараулишь?

— Спите.

Луна плыла в мутном небе, как медуза, потом нырнула куда-то, и в тайге стало хмуру. Ушли и звезды.

Набрав охапку валежника, Силла подошел к костру, взглянул на тяжело всхрапывающего полковника, подумал: «А пропадаем мы с ним!» Присел у огня. Перебирая разные мелкие мысли, Силла вдруг остановился на одной, словно в ворохе мусора неожиданно нашел что-то ценное. «А ведь партизаны гонятся не за мной, — подумал он. — Нужен я им, как архиерею гармонь! Они меня и не знают. Таких, как я, они и в счет не берут. Они за полковником гонятся! Он им густо насолил. Для всех партизан он зверь-зверюга. Сколько деревень сжег, сколько людей расстрелял да повесил! Без счета! А за мной бы партизаны и не стали гнаться!»

Такой вывод очень смутил Силлу, и строй его мыслей сразу переменял направление. Силла любил скитания. Ему нравилась такая жизнь, когда совершенно не знаешь, что ждет тебя завтра. Он всегда рвался к чему-то неизвестному. Но теперь было совсем другое дело, теперь он точно знал, что будет завтра, — завтра их догонят, это непременно. Вся затея полковника с походом в глубь тайги уже не таила в себе ничего неизвестного. Все ясно: их завтра поймают и, конечно, расстреляют. Был на свете Силла — и не будет Силлы. На одну минуту Силла представил свет без себя, и это страшно поразило его. «Смешно даже! — подумал он. — Деревья будут расти, всякая тварь порхать и плодиться, всякий в карты дуться, а я — на-кась! — умру. Нет, это не по мне!» Думы одолевали, осаждали. Силла

не помнил, чтобы когда-либо они тревожили его с такой навязчивостью: он привык жить легкой и бездумной жизнью. «Убежать? — подумал он. — Только помиловать ли? Нет, могут и не помиловать. А надо, чтобы помиловали!» И Силла с беспокойством стал искать лазейку из ловушки, в которую завела его путевая военная служба.

В тайге медленно, но упорно нарастал шум: с вершин деревьев летел снег. Полковника Аймадова быстро заporошило, он перевернулся на^з грудь и уткнулся лицом в сумку. Силла смерил взглядом могучую фигуру полковника — и вдруг замер от новой, неожиданной мысли. Выждав минуту, тихонько позвал: — Господи полковник!

Аймадов хралел.

Быстро отстегнув от винтовки ремень, Силла с большой осторожностью просунул конец его выше локтя правой руки Аймадова, продел его в пряжку, затянул, подумал: «Помоги, господи!» Левую руку сонный полковник вдруг сам согнул так, что ее легко было охватить ремнем, но тут же он внезапно перестал хралеть. Силла испугался, тяжело навалился грудью на спину полковника, начал торопливо стягивать и завязывать ремень.

— А-а-а! — застонал Аймадов.

Он мгновенно понял все и в бешенстве разом поднял на себе Силлу. Не успев завязать ремень, тот грохнулся на костер, перевернулся, начал хватать горящие головешки. Тем временем Аймадов схватил топор и, крикнув, всадил его в грудь Силлы, как, бывало, в чурбан...

VII

На рассвете был небольшой снегопад. Это обрадовало Аймадова. Он решил обмануть партизан. От места ночевки он пошел по своему следу обратно около сотни шагов, потом по колодине незаметно свернул со следа, ударился в сторону и, только сделав большой крюк, перешел речку, опять направился кромкой широкой пади на север. Он рассчитывал, что партизаны, не ожидая такой уловки, пройдут прямо до костра, а там потеряют его след, подумают, что замело.

После снегопада идти стало труднее. Аймадов чувствовал, что силы его быстро иссякают, утомленное сердце стучит неровно, но он не сбавлял шага, не делал остановок. Он хорошо понимал, что спасение в одном: уйти как можно дальше, в глухие места... Как хотелось спастись Аймадову! Он готов был перетерпеть все, только бы спастись, только бы отстоять свою жизнь на этой суровой земле. Он был глубоко убежден, что Советская власть недолговечна. Он часто твердил себе: да, бывает, что река изменяет русло, но проходит два-три года, и она опять течет по старому пути... «Дождаться бы этого часа... — думал Аймадов. — Дождаться, расплатиться с дикой чернью за бунт, расплатиться так, чтобы запомнилось навечно, и тогда можно умереть...»

Небо прояснилось. В тайге было тихо и глухо. Деревья стояли мирно, низко опустив отягченные снегом ветви. Когда попала елань, Аймадов вырывался на нее, словно из душевного погребца на волю. Здесь и шагать было легче, и дышалось свободнее, и быстрее ощущалась связь с просторами земли и неба. Пройдя елань, он с тяжелым чувством вновь вступал в лесные чащобы. Аймадову было жутко, что он остался один. Осматриваясь по сторонам, он видел, что в тайге только он одинок: деревья стоят обычно группами, птицы носятся стайками, на снегу часто встречаются строчки звериных следов... Даже звери таежные не знают одиночества!

Останавливаясь передохнуть, Аймадов приваливался спиной к дереву, думал: «Сколько идешь, и нет людей... Какая просторная у нас земля! Только бы найти людей».

В полдень, переходя небольшую речку, Аймадов заметил кулемку, поставленную на соболей, и в ней рябчика. «Где-то близко должны быть охотники! — обрадованно подумал Аймадов. — Найти бы их!» Аймадова мучил голод. Он решил устроить на речке небольшой привал и съесть рябчика.

Человек чувствует, когда сзади на него смотрят. С Аймадовым произошло подобное. Разжигая огонь, он вдруг впервые за день почувствовал, что партизаны настаивают его, и быстро вскинул на плечо карабин. «Господи, да неужели нашли след? — подумал он потерянно и склонил голову. — Нашли».

С этой минуты страх погнал Аймадова, как ветер гонит перекати-поле. Тишина неожиданно покинула тайгу. Малейшие звуки больно отдавались в сердце Аймадова. Прыгнет недалеко белка с дерева на дерево — Аймадова так и обдаст шумом. Крикнет птица — ровно хлестнет кто-нибудь пастушьим кнутом. Треснет под ногой сушняк — так и прожжет с ног до головы. В груди Аймадова от быстрой ходьбы копился жар: он дышал тяжело, с присвистом. Все, что полковник нес на себе, с каждой минутой тяжелело. Не останавливаясь, он снял с плеча карабин и швырнул его в густой ельник; через сотню шагов бросил вещевую сумку, а потом и самое необходимое в походе — топор... Но и после этого Аймадов не почувствовал облегчения... Силы покидали его. Опустошенный до предела и разбитый, он шел еще без остановки часа два — отчаяние было единственной силой, поддерживавшей его. Сняв шапку и расстегнув ворот борчатки, он шел, шатаясь и хрипя, и почти не воспринимал уже ничего, что происходило вокруг. Наконец он остановился, обтер шапкой потное лицо и грузно опустился в снег. Окинув болезненным взглядом тайгу и небо, почти беззвучно прошептал:

— Ну вот и все...

С северной стороны, куда шел Аймадов, вдруг долетел голосистый лай собаки.

«Люди!»

И опять Аймадов, шатаясь и хрипя, пошел вперед. Тайга начала редеть, попадались пни и срубленные деревья — верные

признаки, что близко жилье. «Дойду, дойду!» — твердил Аймадов, едва переставляя каменеющие, непослушные ноги. Вскоре он вышел к большой елани; в дальнем краю ее стояло несколько изб, и над ними курились серые дымки. От радости у Аймадова непривычно защипало в горле. Он бросился к поселку из последних сил.

Пробежав немного, Аймадов остановился, пораженный внезапной мыслью: «Но как пойти в поселок? Там меня сразу выдают!» Только теперь Аймадов понял, что напрасно он мечтал найти в тайге людей, которые его спасут. В тайге живут простые люди — люди той породы, что и партизаны, настигающие его; найти среди них такого, как промысловик Сухих, очень трудно. Как глупо, что он искал людей! Очень глупо. Теперь все ясно: на этой просторной земле нет для него места. Он остался один, всем чужой и ненавистный. Лицо Аймадова судорожно подернулось. Он еще раз окинул поселок влажными глазами и медленно вытащил маузер...

Партизаны шли по следу Аймадова цепочкой. Впереди, не утомимо разгребая рыхлый снег, слегка наклоняясь грудью вперед, шагал командир отряда — молодой рослый мужик в черном полшубке, с курчавой заиндевелой бородой. Когда начались вырубки, он остановился, обернулся назад:

— Скоро Глухаревка!

Оська Травин, идущий следом за вожаком, спросил озабоченно:

— А не укроется он там?

— Ему не дойти. Он уже выдохся. Вот, гляди, лежал, как сохатый...

Издали донесло гулкий хлопок выстрела.

— Это он, — сказал командир. — Видать, попрощался с белым светом...

Партизаны уже не спешили. Выйдя на большую елань, за которой тихо дымили избы Глухаревки, они увидели Аймадова: он лежал грудью на своей тропе. Но тут партизаны, шумно заговорив, бросились вперед...

До Аймадова оставалось не более тридцати шагов, когда он, проворно поднявшись на одно колено, начал бить в ошарашенную толпу партизан из маузера. Оська Травин и один партизан упали молча...

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
Повести	
Зарницы красного лета	5
Бессмертие	287
Рассказы	
На Катунь	360
У старого тополя	371
Чужая земля	376

Бубеннов М. С.

Б90 Зарницы красного лета: Повести и рассказы. — М.:
Воениздат, 1986. — 397 с., ил.

В пер.: 1 р, 90 к,

Произведения, вошедшие в сборник лауреата Государственной премии СССР М. С. Бубеннова, посвящены борьбе за Советскую власть в годы гражданской войны.

В повести «Зарницы красного лета», во многом автобиографичной, писатель рассказывает о повстанческом движении против белогвардейщины на Алтае, где многотысячные партизанские силы успешно действовали в тылу колчаковских войск.

Повесть «Бессмертные», рассказы «На катуни», «У старого тополя» и «Чужая земля» дополняют картину далекого грозного времени, когда советские люди с оружием в руках отстаивали завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.

Михаил Семенович Бубеннов

ЗАРНИЦЫ КРАСНОГО ЛЕТА

Повести и рассказы

Редактор *Л. А. Абрамов*

Художник *О. П. Шамро*

Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*

Технический редактор *А. А. Перескокова*

Корректор *Н. М. Опрышко*

ИБ № 2878

Сдано в набор 21.12.84. Подписано в печать 25.03.85.

Формат 60×90/16. Бумага тип. № 2. Гарн. обычн. новая.

Печать высокая. Печ. л. 25. Усл. печ. л. 25. Усл. кр. отт. 25. Уч.-изд. л. 26,4.

Тираж 150000 экз. (1-й завод 50 000 экз.) Изд. № 4/1372. Зак. 770. Цена 1 р. 00 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.

2-я типография Воениздата

191065, Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное издательство просит присылать отзывы об этой книге по адресу: 103160, Москва, К-160

1 р. 90 к.

МИХАИЛ
БУБИНОВ

ЗАРНИЦЫ
КРАСНОГО
ЛЕТА

